

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН



1



ГИЛБЕРТ К.
ЧЕСТЕРТОН

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ
ТОМАХ**

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ
ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ГИЛБЕРТ К.

ЧЕСТЕРТОН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ

1

НАПОЛЕОН НОТТИНГХИЛЛЬСКИЙ

Роман

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ ЧЕТВЕРГОМ

Роман

РАССКАЗЫ

Перевод с английского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ББК 84.4Вл
4-51

GILBERT KEITH CHESTERTON
(1874—1936)

Редколлегия:

С. АВЕРИНЦЕВ, В. СКОРОДЕНКО, Н. ТРАУБЕРГ

Составление и вступительная статья

Н. ТРАУБЕРГ

Комментарии

И. ПЕТРОВСКОГО

Оформление и иллюстрации художника

В. НОСКОВА

ч 470310100-251 126-90
028(01)-90

ISBN 5-280-01201-7 (Т. 1)
ISBN 5-280-01202-5

© Составление. Вступительная статья.
Трауберг Н. Л. 1990 г.

© Комментарии. Петровский И. М. 1990 г.

© Оформление и иллюстрации. Носков В. А. 1990 г.

ПРОПОВЕДИ И ПРИТЧИ ГИЛБЕРТА КИЙТА ЧЕСТЕРТОНА

Больше тридцати лет прошло с тех пор, как вышла маленькая книжка — рассказы Честертонa, переведенные на русский язык. За эти три десятилетия изданы еще два сборника рассказов и книга эссе «Писатель в газете». Были и журнальные публикации. Недавно появился роман — «Человек, который был Четвергом», чуть раньше — небольшой трактат о Франциске Ассизском. Печатались и стихи.

Человек, заинтересовавшийся этими рассказами, эссе, романом, трактатом, знает уже, что Честертон — писатель очень известный и в Англии, и во всем мире, очень своеобразный, очень занимательный. Те, кому ближе всего рассказы, считают его мастером детектива; те, кому близки и другие жанры, знают из эссе, что он вправе называться мыслителем. Чаще всего полагают, что лучшее в нем — занятность, неожиданность, парадоксальность; худшее — некоторая назойливость и, главное, невероятность ситуаций. Однако темой особого эссе, еще лучше — рассказа, могло бы послужить довольно удивительное явление: именно то, что казалось у него совершенно немыслимым совсем недавно, сейчас кажется просто заметкой из газеты. Приведу немного примеров, интереснее находить их самим. В «Охотничьих рассказах» какие-то интеллигенты всячески стараются, чтобы крестьяне получили ферму и корову; там же — реку так загрязнили отходами завода, что герой судится с властями и, ничего не добившись, реку поджигает; в одном из сборников цикла об отце Брауне образованные люди слепо и охотно принимают любые, самые дикие суеверия. Надо ли еще? Видимо, невероятность его — относительна; не ради нее он пишет, не ради нее его читают, и не она мешает его читать.

О чем он пишет и ради чего, мы скажем дальше. Читая его, многие только развлекаются — это немало и очень полезно, особенно если они еще и радуются. Тогда большая часть предисловия не слишком нужна;

можно ограничиться биографией и, вероятно, рассуждениями о рассказах брауновского цикла. Ничего недолжного здесь нет — Честертон писал так, что каждый находил в нем свое. Он был вполне согласен позабавить одних, в той или иной мере разбудить других, глубоко и серьезно воззвать к третьим.

Писал он очень много. Если собрать все, выйдет больше ста книг. Честертон рассчитан на самые разные виды чтения. Нимало не возражая против сколь угодно легкого отношения к себе, делом своим он считал нравственную проповедь. Поэтому конец статьи мы посвятим тому, чтобы, расставив некоторые акценты, помочь читателям, которым важны именно эти стороны его творчества.

Рассказать о жизни Честертонна довольно легко — много документов, много и мифов. Однако сразу же встает проблема, которую мы решать не станем: документы и мифы далеко не всегда совпадают. Разница не только в том, что мифический Честертон не всегда похож на настоящего, — об этом мы как раз поговорим, да и что такое «настоящий»? Разница в том, что одни и те же события происходили постепенно, если судить по документам, и внезапно, если судить хотя бы по свидетельству самого Честертонна. Он считал, что все самое важное происходит внезапно, и в «Автобиографии» говорил о том, что жизнь подобна не медленной, размеренной эволюции, «но ряду переворотов, в которых есть ужас чуда». Придется рассказывать и так, и так, то ли подправляя одно другим, то ли просто предоставляя читателю что-то выбрать или все совместить, как, видимо, в жизни и бывает — хотя бы в такой жизни, какой ее видел Честертон.

Родился он 29 мая 1874 года в семье потомственного дельца, который не столько занимался делами, сколько рисовал, издавал домашние книги, мастерил для детей кукольный театр. Эдвард Честертон был хорошим и умным человеком, Мэри, его жена — живой, практичной и довольно властной. У нее были шотландские и швейцарские предки, у него — только английские. Старший их сын, Гилберт, жил в детстве очень счастливо. На миниатюре тех лет он — поистине маленький лорд Фаунтлерой; первые главы его «Автобиографии» повествуют о детском рае. Говорить он начал поздно, хорошо говорить — к пяти годам, когда родился его брат Сесил (тот научился говорить рано, и с тех пор они непрестанно спорили). В одном из поздних трактатов Честертон писал: «...чем выше существо, тем длиннее его детство» и называл это «всем известной истиной». Если истина к тому же верна, придется признать, что он был очень «высоким существом». Юность его в узком смысле слова тоже запоздала, а в широком — началась рано, зато кончилась только тогда, когда сменилась «вторым детством». Он часто называл себя отсталым, себя в отрочестве — тупицей, но передать трудно, какие хорошие статьи, письма, стихи этот тупица писал. Он был особенным — и намного сильнее, и намного слабее других.

Детство свое он любил, отрочество — нет. Казалось бы, такая хорошая школа, основанная в XVI веке, такой занятный директор, чья внешность подсказала облик Воскресенья из «Человека, который был Четвергом», клуб дебатов, прекрасные друзья, с которыми Честертон дружил до самой смерти. Однако детство для него — рай, светлый и уютный, отрочество — едва ли не ад, во всяком случае — место темное и неприятное. Учился он и хорошо, и плохо. Он получил премию за стихи вместе с теми, кто был на два класса старше (секретарь его, мисс Коллинз, говорит, что «получил» — это сильно сказано, потому что он вышел, постоял и вернулся, а премию оставил, и по рассеянности, и по застенчивости). Писал он много, иногда на удивление мудро, иногда — совсем по-детски. Школьное эссе о драконах очень похоже на то, что мы читаем в изданных сборниках. Средневекового дракона он сравнивает с «упившимся крокодиллом», а о новых, современных ему, говорит так: «Когда, читатель, ты встретишь его, в какой бы личине он ни был, взгляни на него смело и спаси хоть немногих из темной его пещеры. Пронесем копье храбрых и чистый щит сквозь грохочущий бой турнира жизни и сразим роковым мечом яркий гребень обмана и неправды». Что он и делал всю жизнь.

Кроме словесности — верней, размышлений, которые он выражал в слове, — его не занимало ничего, и он просто не учился. Видимо, его любили, и это ему как-то сходило. Он утратил детское благообразие, вид у него был смешной, он толстел (начались какие-то эндокринные неполадки), а смешней всего было то, что он спал на ходу, спал и сидя. Главное же, он страдал. Юного Честертон необычайно мучили и дух «конца века» — безнадежность, безверие, беззаконие, и то, что творилось в его собственной душе. Не мог он вытерпеть и несправедливости. Судя по одному из писем другу, он места себе не находил от того, что убили и арестовали нескольких русских студентов; а в самом начале гимназических лет он писал о том, что бедных и «простых» мальчиков непременно надо принимать в привилегированные школы, и не из милосердия, а по справедливости. Милосердие «сверху вниз» он ненавидел уже тогда. Слово «филантроп» так и осталось для него ругательством.

Такой вот мальчик — страдающий, справедливый, нелепый, — кончив в семнадцать лет свою привилегированную школу, напечатал первые стихи (плохие), в университет решил не поступать, а стал учиться живописи. Рисовал он очень хорошо. По его словам, в училище Слейда или работали день и ночь, или ничего не делали. Он не делал ничего, хотя тут миф и документы расходятся — может быть, что-то и делал. Во всяком случае, директор училища писал его родителям, что учить его бесполезно, можно только лишить своеобразия.

Училище он оставил через три года (1895). В середине 90-х годов он слушал от случая к случаю лекции о литературе в Лондонском университете. Страдал он по-прежнему. Он просто видеть не мог равнодушных и высокомерных людей, не верящих ни во что и над всем глумящихся. Многие считают, и сам он считал, что несколько долгих лет

он бездельничал, едва не сошел с ума, погибал. Конечно, так оно и было, хотя от этих лет сохранились и хорошие статьи для издательств (как бы «внутренние рецензии»), и умные, здравые письма. И снова возникают два варианта того, что было одним из двух главных событий его жизни (второе — переход в католичество). Школьный друг, Люциан Олдершоу познакомил его с семьей профессора Блогга, которая жила в Бедфорд-парке, Шафранном парке «Четверга». В одну из трех дочерей Олдершоу был влюблен, потом женился, а другую, Фрэнсис, полюбил Честертон. Согласно собственному его рассказу, он увидел Бедфорд-парк с моста или виадука, издали, словно райское видение, и с этой минуты тьма сменилась светом, бесприютность — тем особым ощущением мира как уютного дома, которое он всю оставшуюся жизнь пытался передать другим.

Мать запретила ему жениться, пока у него не будет хотя бы скромного дохода. Отец практичным не был, верил в его поэтический дар и помог ему напечатать два сборника стихов. И миф, и документы свидетельствуют о довольно обычных полууспехах, полунедачах; потом совершенно (и внезапно) побеждает возвышающая истина чуда: первый сборник эссе, «Защитник», принес ему на самой грани веков всаанглийскую славу.

В 1901 году Честертон женился. Жизнь свою он считал очень радостной и изо всех сил старался открыть эту радость читателям. Писал он много, ощущал себя журналистом, хотя эссе собирал в книжки, а с 1904 года стал публиковать романы и рассказы. Он действительно был профессиональным газетчиком, а жил так, что миф создавался сам собой. Фрэнсис позаботилась об его внешнем виде — на нем все торчало, все сидело криво, и она изобрела для него почти маскарадный костюм, широкий черный плащ и широкополую черную шляпу. Высоты и толщины он был такой, что его прозвали человеком-горою, как лилипуты — Гулливера. У него было детское лицо, светлые детские глаза, пенсне всегда съезжало, он на все натывкался, писал в кофейнях, в кебе, на углу, стоя у стены. Лет десять он почти все время пребывал на улице газетчиков, Флит-стрит. Там он спорил, работал и много пил, не с горя (такое питье он порицал) и даже не «от радости», а как бы по рассеянности, для беседы. Квартиру, где они с Фрэнсис жили, он тем не менее очень любил, он любил все свои дома и считал дом лучшим и священнейшим местом на свете. Из одних окон были видны река и парк, из других — крыши, и он, одухотворивший город, как Адам Уэйн в «Наполеоне Ноттингхильском», больше любил этот, второй вид.

Издав уже два сборника эссе, напечатав много статей в газетах, он написал свой первый роман. Ему было тридцать лет. По довольно устойчивому преданию, как-то раз они с Фрэнсис обнаружили, что в доме — всего десять шиллингов. Он отправился на Флит-стрит, пообедал как можно лучше, выпил бутылку вина и явился к издателю. Рассказав о приключениях человека, защищающего старую маленькую улочку в далеких 80-х годах XX века, он прибавил, что писать не станет, пока не получит двадцать фунтов. Получил их — хотя издатель упирался,

роман написал и не заметил, что заплатили ему потом неправдоподобно мало.

Первые десять лет брака и писательской славы были очень счастливыми; так думали все, так думал он сам, хотя и позже считал свою жизнь незаслуженно счастливой. Но вспоминают и о том, что уже тогда у него было как бы два облика — молодого, веселого человека и человека едва ли не старого, не только из-за толщины. Уже тогда, пусть очень немногие, заметили в нем ту глубину, благодаря которой глубочайшие люди века намного позже увидели в нем пророка и мудреца.

В 1909 году Фрэнсис увезла его в селенье Биконсфилд. Тогда же, в эссе «Тайна плюща», он писал, что теперь всегда будет видеть только «Лондон, мощный золотом», словно, как Инносент Смит («Жив-человек»), покинувший дом, чтобы больше любить его, только для того и уехал. Это правда; но правда и то, что Фрэнсис боялась, как бы он не спился и вконец не обнищал на Флит-стрит. Больше он в Лондоне не жил. Дом его и сад в Биконсфилде очень хороши, но город он любил больше.

Событий в его жизни мало, по мифу — исключительно мало. О книгах скажем после, а так — он тяжело болел в начале войны; в 20-х и 30-х годах ездил в Италию, где бывал и в детстве, в Польшу, в Палестину, в Америку. Во Францию он ездил часто, поехал и весной 1936 года, вернулся, слег и понял, что умирает. Болел он недолго, смерти не боялся. Когда Фрэнсис и Дороти Коллинз, которую бездетные Честертон считали приемной дочерью, в очередной раз к нему зашли, он очнулся от забытья, ласково с ними поздоровался и спокойно умер.

Было это 14 июня 1936 года. Заупокойная служба в соборе св. Павла прошла торжественно, из Ватикана прислали соболезнования, и будущий папа Пий XII от имени Пия XI назвал Честертона «Защитником веры». Вроде бы на свой лад огорчились и любимые им «обычные люди». Услышав об его смерти, парикмахер сказал: «Неужели *наш* Честертон?» — может быть, потому, что пять лет слушал по радио его беседы. Однако посмертная его судьба становилась все более странной; но тут нам надо вернуться назад, к годам, когда он был сравнительно молод.

Один исследователь заметил, что, если бы Честертон умер сорока лет, когда тяжело болел, ничего бы не изменилось. Да, пять романов он уже написал, вернее — пять с половиной из шести; ранние рассказы о Брауне, особенно первый сборник — лучшие; все, чем он хорош — рыцарственный вызов злу, благодарная любовь к простым вещам, надежда — проповедано к тому времени много раз. Так это или не так, но десятки годы века, или вторая их половина, или сама болезнь стали для него переломными; можно сказать, что он и впрямь умер. Заметили это не сразу, многие и не заметили, но веселый любимец Англии превратился в кого-то другого. Легендарный «Честертон-пивная кружка» (так называли его, припоминая старинные кружки в виде веселого толстяка) все больше ощущается как личина, нередко — раздражающая,

и все виднее другой — разочаровавшийся в честной политике, потерявший брата на войне, из последних сил тащивший его газету, глубоко верующий. Мир 20-х и 30-х годов отторгает его, он — чужой. Он не старый — пятьдесят лет, шестьдесят — но какой старомодный! Критик Роналд Нокс писал, что в 1922 году, став католиком, Честертон нашел приют наконец в «детской Господа Бога». Конечно; но там, где детской этой не замечали, он становился все более ненужным и одиноким. Многие поняли, что он — серьезный, глубоко убежденный человек; что он не забавляется и забавляет, а верит и проповедует — и многим это не понравилось.

После его смерти стало еще яснее, что этот герой карикатур, забава англичан, Человек-гора никому не интересен, кроме образованных католиков. Точнее, герой карикатур исчез, а проповедник — не интересен. Был ли он интересен тем, кого называл «молчаливым народом», узнать нелегко — народ этот молчалив. Конечно, все не так просто, его причисляли к классикам, но действительно нужным он становился именно в тех ситуациях, о которых настойчиво напоминал людям всю жизнь: когда очень плохо, надежды почти нет, — и когда всех спасало чудо. Его стихи читали по радио в самый темный и в самый светлый час второй мировой войны.

Десятки лет было все так же, и трудно сказать, кончилось ли. Критик Суиннертон полагает, что величие его поймут через сто лет. Может быть — но с чего бы? Способен ли, должен ли мир стать таким, чтобы Честертон совпал с ним? Прочитаем «Наполеона Ноттингхильского» или «Возвращение Дон Кихота» — нужно ли, чтобы полубезумное рыцарство или любовь к неприметному и забытому стали будничными, если не принудительными? Видимо, это и невозможно. Честертон-мыслитель слишком легок и нелеп, в нем нет ни власти, ни многозначительной важности. Как Сайм в «Человеке, который был Четвергом», он сохраняет свободу и одиночество изгоя. Тому, чему учил он, учат только снизу. Теперь подумаем о том, чему же он учил.

Прежде всего не будем рассуждать, вправе писатель учить или не вправе. Может быть, не вправе; может быть, он учит всегда, хочет того или нет; может быть, надо сперва уточнить разные значения самого слова. Как бы то ни было, Честертон учил и учить хотел. Собственно, он не считал себя писателем, упорно называл журналистом, а многие называют его апологетом, моралистом, проповедником. Так что примем, что он — не совсем или не только писатель. Тогда возможно одно из трех: романы его и рассказы ниже литературы; или выше; или просто это другая литература, не совсем обычная для нашего времени.

Легче всего поставить ниже литературы самое популярное, что он писал, — рассказы об отце Брауне. Они признаны классикой детектива. И верно, первый пласт — детективный: есть преступление (далеко не всегда убийство), есть и сыщик, в своем роде очень хороший. Честертон первым возглавил «Клуб детективных писателей», и никто не сомневался, что только он может быть его председателем, если члены клуба —

Агата Кристи или Дороти Сейерс. Однако еще один член клуба Роналд Нокс, глубоко его почитавший, писал, что рассказы о Брауне — не детективы или хотя бы «больше, чем детективы».

Вероятно, детектив — не ниже литературы; однако новеллы об отце Брауне — не только больше детектива, но и меньше. Честертон любит обыгрывать психологический закон: «люди не видят чего-то, потому что не ждут». Так и с циклом о Брауне. Читая детективный рассказ, тем более — признанную классику, обычно полагаются на то, что уж с сюжетом все в порядке. На самом деле это не так. Предложу читателю интересную и полезную игру: верить рассказ за рассказом простейшей логикой. Очень часто концы с концами не сойдутся. Вот первые, вводные рассказы — отец Браун трижды, как в сказке, обличает и отпускает Фламбо. Они провели целый день вместе; как же Фламбо «Летучих звезд» не узнал своего победителя из «Сапфирового креста» или узнал и не испугался? Хорошо, в «Странных шагах» священник тихо сидел в гардеробной, но тут они оба в гостях, в освещенной гостиной, играют в одной пантомиме. Чтобы не огорчаться, можно решить, что это — три параллельных зачина, и выбрать один, а другие считать недействительными.

Можно взглянуть и в сам «Сапфировый крест». Каждый кусочек поразит нас — как верно! Кто бы догадался, кроме отца Брауна? Но попробуйте соединить их и минутку подумать. Дело не в том, что «так не может быть», — мы не знаем, чего быть не может; дело в том, что герои, даже Браун, ведут себя не «против правил» или «против пошлой разумности», а против тех законов разума, которые так мудро защищает священник. К примеру, зачем Фламбо требует пакет, когда пакет у него? Издевки ради?

Отменим «Сапфировый крест», примем как зачин «Летучие звезды». Почему никого не удивило, что бриллианты валяются в снегу? Почему никто не подумал, что вор все же есть, кто-то их туда вынес? Почему опытный вор так уверенно положился на то, что Крук заговорит о полисмене? Да, Фламбо пытался навести на эту тему, но ведь могли и не заговорить, тогда бы все провалилось.

Словом, занятие интересное, а при чтении Честертон — важное. Как и отец Браун, как и его создатель, оно учит видеть и то, чего не ждешь. Свобода от предвзятых мнений очень важна для Честертон. Почти все видят условно, привычно, поверхностно, а он и его герой — «как есть». Принцип этот заявлен, чаще всего — подкреплен; но не всегда.

Возьмем только одно, самое признанное, проявление этой мудрой непредвзятости — отец Браун исходит не из мелких обстоятельств, а из сути человека: кто мог что-то сделать, кто — не мог. Нередко Честертону удавалось создать соответствующий сюжетный ход — в «Алой луне Меру», например, или в «Оке Аполлона». Но есть и рассказы, где принцип не работает. И еще: отец Браун, греша против логики и психологии, иногда говорит то, что он будто бы понял, когда еще понять не мог. Это почти незаметно, но встречается часто.

Если мы перестанем слепо верить удачам и даже разоблачать неудачи «психолога Честертона», «психолога Брауна» или «психолога Гейла» («Поэт и безумцы»), нам будет легче заметить, что самое безупречное в рассказах — нравственные суждения. Если бы напечатать подряд все сборники рассказов и все романы (одних — двенадцать, других — шесть), «мир Честертона», быть может, сложился бы сам собой из «мудрости» отца Брауна и других героев — для тех, конечно, кто заметит эту мудрость.

Честертон очень хотел, чтобы ее замечали, для того и писал, успеха почти не добился. Подскажу несколько примеров. В рассказе «Сапфировый крест»: «Разум разумен везде» и слова о несокрушимости сообразного разуму нравственного закона. В «Летучих звездах»: «...нельзя удержаться на одном уровне зла», и вся речь отца Брауна в саду, которую и в тысячный раз трудно читать спокойно. В «Оке Аполлона» — об «единственной болезни духа», о покаянии, о стоиках. В «Трех орудиях смерти» — о том, что нельзя всегда бодриться. Часто мудрые речи священника связаны со всем рассказом, но не всегда, порой они как бы вкраплены.

Как все правоверные христиане, Честертон и его герой считали худшим из грехов гордыню. Ее обличение — «Молот Господень», и «Алая луна Меру», и «Око Аполлона». Есть оно и в других рассказах — то в сюжете, то в одних только репликах. Но уж во всех рассказах ей противопоставлено смирение маленького патера. Священник из «Молота» вершит суд Господень — отец Браун не судит и не осуждает никого. Не «ничего» — зло он судит, а «никого» — людей он милует. Это очень важно не как «особенность сыщика» или «элемент сюжета», а как урок нравственности, элемент притчи.

И сам он подчеркнуто, иногда назойливо противопоставлен гордым, важным, сильным. Он то и дело роняет пакеты, ползает по полу, ищет зонтик, с которым потом не может справиться. Обратите внимание и на его внешность — «детское лицо», «большая круглая голова», «круглые глаза», «круглое лицо», «клецка», «коротышка». Есть рассказы, где самый сюжет словно бы создан для обыгрывания его неуклюжести («Отсутствие мистера Кана») или его смирения («Воскресение отца Брауна»). Сознательно — патер смиренен, неосознанно — нелеп и неприметен. Разумный и будничный отец Браун — такой же чужой в мире взрослого самодовольства, взрослого уныния и взрослой поверхности, как хороший ребенок или сам Честертон.

Что до взрослой поверхности, все сюжеты, одни — хуже, другие — лучше, учат тому, как избавиться от нее. Стоит ли удивляться, что в непритязательных рассказах находят соответствие открытиям крупнейших мыслителей нашего века? А критик Уилфрид Шид пишет так: «Принцип его — поверять все и вся, может оказаться самым надежным ответом на двоисмыслие, переделывание истории и другие ужасы будущего в духе Оруэлла».

Есть у Честертонa другие рассказы, есть и романы. Принято считать, что они хуже «Браунов», но об этом можно спорить. И ранний сборник, «Клуб странных профессий» (1905) и поздние — «Поэт

и безумцы» (1929), «Четыре честных преступника» (1930) можно любить больше, хотя бывает это редко. Их можно больше любить, если ждешь притчи, а не детектива. Лучше они «Браунов» или хуже, сюжет их более связан, он чаще служит самой притче, как и персонажи, которые меньше, чем в рассказах о патере, похожи на воплощенные идеи или на картонные фигурки. Честертон ничуть не обиделся бы на такие слова, он это знал, иначе писать не умел и не собирался. Он не отвергал другой манеры — он любил и очень точно понимал на удивление разных писателей, не любил разве что натурализм, который называл реализмом, и некоторые виды модернизма; а вот свои романы он называл «хорошими, но испорченными сюжетами». Он думал о чем-нибудь, и брал эту мысль для повествования, как берут текст для проповеди.

Скажем теперь о рассказах, потом — о романах, только то, что поможет понять их «нравственный посыл». Иначе, не обращая на него внимания, читают их часто, ничего плохого в этом нет, но, во-первых, Честертон хотел не этого, а во-вторых, детективы, приключенческие повести, мелодрамы, даже фантазмагории бывают и лучше.

После перелома 10-х годов меняются и рассказы об отце Брауне, но последовательности здесь нет, да и писал он поздние сборники этой серии еще небрежней, чем всегда; нередко ему просто не хватало денег на вечно прогорающую газету, которую создал его покойный брат, и он садился и поскорей сочинял рассказ. Есть среди них и очень хорошие, все в том же смысле — концы не сходятся, зато несколько фраз, обычно произнесенных Брауном, искупают это. А вот сборник о Хорне Фишере («Человек, который знал слишком много») вряд ли мог бы появиться раньше. О сюжетах говорить не будем — тут есть всякое; но самые рассказы и герой их — очень печальные, едва ли не безнадежные. Многое видно тут: Честертон уже не верит в политические действия и с особой скорбью любит Англию, и как-то болезненно жалеет даже самых дурных людей. Людей жалеет и отец Браун, но он исполнен надежды, тогда как Фишер — сама усталость. Рассуждая об этом сборнике, критики предположили, что герой — не Фишер, а Марч, и все описанное — его «политическая школа». Оснований для этого мало. Конечно, Честертон не отождествлял себя с Фишером (тог похож на его друга Мориса Беринга), но и с Марчем не отождествлял, а трактаты, стихи, воспоминания о нем позволяют предположить, что общего у них больше, чем кажется на первый взгляд.

Когда-то в отрочестве Честертон поклялся «сражаться с драконом». Читая его романы, снова и снова видишь, как в единоборство с драконом вступает, собственно, мальчик. Адам Уэйн едва ли не чудом победил скучный, прогрессивный, технократический мир («Наполеон»); Сайм с друзьями — угрозу уныния и распада («Четверг»); Инносент Смит — глупость и отчаяние («Жив-Человек»); Патрик Дэлрой — бесчеловечную утопию («Перелетный кабак»); герон «Охотничьих рассказов» — безжалостные власти и безжалостных дельцов; Майкл Херн и Дуглас Мэррел («Возвращение Дон Кихота») — все тот же ненавистный

Честертону уклад, противостоящий разуму, милости, веселью, вообще человеку. Позже скажем о том, что герой — не один, часто у него есть помощник повзрослее, но сейчас речь не об этом. Отец Браун никого не наказывает, не судит и не предает суду; он не пользуется победой. Хорошо, он — священник, но ведь и другие ею не пользуются. Уэйн единственный, кто и победил, и стал править, хотя через много лет его и прогнали вместе с королем. Сайм, как бы внешне и победивший, вернее — узнавший, что побеждать некого, произносит слова, которые исключительно важны для Честертона: тот, кто борется со злом, должен быть одиноким, изгоем. Патрик побеждает турок и лорда, но никак и никем не правит. Герои «Охотничьих рассказов» тоже побеждают врагов, но, как и в «Кабаке», почти до самого конца они только и делают, что шутят. Никак не правят и они; а вот Майкл Херн именно правит, но удержаться не может, потому что ставит справедливость выше всего остального («Дон Кихота» и «Охотничьи рассказы» называли «книгами справедливости»). Именно тут, в конце «Дон Кихота», Честертон говорит, что «общественную пользу приносят лишь частные дела». Еще больше подчеркнуто это в позднем рассказе «Восторженный вор», совсем уж похожем на притчу.

Некоторые критики полагали, что Честертон вел опасную игру — взывал к толпе, разжигал страсти, проповедовал жесткие догмы, которых и без него хватает. Можно прочесть его и так, но не этого он хотел. Эзра Паунд сказал когда-то: «Честертон и есть толпа». Обидеть Честертон это не могло, потому что «обычный человек» для него неизмеримо лучше тех, кто гордится своей исключительностью. Кроме того, для Честертон нет толпы, есть только люди. Он не всегда умел это описать, всегда — стремился (посмотрите, например, как входят в аптеку мятежники из «Перелетного кабака»). Казалось бы, он столько читал о средних веках, жил — в двадцатом; можно ли не заметить, как множество людей становится толпой в худшем смысле слова? Ничего не подделаешь, Честертон видел мир иначе. Чернь для него — те, кто наверху. Все просто, как в Евангелии: тот, кто внизу, лучше того, кто наверху.

Что до обвинений в жестокости, чаще всего ссылаются на апологию битвы и крови, особенно в «Наполеоне Ноттингхильском», удивляясь при этом, почему вокруг ничего не меняется, все живут, как в самое мирное время. Причина проста: «битва» и «кровь» для него — знаки, символы, как игрушечный нож, который он назвал в одном эссе «душой меча». О детективах не говорю: в них кровь и прочее — условность жанра. Боевитость его совершенно неотделима от смирения и милости, догматичность — окуплена милостью и смирением, легким отношением к себе.

Все это, и многое другое, побуждает искать для Честертон каких-то других решений: не «воинственный — мирный», «догматичный — терпимый», а сложней или проще, но иначе.

Когда слава Честертон стала стремительно падать в Англии, она начала расти у нас. Конечно, она не была «всемирной» — маленькие книжечки рассказов и пять романов издавались в 20-х годах небольшими

тиражами, да и нравились они прежде всего писателям и кинематографистам (особенно их любил Эйзенштейн). Никто не сомневался в том, что Честертон — именно тот «эксцентрик ради эксцентрики», которых тогда так любили, у которых учились. Эйзенштейн восхищался тем, как король Оберон из «Наполеона» внезапно увидел вместо спин своих приятелей морды драконов — поистине «остранение» в совершенном своем виде! Такие же чувства вызывал «острый взгляд» отца Брауна или Хорна Фишера. А уж сюжеты и ситуации — ничего не скажешь, фантазмагория, цирк, балаган. Особенной любовью пользовался «Человек, который был Четвергом».

Что думает и чему учит Честертон, не знали или от этого отмахивались, восхищаясь его стремительностью и чудачеством. Его считали как бы «объективно левым» — не хочет быть «левым», но так получается. Однако отмахнуться от такого восприятия — слишком просто, более того — неправильно. Ведь Честертон действительно бросает вызов всему застывшему, тяжкому, важному, или, как сказал бы он сам, глупому.

Английские критики нередко вспоминают о том, что любимые им герои его романов и циклов — как бы две половинки ножниц, «которыми Бог кроит мир». Собственно, про ножницы сказал он сам и неоднократно это подчеркивал, особенно явственно — в «Наполеоне Ноттингхилльском». Кроме Оберона и Уэйна, к таким парам со все большей натяжкой можно причислить Майкла Херна и Мэррела из «Дон Кихота», Макиэна и Тернбулла («Шар и крест»), отца Брауна и Фламбо. Чаще всего пишут, что один — рыжий и романтичный («идеалист», даже «фанатик», начисто лишенный юмора), другой — маленький и не рыжий — ничего кроме смеха не ведает. Такая пара, собственно, только в первом романе и есть. Уже в «Четверге» Сайм — рыжий и романтичный, но кто там «шутник», не Воскресенье же? Скорее Сайму противопоставлен Грегори, уж точно фанатик без юмора, но Честертон нисколько не считал, что такими, как он, Бог кроит мир — если бы он не вызывал жалости, его можно было бы уподобить сатане из Книги Иова. У Инносента Смита точной пары нет, разве что Майкл Мун, но вряд ли; Патрик Дэлрой совсем уж романтичный и рыжий, но он же и «шутник». Правда, один исследователь считает, что «вторая половинка ножниц» в «Кабак» — Айвивуд, и тогда он — фанатик, Дэлрой — клоун. Не думаю; скорее фанатичный лорд стоит в ряду честертоновских гордецов, которыми тоже Бог мира не кроит. Однако можно заметить во всем этом и очень важную вещь: оба, и «шутник», и «идеалист», четко противопоставлены важным, глупым людям, вроде доктора Хантера в «Охотничьих рассказах» или его коллеги из «Жив-Человек». Оба бросают вызов миру поверхностной обыденности, и тут поклонники Честертонна, о которых мы только что говорили, совершенно правы. Такой именно вызов бросали и они.

Но читатель, наделенный умением отца Брауна, может несколько удивиться: а как же сам Браун? Неужели он чем-нибудь, кроме роста, напоминает короля? А Хэмфри Пэмп? А добрый доктор Суббота? Они же ничуть не эксцентричны. Допустим, нелепость отца Брауна как-то роднит его с «эксцентриками», но кабатчик Пэмп и скромный врач, сам

назвавший себя вульгарным, скорее похожи на тех самых мещан, которых так в 20-е годы не любили. И вообще все эти трое и многие другие у Честертона воплощают здравый смысл и стремятся никак не к эксцентриадам, а к тихой жизни, которую искренно считали обязательской.

Стремятся к ней и клоуны, и романтики. Самый фанатичный из «идеалистов», Адам Уэйн, хочет только одного: чтобы тихую и трогательную улочку его детства оставили в покое. Сайм защищает покой «шарманочного люда»; Патрик (даже больше, чем Сайм, совместивший в себе идеалиста и клоуна) хочет вернуть своей стране уют. Кто, кроме Честертона, мог дать ему песню, где свобода ведет не к неведомым и странным мирам (к ним ведет тирания Айвивуда), а просто к человеческому дому? Гейл («Поэт и безумцы») предпочитает эксцентрике «центричность»; Солт из того же цикла предпочитает жизнь лавочника жизни поэта. Словом, получаются еще одни ножницы, иногда воплощенные в персонажах — Сайм и Булль, Патрик и Пэмп.

Чтобы лучше понять, как видел и чему учил Честертон, хорошо прочитайте его трактаты, но (кроме книги о св. Франциске) они только готовятся к печати, хотя давно переведены. Придется рассказать своими словами о том, о чем говорит он в одной из глав книги «Ортодоксия», написанной тогда же, что и «Четверг».

Говорит он о том, что христианство казалось ему когда-то поистине диким: одни ругали его за неприметность, другие — за пышность; одни — за дерзновенность, другие — за необычайную кротость, и так далее. Он удивлялся и думал, не монстр ли это, когда ему пришла странная мысль — а может, оно просто такое, как надо? Тогда, естественно, людям наглым противна его тихость, людям рабски приниженным — его вызов, как человек нормальной толщины кажется слишком толстым тем, кто нечеловечески истощен, и слишком худым — тем, кто разъялся до невозможности.

Мысль вела дальше: значит, нужна здравая мера, больше ничего? И тут он понял, что христианство не смешивает допустимые доли «хорошего», а развивает во всю силу всякое добро. Смирение и честь, милосердие и праведный гнев, радость и скорбь не смешаны, они рядом, «словно ярко-алое и ярко-белое на щите», а не «грязновато-розовое». Можно спорить о том, так ли это в христианстве, но у него это всегда так.

Честертон непрестанно пытается показать нам, что разновидности добра, несовместимые для «мира сего», на самом деле просто обязаны совмещаться; повторю — не смешиваться, создавая что-то среднее, а совмещаться, как бы «неслиянно и нераздельно».

«Добро» для Честертон — понятие предельно четкое, ни в малой мере не условное. «Добро — это добро, даже если никто ему не служит, — пишет он, кончая эссе о Филдинге. — Зло — это зло, даже если все злы». Честертон служит не какому-то одному виду добра — скажем, мужеству или кротости. Такие ценности, не уравненные другими, с общепринятой точки зрения — им противоположными, он считал лишь частями истины.

В первом приближении ценности, которым он служит и которые соединяет, можно назвать «ценностями легкости» и «ценностями весомости». Можно сравнить одни — с углом, а другие — с овалом (не считая, что угол и овал противостоят друг другу). Можно сказать, что это — эсхатологическая легкость и космическая полнота, округлость, законченность. Можно назвать эти начала центробежным и центростремительным. Честертон — защитник мятежа и чудачества, смеха и нелепицы, приключений и причудливости; и одновременно, в полную силу — защитник здравого смысла, доброй семьи, «обычного человека». Виды же зла, противоположные и тому, и другому, а на обыденный взгляд — и друг другу, тоже сходятся, но тут уж возникает особое, сугубое зло. Представим только — уныние благодушных или анархия, изначально порождающая тиранию.

Первого приближения вроде бы и достаточно, но упорно напрашивается что-то еще, и мы бы определили это так: у Честертона скорее три «группы ценностей», соответственно — три, скажем так, разновидности зла.

Честертон часто считают оптимистом. Оптимистом он не был, он был учителем тяжело окупленной надежды и благодарной, смиренной радости. «Глазами любви, которые зорче глаз ненависти», он ясно видел зло. Однако это не привело его ни к цинизму, ни к злобе, ни к унынию и потому, что зло было для него не властителем, а «узурпатором», и потому, что он с одинаковой силой ощущал и отвергал разные его виды.

Вероятно, легче всего заметить, что он ненавидит зло жестокости (пишем «жестокости», а не «страдания»), так как для него зло коренится прежде всего в человеческой воле). Милосердие его так сильно, что нетрудно поначалу счесть его добряком, попускающим все на свете, лишь бы человеку было хорошо. Но, вчитавшись, мы замечаем, что такому представлению о нем противоречит его нетерпимость к злу развала и хаоса.

И это у него очень сильно. Редко, но встречаются противники и поклонники Честертон, которые считают его кровожадным сторонником силы, насаждающей порядок. Но это так же неверно, как считать его благодушным или всетерпимым. Действительно, люди с таким острым неприятием хаоса легко поступаются жалостью к человеку. Честертон так не делал. Порядок для него не противоречит ни свободе, ни милости. Более того: они не держатся друг без друга.

Наконец, он наделен острым чутьем лжи — особого, почти неуловимого зла, которое может погубить любую духовную ценность. По видимому, в нашем веке это зло чувствуют сильнее, чем прежде, но ради истинности то и дело поступаются милосердием или порядком. Честертон ими не поступался, хотя он предельно чувствителен к неправде и знает все ее личины — от высокомерия, как-то связанного с «духовными силами», до самодовольства и пошлости. Он так ненавидел ее, что всячески подчеркивал несерьезное отношение к себе, чтобы избежать гордыни и фальши, которые придают человеку и его

делу многозначительную важность. Отсюда та несерьезность тона, которая вроде бы ему вредила, точнее, не ему, а его мирской славе. На самом деле она очень много дает и ему, и нам: его не полюбишь из снобизма, им нельзя высокомерно кичиться. Конечно, теперь и не то можно, и все же нелегко, как-то несолидно гордиться тем, что читал такого мыслителя. Мода на него прошла, и был он в моде не как мыслитель, а как эксцентрик и поставщик детективов, что само по себе не способствует духовной гордыне. И вот он — один из известнейших писателей века — окружен спасительным унижением, без которого, если верить христианству, нет истинной славы.

Служение милости, порядку и правде принесло редкие для нашего времени плоды. Честертон парадоксален не только потому, что хотел удивлением разбудить читателя, но и потому, что для него неразделимы ценности, которые мир упорно противопоставляет друг другу. Он — рыцарь порядка и свободы, враг тирании и анархии. Радость немислима для него без страдания о мире, а противопоставлены они унынию и благодушию. Чудаческая беззаботность неотделима от любви к чужести и прочности, иерархии и укладу. Смирение невозможно без высокого достоинства, крепость духа — без мягкости сердца. Примеров таких много.

В век, когда постоянно жертвуют одной из ценностей во имя другой, особенно важно вспомнить, что поодиночке ценности эти гибнут. Мы можем учиться у Честертоня такому непривычному их сочетанию. Нам не хватает его, мы принимаем «часть истины», и мало что может помочь нам так честно, убежденно и благожелательно, как он.

Чтобы перенести нас из мира мнимостей и полуистин в такой истинный, слаженный, милостивый мир, Честертон не только будит нас непривычно здравыми суждениями, которые удивительней парадоксов Уайльда, и не только раздает своим героям свойства и сочетания свойств, которые он хочет утвердить или воскресить. Он создает особый мир. Эта тривиальная фраза обретает здесь реальнейший смысл: он почти рисует этот мир, если не лепит — такой он получается объемный. Роналд Нокс пишет, что нам часто кажется, будто мы видели цветные картинки к рассказам об отце Брауне. Относится это и к другим книгам. Мир Честертоня был бы невесомым и причудливым, как «страна восточней Солнца и западней Луны», но все в нем четко и весомо, цвета чистые и яркие, и если заметить только это, его скорее примешь то ли за пряничный городок, то ли за цветаевский Гаммельн. Наверное, очень точный его образ — летающая свинья из «Охотничьих рассказов». Конечно, как и всего, что сам Честертон считал очень важным, красоты и причудливости этой можно вообще не заметить, но иногда (надеюсь, часто) они действуют сами собой, как действовало на Майкла Муна и Артура Инглвуда все, что они увидели в мансарде Инносента Смита. Если же подействует и мы в такой мир попадем, могут появиться те чувства и свойства, которые есть у человека, вообще видящего мир таким. Так видят в детстве — и мы вернемся в детство, так видят

в радости — вернемся к радости, так видят, наконец, в свете чуда, и мы войдем в край чудес.

Прозрачность в этом мире сочетается не с бесцветностью, а с ярким или хотя бы чистым цветом: это драгоценный камень, леденец, освещенное огнем вино, утреннее или предвечернее небо. Описания неба и света в разное время суток не просто хороши — кому что нравится; в этом свете, на этом фоне четко обрисованы предметы, и вместе все создает тот же особенный мир, весомостью своей, прозрачностью, яркостью, сиянием похожий на Новый Иерусалим.

Однако мир этот — здесь, на Земле, и сейчас, а не в будущем, даже не в прошлом, хотя Честертон часто упрекают за «идеализацию средневековья». Средние века он называл «правильным путем, вернее — правильным началом пути»; об его непростом отношении к ним можно узнать из «Наполеона» и «Дон Кихота». Гораздо важнее, чем какая бы то ни была идеализация, стало у него уже в молодости совсем другое: показать растерянным, усталым, замороченным людям, где они живут. Он учил бережливости и благодарности. Такой мир — здесь, а не «там» — драгоценен и беззащитен, он чудом держится в бездне небытия, мало того — его надо все время отвоевывать. Едва ли не самая прославленная фраза Честертон — «Если вы не будете красить белый столб, он скоро станет черным». Вот он и учит нас видеть, что столб — белый и что черным он станет непременно, значит — надо его красить. Красить он тоже учит и напоминает, как это трудно.

Многие читатели гадают, в чем же смысл довольно загадочного «Четверга» и кто такой Воскресенье? Честертон и сам не отвечал на это однозначно, а насчет Воскресенья в разное время думал по-разному. Говорил он, что это Природа, которая кажется бессмысленной и жестокой «со спины» и прекрасной, если глядеть ей в лицо. Однажды сказал, что это «все-таки, может быть, Бог»; но тем, кто знает его и у нас, и в Англии, ясно, что Бог этот — вроде таинственных Вседержителей глубокой древности или вроде Бога из Книги Иова, отвечающего на загадку загадкой. Однако в конце, когда Семь Дней Недели уж несомненно — в прекрасном, по-прежнему причудливом мире, Воскресенье произносит евангельские слова. Слова эти очень важны: Честертон считал и хотел сказать нам, что красота и радость мира только тогда и держатся, когда окуплены тягчайшим страданием. Легко этого не заметить, очень уж сказочный у него мир; сказочный — не в смысле «очень хороший», а «такой, как в сказке». Но ведь и в сказке много страдания, которого мы тоже часто не замечаем, поскольку, как писал Честертон, мир в ней странен, зато герой — хорош и нормален. А так — прикинем: потери, разлуки, смерти, тяжкие покаяния, бездомность. Прибавить уныние — и тогда будет настоящая, взрослая литература или просто литература, но не проповедь и не притча убежденного учителя надежды.

Надо сказать еще об одном. Действие первого его романа «Наполеон Ноттингхилльский» начинается в 1984 году. Исследователи никак не решат, думал об этом Оруэлл или не думал. О Честертоне он думал

много, иногда писал, не любил его. Если он честертоновской даты не заметил, это удивительно, но возможно. Мы, во всяком случае, ее замечаем, и мы этот год прожили. В таком страшном веке на пути к этому году жили два очень разных английских писателя, автор антиутопий и автор утопий, которые потом назвали «благими». Обоих сравнивали с Дон Кихотом, оба любили и жалели людей. Кажется, что один боялся за них больше, другой — меньше, но вряд ли это так. Вернее предположить, что «другой» больше надеялся и верил или просто видел иначе. В честертоновской притче, где небо огромно и прозрачно, Земля — драгоценна и мала, негде происходить тому, что происходит у Оруэлла. Взрослому, усталому человеку трудно вместить то, что происходит у Честертон. Но стоит ли решать, кто прав? Миновал 1984-й, наконец изданы их книги, и перед нами — Оруэлл и Честертон, две половинки ножниц.

Н. Трауберг



НАПОЛЕОН НОТТИНГХИЛЛЬСКИЙ

Роман

Перевод В. Муравьева

THE NAPOLEON OF NOTTING HILL

1904

ХИЛЭРУ БЕЛЛОКУ¹

Все города, пока стоят,
Бог одарил звездой своей.
Младенческий совиный взгляд
Найдет ее в сетях ветвей.
На взгорьях Сассекса яснела
Твоя луна в молочном сне.
Моя — над городом бледнела,
Фонарь на Кэмпденском холме.

Да, небеса везде свои,
Повсюду место небесам.
И так же (друг, слова мои
Не без толку, увидишь сам),
И так над скоротечной жизнью
Героики витает дух,
И лязг зловещих механизмов
Не упразднит ее, мой друг.

Она пребудет, освятив
Аустерлица кровь и тлен,
Пред урной Нельсона застыв,
Не встанет с мраморных колен.
Пусть реалисты утверждают,
Что все размечено давно,
Во тьме неведенья блуждая,
«Возможно, — говорим мы, — но...»

Еще возможнее другое —
В просторах благостных равнин

¹ © Перевод. Муравьева Н. В., 1990 г.

Под барабанный грохот боя
Возникнет новый властелин.
Свобода станет жизнью править
И баррикады громоздить,
А смерть и ненависть объявят,
Что явлено — кого любить.

Вдали холмов твоих, в ночи
Мне грезилось: взметались ввысь
Под небо улицы-лучи
И там со звездными сплелись.
Так я ребенком грезил, сонный.
И ныне брежу этим сном
Под серой башней, устремленной
К звезде над Кэмпденским холмом.

Г.-К. Ч.

Книга первая

Глава I

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ЧАСТИ ПРОРОЧЕСТВА

Род людской, а к нему относится немалая толика моих читателей, от века привержен детским играм и вовек не оставит их, сердись не сердись те немногие, кому почему-либо удалось повзрослеть. И есть у детей-человеков излюбленная игра под названием «Завтра — небось не нынче»; шропширцы из глубинки именуют ее «Натяни-пророку-нос». Игроки внимательно и почтительно выслушивают умственную братию, в точности предуказывающую общеобязательное будущее. Потом дожидаются, пока братия перемрет, и хоронят их брата с почестями. А похоронивши, живут себе дальше как ни в чем не бывало своей непредуказанной жизнью. Вот и все, но у рода людского вкус непритязательный, нам и это забавно.

Ибо люди, они капризны, как дети, чисто по-детски скрытничают и спокон веков не слушаются мудрых предуказаний. Говорят, лжепророков побивали камнями; но куда бы вернее, да и веселее побивать пророков подлинных. Сам по себе всякий человек с виду существо, пожалуй что, и разумное: и ест, и спит, и планы строит. А взять человечество? Оно изменчивое и загадочное, привередливое и очаровательное. Словом, люди — большей частью мужчины, но Человек есть женщина.

Однако же в начале двадцатого столетия играть в «Натяни-пророку-нос» стало очень трудно, трудней прямо-таки не бывало. Пророков развелось видимо-невидимо, а пророчеств еще больше, и как ни крутись, а того и гляди исполнишь чье-то предуказание. Выкинет человек что-нибудь несусветное, сам себе удивится, и вдруг его оторопь возьмет: а ведь это небось ему на роду предуказано! Залезет тот же герцог на фонарный столб, или, положим, настоятель собора наклюкается до положения риз — а счастья ни тому, ни другому нет: думают, а ну как мы чего исполнили? Да, в начале двадцатого столетия умствующая братия заполонила чуть не всю землю. Так они расплодились, что

простака было днем с огнем не сыскать, а уж ежели находили — толпами шли за ним по улице, подхватывали его на руки и сажали на высокий государственный пост.

И все умники в голос объясняли, чему быть и чего не миновать — твердо-натвердо, с беспощадной прозорливостью и на разные лады. Казалось, прощай, старая добрая забава, игра в наудуй-предка: какая тут игра! Предки есть не ели, спать не спали, даже политику забросили, и денно и ночью помышляли о том, чем будут заняты и как будут жить их потомки.

А помышляли пророки двадцатого века все как один совершенно одинаково. Заметят что-нибудь, что и взаправду случалось — и говорят, будто оно дальше так и пойдет и дойдет до чего-нибудь совсем чрезвычайного. И тут же сообщалось, что кое-где уже и чрезвычайное произошло и что вот оно, знамение времени.

Имелся, например, в начале века некий Г.-Дж. Уэллс со товарищи — они все вместе полагали, что наука со временем все произойдет: автомобили быстрее извозчиков, вот-вот придумается что-нибудь превосходнее и замечательнее автомобилей; а уж там быстрота умножится более чем многократно. Из пепла их предугазаний возник доктор наук Квилп: он предугадал, что однажды некоего человека посадят в некую машину и запустят вокруг света с такою быстротой, что он при этом будет спокойненько растарыбарывать где-нибудь в деревенской глуши, огибая земной шар с каждым словом. Говорили даже, будто уж и был запущен вокруг земли один престарелый и краснолицый майор — и запущен так быстро, что обитатели дальних планет только и видели охватившее землю кольцо бакенбардов на огненной физиономии и молниеносный твидовый костюм: что говорить, кольцо не хуже Сатурнова.

Но другие им возражали. Некто мистер Эдвард Карпентер сообразил, что все мы не сегодня-завтра возвратимся к природе и будем жить просто, медлительно и правильно, как животные. У этого Эдварда Карпентера нашелся последователь, такой Джеймс Пики, доктор богословия из богобоязненного Покахонтаса: он сказал, что человечеству прежде всего надлежит жевать, то бишь пережевывать принятую пищу спокойно и неспешно, и коровы нам образец. Вот я, например, сказал он, засеял поле телячьими котлетами и выпустил на него целую стаю горожан на четвереньках — очень хорошо получилось. А Толстой и яже с ним разъяснили, что мир наш с каждым часом становится все милосерднее и ни малейшего убийства в нем быть не должно. А мистер Мик не только стал вегетарианцем, он и дальше пошел: «Да разве же можно, — великолепно воскликнул он, — проливать зеленую кровь бессловесных тварей земных?» И предугадал, что в лучшие времена люди обойдутся одной солью. А в Орегоне (С. А. С. Ш.) это дело попробовали, и вышла статья: «Соль-то в чем провинилась?» — Тут-то и началось.

Явились также предугаватели на тот предмет, что узы родства впредь станут уже и строже. Некий мистер Сесил Родс

заявил, что отныне пребудет лишь Британская империя и что пропасть между имперскими жителями и жителями внеимперскими, между китайцем из Гонконга и китайцем Оттуда, между испанцем с Гибралтарской Скалы и испанцем из Испании такова же, как пропасть между людьми и низшими животными. А его пылкий друг мистер Дзоппи (его еще называли апостолом Англо-Саксонства) повел дело дальше: в итоге получилось, что каннибализм есть поедание гражданина Британской империи, а других и поедать не надо, их надо просто ликвидировать без ненужных болевых ощущений.

И напрасно считали его бесчувственным: чувства в нем просыпались, как только ему предлагали скушать уроженца Британской Гайаны — не мог он его скушать. Правда, ему сильно не повезло: он, говорят, попробовал, живучи в Лондоне, питаться одним лишь мясом итальянцев-шарманщиков. Конец его был ужасен: не успел он начать питаться, как сэр Пол Суэллер зачитал в Королевском Обществе свой громогласный доклад, где доказывал как дважды два, что дикари были не просто правы, поедая своих врагов: их правоту подкрепляла нравственная гигиена, ибо науке ясно как день, что все, как таковые, качества едомого сообщаются едоку. И старый добрый профессор не вынес мысли, что ему сообщаются и в нем неотвратимо произрастают страшные свойства шарманщиков-итальянцев.

А был еще такой мистер Бенджамин Килд, каковой утверждал, что главное и надежнейшее занятие рода человеческого — забота о будущем, заведомо известном. Его продолжил и мощно развил Уильям Боркер, перу которого принадлежит бессмертный абзац, известный наизусть любому школьнику — о том, как люди грядущих веков восплачут на могилах потомков, как туристам будут показывать поле исторической битвы, которая разыграется на этом поле через многие столетия.

И не последним из предвещателей явился мистер Стед, сообщивший, что в двадцатом столетии Англия наконец воссоединится с Америкой, а его юный последователь, некто Грэхем Подж, включил в Соединенные Штаты Америки Францию, Германию и Россию, причем Россия обозначалась литерами СР, т. е. Соединенная Россия.

Мало того, мистер Сидней Уэбб разъяснил, что в будущей человеческой жизни воцарится закон и порядок, и друг его, бедняга Фипс, спятил и бегал по лесам и долам с топором, обрубая лишние ветви деревьев, дабы росли поровну в обе стороны.

И все эти умники предвещали напропалую, все наперебой объясняли, изошрясь в объяснениях, что неминуемо случится то, что по слову их «развивается», и впредь разовьется так, что за этим и не уследишь. Вот оно вам и будущее, говорили они, прямо как на ладони. «Равно к а к , — изрекал доктор Пелкинс, блистая красноречием, — равно как наблюдаем мы крупнейшую, паче прочих, свинью с пометом ее и знаем несомненно, что силою Непостижимого и Неизъяснимого Закона она свинья раньше

или позже превзойдет размерами слона; равно как ведаем мы, наблюдая сорняки и тому подобные одуванчики, разросшиеся в саду, что они рано или поздно вырастут выше труб и поглотят дом с усадьбами, — точно так же мы знаем и научно признаем, что если в некий период времени политика нечто оказывает, то это нечто будет расти и возрастать, покуда не достигнет небес».

Что правда, то правда: новейшие пророки и предвещатели сильно помешали человекам, занятым старинной игрой в Натяни-нос-пророку. Вот уж куда ни плюнь, оказывалось, что плюешь в пророчество.

А все-таки было в глазах и у каменщиков на улицах, и у крестьян на полях, у моряков и у детей, а особенно у женщин что-то загадочное, и умники прямо-таки заходились от недоумения. Насмешка, что ли, была в этих глазах? Все им предсказали, а они чего-то скрытничали — дальше, видать, хотели играть в дурацкую игру Натяни-пророку-нос.

И умные люди забегали, как взбесились, мотались туда и сюда, вопрошая: «Ну так что? Ну так что? Вот Лондон — каков он будет через сто лет? Может быть, мы чего-нибудь недодумали? Дома, например, вверх тормашками — а что, очень гигиенично! Люди — конечно же, будут ходить на руках, ноги станут чрезвычайно гиб... ах, уже? Луна упадет... моторы... головы спрячут...?» И так они мытарились и приставали ко всем, пока не умерли; а похоронили их с почестями.

Все остальные ушли с похорон, облегченно вздохнули и принялись за свое. Позвольте уж мне сказать горькую-прегорькую правду. И в двадцатом столетии тоже люди натянули нос пророкам. Вот поднимается занавес над нашей повестью, время восемьдесят лет тому вперед, а Лондон такой же, каким был в наши дни.

Глава II

МУЖЧИНА В ЗЕЛЕНОМ

В двух словах объясню, почему Лондон через сто лет без малого будет тем же городом, что... да нет, раз уж я, заодно с прорицателями, перешел в приснопрошедшее время, то — почему Лондон к началу моей повести *был* так похож на город, в котором проходили незабвенные дни моей жизни.

Вообще-то хватит и одной фразы: народ напрочь утратил веру в революции. Революции, они, как известно, все держатся на догмах — Великая Французская, например, или та, которая одарила нас христианством. Ведь куда как ясно, что нет возможности разрушить порядок вещей, опрокинуть верования и переменить обычаи, если не иметь за душой иной веры, надежной и обнадеженной свыше. Так вот, англичане двадцатого столетия

во всем тому подобном разуверились. Они теперь верили в нечто, именуемое, в отличие от революции, «эволюцией», верили и приговаривали: «Все, какие были, преобразования мысли захлебывались кровью и утыкались в полную безысходность. Нет, если уж мы станем изменяться, то изменимся неспешно и степенно, наподобие животных. Подлинные революции вершит природа, и хвосты пока никто не отстаивал».

Но кое-что все-таки изменилось. Чего в мыслях не было, то теперь и на ум не шло. Что бывало нечасто, исчезло начисто. Вот, положим, солдатня или полиция, бывшие управители страны, — их становилось меньше и меньше, а под конец и вообще почти не стало. Какие остались полицейские, с теми восставший народ справился бы за десять минут: но зачем бы это с ними справляться, какой толк? В революциях все как есть разуверились.

И демократия омертвела: пусть его правит, решили все, раз ему охота, правящий класс. Англия стала деспотией, но не наследственной. Какой-нибудь чиновник становился королем, и никому не было дела ни как, ни кто именно. По сути дела, и не монархом он становился, а генеральным секретарем.

И сделался Лондон спокойней спокойного. Лондонцы и раньше-то не любили ни во что мешаться: как, мол, оно шло, так пусть и дальше идет; а теперь и вовсе перестали — не вмешивались, да и только. Вчерашний день прожили — ну, и нынче проживем, как вчера.

Ну, и в это ветреное, облачное утро три молодых чиновника, всегда ходившие на службу вместе, должны были вроде бы прогуляться по-обычному. В те будущие времена все стало делаться само собой, а уж о чиновниках и говорить нечего: они всегда являлись где следует в положенный час.

Эти три чиновника неизменно ходили втроем, и вся округа их знала: двое рослых, один низенький. Однако в тот день коротышка припозднился на секунду-другую, и рослые прошагали мимо его калитки. Чуть он поднажми — и запросто догнал бы своих привычных спутников, а мог бы и окликнуть. Но он не поднажал и не окликнул.

По некой причине, каковая останется втайне, доколе все и всяческие души не будут призваны на Страшный суд (а они, кто их знает, может, и не будут призваны — тогда подобные верования стали считаться дикарскими) — так вот по этой некой причине он, коротышка, отстал от своих, хотя и последовал за ними. День был серый, и они были серые, и все было серое; и все же, сам не зная отчего, он от них поотстал и пошел позади, глядя им в спины, которые превратились бы в лица при одном звуке его голоса. А в Книге Жизни, на одной из ее темных, нечитанных страниц значится такой закон: гляди и гляди себе девяносто девяносто девятижды, но бойся тысячного раза: не дай Бог увидишь впервые.

Вот и коротышка-чиновник — шел и поглядывал на фалды и хлястики своих рослых сотоварищей: улица за улицей, поворот за поворотом, и все хлястики да фалды, фалды да хлястики — и вдруг ни с того, ни с сего он увидел совсем-совсем другое.

Оказалось, перед ним отступают два черных дракона: пятятся, злобно поглядывая на него. Пятиться-то они пятились, но глядели тем более злобно. Мало ли что глаза эти были всего лишь пуговицами на хлястиках: может, их заведомая пуговичная бессмыслица и отсвечивала теперь полоумной драконьей злобищей? Разрезы между фалдами были драконьими носами; поддувал зимний ветер, и чудовища облизывались. Так ему, коротышке, на миг привиделось — и навеки отпечаталось в его душе. Отныне и навсегда мужчины в сюртуках стали для него драконами задом наперед. Он потом объяснил, очень спокойно и тактично, своим двум сослуживцам, что при всем глубочайшем к ним уважении вынужден рассматривать их физиономии как разновидности драконовых задниц. Задницы, соглашался он, по-своему милостивые, воздетые — скорее вскинутые — к небесам. Но если — замечал он при этом — если истинный друг их пожелает увидеть лица друзей и заглянуть им в глаза, в зеркала души, то другу надлежит почтительно их обойти и поглядеть на них сзади: тут-то он и увидит двух черных, мутно-подслеповатых драконов.

Однако же когда эти черные драконы впервые выпрыгнули на него из мглы, они всего лишь, как всякое чудо, переменили вселенную. Он уяснил то, что всем романтикам давно известно: что приключения случаются не в солнечные дни, а во дни серые. Напряги монотонную струну до отказа, и она порвется так звучно, будто зазвучала песня. Прежде ему не было дела до погоды, но под взором четырех мертвенных глаз он огляделся и заметил, как странно замер тусклый день.

Утро выдалось ветреное и хмурое, не туманное, но омраченное тяжелой снеговой тучей, от которой все становится зеленовато-медным. В такой день светятся не небеса, а сами по себе, в жутковатом ореоле, фигуры и предметы. Небесная, облачная тяжесть кажется водяной толщей, и люди мелькают, как рыбы на дне морском. А лондонская улица дополняет воображение: кареты и кебы плывут, словно морские чудища с огненными глазами. Сперва он удивился двум драконам; потом оказалось, что он — среди глубоководных чудищ.

Два молодых человека впереди были, как и он сам, тоже нестарый коротышка, одеты с иголочки. Строгая роскошь оттеняла их великолепные сюртуки и шелковистые цилиндры: то самое очаровательное безобразие, которое влечет к нынешнему хлыщу современного рисовальщика; мистер Макс Бирбом дивно обозначил его как «некое сообразие темных тканей и безукоризненной строгости белья».

Они шествовали поступью взволнованной улитки и неспешно беседовали, роняя по фразе возле каждого шестого фонарного столба.

Невозмутимо ползли они мимо столбов: в повествовании более прихотливом оно бы можно, пожалуй, сказать, что столбы ползли мимо них, как во сне. Но вдруг коротышка забежал вперед и сказал им:

— Имею надобность подстричься. Вы, часом, не знаете здесь какой-нибудь завалиющей цирюльни, где бы пристойно стригли? Я, изволите видеть, все время подстригаю волосы, а они почему-то заново отрастают.

Один из рослых приятелей окинул его взором расстроенного натуралиста.

— Да вот же она, завалищенькая! — воскликнул коротышка, полоумно ослабившись при виде ярких выпуклых витрин парикмахерского салона, пронизавших сумеречную мглу. — Эдак ходишь-ходишь по Лондону, и все время подвертываются парикмахерские. Обедаем у Чикконани. Ах, вы знаете, я просто без ума от этих цирюльничьих витрин. Правда ведь, цирюльни гораздо лучше, чем гадкие бойни?

И он юркнул в двери парикмахерской.

Спутник его по имени Джеймс глядел ему вслед, ввинтив в глазищу монокль.

— Ну и как тебе этот хмырь? — спросил он своего бледного, горбоносого приятеля.

Тот честно поразмыслил минуту-другую и заявил:

— Сызмальства чокнутый, надо понимать.

— Это вряд ли, — возразил достопочтенный Джеймс Баркер. — Нет, Ламберт, по-моему, он в своем роде артист.

— Чушь! — кратко возразил мистер Ламберт.

— Признаюсь, не могу его до конца раскусить, — задумчиво произнес Баркер. — Он ведь рта не разинет, чтобы не ляпнуть такую несусветицу, которой постыдитесь последний идиот, извиняюсь за выражение. А между тем известно ли тебе, что он — обладатель лучшей в Европе коллекции лаковых миниатюр? Забавно, не правда ли? Видел бы ты его книги: сплошняком древние греческие поэты, французское средневековье и тому подобное. В доме у него — как в аметистовом чертоге, представляешь? А сам он мотается посреди всей этой прелести и мелет — ну, сущий вздор.

— В задницу все книги, и твою Синюю Книгу парламентских уложений туда же, — по-дружески заявил остроумный мистер Ламберт. — Иначе говоря — тебе и книги в руки. Ты-то как дело понимаешь?

— Говорю же — не понимаю, — ответил Баркер. — Но уж коли на то пошло, скажу, что у него особый вкус к бессмыслице — артистическая, видите ли, натура, ваяет дурака, с тем и возьмите. Я вот, честное слово, уверен, что он, болтаючи вздор, помрачил собственный рассудок и сам теперь не знает разницы между бредом и нормальностью. Он, можно сказать, объехал разум на кривой и отыскал то место, где Запад сходится

с Востоком, а полнейший идиотизм — со здравым смыслом. Впрочем, вряд ли я сумею объяснить сей психологический казус. — Мне-то уж точно не сумеешь, — ничтоже сумняшеся отозвался мистер Уилфрид Ламберт.

Они проходили улицу за длинной улицей, а медноватый полумрак рассеивался, сменяясь желтоватым полусветом, и возле дверей ресторана их озарило почти обычное зимнее утро. Достойный Джеймс Баркер, один из виднейших сановников тогдашнего английского правительства (превратившегося в непроницаемый аппарат управления), был сухощав и элегантен; холодно глядели его блекло-голубые глаза с невыразительно красивого лица. Интеллекта у него было хоть отбавляй; наделенный таким интеллектом человек высоко поднимается по должностной лестнице и медленно сходит в гроб, окруженный почестями, никого ни единойжды не просветив и даже не позабавив. Его спутник по имени Уилфрид Ламберт, молодой человек, чей нос почти заслонил его физиономию, тоже не очень-то обогатил сокровищницу человеческого духа, но ему это было простительно, он был попросту дурак.

Да, он, пожалуй что, был дурак дураком, а друг его Баркер, умный-преумный — идиот идиотом. Но их общая глупость пополам с идиотизмом были сущеe тьфу перед таинственным ужасом бредового скудоумия, которое явственно являл малышок-замухрышка, дожидавшийся их у входа в ресторан Чикконани. Этого человечка звали Оберон Квин; с виду он был дитя не то соенок. Его круглую головку и круглые глазищи, казалось, вычертил, на страх природе, один и тот же циркуль. Так по-дурацки были прилизаны его темные волосенки и так дыбились длиннющие фалды, что быть бы ему игрушечным допотопным Ноем, да и только. Кто его не знал, те обычно принимали его за мальчишечку и хотели взять на колени, но чуть он разевал рот, становилось ясно, что таких глупых детей не бывает.

— Очень я вас долго ждал-поджидал, — кротко заметил Квин. — И смеху подобно: гляжу и вижу — вы, откуда ни возьмись, идете-грядете.

— Это почему же? — удивился Ламберт. — Ты, по-моему, сам здесь нам назначил.

— Вот и мамаша моя, покойница, тоже любила кое-что кое-кому кое-где назначать, — заметил в ответ умник.

За неимением лучшего они собрались было зайти в ресторан, но улица их отвлекла. Холодно было и тускло, однако ж вполне рассвело, и на бурой деревянной брусчатке между мутно-серыми террасами вдруг объявилось нечто поблизости невиданное, а по тем будущим временам вообще невиданное в Англии — человек в яркой одежде. Окруженный зеваками.

Человек был высокий и величавый, в ярко-зеленом мундире, расшитом серебряным позументом. На плече его висел короткий зеленый ментик гусарский с меховой опушкой и лоснисто-



багряным подбоем. Грудь его была увешана медалями; на шее, на красной ленте красовался звездчатый иностранный орден; длинный палаш, сверкая рукоятью, дребезжа, волочился по мостовой. В те далекие времена умиротворенная и практичная Европа давным-давно разбросала по музеям всяческое цветное тряпье и побрякушки. Военного народу только и было, что немногочисленная и отлично организованная полиция в скромных, суровых и удобных униформах. И даже те немногие, кто еще помнил последних английских лейб-гвардейцев и уланов, упраздненных в 1912 г о д у , — и те с первого взгляда понимали, что таких мундиров в Англии нет и не бывало; вдобавок над жестким зеленым воротником возвышался смуглый орлиный профиль в серебристо-седой шевелюре, ни дать ни взять бронзовый Данте — твердое и благородное, но никак не английское лицо.

Облаченный в зеленое воин выступал посреди улицы столь величаво, что и слов-то для этого в человеческом языке не сыщется. И простота была тут, и особая осанка: посадка головы и твердая походка — все на него оборачивались, и многие шли за ним, хотя он за собой никого не звал.

Напротив того, сам он был чем-то вроде бы озабочен, что-то вроде бы искал, но искал повелительно, озабочен был, словно идол. Те, кто толпились и поспешали за н и м , — те отчасти изумлялись яркому мундиру, отчасти же повиновались инстинкту, который велит нам следовать за юридивыми и уж тем более — за всяким, кто соизволит выглядеть по-царски: следовать за ним и обожать его. А он выглядел более чем царственно: он, почти как безумец, не обращал ни на кого никакого внимания. Оттого-то и тянулась за ним толпа, словно кортеж: ожидали, что или кого первого он удостоит взора. Шествовал он донельзя величественно, однако же, как было сказано, кого-то или что-то искал; зыскующее было у него выражение.

Внезапно это зыскующее выражение исчезло, и никто не понял, отчего; но, видимо, что-то нашлось. Раздвинув толпу волнующихся зевак, роскошный зеленый воин отклонился к тротуару от прямого пути посредине улицы. Он остановился у огромной рекламы Горчицы Колмена, наклеенной на деревянном щите. Зеваки затаили дыхание.

А он достал из карманчика перочинный ножичек и пропорол толстую бумагу. Потом отодрал извилистый клоч. И наконец, впервые обративши взгляд на обалделых зевак, спросил с приятным чужеземным акцентом:

— Не может ли кто-нибудь одолжить мне булавку?

Мистер Ламберт оказался рядом, и булавок у него было сколько угодно, дабы прищипливать бесчисленные бутоньерки; одолженную булавку приняли с чрезвычайными, но полными достоинства поклонами, рассыпаясь в благодарностях.

Затем джентльмен в зеленом, с довольным видом и слегка приосанившись, приколот обрывок горчичной бумаги к своей

зеленой груди в серебряных позументах. И опять огляделся, словно ему чего-то недоставало.

— Еще чем могу быть полезен, сэръ? — спросил Ламберт с дурацкой угодливостью растерянного англичанина.

— Красное нужно, — заявил чужестранец, — не хватает красного.

— Простите, не понял?

— И вы меня также простите, сеньор, — произнес тот, поклонившись. — Я лишь полюбопытствовал, нет ли у кого-либо из вас при себе чего-нибудь красного.

— Красного при себе? ну как то есть... нет, боюсь, при себе... у меня был красный платок, но в настоящее время...

— Баркер! — воскликнул Оберон Квин. — А где же твой красный лори? Лори-то красный — он где?

— Какой еще красный лори? — безнадежно спросил Баркер. — Что за лори? Когда ты видел у меня красного лори?

— Не видел, — как бы смягчаясь, признал Оберон. — Никогда не видел. Вот и спрашиваю — где он был все это время, куда ты его подевал?

Возмущенно пожав плечами, Баркер обратился к чужестранцу:

— Извините, сэръ, — сухо и вежливо отрезал он, — ничего красного никто из нас вам предложить не сможет. Но зачем, позвольте спросить...

— Благодарствуйте, сеньор, не извольте беспокоиться. Как обстоит дело, то мне придется обойтись собственными возможностями.

И, на миг задумавшись, он, все с тем же перочинным ножиком в руке, вдруг полоснул им по ладони. Кровь хлынула струей: чужестранец вытащил платок и зубами оторвал от него лоскут — приложенный к ранке, лоскут заалел.

— Позволю себе злоупотребить вашей любезностью, сеньор, — сказала она. — Если можно, еще одну булавку.

Ламберт протянул ему булавку; глаза у него стали совсем лягушачьи.

Окровавленный лоскут был приколот возле горчичного клочка, и чужеземец снял шляпу.

— Благодарю вас всех, судари мои, — сказал он, обращаясь к окружающим; и, обмотав обрывком платка свою кровоточащую руку, двинулся далее как ни в чем не бывало.

Публика смешалась, а коротыш Оберон Квин побежал за чужестранцем и остановил его, держа цилиндр на отлете. Ко всеобщему изумлению он адресовался к нему на чистейшем испанском:

— Сеньор, — проговорил он, — прошу прощения за непрошеное, отчасти назойливое гостеприимство, может статься, неуместное по отношению к столь достойному, однако же, одинокому гостю Лондона. Не окажете ли вы мне и моим друзьям,

которых вы удостоили беседы, чести пообедать с нами в близлежащем ресторане?

Мужчина в зеленом покраснел, как свекла, радуясь звукам родного языка, и принял приглашение с бесчисленными поклонами, каковые у южан отнюдь не лицедейство, но нечто, как бы сказать, прямо противоположное.

— Сеньор, — сказал он, — вы обратились ко мне на языке моей страны, и сколь ни люблю я мой народ, однако же не откажу в восхищении вашему, рыцарственно гостеприимному. Скажу лишь, что в нашей испанской речи слышно биение вашего английского сердца.

И с этими словами он проследовал в ресторан.

— Может быть, теперь, — сказал Баркер, запивая рыбу хересом и сгорая от нетерпения, но изо всех сил соблюдая вежливость, — теперь-то, может быть, будет мне позволено спросить, зачем вам все это было надо?

— Что — «все это», сеньор? — спросил гость, который отлично говорил по-английски с неуловимо американским акцентом.

— Ну как, — смутился его собеседник-англичанин, — зачем вы оторвали кусок рекламы и... это... порезали руку... и вообще...

— Дабы объяснить вам это, сеньор, — отвечал тот с некой угрюмой гордостью, — мне придется всего лишь назвать себя. Я — Хуан дель Фуэго, президент Никарагуа.

И президент Никарагуа откинулся на спинку кресла, прилебявая херес, будто и взаправду объяснил свои поступки и кое-что сверх того; но Баркер хмурился по-прежнему.

— И вот эта желтая бумага, — начал он с нарочитым дружеским тоном, — и красная тряпка...

— Желтая бумага и красная тряпка, — величавей величавого возвестил дель Фуэго, — это наши цвета, символика Никарагуа.

— Но Никарагуа, — смущенно проговорил Баркер, — Никарагуа более не... э-мм...

— Да, Никарагуа покорили, как были покорены Афины. Да, Никарагуа изничтожили, как изничтожили Иерусалим, — возвестил старец с несурзным восторгом. — Янки, германцы и другие нынешние давители истоптали Никарагуа, точно скотские стада. Но несть погибели Никарагуа. Никарагуа — это идея.

— Блистательная идея, — робко предположил Оберон Квин.

— Именно, — согласился чужеземец, подхватывая слово. — Ваша правда, великодушный англичанин. Блистательная идея, пламенеющая мысль. Вы, сеньор, спросили меня, почему, желая узреть цвета флага моей отчизны, я оторвал клоч бумаги и окрасил кровью платок. Но не издревле ль освящены значением цвета? У всякой церкви есть своя цветовая символика. Рассудите

же, что значат цвета для нас, — подумайте, каково мне, чей взор открыт лишь двум цветам, — красному и желтому. Это двуцветное равенство объединяет все, что ни есть на свете, высокое и низкое. Я вижу желтую россыпь одуванчиков и старуху в красной накидке, и знаю — это Никарагуа. Вижу алое колыханье маков и желтую песчаную полосу — и это Никарагуа. Озарится ли закатным багрянцем лимон — вот она, моя отчизна. Увижу ли красный почтовый ящик на желтом закате — и сердце мое радостно забьется. Немного крови, мазок горчицы — и вот он, флаг и герб Никарагуа. Желтая и красная грязь в одной канаве для меня отраднее алмазных звезд.

— А уж ежели, — восторженно поддержал его Квин, — ежели к столу подадут золотистый херес и красное вино, то придется вам хочешь не хочешь пить и то, и другое. Позвольте же мне заказать бургундского, чтобы вы, так сказать, проглотили никарагуанский флаг и герб нераздельные и вместе взятые.

Баркер поигрывал столовым ножом и со всей нервозностью дружеского англичанина явно собирался что-то высказать.

— Надо ли это понимать так, — промямлил он наконец, чуть покашливая, — что вы, кх-кхм, были никарагуанским президентом в то время, когда Никарагуа оказывала... э-э-э... о, разумеется, весьма героическое сопротивление... э-э-э...

Экс-президент Никарагуа отпустительно помахал рукой.

— Говорите, не смущаясь, — сказал он. — Мне отлично известно, что нынешний мир всецело враждебен по отношению к Никарагуа и ко мне. И я не сочту за нарушение столь очевидной вашей учтивости, если вы скажете напрямик, что думаете о бедствиях, сокрушивших мою республику.

Безмерное облегчение и благодарность выразились на лице Баркера.

— Вы чрезвычайно великодушны, президент. — Он чуть-чуть запнулся на титуле. — И я воспользуюсь вашим великодушием, дабы изъяснить сомнения, которые, должен признаться, мы, люди нынешнего времени, питаем относительно таких пережитков, как... э-э-э... независимость Никарагуа.

— То есть ваши симпатии, — с полным спокойствием отозвался дель Фуэго, — на стороне большей нации, которая...

— Простите, простите, президент, — мягко возразил Баркер. — Мои симпатии отнюдь не на стороне какой бы то ни было нации. По-видимому, вы упускаете из виду самую сущность современной мысли. Мы не одобряем пылкой избыточности сообществ, подобных вашему; но не затем, чтобы заменить ее избыточностью иного масштаба. Не оттого осуждаем мы Никарагуа, что Британия, по-нашему, должна занять его место в мире, его переникарагуанить. Мелкие нации упраздняются не затем, чтобы крупные переняли всю их мелочность, всю уозсть их кругозора, всю их духовную неуравновешенность. И если я — с величайшим почтением — не разделяю вашего никарагуанского пафоса, то

вовсе не оттого, что я на стороне враждебной вам нации или десяти наций: я на стороне враждебной вам цивилизации. Мы, люди нового времени, верим во всеобъемлющую космополитическую цивилизацию, которая откроет простор всем талантам и дарованиям поглощенных ею народностей и...

— Прощу прощения, сеньор, — перебил его президент. — Позволю себе спросить у сеньора, как он обычно ловит мустангов?

— Я никогда не ловлю мустангов, — с достоинством ответил Баркер.

— Именно, — согласился тот. — Здесь и конец открытому вам простору. Этим и огорчителен ваш космополитизм. Провозглашая объединение народов, вы на самом деле хотите, чтобы они все, как один, переняли бы ваши обыкновения и утратили свои. Если, положим, араб-бедуин не умеет читать, то вы пошлете в Аравию миссионера или преподавателя; надо, мол, научить его грамоте; кто из вас, однако же, скажет: «А учитель-то наш не умеет ездить на верблюде; найдем-ка бедуина, пусть он его поучит?» Вы говорите, цивилизация ваша откроет простор всем дарованиям. Так ли это? Вы действительно полагаете, будто эскимосы научатся избирать местные советы, а вы тем временем научитесь гарпунить моржей? Возвращаюсь к первоначальному примеру. В Никарагуа мы ловим мустангов по-своему: накидываем им лассо на передние ноги, и способ этот считается лучшим в Южной Америке. Если вы и вправду намерены овладеть всеми талантами и дарованиями — идите учиться ловить мустангов. А если нет, то уж позвольте мне повторить то, что я говорил всегда — что, когда Никарагуа цивилизовали, мир понес невозместимую утрату.

— Кое-что утрачивается, конечно, — согласился Баркер, — кое-какие варварские навыки. Вряд ли я научусь тесать кремни ловчее первобытного человека, однако же, как известно, цивилизация сподобилась изготавливать ножи получше кремневых, и я уповаю на цивилизацию.

— Вполне основательно с вашей стороны, — подтвердил никарагуанец. — Множество умных людей, подобно вам, уповали на цивилизацию: множество умных вавилонян, умных египтян и умнейших римлян на закате Римской империи. Мы живем на обломках погибших цивилизаций: не могли бы вы сказать, что такого особенно бессмертного в вашей теперешней?

— Видимо, вы не вполне понимаете, президент, что такое наша цивилизация, — отвечал Баркер. — Вы так рассуждаете, будто английские островитяне по-прежнему бедны и драчливы: давненько же вы не бывали в Европе! С тех пор многое произошло.

— И что же, — спросил президент, — произошло, хотя бы в общих чертах?

— Произошло то, — вдохновенно отвечал Баркер, — что мы избавились от пережитков, и отнюдь не только от тех, которые столь часто и с таким пафосом обличались как таковые. Плох пережиток великой нации, но еще хуже пережиток нации мелкой. Плохо, неправильно почитать свою страну, но почитать чужие страны — еще хуже. И так везде и повсюду, и так в сотне случаев. Плох пережиток монархии и дурен пережиток аристократии, но пережиток демократии — хуже всего.

Старый воин воззрился на него, слегка изумившись.

— Так что же, — сказал он, — стало быть, Англия покончила с демократией?

Баркер рассмеялся.

— Тут напрашивается парадокс, — заметил он. — Мы, собственно говоря, демократия из демократий. Мы стали деспотией. Вы не замечали, что исторически демократия непременно становится деспотией? Это называется загниванием демократии: на самом деле это лишь ее реализация. Кому это надо — разбираться, нумеровать, регистрировать и добиваться голоса несчетных Джонов Робинсонов, когда можно выбрать любого из этих Джонов с тем же самым интеллектом или с отсутствием оного — и дело с концом? Прежние республиканцы-идеалисты, бывало, основывали демократию, полагая, будто все люди одинаково умны. Однако же уверяю вас: прочная и здравая демократия базируется на том, что все люди — одинаковые болваны. Зачем выбирать из них кого-то? чем один лучше или хуже другого? Все, что нам требуется — это чтобы избранник не был клиническим преступником или клиническим недоумком, чтобы он мог скоренько проглядеть подложенные петиции и подписать кой-какие воззвания. Подумать только, времени-то было потрачено на споры о палате лордов; консерваторы говорили: да, ее нужно сохранить, ибо это — умная палата, а радикалы возражали: нет, ее нужно упразднить, ибо эта палата — глупая! И никому из них было невдомек, что глупостью-то своей она и хороша, ибо случайное сборище обычных людей — мало ли, у кого какая кровь? — они как раз и представляют собой великий демократический протест против нижней палаты, против вечного безобразия, преобладания аристократии талантов. Нынче мы установили в Англии новый порядок, и сбылись все смутные чаяния прежних государственных устройств: установили тусклый народный деспотизм без малейших иллюзий. Нам нужен один человек во главе государства — не оттого, что он где-то блещет или в чем-то виртуоз, а просто потому, что он — один, в отличие от своры болтунов. Наследственную монархию мы упразднили, дабы избежать наследственных болезней и т. п. Короля Англии нынче выбирают, как присяжного — списочным порядком. В остальном же мы установили тихий деспотизм, и ни малейшего протеста не последовало.

— То есть вы хотите сказать, — недоверчиво полуспросил президент, — что любой, кто подвернется, становится у вас деспотом, что он, стало быть, является у вас из алфавитных списков...?

— А почему бы и нет! — воскликнул Баркер. — Вспомним историю: не в половине ли случаев нации доверялись случайности — старший сын наследовал отцу; и в половине опять-таки случаев не обходилось ли это сравнительно сносно? Совершенное устройство невозможно; некоторое устройство необходимо. Все наследственные монархии полагались на удачу, и алфавитные монархии ничуть не хуже их. Вы как, найдете глубокое философское различие между Стюартами и Ганноверцами? Тогда и я берусь изыскать различие глубокое и философское между мрачным крахом буквы «А» и прочным успехом буквы «Б».

— И вы идете на такой риск? — спросил тот. — Избранник ваш может ведь оказаться тираном, циником, преступником.

— Идем, — безмятежно подтвердил Баркер. — Окажется он тираном — что ж, зато он обуздает добрую сотню тиранов. Окажется циником — будет править с толком, блюсти свой интерес. А преступником он если и окажется, то перестанет быть, получив власть взамен бедности. Выходит, с помощью деспотизма мы избавимся от одного преступника и опять-таки слегка обуздаем всех остальных.

Никарагуанский старец наклонился вперед со странным выражением в глазах.

— Моя черковь, сэр, — сказал он, — приучила меня уважать всякую веру, и я не хочу оскорблять вашу, как она ни фантастична. Но вы всерьез утверждаете, что готовы подчиниться случайному, какому угодно человеку, предполагая, что из него выйдет хороший деспот?

— Готов, — напрямик отвечал Баркер. — Пусть человек он нехороший, но деспот — хоть куда. Ибо когда дойдет до дела, до управленческой рутины, то он будет стремиться к элементарной справедливости. Разве не того же мы ждем от присяжных?

Старый президент усмехнулся.

— Ну что ж, — сказал он, — пожалуй, даже и нет у меня никаких особых возражений против вашей изумительной системы правления. Которое есть — то глубоко личное. Если б меня спросили, согласен ли я жить при такой системе, я бы разузнал, нельзя ли лучше пристроиться жабой в какой-нибудь канаве. Только и всего. Тут и спору нет, просто душа не прилет.

— По части души, — заметил Баркер, презрительно сдвинув брови, — я небольшой знаток, но если проникнуться интересами общечеловечности...

И вдруг мистер Оберон Квин так-таки вскочил на ноги.

— Попрошу вас, джентльмены, меня извинить, — сказал он, — но мне на минуточку надо бы на свежий воздух.

— Вот незадача-то, Оберон, — добродушно заметил Ламберт, — что, плохое самочувствие?

— Да не то чтобы плохое, — отозвался Оберон, явно сдерживаясь. — Нет, самочувствие скорее даже хорошее. Просто хочу поразмыслить над этими дивной прелести словами, только что произнесенными. «Если проникнуться... — да-да, именно так было сказано, — проникнуться интересами общественности...» Такую фразу так просто не прочувствуешь — тут надо побыть одному.

— Слушайте, по-моему, он вконец свихнулся, а? — спросил Ламберт, проводив его глазами.

Старый президент поглядел ему вслед, странно сощурившись.

— У этого человека, — сказал он, — как я понимаю, на уме одна издевка. Опасный это человек.

Ламберт от смеха чуть не уронил поднесенную ко рту макароны.

— Опасный! — хохотнул он. — Да что вы, сэр, это коротышка-то Квин?

— Тот человек опаснее всех, — заметил старик, не шелохнувшись, — у кого на уме одно, и только одно. Я и сам был когда-то опасен.

И он, вежливо улыбаясь, допил свой кофе, поднялся, раскланялся, удалился и утонул в тумане, снова густом и сумрачном. Через три дня стало известно, что он мирно скончался где-то в меблированных комнатухах Сохо.

А пока что в темных волнах тумана блуждала маленькая фигурка, сотрясаясь и приседая, — могло показаться, что от страха или от боли, а на самом деле от иной загадочной болезни, от одинокого хохота. Коротышка снова и снова повторял как можно внушительней: «Но если проникнуться интересами общественности...»

Глава III НАГОРНЫЙ ЮМОР

— У самого моря, за палисадничком чайных роз, — сказал Оберон Квин, — жил да был пастор-диссидент, и отродясь не бывал он на Уимблдонском теннисном турнире. А семье его было невдомек, о чем он тоскует и отчего у него такой нездешний взор. И однажды пришлось им горько раскаяться в своем небрежении, ибо они прослышали, что на берег выброшено мертвое тело, изуродованное до неузнаваемости, но все же в лакированных туфлях. Оказалось, что это мертвое тело не имеет ничего

общего с пастором; однако в кармане утопленника нашли обратный билет до Мейдстоуна.

Последовала короткая пауза; Квин и его приятели Баркер и Ламберт разгуливали по тощим газонам Кенсингтон-Гарденз. Затем Оберон заключил:

— Этот анекдот,— почтительно сказал он , — является испытанием чувства юмора.

Они пошли быстрее, и трава у склона холма стала погуще.

— На мой взгляд,— продолжал Оберон , — вы испытание выдержали, сочтя анекдот нестерпимо забавным; свидетельство тому — ваше молчание. Грубый хохот под стать лишь кабацкому юмору. Истинно же смешной анекдот подобает воспринимать безмолвно, как благословение. Ты почувствовал, что на тебя нечто нисходит, а, Баркер?

— Я уловил с у т ь , — не без высокомерия отозвался Баркер.

— И знаете,— с идиотским хихиканьем заявил К в и н , — у меня в запасе пропасть анекдотов едва ли не забавнее этого. Вот послушайте.

И, кхекнув, он начал:

— Как известно, доктор Поликарп был до чрезвычайности болезненным сторонником биметаллизма. «Смотрите-ка,— говорили люди с большим жизненным опытом, — вон идет самый болезненный биметаллист в Чeshire». Однажды этот отзыв достиг его ушей; на сей раз так отозвался о нем некий страховой агент, в лучах серо-буро-малинового заката. Поликарп повернулся к нему. «Ах, болезненный? — яростно воскликнул он . — Ах, болезненный! *Quis tulerit Gracchos de seditio querentes?*¹ Говорят, после этого ни один страховой агент к доктору Поликарпу близко не подступался.

Баркер мудро и просто кивнул. Ламберт лишь хмыкнул.

— А вот еще послушайте, — продолжал неистощимый К в и н . — В серо-зеленой горной ложбине дождливой Ирландии жила-была старая-престарая женщина, чей дядя на «Гребных гонках» всегда греб в кембриджской восьмерке. Но у себя, в серо-зеленой ложбине, она и слыхом об этом не слыхала; она и знать-то не знала, что бывают «Гребные гонки». Не ведала она также, что у нее имеется дядя. И ни про кого она ничего не ведала, слышала только про короля Георга Первого (а от кого и почему — даже не спрашивайте) и простодушно верила в его историческое прошлое. Но постепенно, соизволением Божиим, открылось, что дядя ее — на самом-то деле вовсе не ее дядя; и ее об этом оповестили. Она улыбнулась сквозь слезы и промолвила: «Добродетель — сама себе награда».

Снова воцарилось молчание, и затем Ламберт сказал:

— Что-то малость загадочно.

— А, загадочно? — воскликнул рассказчик. — Еще бы: под-

¹ Кто потерпит Гракхов, сетующих на мятеж? (лат.).

линный юмор вообще загадочен. Вы заметили главное, что случилось в девятнадцатом и двадцатом веках?

— Нет, а что такое? — кратко полюбопытствовал Ламберт.

— А это очень просто, — отвечал тот. — Доныне шутка не была шуткой, если ее не понимали. Нынче же шутка не есть шутка, если ее понимают. Да, юмор, друзья мои, это последняя святыня человечества. И последнее, чего вы до смерти боитесь. Смотрите-ка на это дерево.

Собеседники вяло покосились на бук, который нависал над их тропой.

— Так вот, — сказал мистер Квин, — скажи я, что вы не осознаете великих научных истин, явленных этим деревом, хотя любой мало-мальски умный человек их осознает, — что вы подумаете или скажете? Вы меня сочтете всего-то навсего ученым сумасбродом с какой-то теорией о растительных клетках. Если я скажу, что как же вы не видите в этом дереве живого свидетельства гнусных злоупотреблений местных властей, вы на меня попросту наплюете: еще, мол, один полоумный социалист выискался — с завиральными идейками насчет городских парков. А скажи я, что вы сверхкощунственно не замечаете в этом дереве новой религии, сугубого откровения Господня, — тут вы меня зачислите в мистики, и дело с концом. Но если, — и тут он воздел руку, — если я скажу, что вы не понимаете, в чем юмор этого дерева, а я понимаю, в чем его юмор, то Боже ты мой! — да вы в ногах у меня будете ползать.

Он эффектно помолчал и продолжил:

— Да; чувство юмора, причудливое и тонкое, — оно и есть новая религия человечества! Будут еще ради нее свершаться подвиги аскезы! И верить его, это чувство, станут упражнениями, духовными упражнениями. Спрошено будет: «Чувствуете ли вы юмор этих чугунных перил?» или: «Ощущаете ли вы юмор этого пшеничного поля?» «Вы чувствуете юмор звезд? А юмор закатов — ощущаете?» Ах, как часто я хохотал до упаду, засыпаячи от смеха при виде лилового заката!

— Вот именно, — сказал мистер Баркер, по-умному смутившись.

— Дайте-ка я расскажу вам еще анекдот. Частенько случается, что парламентарии от Эссекса не слишком-то пунктуальны. Может статься, самый не слишком пунктуальный парламентарий от Эссекса был Джеймс Уилсон, который, срывая мак, промолвил...

Но Ламберт вдруг обернулся и воткнул свою трость в землю в знак протеста.

— Оберон, — сказал он, — заткнись, пожалуйста! С меня хватит! Чепуха все это!

И Квин, и Баркер были несколько ошарашены: слова его прыснули, будто пена из-под наконец-то вылетевшей пробки.

— Стало бы ть, — начал Квин, — у тебя нет ни...

— Плевать я хотел сто раз, — яростно выговорил Ламберт, — есть или нет у меня «тонкого чувства юмора». Не желаю больше терпеть. Перестань валять дурака. Нет ничего смешного в твоих чертовых анекдотах, и ты это знаешь не хуже меня!

— Ну да, — не спеша согласился Квин, — что правда, то правда: я, по природе своей тугодум, ничего смешного в них не вижу. Зато Баркер, он меня куда посмышленей — и ему было смешно.

Баркер покраснел, как рак, однако же продолжал всматриваться в даль.

— Осел, и больше ты никто, — сказал Ламберт. — Ну, почему ты не можешь, как люди? Насмеши толком или придержи язык. Когда клоун в дурацкой пантомиме садится на свою шляпу — и то куда смешнее.

Квин пристально поглядел на него. Они взошли на гребень холма, и ветер посвистывал в ушах.

— Ламберт, — сказал Оберон, — ты большой человек, ты достойный муж, хотя, глядя на тебя, чтоб мне треснуть, этого не подумаешь. Мало того. Ты — великий революционер, ты — избавитель мира, и я надеюсь узреть твой мраморный бюст промежду Лютером и Дантоном, желательно, как нынче, со шляпой набекрень. Восходя на эту гору, я сказал, что новый юмор — последняя из человеческих религий. Ты же объявил его последним из предрассудков. Однако позволь тебя круто предостеречь. Будь осторожнее, предлагая мне выкинуть что-нибудь *outré*¹, в подражание, скажем, клоуну, сесту, положим, на свою шляпу. Ибо я из тех людей, которым душу не тешит ничего, кроме дурачества. И за такую выходку я с тебя и двух пенсов не возьму.

— Ну и давай, в чем же дело, — молвил Ламберт, нетерпеливо размахивая тостью. — Все будет смешнее, чем та чепуха, что вы мелете наперебой с Баркером.

Квин, стоя на самой вершине холма, простер длань к главной аллее Кенсингтон-Гарденз.

— За двести ярдов отсюда, — сказал он, — разгуливают ваши светские знакомцы, и делать им нечего, кроме как глазеть на вас и друг на друга. А мы стоим на возвышении под открытым небом, на фантазмагорическом плато, на Синае, воздвигнутом юмором. Мы — на кафедре, а хотите — на просцениуме, залитом солнечным светом, мы видны половине Лондона. Поосторожнее с предложениями! Ибо во мне таится безумие более, нежели мученическое, безумие полнейшей праздности.

— Не возьму я в толк, о чем ты болтаешь, — презрительно отозвался Ламберт. — Ей-богу, чем трепаться, лучше бы ты поторчал вверх ногами, авось в твоей дурацкой башке что-нибудь встанет на место!

¹ Необычное (*фр.*).

— Оберон! Ради Бога! . . . — вскрикнул Баркер, кидаясь к нему; но было поздно. На них обернулись со всех скамеек и всех аллей. Гуляки останавливались и толпились; а яркое солнце обрисовывало всю сцену в синем, зеленом и черном цветах, словно рисунок в детском альбоме. На вершине невысокого холма мистер Оберон Квин довольно ловко стоял на голове, помахивая ногами в лакированных туфлях.

— Ради всего святого, Квин, встань на ноги и не будь идиотом! — воскликнул Баркер, заламывая руки. — Кругом же весь город соберется!

— Да правда, встань ты на ноги, честное слово, — сказал Ламберт, которому было и смешно, и противно. — Ну, пошутил я: давай вставай.

Оберон прыжком встал на ноги, подбросил шляпу выше древесных крон и стал прыгать на одной ноге, сохраняя серьезнейшее выражение лица. Баркер в отчаянии топнул ногой.

— Слушай, Баркер, пойдем домой, а он пусть резвится, — сказал Ламберт. — Твоя разлюбезная полиция за ним как-нибудь приглядит. Да вон они уже идут!

Двое чинных мужчин в строгих униформах поднимались по склону холма. Один держал в руке бумажный свиток.

— Берите его, начальник, вот он, — весело сказал Ламберт, — а мы за него не в ответе.

Полисмен смерил спокойным взглядом скачущего Квина.

— Нет, джентльмены, — сказал он, — мы пришли не затем, зачем вы нас, кажется, ожидаете. Нас направило начальство оповестить об избрании Его Величества Короля. Обыкновение, унаследованное от старого режима, требует, чтобы весть об избрании была принесена новому самодержцу немедленно, где бы он ни находился: вот мы и нашли вас в Кенсингтон-Гарденз.

Глаза Баркера сверкнули на побледневшем лице. Всю жизнь его снесало честолюбие. С туповатым, головным великодушием он и вправду уверовал в алфавитный метод избрания деспота. Но неожиданное предположение, что выбор может пасть на него, было поразительно, и он зашатался от радости.

— Который из нас . . . — начал он, но полисмен почтительно прервал его.

— Не вы, сэр, говорю с грустью. Извините за откровенность, но мы знаем все ваши заслуги перед правительством, и были бы несказанно рады, если бы. . . Но выбор пал. . .

— Господи Боже ты мой! — воскликнул Ламберт, отскочив на два шага. — Только не я! Не говорите мне, что я — самодержец всяя Руси!

— Нет, сэр, — сказал полисмен, кашлянув и посмотрев на Оберона, сунувшего голову между колен и мычавшего по-коровьему, — джентльмен, которого нам надлежит поздравить, в настоящее время — э-э-э-э, так сказать, занят.

— Неужели Квин! — крикнул Баркер, подскочив к избраннику. — Не может этого быть! Оберон, ради Бога, одумайся! Ты избран королем!

Мистер Квин с головою между колен скромно ответил:

— Я недостойн избрания. Могу ли я, подумавши, сравниться с былыми венценосцами Британии? Единственное, на что я уповаю — это что впервые в истории Англии монарх изливает душу своему народу в такой позиции. В некотором смысле это может мне обеспечить, цитируя мое юношеское стихотворение

То благородство, что дает
Не доблесть, мудрость и не род
Воителям, древнейшим королям...

Короче, сознание, проясненное данной позицией...

Ламберт и Баркер бросились к нему.

— Ты что, не понял? — крикнул Ламберт. — Это тебе не шутки. Тебя взаправду выбрали королем. Ну и натворили же они!..

— Великие епископы средних веков, — объявил Квин, брыкаясь, когда его волокли вниз по склону чуть ли не вниз головой, — обыкновенно трикраты отказывались от чести избрания и затем принимали его. Я с этими великими людьми породнюсь наоборот: трикраты приму избрание, а уж потом откажусь. Ох, и потружусь же я для тебя, мой добрый народ! Ну, ты у меня посмеешься!

К этому времени его уже перевернули как следует, и оба спутника понапрасну пытались его образумить.

— Не ты ли, Уилфрид Ламберт, — возражал он, — объяснил мне, что больше будет от меня толку, если я стану насмешничать более доступным манером? Вот и надо быть как можно доступнее, раз уж я вдруг сделался всенародным любимцем. Сержант, — продолжал он, обращаясь к обалделому вестнику, — каковы церемонии, сопутствующие моему вступлению в должность и явлению в городе?

— Церемонии, — смущенно отвечал тот, — некоторое, знаете ли, время были как бы отменены, так что...

Оберон Квин принялся снимать сюртук.

— Любая церемония, — сказал он, — требует, чтобы все было шиворот-навыворот. Так мужчины, изображая из себя священников или судей, надевают женское платье. Будьте любезны, подайте мне этот сюртук, — и он вручил его вестнику.

— Но, Ваше величество, — пролепетал полисмен, повертев сюртук в руках и вконец растерявшись, — вы же его так наденете задом наперед!

— А можно бы и шиворот-навыворот, — спокойно заметил король, — что поделать, выбор у нас невелик. Возглавьте процессию.

Для Баркера и Ламберта остаток дня преобразился в сутолочную, кошмарную неразбериху. Монарх, надев сюртук задом наперед, шествовал по улицам, на которых его ожидали, к древнему Кенсингтонскому дворцу, королевской резиденции. На пути его кучки людей превращались в толпы, и странными звуками приветствовали они самодержца. Баркер понемногу отставал; в голове у него мутилось, а толпы становились все гуще, и галдеж их все необычнее. Когда король достиг рыночной площади у собора, Баркер, оставшись далеко позади, узнал об этом безошибочно, ибо таким восторженным гвалтом не встречали еще никогда никого из царей земных.

Книга вторая

Глава I ХАРТИЯ ПРЕДМЕСТИЙ

Ламберт стоял в замешательстве у дверей королевских покоев, посреди развеселой суматохи. Наконец он пошел неверными шагами на улицу и едва не столкнулся с Джеймсом Баркером.

— Ты куда? — спросил его Ламберт.

— Да надо же прекратить это безобразие, — отвечал Баркер на ходу. Он ворвался в покои, хлопнув дверью, швырнул на стол свой шегольской цилиндр и раскрыл было рот, но король опередил его:

— Позвольте-ка ваш цилиндр.

Молодой государственный муж невольно повиновался; при этом рука его дрожала. Король поставил цилиндр на сиденье трона и уселся сверху, сплющив тулью.

— Диковатый старинный обывчай, — пояснил он, как ни в чем не бывало. — Лишь только представитель Дома Баркеров является к монарху засвидетельствовать преданность, шляпа его немедленно приводится в негодность. Таким образом как бы увековечивается акт почтительного снятия шляпы. Это символический намек: доколе она шляпа не появится снова на вашей голове (а я твердо убежден, что это маловероятно), дотоле Дом Баркеров пребудет верен нашей английской короне.

Баркер стоял, закусив губу, со сжатыми кулаками.

— Твои шуточки, — начал он, — и попрание моей собственности... — у него вырвалось ругательство, и он осекся.

— Продолжайте, продолжайте, — разрешил король, великодушно махнув рукой.

— Что все это значит? — воскликнул Баркер, страстным жестом взывая к рассудку. — Ты не сумали сошел?

— Нимало, — приятно улыбнувшись, возразил король. — Сумасшедшие — народ серьезный; они и с ума-то сходят за недостатком юмора. Вот вы, например, Джеймс, подозрительно серьезны.

— Ну что тебе стоит не дурачиться на людях, а? — увещевал Баркер. — Денег у тебя хватает, домов и дворцов сколько угодно — валяй дурака взаперти, но в интересах общественности надо...

— Звучит, как злонамеренная эпиграмма, — заметил король и грустно погрозил пальцем, — однако же воздержитесь по мере сил от ваших блистательных дерзостей. Ваш вопрос — почему я не валяю дурака взаперти — мне не вполне ясен. Зато ответ на него ясен донельзя. Не взаперти, потому что смешнее на людях. Вы, кажется, полагаете, что забавнее всего чинно держаться на улицах и на торжественных обедах, а у себя дома, возле камина (вы правы — камин мне по средствам) смешить гостей до упаду. Но так все и делают. Возьмите любого — на людях серьезен, а на дому — юморист. Чувство юмора подсказывает мне, что надо бы наоборот, что надо быть шутком на людях и степенным на дому. Я хочу превратить все государственные занятия, все парламенты, коронации и т. п. в дурацкое старомодное представление. А с другой стороны — каждый день на пару часов запереться в чуланчике и уж там, наедине с собой, до упаду серьезничать.

Баркер тем временем расхаживал по чертогу, и фалды его сюртука взлетали, как черноперые крылья.

— Ну что ж, ты погубишь страну, только и всего, — резко проговорил он.

— Ай-яй-яй, — заметил Оберон, — похоже на то, что десятивековая традиция нарушена, что Дом Баркеров восстал против английской короны. Не без горечи, хотя вид ваш меня восхищает, придется мне обязать вас водрузить на голову останки цилиндра, но...

— Вот чего не могу понять, — прервал его Баркер, вскинув руки на американский манер, — как же это тебе все нипочем, кроме собственных выходок?

Король обронил сплюснутый цилиндр и подошел к Баркеру, пристально разглядывая его.

— Я дал себе нечто вроде з а р о к а, — сказал он, — ни о чем не говорить всерьез: ведь серьезный разговор означает всего-навсего дурацкие ответы на дурацкие вопросы. Однако же не к лицу сильному обижать малых сих, а политиков и подавно. А то выходит, что

С презрительной ухмылкой ты
Глядишь на Божью тварь, —

выражаясь, с вашего позволения, богословски. И вот по некоторой причине, мне совершенно непонятной, я, оказывается, вынужден ответить на ваш вопрос и вдобавок вообразить, будто на свете есть хоть что-нибудь серьезное. Вы спрашиваете меня, как это мне все нипочем. А можете вы мне сказать ради всего святого, в которое вы ни на грош не верите, что именно должно мне быть дорого?

— Ты что ж, не признаешь общественных потребностей? — воскликнул Баркер. — Да как это может быть, чтобы человек твоего ума не понимал, что в общих интересах...

— Да как это может быть, чтобы вы не верили Заратустре? Вам что же, Мамбо-Джамбо не указ? — почти вдохновенно возразил король. — Неужели же человек вашего, так сказать, ума станет предьявлять мне прописи ранневикторианской этики? Мой облик и поведение, чего доброго, навели вас на мысль, будто я — тот же принц-консорт, двойник супруга незабвенной королевы? Вы, ей-богу, ошиблись. Убедил ли вас Герберт Спенсер — хоть кого-нибудь он убедил? Убедил ли на один безумный миг самого себя, что индивиду, в своих же интересах, надлежит проникнуться интересами общественными? Вы что, и вправду верите, что если вы — плохой столоначальник, то вы на целый дюйм или полдюйма ближе к гильотине, чем рыболов к утоплению — а вдруг его утащит в реку огромная щука? Герберт Спенсер не воровал по той простой причине, по которой не носил в носу кольца: он был английский джентльмен, у него были иные вкусы. Я тоже английский джентльмен, и у меня тоже иные вкусы, нежели у него. Ему была любезна философия. А мне любезно искусство. Ему понравилось написать десяток книг о природе человеческого сообщества. А мне нравится, когда лорд-гофмейстер шествует передо мной, вихляя бумажным хвостом, прицепленным к фалдам. Таков мой юмор. Я вам ответил? Но так или иначе, а нынче я сказал свое последнее серьезное слово — полагаю, что и вообще в нашей Стране Дураков мне больше серьезничать не придется. Впрочем, я надеюсь, что нынешняя наша беседа продлится еще долго и на многое нас подвигнет, но остаток ее лично я буду вести на новом языке, мною разработанном, — путем быстрых знакообразующих движений моей левой ноги.

И он закружился по комнате с самоуглубленным выражением. Баркер бегал за ним, вопрошая и умоляя, но ответы получал лишь на новом языке. Он вышел из покоев, заново хлопнув дверью, и голова у него кружилась, словно он вышел на берег из волн морских. Он прошелся по улицам, и вдруг оказалась возле ресторана Чикконани: ему почему-то припомнилась зеленая нездешняя фигура латиноамериканского генерала, как он видел его на прощанье у дверей, и слышались его слова: «...И спору нет, просто душа не приемлет».

А король прекратил свой танец с видом человека, утомленного делами. Он надел пальто, закурил сигару и вышел в лиловые сумерки.

— Пойду-ка я, — сказал он, — смешаюсь с моим народом.

Он быстро прошел улицей по соседству от Ноттинг-Хилла, и вдруг что-то твердое с размаху ткнулось ему в живот. Он остановился, вставил в глаз монокль и оглядел мальчика с деревянным мечом, в бумажном шлеме, восторженно-обра-

дованного, как всякий ребенок, когда он кого-нибудь из всех сил ударит. Король задумчиво разглядывал юного злоумышленника; наконец он извлек из нагрудного кармана блокнот.

— Тут у меня кой-какие наброски предсмертной речи, — сказал он, перелистывая страницы, — ага, вот: предсмертная речь на случай политического убийства; она же, если убийца — прежний друг, хм, хм. Предсмертная речь ввиду гибели от руки обманутого мужа (покаянная). Предсмертная речь по такому же случаю (циническая). Я не очень понимаю, какая в данной ситуации...

— Я — властитель замка! — сердито воскликнул мальчик, чрезвычайно довольный собой, всем остальным и ничем в частности.

Король был человек добросердечный, и детей он очень любил: что может быть смешнее детей!

— Д и т я, — сказала она, — я рад видеть такого стойкого защитника старинной неприступной твердыни Ноттинг-Хилла. Гляди, гляди ночами на свою гору, малыш, смотри, как она возносится к звездам — древняя, одинокая и донельзя ноттинговая, чтобы не сказать хиллая. И пока ты готов погибнуть за это священное возвышение, пусть даже его обступят все несметные полчища Бейзуотера...

Король вдруг задумался, и глаза его просияли.

— А ч т о, — сказал он, — может, ничего великолепнее и не придумаешь. Возрождение величия былых средневековых городов силами наших районов и предместий, а? Клэпам с городской стражей. Уимблдон, обнесенный городской стеной. Сэрбитон бьет в набат, призывая горожан к оружию. Уэст-Хемпстед кидается в битву под своим знаменем. А? Я, король, говорю: да будет так! — И, поспешно вознаградив мальчишку полукроной со словами «На оборону Ноттинг-Хилла», он сломя голову помчался во дворец, и зеваки не отставали от него всю дорогу. У себя в кабинете, заказав чашку кофе, он погрузился в размышления, и наконец, когда проект был всесторонне обдуман, он послал за конюшим, капитаном Баулером, который ему сразу полубился своими бакенбардами.

— Баулер, — спросил он, — не числюсь ли я почетным членом какого-нибудь общества исторических изысканий?

— Как же, сэ р, — отвечивал Баулер, степенно потирая нос, — вы являетесь членом общества «Сподвижников Египетского Возрождения», клуба «Тевтонских Гробокопателей», а также «Общества реставрации лондонских древностей» и...

— Превосходно, — прервал его король. — Лондонские древности меня устраивают. Ступайте же в «Общество реставрации лондонских древностей», призовите их секретаря и заместителя секретаря, их президента и вице-президента и скажите им: «Король Англии горд, но почетный член «Общества реставрации

лондонских древностей» горделивее королей. Нельзя ли ему обнародовать перед почтенным собранием некоторые открытия касательно забытых и незабвенных традиций лондонских предместий (ныне — городских районов)? Открытия эти могут вызвать смуту; они разожгут тлеющие воспоминания, разбередят старые раны Шепердс-Буша и Бейзуотера, Пимлико и Южного Кенсингтона. Король колеблется, но тверд почетный член. И вот — он готов предстать перед вами, верный принесенным им при вступлении клятвам; во имя Семи Священных Котов, Кривоколенной Кочерги, а также Искуса Магического Мига (простите, если я вас перепутал с «Клан-на-Гэлем» или каким-нибудь другим клубом, в который вступал) позвольте ему прочитать на вашем очередном заседании доклад под названием «Войны лондонских предместий». Оповестите об этом Общество, Баулер. И запомните досконально все, что я вам сказал: это крайне важно, а то я уже не помню ни единого слова, так что пришлите-ка мне еще чашечку кофе и несколько сигар — из тех, что у нас заготовлены для пошляков и дельцов. А я буду писать доклад.

«Общество реставрации лондонских древностей» собралось через месяц в крытом жестью зале где-то на задворках, на южной окраине Лондона. Куча народу кое-как расселась под неверными газовыми светильниками, и наконец прибыл король, потный и приветливый. Его появление за маленьким столиком, украшенным стаканом воды, было встречено почтительным гулом.

Председательствующий (мистер Хаггинс) выразил уверенность в том, что все члены Общества были в свое время польщены выступлениями столь именитых докладчиков (внимание, внимание!), как мистер Бертон (внимание, внимание!), мистер Кембридж, профессор Королек (бурные, продолжительные аплодисменты), наш давний друг Питер Джессоп, сэр Уильям Уайт (громкий смех) и других достопримечательных лиц — тем более что никто из них не ударил в грязь лицом (аплодисменты). Но в силу некоторых привходящих обстоятельств данный случай выходит из ряда вон (внимание, внимание!). Насколько он, председатель, помнит, а что касается «Общества реставрации лондонских древностей», то он помнит очень многое (бурные аплодисменты), ни один из докладчиков покамест не носил королевского титула. Короче, он предоставляет слово королю Оберону, который пожелал выступить перед Обществом с небольшим сообщением.

Король начал с того, что его речь может рассматриваться как провозглашение новой общегосударственной политики.

— Я чувствую, — сказал он, — что в этот звездный час моей жизни я смогу открыть сердце лишь членам «Общества реставрации лондонских древностей» (аплодисменты). Если весь мир обратится против моей политики, если поднимется против нее

волна народного негодования (нет! нет!), то лишь здесь, среди моих доблестных реставраторов, я сумею, с мечом в руках, встретить судьбу лицом к лицу (бурные аплодисменты).

Его Величество разъяснил затем, что, невозвратно дряхлея, он решил отдать свои последние силы возрождению и обострению чувства местного патриотизма в лондонских районах. Многим ли нынче памятны легенды их собственных предместий? Как много таких, что даже и не слыхивали о подлинном происхождении Уондз-уортского Улюлюкания! А взять молодое поколение Челси — кому из них случалось отхватить старинную челсийскую чечетку? В Пимлико больше не пимликуют пимлей. А в Баттерси почти совсем не баттерсеют.

После недоуменного молчания чей-то голос выкрикнул: «Позор!» Король продолжал:

— Будучи призван, хоть и не по заслугам, на высший пост, я решил, поелику возможно, небрежение это пресечь. Нет, я не желаю военной славы. Нет, я не стану состязаться с законодателями — ни с Юстинианом, ниже с Альфредом. Но если я войду в историю, спасаячи старинные английские обычаи, если потомки скажут, что благодаря скромному властителю в Фулеме по-прежнему надесятеро режут репу, а в Патни приходской священник выбривает полголовы, то я почтительно и бесстрашно взгляну в глаза своим великим пращурам, нисходя в усыпальницу королей.

Король помедлил, явно взволнованный, но собрался с силами и продолжал:

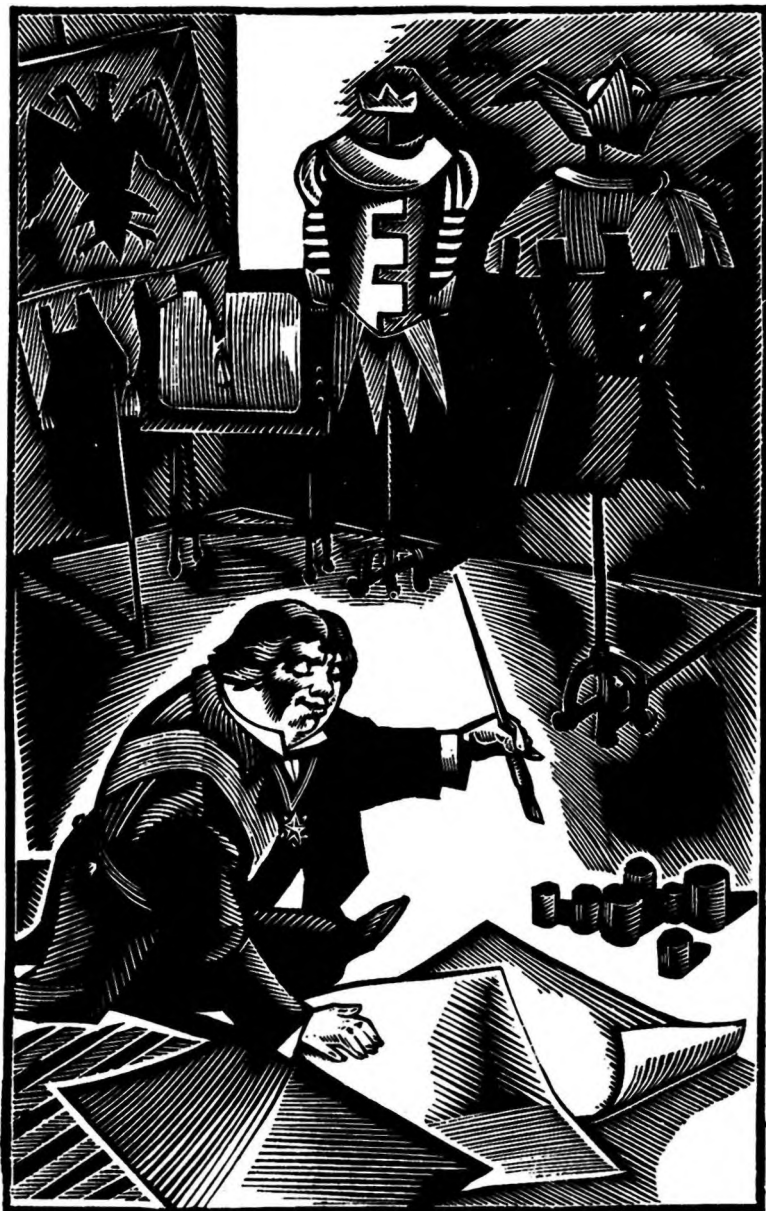
— Вам-то нет нужды объяснять, все вы, за редкими исключениями, знаете величественное происхождение этих легенд. Да и сами названия наших предместий о том свидетельствуют. Покуда Хаммерсмит зовется Хаммерсмитом, то есть кузнечной, дотоле тамошний народ пребудет под защитой своего изначального героя, кузнеца Блэксмита, который возглавил натиск простого бродвейского люда на рыцарство Кенсингтона и сокрушил их незыблемый строй на том месте, которое и поныне, в знак почтения к пролитой голубой крови, называется Кенсингтонские Грязи. И хаммерсмитцы никогда не забудут, что и самое имя Кенсингтона явилось из уст их хаммерсмитского героя. Ибо на примирительном пиршестве, устроенном после войны, когда высокомерные аристократы отказались подпевать бродвейским песням (а песни эти и поныне грубоватые и простецкие), великий вождь простонародья промолвил незамысловатые, но золотые слова: «Птичек, которые могут петь (по-древнему — «кан синг») в тон, но не поют, надо заставить петь — они у нас кан синг в тон!» С тех пор рыцарей восточных предместий называли кансингами или кенсингами. Но и вы не обделены героической памятью, о кенсингтонцы! Вы показали, что можете петь (по-древнему — «кан синг») — и петь боевые песни! Как ни мрачен был тот день, день Кенсингтонских Грязей, но история не забудет трех

рыцарей (по-древнему — Найтов), оборонявших ваше беспорядочное отступление от Гайд-Парка (потому и Гайд, что по-древнеанглийски «гайд» значит прятаться) — и в честь этих трех Найтов мост и назван был Найтсбридж, Рыцарский мост. И не забудется день, когда вы, закаленные в горниле бедствий, очистившись от аристократических наслоений, потеснили с мечом в руке мило за милей владетелей Хаммерсмита и наконец разгромили их наголову в битве столь кровавой, что одни лишь хищные птицы даровали ей свое имя. С мрачной иронией люди называли это место Рэвенскорт, воронье гнездовье. Надеюсь, Я не оскорбил патриотические чувства Бейзуотера, мрачно-горделивых бромптонцев или другие героические предместья тем, что привел лишь эти два примера. Я выбрал не потому, что они славнее иных, но отчасти по личной причине (я сам — потомок одного из героев Найтсбриджа), отчасти же затем, что я в истории дилетант, сам это сознаю и не дерзаю углубляться в тайны, сокрытые древностью. Не мне судить, кто прав в ученом споре профессора Хрюкка и сэра Уильяма Уиски: то ли Ноттинг-Хилл — это бывшие Енотники (должно быть, леса, покрывавшие эту возвышенность, изобиловали поименованными пушными зверьками), то ли искаженная редукция фразы «Ну, тут никто не хил», ибо древние полагали, что здесь находится рай земной. И если уж Подкинс и Джосси не могут точно определить границы Западного Кенсингтона (а говорят, они были начертаны бычьей кровью), то и мне не стыдно выразить аналогичные сомнения. И позволите больше не вдаваться в историю; лучше окажите мне поддержку в решении насущных проблем. Неужто же сгинет бесследно прежний дух лондонских предместий? И у кондукторов наших omnibusов, и у наших полицейских навеки погаснет в очах тот смутный свет, который мы столь часто замечаем,

мерцающая память
О давнишних невзгодах и
О битвах дней былых,

как писал один малоизвестный поэт, друг моей юности? Вот я и решил, как было сказано, по мере возможности сберечь нынешний мечтательный блеск в очах полицейских и кондукторов. Что за государство без мечтаний? Предлагаю же я нижеследующее:

— Наутро, в двадцать пять минут одиннадцатого, если я сподоблюсь дожить до этого времени, я издам Указ. Указ этот — дело всей моей жизни, и он почти наполовину готов. С помощью виски и содовой воды я нынче в ночь допишу его до конца, и завтра мой народ ему внемлет. Все те районы, в которых вы родились и где уповаете сложить кости, да воздвигнутся в своем прежнем великолепии — Хаммерсмит, Кенсингтон, Бейзуотер, Челси, Баттерси, Клэпам, Балэм и не менее сотни прочих. Каждый район, он же предместье, немедля выстроит городскую



стену, и ворота в ней будут запираяться на закате. У всех будет городская стража, герб, и если на то пошло, боевой клич. Я, впрочем, не буду входить в подробности, слишком переполнено чувствами мое сердце. Тем более что все подробности будут перечислены в Указе. Все вы подлежите зачислению в предместную стражу, и созывать вас будет не что иное, как набат: значение этого слова мне пока что не удалось установить. Лично я полагаю, что набат — это некий государственный чиновник, очень хорошо оплачиваемый. Итак, если где-нибудь у вас в доме сыщется что-нибудь вроде алебарды, то упражняйтесь, непременно упражняйтесь с нею где-нибудь в садике.

Тут король от избытка чувств уронил лицо в платок и поспешно удалился с кафедры. Члены Общества — все, как о д и н , — привстали в неопишемом смятении. Кое-кто из них полиловел от возмущения; другие полиловели от смеха: но большей частью никто ничего не понял. Говорят, будто некто, бледный, с горящими голубыми глазами, не спускал взгляда с короля, а когда тот закончил речь, из зала выбежал рыжеволосый мальчишка.

Глава II

СОВЕЩАНИЕ ЛОРД-МЭРОВ

Наутро король проснулся спозаранок и сбежал вниз, прыгая через две ступеньки, как мальчишка. Он поспешно, однако же не без аппетита позавтракал, призвал одного из высших дворцовых сановников и вручил ему шиллинг.

— Ступайте, — сказал о н , — и купите мне набор красок ценою в один шиллинг, который продается, если память мне не изменяет, в лавочке на углу второго по счету и весьма грязноватого переулка, кое-как выводящего из Рочестер-роуд. Хозяину королевских гончих псов уже велено в достатке снабдить меня картоном. Я решил, не знаю почему, что это его призвание.

Целое утро король забавлялся, благо и картона, и красок вполне хватало. Он придумывал облачения и гербы для новоявленных лондонских городов. Не однажды приходилось ему не на шутку задуматься, и он ощутил тяжкое бремя ответственности.

— Вот чего не могу понять, — сказал он сам себе, — это почему считается, будто деревенские названия поэтичней лондонских. Доморощенные романтики едут поездами и вылезают на станциях, именуемых «Дыра на дыре» или «Плюх в лужу». А между тем они могли бы прийти своими ногами и даже поселиться в районе с загадочным, богоизбранным названием «Лес святого Иоанна». Оно, конечно, меня в Лес святого Иоанна

дуриком не заманишь: я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев. Да, я пуглив. Но ведь это все можно пережить и не выходя из вагона, а благоговейно оставаясь в пригородном поезде.

Он задумчиво переиначил свой набросок головного убора для алебарщика из Леса святого Иоанна, выполненного в черном и красном: сосновая лапа и орлиные перья. И пододвинул к себе другой обрезок картона.

— Подумаем лучше о чем-нибудь не таком суровом, — сказал он. — Вот, например, Лавандовая гора! Где, в каких долах и весях могла бы родиться такая благоуханная мысль? Это же подумать — целая гора лаванды, лиловая-лиловая, вздымается к серебряным небесам и наполняет наш нюх небывалым благоуханием жизни — лиловая, пахучая гора! Правда, разъезжаячи по тамошним местам на полупенсовом трамвае, я никакой горы не приметил; но это вздор, она непременно там, и недаром некий поэт наделил ее столь поэтическим именем. И уж во всяком случае этого предостаточно, чтобы обязать всех в окрестностях Клэпамского железнодорожного узла носить пышные лиловые плюмажи (в напоминанье о растительной ипостаси лаванды). У меня в конце-то концов везде так. На юге Лондона, в Саутфилдз, я и вовсе не бывал, но думаю, что символические изображения лимонов и олив под стать субтропическим наклонностям тамошних обывателей. Или взять тот же Пасторский Луг: опять-таки не довелось мне там побывать, повидать Луг или хотя бы Пастора, однако же бледно-зеленая пасторская шляпа с загнутыми полями наверняка придется ко двору. Нет, работать надо вслепую, надо больше доверять собственным инстинктам. Нешуточная любовь, которую я питаю к своим народам, разумеется же, не позволит мне нанести урон их вышним устремленьям или оскорбить их великие традиции.

Пока он вслух размышлял в этом духе, двери растворились и глашатай возвестил о прибытии мистера Баркера и мистера Ламберта.

Мистер Баркер и мистер Ламберт не слишком удивились, увидев короля на полу посреди кипы акварельных эскизов. Они не слишком удивились, потому что прошлый раз он тоже сидел на полу посреди груды кубиков, а в позапрошлый — среди вороха никуда не годных бумажных голубков. Однако бормотанье царственного инфанта, ползавшего среди инфантильного хаоса, на этот раз настораживало.

Поначалу-то они пропускали его мимо ушей, понимая, что вздор этот ровным счетом ничего не значит. Но потом Джеймса Баркера исподволь обуяла ужасная мысль. Он подумал — а вдруг да его бормотанье на этот раз не пустяковое.

— Ради Бога, Оберон, — внезапно выкрикнул он, нарушая тишину королевских покоев, — ты что же, взаправду хочешь за-

вести городскую стражу, выстроить городские стены и тому подобное?

— Конечно, в заправду, — отвечало более чем безмятежное дитя. — А почему бы мне этого и не сделать? Я в точности руководствовался твоими политическими принципами. Знаешь ли, что я совершил, Баркер? Я вел себя как подлинный баркерианец. Я... но, пожалуй, тебя едва ли заинтересует повесть о моем баркерианстве.

— Да ну же, ну, говори! — воскликнул Баркер.

— Ага, оказывается, повесть о моем баркерианстве, — спокойно повторил Оберон, — тебя не только заинтересовала, но растревожила. А тревожиться-то нечего, все очень просто. Дело в том, что лорд-мэров отныне будут избирать по тому же принципу, который вы утвердили для избрания самодержца. Согласно моей хартии, всякий лорд-мэр всякого града назначается алфавитно-лотерейным порядком. Так что спите и далее, о мой Баркер, все тем же младенческим сном.

Взор Баркера вспыхнул негодованием.

— Но Господи же, Квин, ты неужели не понимаешь, что это совершенно разные вещи? На самом веру это не так уж и существенно, потому что весь смысл самодержавия — просто-напросто некоторое единение! Но если везде и повсюду, черт побери, у власти окажутся, черт бы их взял...

— Я понял, о чем ты печешься, — спокойно проговорил король Оберон. — Ты опасешься, что твоими дарованиями пренебрегут. Так внимай же! — И он выпрямился донельзя величаво. — Сим я торжественно дарую моему верноподданному вассалу Джеймсу Баркеру особую и сугубую милость — вопреки букве и духу Хартии Предместий я назначаю его полномочным и несменяемым лорд-мэром Южного Кенсингтона. Вот так, любезный Джеймс, получи по заслугам. Засим — всего доброго.

— Однако... — начал Баркер.

— Аудиенция окончена, лорд-мэр, — с улыбкой прервал его король.

Видно, он был уверен в будущем, но оправдало ли будущее его уверенность — вопрос сложный. «Великая декларация Хартии Свободных Предместий» состоялась своим чередом в то же утро, и афиши с текстом Хартии были расклеены по стенам дворца, и сам король воодушевленно помогал их расклеивать, отбегал на мостовую, свешивал голову набок и оценивал, какова афиша. Ее, Хартию, носили по главным улицам рекламщики, и короля едва-едва удержали от соучастия, когда он уже влез между двух щитов, Главный Постельничий и капитан Баулер. Его приходилось успокаивать буквально как ребенка.

Принята была Хартия Предместий, мягко говоря, неоднозначно. В каком-то смысле она стала довольно популярной. Во многих счастливых семьях это достопримечательное законоуло-

жение читали вслух зимними вечерами под радостный хохот — после того, разумеется, как были изучены до последней буквы сочинения нашего странного, но бессмертного древнего классика У.-У. Джекобса. Но когда обнаружилось, что король самым серьезным образом требует исполнения своих предписаний и настаивает, чтобы эти фантастические предместья с набатами и городской стражей были воистину воссозданы, — тут воцарилось сердитое замешательство. Лондонцы в общем ничего не имели против того, чтобы их король валял дурака; но дурака-то надлежало валять им — и посыпались возмущенные протесты.

Лорд-мэр Достодоблестного Града Западного Кенсингтона направил королю почтительное послание, где разъяснялось, что он, конечно же, готов по мере государственной надобности во всех торжественных случаях соблюдать предписанный королем церемониал, однако же ему, скромному домовладельцу, как-то не к лицу опускать открытку в почтовый ящик в сопровождении пяти герольдов, с трубными звуками возглашающих, что лорд-мэр благоволит прибегнуть к услугам почты.

Лорд-мэр Северного Кенсингтона, преуспевающий сукнодел, прислал краткую деловую записку, точно жалобу в железнодорожную компанию: он извещал, что постоянное сопровождение приставленных к нему алебардщиков в ряде случаев чревато неудобствами. Так, лично он без труда садится в омнибус, следующий в Сити, алебардщики же испытывают при этом затруднения — с чем имею честь кланяться и т. д.

Лорд-мэр Шепердс-Буша сетовал от лица супруги на то, что в кухне все время толкутся посторонние мужчины.

Монарх с неизменным удовольствием выслушивал сообщения о подобных неурядицах, вынося милостивые, истинно королевские решения; однако он совершенно категорически настаивал, дабы жалобы приносились ему с полной помпой — с алебардами, плюмажами, под звуки труб — и лишь немногие сильные духом осмеливались выдерживать восторги уличных мальчишек.

Среди таковых выделялся немногословный и деловой джентльмен — правитель Северного Кенсингтона, и долго ли, коротко, а довелось ему обратиться к королю по вопросу не столь частному и даже более насущному, нежели размещение алебардщиков в омнибусе. На долгие годы этот великий вопрос лишил покоя и сна всех подрядчиков и комиссионеров от Шепердс-Буша до Марбл-Арч, от Уэстборн-Гроув до кенсингтонской Хай-стрит. Я говорю, разумеется, о грандиозном замысле реконструкции Ноттинг-Хилла, разработанном под началом мистера Бака, хваткого северокексингтонского текстильного магната, и мистера Уилсона, лорд-мэра Бейзуотера. Планировалось проложить широченную магистраль через три района, через Западный Кенсингтон, Северный Кенсингтон и Ноттинг-Хилл, соединив тем самым Хаммерсмитский Бродвей с Уэстборн-Гроув. Десять лет

потребовалось на сговоры и сделки, куплю-продажу, запугивания и подкупы, и к концу десятилетия Бак, который занимался всем этим чуть ли не в одиночку, выказал себя подлинным хозяином жизни, великолепным дельцом и поразительным предпринимателем. И вот, как раз когда его завидное терпение и еще более завидное нетерпение увенчались успехом, когда рабочие уже рушили дома и стены, пролагая хаммерсмитскую трассу, возникло внезапное препятствие, ни сном ни духом никому не чудившееся, препятствие маленькое и нелепое, которое, точно песчинка в смазке, затормозило весь грандиозный проект; и мистер Бак, сукнодел, сердито облачившись в свои официальные одежды и призвав с зубным скрежетом своих алебардчиков, поспешил на прием к королю.

За десять лет король не пресытился дурачеством. Все новые и новые лица глядели на него из-под когда-то нарисованных плюмажей — пастушьего убранства Шепердс-Буша или мрачных клобуков Блэкфрайерз-роуд. И аудиенцию, испрошенную лорд-мэром Северного Кенсингтона он предвкушал с особым наслаждением — ибо, говаривал он, «по-настоящему оцениваешь всю пышность средневековых одеяний, лишь когда те, кто облекся в них поневоле, очень сердиты и сверхделовиты».

Мистер Бак отвечал обоим условиям. По мановению короля распахнулись двери приемной палаты, и на пороге появился лиловый глашатай из краев мистера Бака, изукрашенный большим серебряным орлом, которого король даровал в герб Северному Кенсингтону, смутно памятуя о России: он твердо стоял на том, что Северный Кенсингтон — это полуарктическая провинция королевства. Глашатай возвестил, что прибывший оттуда лорд-мэр просит королевской аудиенции.

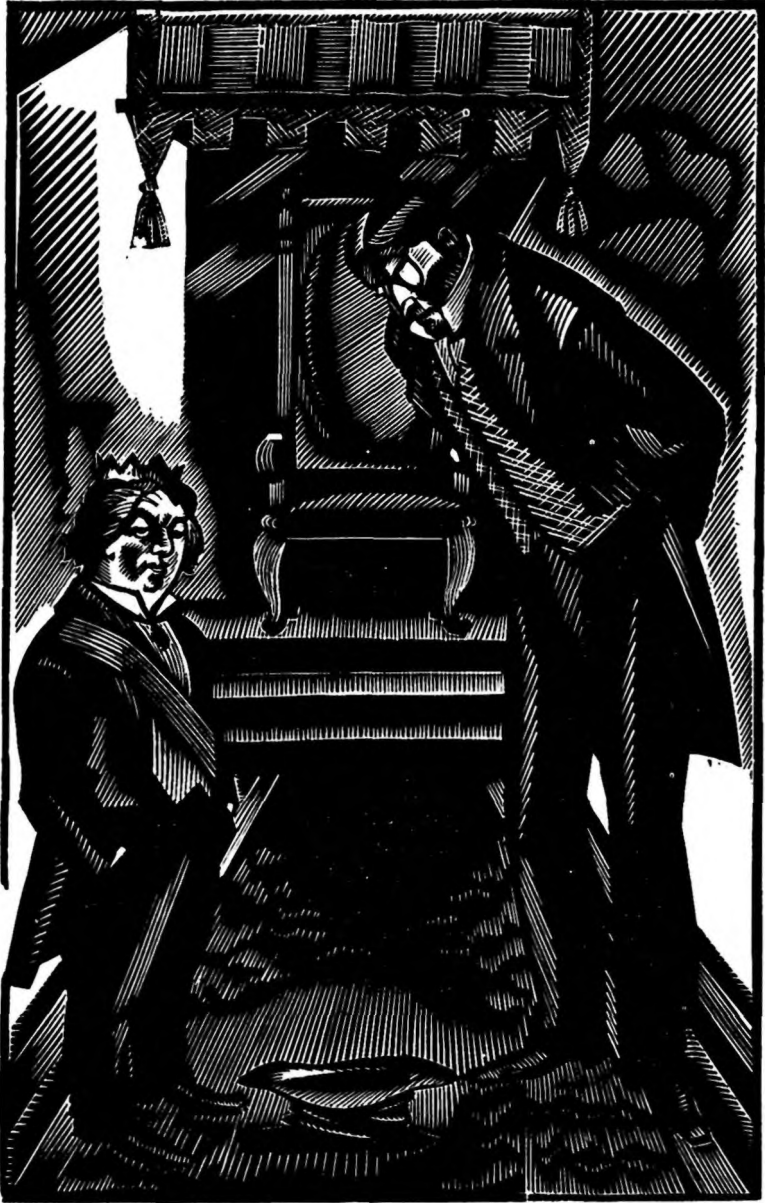
— Мэр Северного Кенсингтона? — переспросил король, изящно приосанившись. — Какие же вести принес он из высокогорного края прекрасных дев? Мы рады его приветствовать.

Глашатай взошел в палату, и за ним немедля последовали двенадцать лиловых стражей, а за ними — свитский, несший хоругвь с орлом, а за ним — другой свитский с ключами города на лиловой подушке и, наконец, — мистер Бак, отнюдь не настроенный терять время попусту. Увидев его массивную физиономию и суровый взор, король понял, что перед ним стоит истинный бизнесмен, и пришел в тихий восторг.

— Ну что же, — сказал он, чуть не вприпрыжку спустившись на две-три ступени с помоста и прихлопнув в ладоши, — счастлив видеть вас. Не важно, не важно, не волнуйтесь. Подумаешь, большое дело — церемонии!

— Не понял, о чем толкует Ваше Величество, — угрюмо отозвался лорд-мэр.

— Да не важно, не важно все это, — весело повторил король. — Этикет этикетом, но не в нем же в конце концов дело — другой-то раз, я уверен, не оплошааете!



Бизнесмен мрачно взглянул на короля из-под насупленных черных бровей и снова спросил без малейшей учтивости:

— Опять-таки не понял?

— Да ладно, ладно уж, — добродушно отвечал король, — раз вы спрашиваете — пожалуйста, хотя лично я не придаю особого значения церемониям, для меня важнее простосердечие. Но обычно — так уж принято, ничего не поделаешь, — являясь пред царственными очами, положено опрокинуться навзничь, задрав пятки к небесам (ко всевышнему источнику королевской власти), и троекратно возгласить: «Монархические меры совершенствуют манеры». Но чего там, ладно — ваша прямота и душевность стоят дороже всякой помпы.

Лорд-мэр был красен от злости, однако же смолчал.

— Ну что мы, право, о пустяках, — сказал король, как бы отводя разговор в сторону и снисходительно улеживая грубияна, — ведь какие дивные стоят погоды! Должно быть, вам, милорд, тепловато в служебном облачении: оно скорее пристало для ваших снеговых просторов.

— Да, в нем черт знает как жарко, — отозвался Бак. — Я, впрочем, пришел по делу.

— Вот-вот, — сказал король и по-идиотски внушительно закивал головой, — вот-вот-вот. Как сказал старый добрый грустный персиянин, — да, дела-делишки. Не отлынивай. Вставай с рассветом. Держи хвост пистолетом. Пистолетом держи хвост, ибо не ведаешь ни откуда явишься, ни зачем. Держи пистолетом хвост, ибо неведомо тебе ни когда отыдешь, ниже куда.

Лорд-мэр вытащил из кармана ворох бумаг и яростно их расправил.

— Может, Ваше Величество когда-нибудь слышали, — саркастически начал он, — про Хаммерсмит и про такую штуку, называемую шоссе. Мы тут десять лет копаемся — покупаем, откупаем, выкупаем и перекупаем земельные участки, и вот наконец, когда все почти что покончено, дело застопорилось из-за одного болвана. Старина Прут, бывший лорд-мэр Ноттинг-Хилла, был человек деловой, и с ним мы поладили в два счета. Но он умер, и лорд-мэром по жребию, черт бы его взял, стал один юнец по имени Уэйн, и пропади я пропадом, если понимаю, куда он клонит. Мы ему предлагаем цену немыслимую, а он тормозит все дело — заодно вроде бы со своим советом. Чокнулся, да и только!

Король, который отошел к окну и рассеянно рисовал на стекле нос лорд-мэра, при этих словах встрепенулся.

— Нет, как сказано, а? — восхитился он. — «Чокнулся, да и только!»

— Тут суть дела в чем, — упорно продолжал Бак, — тут единственно о чем речь — это об одной поганой улочке, о Насосном переулке, там ничего и нет, только пивная, магазинчик игрушек,

и тому подобное. Все добропорядочные ноттингхильцы согласны на компенсацию, один этот обалделый Уэйн цепляется за свой Насосный переулочек. Тоже мне, лорд-мэр Ноттинг-Хилла! Если на то пошло, так он — лорд-мэр Насосного переулка!

— Неплохая мысль,— одобрил О б е р о н . — Мне нравится эта идея — назначить лорд-мэра Насосного переулка. А что бы вам оставить его в покое?

— И завалить все дело? — выкрикнул Бак, теряя всякую сдержанность. — Да будь я проклят! Черта с два. Надо послать туда рабочих — и пусть сносят все как есть, направо и налево!

— Кенсингтонский орел пощады не знает! — воскликнул король, как бы припоминая историю.

— Я вот что вам скажу,— заявил вконец обозленный Б а к . — Если бы Ваше Величество соизволило не тратить время попусту на оскорбление подданных, порядочных людей всякими там, черт его знает, гербами, а занялись бы серьезными государственными делами...

Король задумчиво насупил брови.

— Кому как, а мне нравится,— сказал о н . — Надменный бюргер бросает вызов королю в его королевском дворце. Бюргеру надлежит откинуть голову, простерши правую длань; левую надо бы воздеть к небесам, но это уж как вам подсказывает какое ни на есть религиозное чувство. А я, погодите-ка, откинусь на троне в недоуменной ярости. Вот теперь давайте, еще раз.

Бак приготовился что-то рявкнуть, но не успел промолвить ни слова: в дверях появился новый глашатай.

— Лорд-мэр Бейзуотера,— объявил о н , — просит аудиенции.

— Впустите,— повелел О б е р о н . — Надо же — какой удачный день.

Алебардщики Бейзуотера были облачены в зеленое, и знамя, внесенное за ними, украшал лавровый венок на серебряном поле, ибо король, посоветовавшись с бутылкой шампанского, решил, что именно таким гербом должно наделить древний град Бейзуотер.

— Да, это вам подходит,— задумчиво промолвил к о р о л ь . — Носите, носите свой лавровый венок. Фулему, может статься, нужно богатство, Кенсингтон притязает на изящество, но что нужно людям Бейзуотера, кроме славы?

Следом за знаменем, выбравшись из его складок, появился лорд-мэр в лавровом венке и роскошном зелено-серебряном облачении с белой меховой опушкой. Он был суетливый человек, носил рыжие баки и владел маленькой кондитерской.

— О, наш кузен из Бейзуотера! — восхищенно вымолвил король. — Чем обязаны? Бейзуотерским только д а й , — пробормотал он во всеуслышание, — слопают так, что ай! — и примолк.

— Я, это, явился к Вашему Величеству, — сообщил лорд-мэр Бейзуотера по фамилии У и л с о н , — насчет Насосного переулка.

— А я только что имел случай разъяснить наше дело Его Величеству, — сухо заметил Бак, вновь обретая подобие вежливости. — Я, впрочем, не уверен, насколько понятно Его Величеству, что дело и вас касается.

— Касается нас обоих, знаете ли, Ваше Величество, всей округе будет хорошо, и нам тоже. Мы тут, я и мистер Бак, на пару пораскинули мозгами...

Король хлопнул в ладоши.

— Великолепно! — воскликнул он. — Мозгами — на пару! Как сейчас вижу! А теперь можете на пару пораскинуть? Пораскиньте, прошу вас!

Алебардщики изо всех сил старались не смеяться, мистер Уилсон просто-напросто растерялся, а мистер Бак ощерился.

— Ну, если на то пошло, — начал он, но король прервал его мановением руки.

— Спокойно, — сказала она, — кажется, это не конец. Вот еще кто-то идет, уже не глашатай ли, ишь как сапоги скрипят!

И в это время в дверях возгласили:

— Лорд-мэр Южного Кенсингтона просит аудиенции.

— Как, лорд-мэр Южного Кенсингтона! — воскликнул король. — Да это же мой старый приятель Джеймс Баркер! Чего ему надо, хотел бы я знать? Как подсказывает мне — надеюсь, неложно — память о дружбе юных лет, зря он не явится: ему, наверно, деньги нужны. А, Джеймс, вот и вы!

За пышносиней стражей и синим знаменем с тремя золотыми певичими птахами в палату ворвался синий с золотом мистер Баркер. Облечение его — несуразное, как и у прочих — было ему столь же омерзительно, однако же гляделось на нем не в пример лучше. Будучи джентльменом, а вдобавок красавцем и щеголем, он невольно носил свой нелепый наряд именно так, как его следовало носить. Заговорил он сразу, но поначалу запнулся, едва не адресовавшись к старому знакомцу на прежний манер.

— Ваше... э-э... Величество, извините мое вторжение. Я — насчет одного типа с Насосного переулка. Ага, Бак здесь, так что все, что надо, вам уже, наверно, сказали. Я должен...

Король настороженно окинул взором палату — пестрое смешение трех одеяний.

— Вот что надобно, — сказал он.

— Да-да, Ваше Величество, — поспешно подхватил владыка Бейзуотера мистер Уилсон. — Ваше Величество изволили сказать «надобно» — что надобно-то?

— Надобно подбавить желтого, — молвил король. — Пошли-те-ка за лорд-мэром Западного Кенсингтона.

Невзирая на слегка недоуменный ропот, за ним было послано, и он явился — со своими канареечными алебардщиками, в своем шафрановом облачении, отирая лоб платком. Да и то

сказать, все-таки шоссе пролегалo через его район, не мешало б и его выслушать.

— Добро пожаловать, Западный Кенсингтон, — обратился к нему король. — Давно, давно желал я повидать вас касательно Хаммерсмитского пустыря — ну, той самой спорной земли южнее ночлежки Раутона. А что бы вам арендовать ее у лорд-мэра Хаммерсмита на вассальных началах? Невелик поклон, как подумаешь: поможете ему надеть пальто в левый рукав — и шестуйте себе восвояси с развернутыми знаменами.

— Нет, Ваше Величество; это, собственно говоря, совершенно необязательно, — отвечал лорд-мэр Западного Кенсингтона, бледный молодой человек с белокурыми усами и бакенбардами, владеец превосходной сыроварни.

Король крепко хлопнул его по плечу.

— Ох, и горяча кровь у вашего брата, западного кенсингтонца! — сказал он. — Да, уж вам лучше не предлагай кому-нибудь поклониться!

И он снова оглядел палату. Она пылала закатным многоцветием, и отраднo было ему это зрелище, доступное столь немногим художникам: зрелище собственных грез, блещущих во плоти. Желтые наряды стражников Западного Кенсингтона казались еще желтее на фоне темно-синего убранства южных кенсингтонцев, а густая синева вдруг светлела, разливалась зеленью почти лесной: за ними стояли бейзуотерцы. И поверх прочих высились и угрюмо чернели лиловые плюмажи Северного Кенсингтона.

— А все ж таки чего-то как будто не хватает, — сказал король, — не хватает, и все тут. Чего бы это... Ах, вот чего! Вот чего не хватало!

В дверях появилась новая фигура, ярко-алый глашатай. Он зычно возгласил со спокойным достоинством:

— Лорд-мэр Ноттинг-Хилла просит аудиенции.

Глава III ТЕ ЖЕ И ПОЛОУМНЫЙ

Царь эльфов, в честь которого, вероятно, был назван король Оберон, в тот день явственно благоволил своему тезке: явление ноттингхилльской стражи доставило ему новую, более или менее неизъяснимую радость. Разодетые в красочные облачения стражники Бейзуотера и Южного Кенсингтона — жалкий сброд, разнорабочие и рекламщики, нанятые по случаю королевской аудиенции, входили в палату как бы нехотя, с несчастным видом, и король на свой лад наслаждался: до чего же их оружие и наряд не шли к унылым, вялым лицам! Зато алебардчики Ноттинг-Хилла в алых хламидах с золотой опояской были до смешного

суровы. Казалось, они, как бы сказать, вошли в игру. И вошли в палату, отбивая шаг, и построились лицом к лицу двумя шеренгами, на диво слаженно и четко.

Они внесли желтое знамя с красным львом: король пожаловал Ноттинг-Хиллу этот герб в память о маленьком окрестном кабачке, куда он, бывало, частенько хаживал.

Между двумя шеренгами стражников к королю приближался высокий рыжеволосый юноша с крупными чертами лица и яростными голубыми глазами. Можно бы его назвать и красивым, однако же нос его, пожалуй что, был великоват, да и ступни тоже велики не по ногам — словом, неуклюжий юнец. Согласно королевской геральдике, он был в алом облачении и, в отличие от всех остальных лорд-мэров, препоясан огромным мечом. Это был Адам Уэйн, несговорчивый лорд-мэр Ноттинг-Хилла.

Король уселся поудобнее, потирая руки.

«Ну и денек, ах и денек! — сказал он про себя. — Сейчас будет свара. Вот уж не думал, что так позабавлюсь. Те-то лорд-мэры — возмущенные, благоразумные, в себе уверенные. А этот, по глазам судя, возмущен не меньше их. Н-да, по глазам: судя по этим голубым глазищам, он ни разу в жизни не пошутил. Он, стало быть, сцепится с прочими, они сцепятся с ним, и все они вместе взятые, изнывая от радости, накинутся на меня».

— Приветствую вас, милорд! — сказал он вслух. — Каковы вести с Горы, овсянной сонмищем легенд? Что вы хотите донести до ушей своего короля? Я знаю: между вами и сопresentствующими нашими кузенами возникли распри — мне, королю, подобает их уладить. Ведь я нимало не сомневаюсь, да и не могу сомневаться, что ваша любовь ко мне не уступает их чувствам: она столь же нежная и столь же пылкая.

Мистер Бак скроил гримасу, Джеймс Баркер скривил ноздри; Уилсон захихикал, а лорд-мэр Западного Кенсингтона смущенно подхихикнул. Но по-прежнему ясно глядели огромные голубые глаза Уэйна, и его ломкий юношеский голос разнесся по палате.

— Я пришел к своему королю. И повергаю к его стопам единственное свое достояние — свой меч.

Он с размаху бросил меч к подножию трона и встал на одно колено. Воцарилась мертвая тишина.

— Извините, не понял, — тускло промолвил король.

— Сир, вы хорошо сказали, — ответствовал Адам Уэйн, — и речь ваша, как всегда, внятна сердцу: а сказали вы о том, что моя любовь к вам не уступает их чувствам. Невелика была бы моя любовь к вам, если бы она им уступала. Ибо я — наследник вашего замысла, дитя великой Хартии. Я отстаиваю права, дарованные Хартией, и клянусь вашей священной короной, что буду стоять насмерть.

Четыре лорд-мэра и король разом выпучили глаза.

Потом Бак сказал скрипучим, насмешливым голосом:

— Это что, все с ума посходили?

Король вскочил на ноги, и глаза его сверкали.

— Да! — радостно воскликнул он. — Да, все посходили с ума, кроме Адама Уэйна и меня. Я был сто раз прав, когда, помните, Джеймс Баркер, я сказал вам, что все серьезные люди — маньяки. Вы — маньяк, потому что вы свихнулись на политике — это все равно, что собирать трамвайные билеты. Бак — маньяк, потому что он свихнулся на деньгах — это все равно, что курить опиум. Уилсон — маньяк, потому что он свихнулся на своей правоте — это все равно, что мнить себя Господом Богом. Лорд-мэр Западного Кенсингтона — маньяк, потому что он свихнулся на благопристойности — а это все равно, что воображать себя каракатицей. Маньяки — все, кроме юмориста, который ни к чему не стремится и ничем не владеет. Я думал, что в Англии всего один юморист. Болваны! олухи! протрите глаза: нас оказалось двое! В Ноттинг-Хилле, на этом неприглядном бугорке, появился на свет художник!

Вы думали переиграть меня, занудить мой замысел — и становились все современнее и практичнее, все напористее и благоразумнее. А я это с полным удовольствием парировал, делаясь все величавее, все милостивее, все старозаветнее и благосклоннее. Где вам за мной угнаться? Зато этот паренек обыграл меня в два хода: жест на жест, фраза на фразу. Такой заслон, как у него, я одолеть не могу — это заслон непроницаемой выпренности. Да вы его самого послушайте. Итак, вы явились ко мне, милорд, дабы отстаивать Насосный переулочек?

— Дабы отстаивать град Ноттинг-Хилл, — горделиво ответил Уэйн, — живую и неотъемлемую часть которого являет Насосный переулочек.

— Невелика часть, — презрительно бросил Баркер.

— Достаточно велика, чтобы богатеи на нее зарились, — заметил Уэйн, вскинув голову, — а беднота встала на ее защиту.

Король хлопнул себя по ляжкам и восторженно потряс ногами.

— Все достойные представители Ноттинг-Хилла, — вступил Бак, хрипловато и презрительно, — на нашей стороне, все они против вас. У меня масса друзей в Ноттинг-Хилле.

— В друзья вам годятся лишь те, кто продает за ваше золото чужой домашний очаг, — отвечал лорд-мэр Уэйн. — Да, у вас достойные друзья, и все по сходной цене.

— Ну, они хоть не торговали грязными безделушками, — хохотнул Бак.

— Безделушек грязнее, чем они сами, свет не видывал, — спокойно возразил Уэйн, — а собой они торгуют.

— Сдавайтесь, разлюбезный Бак-Бачок, — посоветовал король, весело ерзая на троне. — Куда вам супротив рыцарственного красноречия? Где вам состязаться с художником жизни, с новоявленным ноттингхилльским юмористом? Ох, ныне, как

говорится, отпускаеши! — до какого славного дня я дожил! Лорд-мэр Уэйн, вы твердо стоите на своем?

— Кто попробует меня сдвинуть — узнает, — отвечал Уэйн. — Я и раньше стоял твердо, неужели же дрогну теперь, узрев своего суверена? Ибо я отстаиваю то, что превыше — если бывает превыше — нерушимости наших домашних очагов и незыблемости нашего града. Я отстаиваю ваше царственное ясновидение, великую вашу мечту о Свободном Союзе Свободных Городов. Вы сами препоручили мне это.

Был бы я нищий, и мне бы швырнули монету, был бы крестьянин, и меня одарили б за пляску — разве отдал бы я разбойникам с большой дороги милостыню или подарок? А моя скромная власть и свободы Ноттинг-Хилла дарованы Вашим Величеством, и если попробуют отобрать эти милостивые подарки, то, клянусь Богом! отберут лишь в бою, и шум этого боя раскатится по равнинам Челси, а живописцы Леса святого Иоанна содрогнутся в своих мастерских!

— Это уж чересчур, это уж чересчур, — возразил король. — Смилуйтесь над человеческой природой! Нет, брат мой художник, далее нам должно беседовать в открытую, и я торжественно вопрошаю вас: Адам Уэйн, лорд-мэр Ноттинг-Хилла, не правда ли, это великолепно?

— Еще бы не великолепно! — воскликнул Адам Уэйн. — Великолепно, как творение Господне!

— Опять сдаюсь, — сказал король. — Да, трудненько вас сбить с позиции. В насмешку-то все это серьезно, не спорю. Но всерьез-то — неужели не смешно?

— Что смешно? — спросил Уэйн, по-детски округлив глаза.

— Черт побери, ну перестаньте же паясничать. Да вся эта затея с Хартией предместий. Разве не потрясающе?

— Столь ослепительный замысел поистине можно назвать потрясающим.

— Ну что ты с ним будешь делать! Ах, впрочем, понимаю. Вы хотите без них, без этих рассудительных олухов, хотите, чтоб два юмориста потолковали с глазу на глаз. Оставьте нас, джентльмены!

Бак покосился на Баркера, тот угрюмо пожал плечами, и вся пестрая свита — синие и зеленые, красные с золотом и лиловые, — вскружившись хороводом, удалилась из палаты. Остались лишь двое: король на тронном помосте и коленопреклоненная у брошенного меча фигура в алом облачении.

Король спустился с помоста и хлопнул лорд-мэра Уэйна по спине.

— Еще до сотворения тверди, — возгласил он, — мы были созданы друг для друга. Красота-то какая, подумать только: декларация независимости Насосного переулка! Это же сущее обожествление смехотворного!

Лорд-мэр порывисто вскочил с колен и едва устоял на ногах.

— Как смехотворного! — Голос его сорвался, лицо покраснелось.

— Ну будет, будет, — нетерпеливо сказал король, — для меня одного можно так не стараться. Авгуры — и те иногда смаргивают: глаза все-таки устают. Выйдем из ролей на полчаса, побудем театральными критиками. Что, оценили затею?

Адам Уэйн по-мальчишески потупился и отвечал сдавленным голосом:

— Я не понимаю Ваше Величество. И не могу поверить, что Ваше Величество бросит меня, готового отдать жизнь за вашу королевскую Хартию, на растерзание этой своре ростовщиков.

— Ох, да оставьте же... Это еще что такое? Какого черта?..

Палата наполнилась предвечерним сумраком. Король всмотрелся в лицо юного лорд-мэра: тот был бледен как мел, и губы его дрожали.

— Боже мой, что случилось? — спросил Оберон, хватая его за руку.

Уэйн поднял голову; на щеках его блистали слезы.

— Я всего лишь мальчишка, — сказал он, — но это правда. Я готов кровью нарисовать на своем щите Красного Льва.

Король Оберон уронил его руку и оцепенело замер.

— Господи, святая воля Твоя! — наконец вымолвил он. — Возможно ли, чтобы хоть один человек меж четырех британских морей принимал Ноттинг-Хилл всерьез?

— Да будет святая воля Его! — пылко подхватил Уэйн. — Возможно ли, чтобы хоть один человек меж четырех британских морей не принимал всерьез Ноттинг-Хилл?

Король ничего не ответил; он рассеянно взошел на помост, снова уселся на трон и слегка взбрыкнул ногами.

— Ну, если и дальше так пойдет, — тихо сказал он, — я усомнюсь в превосходстве искусства над жизнью. Ради всего святого, не морочьте мне голову. Вы что, на самом деле... Боже, помогите выговорить! — ноттингхилльский патриот, вы действительно...?

Уэйн встрепенулся, и король замахал на него руками.

— Хорошо, хорошо, вижу — да, действительно, но дайте же мне освоиться с этой мыслью! И вы взаправду собрались противиться этим воротилам новейших дней с их комитетами, инспекторами, землемерами и прочей саранчой?

— Разве они так уж страшны? — презрительно отозвался Уэйн.

Король разглядывал его, словно чудо-юдо в человеческом обличье.

— И стало быть, — сказал он, — вы думаете, что зубодеры, лавочники и старые девы, населяющие Ноттинг-Хилл, соберутся под ваше знамя с воинственными песнопениями?

— Я думаю, что у них на это станет духу, — отвечал лорд-мэр.

— И стало быть, — продолжал король, откинувшись затылком на мягкую спинку, — вам никогда не приходило на ум, — и голос его, казалось, вот-вот заглохнет в тиши тронного зала, — не приходило на ум, что такое пылкое ноттингхильство может кому-нибудь показаться... э-э... несколько смехотворным?

— Непременно покажется, — сказал Уэйн, — а как же иначе? Разве над пророками не измывались?

— Да откуда же, — спросил король, подавшись к собеседнику, — откуда же, о Господи, взялась-то у вас эта бредовая идея?

— Моим наставником были вы, сир, — отвечал лорд-мэр, — вы внушили мне понятия о чести и достоинстве.

— Я? — сказал король.

— Да, Ваше Величество, вы взлелеяли мой патриотизм в зародыше. Десять лет назад, совсем еще ребенком (сейчас мне девятнадцать), я играл сам с собой в войну на склоне ноттингхильского холма, возле Насосного переулка — в бумажной каске, с деревянным мечом в руке я мечтал о великих битвах. Замечтавшись, я сделал яростный выпад мечом — и застыл на месте, ибо нечаянно ударил вас, сир, своего короля, тайно и скрытно блуждавшего по городу, пекущегося о благоденствии своих подданных. Но пугаться мне было нечего: вы обошлись со мной воистину по-королевски. Вы не отпрянули и не насупились. Вы не призвали стражу. И ничем не пригрозили. Напротив того, вы произнесли величественные и огневые слова, поныне начертанные в моей душе, где они и пребудут: вы повелели мне обратить меч против врагов моего нерушимого града. Точно священник, указующий на алтарь, вы указали на холм Ноттинг-Хилла. «Покуда ты, — сказали вы, — готов погибнуть за это священное возвышение, пусть даже его обступят все несметные полчища Бейзуотера...» Я не забыл этих слов, а нынче они мне особо памяты: пробил час, и сбылось ваше пророчество. Священное возвышение обступили полчища Бейзуотера, и я готов погибнуть.

Король полулежал на своем троне: у него не доставало ни слов, ни сил.

— Господи Боже ты мой! — бормотал он. — Ну и дела, ну и дела! И все мои дела! Оказывается, это я всему виною. А вы, значит, тот рыжий мальчишка, который ткнул меня в живот. Что я натворил? Боже, что я натворил! Я-то хотел просто-напросто пошутить, а породил страсть. Я сочинял фарс, а он, того и гляди, обернется эпосом. Ну что ты будешь делать с этим миром? Ей-богу же, задумано было лихо, исполнялось грубо. Я отринул свой тонкий юмор, лишь бы вас позабавить — а вы, наоборот, готовы в слезы удариться? Вот и устраивай после этого балаган,

размахивай сосисками — скажут, ах, какие гирлянды; руби башку полицейскому — скажут, погиб при исполнении служебных обязанностей! И чего я разглагольствую? С какой стати я пристаю с вопросами к милейшему молодому человеку, которому хоть кол на голове теши? Какой в этом толк? Какой вообще толк в чем бы то ни было? О, Господи! О, Господи!

Внезапно он выпрямился и спросил:

— Нет, вам и правда священный град Ноттинг-Хилл не кажется нелепицей?

— Нелепицей? — изумился Уэйн. — Почему же нелепицей?

Король поглядел на него столь же изумленно.

— Как то есть... — пролепетал он.

— Ноттинг-Хилл, — сурово сказал лорд-мэр, — это большой холм, городское возвышение, на котором люди построили свои жилища, где они рождаются, влюбляются, молятся, женятся и умирают. Почему же мне считать Ноттинг-Хилл нелепицей?

Король усмехнулся.

— Да потому, о мой Леонид, — начал он и вдруг ни с того ни с сего понял, что дальше сказать ему нечего. В самом деле, почему же это нелепица? Почему? На минуту ему показалось, что он вовсе потерял рассудок. Так бывает со всеми, у кого ставят под вопрос изначальный принцип жизни. Баркер, например, всегда терялся, услышав королевский вопрос: «А какое мне дело до политики?»

Словом, мысли у короля разбежались, и собрать их не было никакой возможности.

— Ну как, все-таки это немножко смешно, — неопределенно выразился он.

— Как по-вашему, — спросил Адам, резко повернувшись к нему, — по-вашему, распятие — дело серьезное?

— По-моему... — замылся Оберон, — ну, мне всегда казалось, что распятие — оно не лишено серьезности.

— И вы ошибались, — сказал Уэйн, как отрезал. — Распятие — смешотворно. Это сущая потеха. Это — нелепая и позорная казнь, надругательство, которому подвергали жалкий сброд — рабов и варваров, зубодеров и лавочников, как вы давеча сказали. И вот кресты, эти древние виселицы, которые римские мальчишки для пушшего озорства рисовали на стенах, ныне блещут над куполами храмов. А я, значит, убоюсь насмешки?

Король промолчал.

Адам же продолжал, и голос его гулко отдавался в пустой палате.

— Напрасно вы думаете, что убийственный смех непременно убивает. Петра, помните, распяли, и распяли вниз головой. Куда уж смешнее — почтенный старик апостол вверх ногами? Ну и что? Так или иначе распятый Петр остался Петром. Вверх ногами он

висит над Европой, и миллионы людей не мыслят жизни помимо его церкви.

Король Оберон задумчиво приподнялся.

— Речи ваши не вполне бессмысленны,— сказал он . — Вы, похоже, немало поразмышляли, молодой человек.

— Скорее перечувствовал, сир,— отвечал лорд-мэр. — Я родился, как и все прочие, на клочочке земли и полюбил его потому, что здесь я играл, здесь влюбился, здесь говорил с друзьями ночи напролет, и какие дивные это были ночи! И я почуял странную загадку. Чем же так невзрачны и будничны садики, где мы признавались в любви, улицы, по которым мы проносили своих усопших? Почему нелепо видеть почтовый ящик в волшебном ореоле, если целый год при виде одного такого красного ящика на желтом закате я испытывал чувство, тайна которого ведома одному Богу, но которое сильнее всякой радости и всякого горя? Что смешного можно услышать в словах «Именем Ноттинг-Хилла»? — то есть именем тысяч бессмертных душ, томимых страхом и пламенеющих надеждой?

Оберон старательно счищал соринку с рукава, и в лице его, по-новому серьезном, не было и тени обычной свиной напыщенности.

— Трудно, трудно,— сказал он . — Чертовски трудно перескочить. Я вас понимаю и даже более или менее согласен с вами—был бы согласен, если бы годился по возрасту в поэты-провидцы. Все верно, что вы говорите, — за исключением слов «Ноттинг-Хилл». При этих словах, как это ни грустно, ветхий Адам с хохотом пробуждается и шутя разделяется с новым Адамом по имени Уэйн.

Впервые за весь разговор лорд-мэр смолчал: он стоял, задумчиво понурившись. Сумерки сгущались, в палате становилось все темнее.

— Я знаю , — сказал он каким-то странным, полусонным голосом, — есть своя правда и в ваших словах. Трудно не смеяться над будничными названиями — я просто говорю, что смеяться не надо. Я придумал, как быть, но от этих мыслей мне самому жутко.

— От каких мыслей? — спросил Оберон.

Лорд-мэр Ноттинг-Хилла словно бы впал в некий транс; глаза его зажглись призрачным огнем.

— Есть колдовской жезл, но он мало кому по руке, да и применять его можно лишь изредка. Это могучее и опасное волшебство, особенно опасное для того, кто осмелится пустить его в ход. Но то, что тронута этим жезлом, никогда более не станет по-прежнему обыденным; то, что им тронута, озаряется потусторонним отблеском. Стоит мне коснуться этим волшебным жезлом трамвайных рельс и улиц Ноттинг-Хилла — и они станут навечно любимы и сделаются навсегда страшны.

— Что вы такое несете? — спросил король.

— Бывало, от его прикосновения безвестные местности обретали величие, а хижины становились долговечней соборов, — продолжал декламировать полоумный. — Так и фонарные столбы станут прекраснее греческих лампад, а omnibusы — красочнее древних кораблей. Да, касанье этого жезла дарит таинственное совершенство.

— Что еще за жезл? — нетерпеливо прервал его король.

— Вон он, — отозвался Уэйн, — указывая на сверкающий меч у подножия трона.

— Меч! — воскликнул король, резко выпрямившись.

— Да, да, — осипшим голосом подтвердил Уэйн. — Его касанье преображает и обновляет; его касанье...

Король Оберон всплеснул руками.

— Пролить из-за этого кровь! — воскликнул он. — Из-за вздорной разницы во взглядах...

— О вы, владыки земные! — не сдержал негодования Адам. — Какие же вы милосердные, кроткие, рассудительные! Вы затеиваете войны из-за пограничных споров и из-за таможенных пошлин; вы проливаете кровь из-за налога на кружева или из-за невозданных адмиралу почестей. Но как дело доходит до главного, до того, что красит или обесценивает самую жизнь, — тут у вас пробуждается милосердие! А я говорю и отвечаю за свои слова: единственно необходимые войны — это войны религиозные. Единственно справедливые войны — религиозные. И единственно человеческие — тоже. Ибо в этих войнах бьются — или думают, что бьются за человеческое счастье, за человеческое достоинство. Крестоносцы, по крайней мере, думал, что ислам губит душу всякого человека, будь то король или жестянщик, которого подчиняет своей власти. А я думаю, что Бак и Баркер и подобные им богатеи-кровососы губят душу всякого человека, оскверняют каждую пядь земли и каждый камень дома — словом, все и вся, им подвластное. И вы думаете, что у меня нет права драться за Ноттинг-Хилл, — это вы-то, глава английского государства, которое только и делало, что воевало из-за пустяков! Если поверить вашим богатым друзьям, будто ни Бога, ни богов нет, будто над нами пустые небеса, так за что же тогда драться, как не за то место на земле, где человек сперва побывал в Эдеме детства, а потом — совсем недолго — в райских кущах первой любви? Если нет более ни храмов, ни Священного писания, то что же и свято, кроме собственной юности?

Король расхаживал по помосту возле трона.

— И все-таки вряд ли, — сказал он, кусая губы, — вряд ли оправдано такое безрассудство — вряд ли можно взять на себя ответственность за...

В это время приотворились двери приемной и снаружи донесся, точно внезапный птичий крик, высокий, гнусавый и хорошо поставленный голос Баркера:

— Я ему сказал напрямик — соблюдать общественные интересы...

Оберон быстро повернулся к Уэйну.

— Что за дьявольщина! Что я болтаю? Что вы мелете? Может, вы меня околдовали? Ох, уж эти мне ваши голубые глазищи! Оставьте меня в покое. Верните мне чувство юмора. Верните его мне — верните немедленно, слышите!

— Я торжественно заверяю в а с , — смутившись и как бы ошупывая себя, проговорил У э й н , — что у меня его нет.

Король плюхнулся на трон и закатился гомерическим хохотом.

— Вот уж в этом я более чем уверен! — воскликнул он.

Книга третья

Глава I

ДУШЕВНЫЙ СКЛАД АДАМА УЭЙНА

Через некоторое время после восшествия короля на престол был опубликован небольшой стихотворный сборник под названием «Горние песнопения». Стихи были не слишком хороши, книга успеха не имела, но привлекла внимание одной критической школы. Сам король, видный ее представитель, откликнулся — естественно, под псевдонимом — на появление сборника в спортивном журнале «Прямиком с манежа». Вообще-то школу эту называли «Прямиком из гамака», ибо какой-то недруг ехидно подсчитал, что не менее тринадцати образчиков их изящной критической прозы начинались словами: «Я прочел эту книгу в гамаке: дремотно пригревало солнце, и я, в зыбкой дреме...» — правда, в остальном рецензии существенно различались. Из гамака критикам нравилось все, в особенности же все дурацкое. «Разумеется, лучше всего, когда книга подлинно хороша,— говорили о ней, — но этого, увы! не бывает, и стало быть, желательно, чтоб она была по-настоящему плоха». Поэтому за их похвалой — то бишь свидетельством, что книга по-настоящему плоха, — не очень-то гнались, и авторам, на которых обращали благосклонное внимание критики «Из гамака», становилось немного не по себе.

Но «Горние песнопения» и правда были особь статья: там воспевались красоты Лондона в пику красотам природы. Такие чувства, а вернее, пристрастия в двадцатом столетье, конечно, не редкость, и хотя чувства эти порой преувеличивались, а нередко и поддельвались, но питала их бесспорная истина: ведь город действительно поэтичнее, нежели лоно природы в том смысле, что он ближе человеку по духу, — тот же Лондон если и не великий шедевр человека, то уж во всяком случае немалое человеческое прегрешение. Улица и вправду поэтичнее, чем лесная лужайка, потому что улица таинственна. Она хоть куда-нибудь да ведет, а лужайка не ведет никому. Но «Горние песнопения»

имели дополнительную особенность, которую король весьма пронизательно подметил в своей рецензии. Он тут был лицо заинтересованное: он и сам недавно опубликовал сборник стихов о Лондоне под псевдонимом «Маргарита Млей».

Коренная разница между этими разновидностями городской лирики, как указывал король, состояла в том, что украшатели вроде Маргариты Млей (к чьему изысканному слогу король-рецензент за подписью Громобой был, пожалуй, чересчур придирчив) воспевают Лондон, точно творение природы, то есть в образах, заимствованных с ее лона — и напротив того, мужественный автор «Горних песнопений» воспекает явления природы в образах города, на городском фоне.

«Возьмите,— предлагал критик,— типично женские строки стихотворения «К изобретателю пролетки»:

Раковину поэт изваял мастерством своим,
Где отнюдь не тесно двоим.

«Само собой разумеется,— писал король,— что только женщина могла сочинить эти строки. У женщин вообще слабость к природе; искусство имеет для них прелесть лишь как ее эхо или бледная тень. Казалось бы, теоретически и тематически она восхваляет пролетку, но в душе-то она — все еще дитя, собирающее ракушки на берегу моря. Она не может, подобно мужчине, сделаться, так сказать, городским завсегдатаем: не сам ли язык, заодно с приличиями, подсказывает нам выражение «завсегдатай злачных мест»? Кто когда-нибудь слышал о «завсегдатайщице»? Но даже если женщина принорвится к городским злачным местам, образцом для нее все равно остается природа: она ее носит с собой во всех видах. На голове у нее колышутся как бы травы; пушные звери тянут оскаленные пасти к ее горлу. Посреди тусклого города она нахлобучивает на голову не столько шляпку, сколько коттедж с цветником. У нас больше чувства гражданской ответственности, чем у нее. Мы носим на голове подобие фабричной трубы, эмблему цивилизации. Без птиц ей никак нельзя, и по ее капризу пернатых убивают десятками — и голова ее изображает дерево, утыканное символическими подобьями мертвых певуний».

В том же роде он упражнялся еще страницу-другую; затем король-критик вспоминал, о чем, собственно, идет речь, и снова цитировал:

Раковину поэт изваял мастерством своим,
Где отнюдь не тесно двоим.

«Специфика этих изящных, хоть и несколько изнеженных строк,— продолжал Громобой,— как мы уже сказали, в том, что они воспевают пролетку, сравнивая ее с раковиной, с изделием

природы. Посмотрим же, как подходит к той же теме автор «Горних песнопений». В его прекрасном ноктюрне, названном «Последний омнибус», настроение тяжелой и безысходной грусти разрешается наконец мощным стиховым броском:

И ветер взметнулся из-за угла,
Точно вылетел быстрый кеб.

«Вот где разница особенно очевидна. Маргарита Млей полагает, будто для пролетки сравнение с изящной морской завитушкой куда как лестно. Автор же «Горних песнопений» считает лестным для предвечного вихря сравнение с извозничьим кебом. Он не устает восхищаться Лондоном. За недостатком места мы не можем сыпать дальнейшими превосходными примерами, подобными вышеприведенному, и не станем разбирать, например, стихотворение, в котором женские глаза уподобляются не путеводным звездам, нет — а двум ярким уличным фонарям, озаряющим путь скитальца. Не станем также говорить об отменных стансах, елизаветинских по духу, где поэт, однако, не пишет, что на лице возлюбленной розы соревновали лилеям — нет, в современном и более строгом духе он описывает ее лицо совсем иначе: на нем соревнуются красный хаммерсмитский и белый фулемский омнибусы. Великолепен этот образ двух омнибусов-соперников!»

На этом статья довольно неожиданно заканчивалась: должно быть, королю понадобились деньги и он срочно отослал ее в редакцию. Но каким бы он ни был монархом, критиком он был отличным, и угодил, можно сказать, в самую точку. «Горние песнопения» ничуть не походили ни на какие прежние восхваления Лондона, потому что автор их действительно ничего, кроме Лондона, в жизни не видел, так что Лондон казался ему вселенной. Написал их зеленый, рыжеволосый юнец семнадцати лет от роду по имени Адам Уэйн, уроженец Ноттинг-Хилла. Случилось так, что в семь лет его не взяли, как собирались, на море, и больше он из Лондона не выезжал: жил себе да жил в своем Насосном переулке, наведываясь в окрестные улочки.

Вот он и не отличал уличных фонарей от звезд небесных; для него их свет смешался. Дома казались ему незыблемыми вроде гор: он и писал о них, как другой будет писать о горах. Всякий видит природу в своем обличье; пред ним она предстала в обличье Ноттинг-Хилла. Для поэта — уроженца графства Камберленд — природа — это бурливое море и прибрежные рифы. Для поэта, рожденного среди Эссекских равнин, природа — сверканье тихих вод и сияние закатов. А Уэйну природа виделась лиловыми скатами крыш и вереницей лимонно-желтых фонарей — городской светотенью. Воспевая тени и цвета города, он не стремился быть ни остроумным, ни забавным: он просто не знал других цветов и теней, вот и воспевал эти — надо же поэту воспевать

хоть какие-то. А он был поэтом, хоть и плохим. Слишком часто забывают, что как дурной человек — все же человек, так и плохой поэт — все же поэт.

Томик стихов мистера Уэйна не имел ни малейшего успеха; и он, со смиренным благоразумием покорившись приговору судьбы, продолжал служить приказчиком в магазине тканей, а стихи писать бросил. Чувство свое к Ноттинг-Хиллу он, конечно, сохранил, потому что это было главное чувство его жизни, краеугольный камень бытия. Но больше он не пробовал ни выразить это чувство, ни вылезать с ним.

Он был мистик по природе своей, из тех, кто живет на границе сказки: и может статься, он первый заметил, как часто эта граница проходит посреди многолюдного города. В двадцати футах от него (он был очень близорук) красные, белые и желтые лучи газовых фонарей сплетались и сливались, образуя огневеющую окраину волшебного леса.

Но, как это ни странно, именно поэтическая неудача вознесла его на вершину небывалого торжества. Он не пробился в литературу — и поэтому стал явлением английской истории. Его томила тщетная жажда художественного самовыражения: он был немым поэтом с колыбели и остался бы таковым до могилы, и унес бы в загробный мрак сокрытую в его душе новую и неслыханную песню — но он родился под счастливой звездой, и ему выпала сказочная удача. Волею судеб он стал лорд-мэром жалкого райончика в самый разгар королевских затей, когда всем районам и райончикам велено было украситься цветами и знаменами. Единственный из процессии безмолвных поэтов, шествующей от начала дней, он вдруг, точно по волшебству, оказался в своей поэтической сфере и смог говорить, действовать и жить по нити. И сам царственный шутник, и его жертвы полагали, что заняты дурацким розыгрышем; лишь один человек принял его всерьез и сделался всемогущим художником. Доспехи, музыка, штандарты, сигнальные костры, барабанный бой — весь театральный реквизит был к его услугам. Несчастный рифмоплет, спаливши свои опусы, вышел на подмостки и принялся разыгрывать свои поэтические фантазии — а ведь об этом вотще мечтали все поэты, сколько их ни было, мечтали о такой жизни, перед которой сама «Илиада» — всего-навсего дешевый подлог.

Детские мечтания исподволь выпестовали в нем способность или склонность, в современных больших городах почти целиком напускную, по существу же весьма естественную, а для него едва ли не физиологическую — способность или склонность к патриотизму. Она существует, как и прочие пороки и добродетели, в некоей сгущенной реальности, и ее ни с чем не спутаешь. Ребенок, восторженно разглагольствующий о своей стране или своей деревне, может привирать, подобно Мандевилло, или врать напропалую, как барон Мюнхгаузен, но его болтовня будет внутренне столь же неложной, как хорошая песня. Еще мальчишкой

Адам Уэйн проникся к убогим улочкам Ноттинг-Хилла тем же древним благоговением, каким были проникнуты жители Афин или Иерусалима. Он изведal тайну этого чувства, тайну, из-за которой так странно звучат на наш слух старинные народные песни. Он знал, что истинного патриотизма куда больше в скорбных и заунывных песнях, чем в победных маршах. Он знал, что половина обаяния народных исторических песен — в именах собственных. И знал, наконец, главнейшую психическую особенность патриотизма, такую же непременную, как стыдливость, отличающую всех влюбленных: знал, что патриот никогда, ни при каких обстоятельствах не хвастает огромностью своей страны, но ни за что не упустит случая похвастать тем, какая она маленькая.

Все это он знал не потому, что был философом или гением, а потому, что оставался ребенком. Пройдите по любому закоулку вроде Насосного — увидите там маленького Адама, властелина торца мостовой: он тем горделивее, чем меньше этот торец, а лучше всего — если на нем еле-еле умещаются две ступни.

И вот, когда он однажды собрался, не щадя живота, защищать то ли кусок тротуара, то ли неприступную твердыню крыльца, он встретил короля: тот бросил несколько насмешливых фраз — и навсегда определил границы его души. С тех пор он только и помышлял о защите Ноттинг-Хилла в смертельном бою: помышлял так же привычно, как едят, пьют или раскуривают трубку. Впрочем, ради этого он забывал о еде, менял свои планы, просыпался среди ночи и все передумывал заново. Две-три лавчонки служили ему арсеналом; приемок превращался в крепостной ров; на углах балконов и на выступлениях крылечек размещались мушкетеры и лучники. Почти невозможно представить себе, если не поднапрячься, как густо покрыл он свинцовый Лондон романтической позолотой. Началось это с ним чуть ли не во младенчестве, и со временем стало чем-то вроде обыденного безумия. Оно было всевластно по ночам, когда Лондон больше всего похож на себя; когда городские огни мерцают во тьме, как глаза бесчисленных кошек, а в упрощенных очертаниях черных домов видятся контуры синих гор. Но от него-то ночь ничего не прятала, ему она все открывала, и в бледные утренние и дневные часы он жил, если можно так выразиться, при свете ночной темноты. Отыскался человек, с которым случилось немислимое: мнимый город стал для него обычным, бордюрные камни и газовые фонари сравнялись древностью с небесами.

Хватит и одного примера. Прогуливаясь с другом по Насосному переулку, он сказал, мечтательно глядя на чугунную ограду палисадника:

— Как закипает кровь при виде этой изгороди!

Его друг и превеликий почитатель мучительно вглядывался в изгородь, но ничего такого не испытывал. Его это столь озадачило, что он раз за разом приходил под вечер поглядеть на изгородь: не закипит ли кровь и у него, но кровь не закипала.

Наконец он не выдержал и спросил у Уэйна, в чем тут дело. Оказалось, что он хоть и приходил к изгороди целых шесть раз, но главного-то и не заметил: что чугунные прутья ограды венчают острия, подобные жалам копий — как, впрочем, почти везде в Лондоне. Ребенком Уэйн полуосознанно уподобил их копьям на картинках с Ланселотом или святым Георгием, и ощущение этого зрительного подобья не покинуло его, так что когда он смотрел на эти прутья, то видел строй копьеносцев, стальную оборону священных жилищ Ноттинг-Хилла. Подобье это прочно, неизгладимо запечатлелось в его душе: это была вовсе не прихоть фантазии. Неверно было бы сказать, что знакомая изгородь напоминает ему строй копий; вернее — что знакомый строй копий иногда представлялся ему изгородью.

Через день-другой после королевской аудиенции Адам Уэйн расхаживал, точно лев в клетке, перед пятью домиками в верхнем конце пресловутого переулка: бакалея, аптека, цирюльня, лавка древностей и магазин игрушек, где также продавались газеты. Эти пять строений он придиричиво облюбовал еще в детстве как средоточие обороны Ноттинг-Хилла, городскую крепость. Ноттинг-Хилл — сердце вселенной, Насосный переулок — сердце Ноттинг-Хилла, а здесь билось сердце Насосного переулка. Стренища жались друг к другу, и это было хорошо, это отвечало стремлению к уютной тесноте, которое, как водится и как мы уж говорили, было сердцевиной уэйновского патриотизма. Бакалейщик (он к тому же торговал по лицензии вином и крепкими напитками) был нужен как интендант; мечами, пистолетами, протазанами, арбалетами и пищалами из лавки древностей можно было вооружить целое ополчение; игрушечный магазин, он же газетный киоск, нужен затем, что без свободной печати духовная жизнь Насосного переулка заглохнет; аптекаря надлежало гасить вспышки эпидемии среди осажденных, а цирюльник попал в эту компанию оттого, что цирюльня была посредине и потому, что сын цирюльника был близким другом и единомышленником Уэйна.

Лиловые тени и серебряные отблески ясного октябрьского вечера ложились на крыши и трубы крутого переулка, темного, угрюмого и как бы настороженного. В густеющих сумерках пять витрин, точно пять разноцветных костров, лучились газовым светом, а перед ними, как беспокойная тень среди огней чистилища, металась черная нескладная фигура с орлиным носом.

Адам Уэйн размахивал тростью и, по-видимому, горячо спорил сам с собой.

— Вера, — говорил о н , — сама по себе всех загадок не разрешает. Положим, истинная философия ясна до последней точки; однако же остается место сомнениям. Вот, например, что перво-степеннее: обычные ли человеческие нужды, обычное состояние человека или пламенное душевное устремление к неверной и ненадежной славе? Что предпочтительнее — мирное ли здравомыс-

лие или полубезумная воинская доблесть? Кого мы предпочтем — героя ли повседневности или героя години бедствий? А если вернуться к исходной загадке, то кто первый на очереди — бакалейщик или аптекарь? Кто из них твердыня нашего града — быстрый ли рыцарственный аптекарь или щедрый благотельный бакалейщик? Когда дух мятется в сомнениях, надобно ли довериться высшей интуиции и смело идти вперед? Ну что ж, я сделал выбор. Да простится мне, если я неправ, но я выбираю бакалейщика.

— Добрый вечер, сэр, — сказал бакалейщик, человек в летах, изрядно облысевший, с жесткими рыжими баками и бородой, с морщинистым лбом, изборожденным заботами мелкого торговца. — Чем могу быть полезен, сэр?

Входя в лавочку, Уэйн церемонным жестом снял шляпу; в жесте этом не было почти ничего особенного, но торговца он несколько изумил.

— Я пришел, сэр, — отчеканил он, — дабы воззвать к вашему патриотизму.

— Вот так так, сэр, — сказал бакалейщик, — это прямо как в детстве, когда у нас еще бывали выборы.

— Выборы еще будут, — твердо сказал Уэйн, — да и не только выборы. Послушайте меня, мистер Мид. Я знаю, как бакалейщика невольно тянет к космополитизму. Я могу себе представить, каково это — сидеть целый день среди товаров со всех концов земли, из-за неведомых морей, по которым мы никогда не плавали, из неведомых лесов, которые и вообразить невозможно. Ни к одному восточному владыке не спешило столько тяжелогруженных кораблей из закатных и полуденных краев, и царь Соломон во всей славе своей был беднее ваших собратий. Индия — у вашего локтя, — заявил он, повышая голос и указывая тростью на ящик с рисом, причем бакалейщик слегка отшатнулся, — Китай перед вами, позади вас — Демерара, Америка у вас над головой, и в этот миг вы, словно некий испанский адмирал дней былых, держите в руках Тунис.

Мистер Мид обронил коробку фиников и снова растерянно поднял ее.

Уэйн, раскрасневшись, продолжал, но уже потише.

— Я знаю, сказал я, сколь искусительно зрелище этих всесветных, кругосветных богатств. Я знаю — вам, в отличие от многих других торговцев, не грозит вялость и затхлость, не грозит узость кругозора; напротив, есть опасность, что вы будете излишне широки, слишком открыты, чересчур терпимы. И если пирожнику надо остерегаться узкого национализма — ведь свои изделия он печет под небом родной страны, то бакалейщик да остережется космополитизма. Но я пришел к вам во имя того негасимого чувства, которое обязано выдерживать соблазны всех странствий, искусства всех впечатлений — я призываю вас вспомнить о Ноттинг-Хилле! Отвлечемся от этой пышности, от этого

вселенского великолепия и вспомним — ведь и Ноттинг-Хилл сыграл здесь не последнюю роль. Пусть финики ваши сорваны с высоких берберских пальм, пусть сахар прибыл с неизвестных тропических островов, а чай — с тайных плантаций Поднебесной Империи. Чтобы обставить ваш торговый зал, вырубались леса под знаком Южного Креста, гарпунили левиафанов при свете Полярной звезды. Но вы-то — не последнее из сокровищ этой волшебной пещеры, — вы-то сами, мудрый правитель этих безграничных владений, — вы же выросли, окрепли и умудрились здесь, меж нашими серенькими домишками, под нашим дождливым небом. И вот — граду, взрастившему вас и тем сопричастному вашему несметному достоянию, — этому граду угрожают войной. Смелее же — выступите вперед и скажите громовым голосом: пусть ворвань дарит нас Север, а фруктами — Юг; пусть рис наш — из Индии, а пряности — с Цейлона; пусть овцы — из Новой Зеландии, но мужи — из Ноттинг-Хилла!

Бакалейщик сидел, разинув рот и округлив глаза, похожий на большую рыбину. Потом он почесал в затылке и промолчал. Потом спросил:

— Желаете что-нибудь купить, сэр?

Уэйн окинул лавчонку смутным взором. На глаза ему попала пирамида из ананасных консервов, и он махнул в ее сторону тростью.

— Да, — сказал он, — заверните вот эти.

— Все банки, сэр? — осведомился бакалейщик уже с неподдельным интересом.

— Да, да; все эти банки, — отвечал Уэйн, слегка ошеломленный, словно после холодного душа.

— Отлично, сэр; благодарим за покупку, — воодушевился бакалейщик. — Можете рассчитывать на мой патриотизм, сэр.

— Я и так на него рассчитываю, — сказал Уэйн и вышел в темноту, уже почти ночную.

Бакалейщик поставил на место коробку с финиками.

— А что, отличный малый! — сказал он. — Да и все они, ей-богу, отличный народ, не то, что мы — хоть и нормальные, а толку?

Тем временем Адам Уэйн стоял в сиянии аптечной витрины и явственно колебался.

— Никак не совладаю с собой, — пробормотал он. — С самого детства не могу избавиться от страха перед этим волшебством. Бакалейщик — он да, он богач, он романтик, он истинный поэт, но — нет, он весь от мира сего. Зато аптекар! Прочие дома накрепко стоят в Ноттинг-Хилле, а этот выплывает из царства эльфов. Страшно даже взглянуть на эти огромные разноцветные колбы. Не на них ли глядя, Бог расцветивает закаты? Да, это сверхчеловеческое, а сверхчеловеческое тем страшнее, чем благодворнее. Отсюда и страх Божий. Да, я боюсь. Но я соберусь с духом и войду.

Он собрался с духом и вошел. Низенький, чернявый молодой человек в очках стоял за конторкой и приветствовал клиента лучезарной, но вполне деловой улыбкой.

— Прекрасный вечер, сэр, — сказал он.

— Поистине прекрасный, о отец чудес, — отозвался Адам, опасливо простерши к нему руки. — В такие-то ясные, тихие вечера ваше заведение и являет себя миру во всей своей красе. Круглее обычного кажутся ваши зеленые, золотые и темно-красные луны, издали притягивающие паломников болести и хвори к чертогам милосердного волшебства.

— Чего изволите? — спросил аптекарь.

— Сейчас, минуточку, — сказал Уэйн, дружелюбно и неопределенно. — Знаете, дайте мне нюхательной соли.

— Вам какой флакон — восемь пенсов, десять или шиллинг шесть пенсов? — ласково поинтересовался молодой человек.

— Шиллинг шесть, шиллинг шесть, — отвечал Уэйн с диковатой угодливостью. — Я пришел, мистер Баулз, затем, чтобы задать вам страшный вопрос.

Он помедлил и снова собрался с духом.

— Главное, — бормотал он, — главное — чутье, надо ко всем искать верный подход.

— Я пришел, — заявил он вслух, — задать вам вопрос, коренной вопрос, от решения которого зависит судьба вашего чародейного ремесла. Мистер Баулз, неужели же колдовство это попросту сгинет? — и он повел кругом тростью.

Ответа не последовало, и он с жаром продолжал:

— Мы у себя в Ноттинг-Хилле полною мерой извели вашу чудодейственную силу. Но теперь и самый Ноттинг-Хилл под угрозой.

— Еще чего бы вы хотели, сэр? — осведомился аптекарь.

— Ну, — сказал Уэйн, немного растерявшись, — ну что там продают в аптеках? Ах да, хинин. Вот-вот, спасибо. Да, так что же, суждено ли ему сгинуть? Я видел наших врагов из Бейзуотера и Северного Кенсингтона, мистер Баулз, они отпетые материалисты. Ничто для них ваша магия, и в своих краях они тоже ее в грош не ставят. Они думают, аптекарь — это так, пустяки. Они думают, что аптекарь — человек как человек.

Аптекарь немного помолчал — видимо, трудно было снести непереносимое оскорбление, — и затем поспешно проговорил:

— Что еще прикажете?

— Квасцы, — бросил лорд-мэр. — Итак, лишь в пределах нашего священного града чтут ваше дивное призвание. И, сражаясь за нашу землю, вы сражаетесь не только за себя, но и за все то, что вы воплощаете. Вы бьетесь не только за Ноттинг-Хилл, но и за таинственный сказочный край, ибо если возобладают Бак, Баркер и им подобные золотопоклонники, то, как ни странно, поблекнет и волшебное царство сказок.

— Еще что-нибудь, сэр? — спросил мистер Баулз, сохраняя внешнюю веселость.

— Да, да, таблетки от кашля — касторку — магнезию. Опасность надвинулась вплотную. И я все время чувствовал, что отстаиваю не один лишь свой родной город (хотя за него я готов пролить кровь до капли), но и за все те края, которые ждут не дожидаясь торжества наших идеалов. Не один Ноттинг-Хилл мне дорог, но также и Бейзуотер, также и Северный Кенсингтон. Ведь если верх возьмут эти денежные тузы, то они повсюду опоганят исконные благородные чувства и тайны народной души. Я знаю, что могу рассчитывать на вас.

— Разумеется, сэр, — горячо подтвердил аптекарь, — мы всегда стараемся удовлетворить покупателя.

Адам Уэйн вышел из аптеки с отрадным чувством исполненного долга.

— Как это замечательно, — сказал он сам себе, — что у меня есть чутье, что я сумел сыграть на их чувствительных струнах, задеть за живое и космополита-бакалейщика, и некроманта-аптекаря с его древним, как мир, загадочным ремеслом. Да, где бы я был без чутья?

Глава II МИСТЕР ТЕРНБУЛЛ, ЧУДОДЕЙ

Две дальнейшие беседы несколько подточили уверенность патриота в своей психологической дипломатии. Хоть он и подходил с разбором, уясняя сущность и своеобразие каждого занятия, однако собеседники его были как-то неотзывчивы. Скорее всего, это было глухое негодование против профана, с улицы вторгшегося в святая святых их профессий, но в точности не скажешь.

Разговор с хозяином лавки древностей начался многообещающе. Хозяин лавки древностей, надо сказать, его прямо-таки очаровал. Он уныло стоял в дверях своей лавчонки — усохший человек с седой бородкой клинышком: вероятно, джентльмен, который знал лучшие дни.

— И как же идет ваша торговля, о таинственный страж прошлого? — приветливо обратился к нему Уэйн.

— Да не сказать, чтоб очень бойко, с э р , — отвечал тот с присущей его сословию и надрывающей душу беспредельной готовностью к невзгодам. — Тихий ужас, прямо как в омуте.

Уэйн так и просиял.

— Речение, — сказал он , — достойное того, чей товар — история человечества. Да, именно тихий ужас: в двух словах выражен дух нашего времени, я чувствую его с колыбели. Бывало, я задумывался — неужели я один такой, а другим никому не в тягость этот тихий ужас, эта жуткая тишь да гладь? Смотрю и вижу

аккуратные безжизненные улицы, а по ним проходят туда и сюда пасмурные, нелюдимые, наглухо застегнутые мужчины в черном. И так день за днем, день за днем все так же, и ничего не происходит, а у меня чувство такое, будто это сон, от которого просыпаешься с придушенным криком. По мне, так ровная прямизна нашей жизни — это прямизна туго натянутой бечевки. И тихо-тихо — до ужаса, даже в ушах звенит; а лопнет эта бечевка — то-то грянет грохот! А уж вы-то, восседая среди останков великих войн, сидя, так сказать, на полях древних битв, вы, как никто, знаете, что даже и войны те были не ужаснее нынешнего тухлого мира; вы знаете, что бездельники, носившие эти шпаги при Франциске или Елизавете, что какой-нибудь неотесанный сквайр или барон, махавший этой булавой в Пикардии или в Нортумберленде, — что они были, может, и ужасно шумный народ, но не нам чета — тихим до ужаса.

Страж прошлого, казалось, огорчился: то ли упомянутые образчики оружия были не такие старинные и в Пикардии или Нортумберленде ими не махали, то ли ему было огорчительно все на свете, но вид у него стал еще несчастнее и озабоченнее.

— И все же я не думаю, — продолжал Уэйн, — что эта жуткая современная тишь так и пребудет тишью, хотя гнет ее, наверно, усилится. Ну что за издевательство этот новейший либерализм! Свобода слова нынче означает, что мы, цивилизованные люди, вольны молоть любую чепуху, лишь бы не касались ничего важного. О религии помалкивай, а то выйдет нелиберально; о хлебе насущном — нельзя, это, видите ли, своекорыстно; не принято говорить о смерти — это действует на нервы; о рождении тоже не надо — это неприлично. Так продолжаться не может. Должен же быть конец этому немому безразличию, этому немому и сонному эгоизму, немоте и одиночеству миллионов, превращенных в безгласную толпу. Сломается такой порядок вещей. Так, может, мы с вами его и сломаем? Неужто вы только на то и годны, чтоб стеречь реликвии прошлого?

Наконец-то лицо лавочника чуть-чуть прояснилось, и те, кто косо смотрит на хоругвь Красного Льва, пусть их думают, будто он понял одну последнюю фразу.

— Да староват я уже заводить новое дело, — сказал он, — опять же и непонятно, куда податься.

— А не податься ли в а м, — сказал Уэйн, тонко подготовивший заключительный х о д, — в полковники?

Кажется, именно тут разговор сперва застопорился, а потом постепенно потерял всякий смысл. Лавочник решительно не пожелал обсуждать предложение податься в полковники: это предложение якобы не шло к делу. Пришлось долго разъяснять ему, что война за независимость неизбежна, и приобрести втридорога сомнительную шпагу шестнадцатого века — тогда все более или менее уладилось. Но Уэйн покинул лавку древностей, как бы заразившись неизбывной скорбью ее владельца.

Скорбь эта усугубилась в цирюльне.

— Будем бриться, сэр? — еще издали осведомился мастер помазка.

— Война! — ответил Уэйн, став на пороге.

— Это вы о чем? — сурово спросил тот.

— Война! — задумчиво повторил Уэйн. — Но не подумайте, война вовсе не наперекор вашему изящному и тонкому ремеслу. Нет, война за красоту. Война за общественные идеалы. Война за мир. А какой случай для вас опровергнуть клеветников, которые, оскорбляя память ваших собратий-художников, приписывают малодушие тем, кто холит и облагораживает нашу внешность! Да чем же парикмахеры не герои? Почему бы им не...

— Вы вот что, а ну-ка проваливайте отсюда! — гневно сказал цирюльник. — Знаем мы вашего брата. Проваливайте, говорю!

И он устремился к нему с неистовым раздражением добряка, которого вывели из себя.

Адам Уэйн положил было руку на эфес шпаги, но вовремя опомнился и убрал руку с эфеса.

— Ноттинг-Хиллу, — сказал он, — нужны будут сыны поотважнее, — и угрюмо направился к магазину игрушек.

Это была одна из тех чудных лавчонок, которыми изобилуют лондонские закоулки и которые называются игрушечными магазинами лишь потому, что игрушек там уйма; а кроме того, имеется почти все, что душе угодно: табак, тетрадки, сласти, чтиво, полупенсовые скрепки и полупенсовые точилки, шнурки и бенгальские огни. А тут еще и газеты, а газеты приторговывали, и грязноватые газетные щиты были развешаны у входа.

— Сдается мне, — сказал Уэйн, входя, — что не нахожу я общего языка с нашими торговцами. Наверно, я упускаю из виду самое главное в их профессиях. Может статься, в каждом деле есть своя заветная тайна, которая не по зубам поэту?

Он понуро двинулся к прилавку, однако, подойдя, поборол уныние и сказал низенькому человечку с ранней сединой, похожему на очень крупного младенца:

— Сэр, — сказал Уэйн, — я хожу по нашей улице из дома в дом и тщетно пытаюсь пробудить в земляках сознание опасности, которая нависла над нашим городом. Но с вами мне будет труднее, чем с кем бы то ни было. Ведь хозяин игрушечного магазина — обладатель всего того, что осталось нам от Эдема, от времен, когда род людской еще не ведал войн. Сидя среди своих товаров, вы непрестанно размышляете о сказочном прошлом: тогда каждая лестница вела к звездам, а каждая тропка — в тридцатое царство. И вы, конечно, подумаете: какое это безрассудство — тревожить барабанным треском детский рай! Но погодите немного, не спешите меня осуждать. Даже в рай слышны глухие содроганья — предвестие грядущих бедствий: ведь и в том, предначальном Эдеме, обители совершенства, росло

ужасное древо. Судя о детстве, окиньте глазами вашу сокровищницу его забав. Вот у вас кубики — несомненное свидетельство, что строить начали раньше, нежели разрушать. Вот куклы — и вы как бы жрец этого божественного идолопоклонства. Вот Ноевы ковчеги — память о спасении живой твари, о невозместимости всякой жизни. Но разве у вас только и есть, сэр, что эти символы доисторического благоразумия, младенческого земного здравомыслия? А нет ли здесь более зловещих игрушек? Что это за коробки, уж не с оловянными ли солдатиками — вон там, в том прозрачном ящике? А это разве не свидетельство страшного и прекрасного стремления к героической смерти, вопреки блаженному бессмертию? Не презирайте оловянных солдатиков, мистер Тернбулл.

— Я и не презираю, — кратко, но очень веско отозвался мистер Тернбулл.

— Рад это слышать, — заметил Уэйн. — Признаюсь, я опасался говорить о войне с вами, чей удел — дивная безмятежность. Как, спрашивал я себя, как этот человек, привыкший к игрушечному перестуку деревянных мечей, помыслит о мечах стальных, вспарывающих плоть? Но отчасти вы меня успокоили. Судя по вашему тону, предо мною приоткрыты хотя бы одни врата вашего волшебного царства — те врата, в которые входят солдатики, ибо — не должно более таиться — я пришел к вам, сэр, говорить о солдатах настоящих. Да умилосердит вас ваше тихое занятие перед лицом наших жестоких горестей. И ваш серебряный покой да умиротворит наши кровавые невзгоды. Ибо война стоит на пороге Ноттинг-Хилла.

Низенький хозяин игрушечной лавки вдруг подскочил и всплеснул пухленькими ручонками, растопырив пальцы: словно два веера появились над прилавком.

— Война? — воскликнул о н . — Нет, правда, сэр? Кроме шуток? Ох, ну и дела! Вот утешенье-то на старости лет!

Уэйн отшатнулся при этой вспышке восторга.

— Я... это замечательно, — бормотал о н . — Я и подумать не смел...

Он посторонился как раз вовремя, а то бы мистер Тернбулл, одним прыжком перескочив прилавок, налетел на него.

— Гляньте, гляньте-ка, сэр, — сказал о н . — Вы вот на что гляньте.

Он вернулся с двумя афишами, сорванными с газетных щитов.

— Вы только посмотрите, с э р , — сказал он, расстилая афиши на прилавке.

Уэйн склонился над прилавком и прочел:

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ.
ВЗЯТИЕ ГЛАВНОГО ОПЛОТА ДЕРВИШЕЙ.
ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ и проч.

И на другой афише:

ГИБЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ МАЛЕНЬКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
СТОЛИЦА НИКАРАГУА СДАЛАСЬ ПОСЛЕ ТРИДЦАТИДНЕВНЫХ БОЕВ.
КРОВАВОЕ ПОБОИЩЕ.

В некоторой растерянности Уэйн перечел афиши, потом поглядел на даты. И та, и другая датирована была августом пятидесятилетней давности.

— А зачем вам это старье? — спросил он, уж и не думая о тактичном подходе и о мистических призваниях. — Зачем вы это вывесили перед магазином?

— Да затем, — напрямик отвечал тот, — что это последние военные новости. Вы только что сказали «война», а война — мой конек.

Уэйн поднял на него взгляд, и в его огромных голубых глазах было детское изумление.

— Пойдемте, — коротко предложил Тернбулл и провел его в заднее помещение магазина.

Посреди комнаты стоял большой сосновый стол, а на нем — масса оловянных солдатиков. Магазин торговал ими, и удивляться вроде бы не приходилось, однако заметно было, что солдатiki не сгрудились так себе, а расставлены строями — не напоказ и не случайно.

— Вам, разумеется, известно, — сказал Тернбулл, выпучив на Уэйна свои лягушачьи глаза, — известно, разумеется, расположение американских и никарагуанских войск перед последней битвой, — и он указал на стол.

— Боюсь, что нет, — сказал Уэйн. — Видите ли, я...

— Понятно, понятно! Должно быть, вас тогда больше интересовало подавление восстаний дервишей. Ну, это там, в том углу, — и он показал на пол, где опять-таки были расставлены солдатiki.

— По-видимому, — сказал Уэйн, — вас очень занимают дела военные.

— Меня не занимают никакие другие, — бесхитростно отвечал хозяин магазина игрушек.

Уэйн постарался подавить охватившее его бурное волнение.

— В таком случае, — сказал он, — я рискну довериться вам целиком. Я полагаю, что оборона Ноттинг-Хилла...

— Оборона Ноттинг-Хилла? Прошу вас, сэр. Вон туда, сэр, — сказал Тернбулл, прямо-таки заплывав на месте, — вон в ту боковую комнатку. — И он подвел Уэйна к столу, застроенному кубиками. Уэйн присмотрелся и увидел перед собой четкий и точный макет Ноттинг-Хилла.

— Сэр, — внушительно промолвил Тернбулл, — вы совершенно случайно открыли секрет всей моей жизни. Последние войны — в Никарагуа и на Востоке — разразились, когда я был мальчишкой, и я увлекся военным делом, сэр, как, бывает, увле-

каются астрономией или набивкой чуел. Воевать-то я ни с кем не собирался, война интересовала меня как наука, как игра. Но не тут-то было: великие державы всех позавоевывали и заключили, черт бы его драл, соглашение больше между собой не воевать. Вот мне только и осталось, что представлять себе войны по старым газетам и расставлять оловянных солдатиков. И вдруг меня осенило: а не сделать ли мне макет нашего района и не составить ли план его обороны — вдруг да на нас нападут? Вам это, видать, тоже показалось любопытно?

— Вдруг да на нас нападут, — ошеломленный восторгом, механически повторил Уэйн. — Мистер Тернбулл, на нас напали. Слава Богу, наконец-то я приношу хоть одному человеку благою весть, да какую — вестей отрядней для сыновей Адама не бывает. Жизнь ваша — не бесполезна. Труд ваш — не забава. Время вашей юности, Тернбулл, настало теперь, когда вы уже поседели. Господь не лишил вас ее; Он ее лишь отложил. Давайте присядем, и вы объясните мне на макете ваш план обороны Ноттинг-Хилла. Ибо нам с вами предстоит защищать его.

Мистер Тернбулл с минуту глядел на нежданного гостя, разинув рот; потом оставил колебания и уселся рядом с ним возле макета. Они поднялись на ноги лишь через семь часов, на рассвете.

* * *

Ставка лорд-мэра Адама Уэйна и его главнокомандующего разместила в маленькой захудалой молочной на углу Насосного переулка. Белесое утро едва брезжило над белесыми лондонскими строениями, а Уэйн с Тернбуллом уже сидели в безлюдной и замызганной забегаловке. Уэйн имел отчасти женскую натуру: чем-нибудь поглощенный, он терял всякий аппетит. За последние шестнадцать часов он выпил наспех несколько стаканов молока; пустой стакан и теперь стоял у его локтя, а он с невероятной быстротой что-то писал, черкал и подсчитывал на клочке бумаге. У Тернбулла натура была мужская: его аппетит возрастал с возрастом чувства ответственности; он отложил исчерченную карту и доставал из бумажного пакета бутерброд за бутербродом, запивая их элем, кружку которого только что принес из открывшегося поутру кабачка напротив. Оба молчали; слышалось лишь чирканье карандаша по бумаге да надрывное мяуканье приبلудного кота. Наконец Уэйн проговорил:

— Семнадцать фунтов восемь шиллингов девять пенсов.

Тернбулл кивнул и запустил нос в кружку.

— Это не считая тех пяти фунтов, что вы вчера взяли, — добавил Уэйн. — Как вы ими распорядились?

— А, вот это не лишено интереса, — пробурчал Тернбулл с набитым ртом. — Те пять фунтов я израсходовал милосердно и человеколюбиво.

Уэйн вопросительно поглядел на пучеглазого и невозмутимого соратника.

— Те пять фунтов,— продолжал тот, — я разменял и раздал сорока — да, именно сорока уличным мальчишкам, чтобы они катались на извозчиках.

— Вы в своем уме? — спросил лорд-мэр.

— А что такого особенного,— возразил Тернбулл. — Эти поездки подымут тонус — большое дело тонус, дорогой мой! — нашей лондонской детворы, расширят их кругозор, укрепят их нервную систему, ознакомят с памятными местами нашей великой столицы. Воспитание, Уэйн, и еще раз воспитание! Многие замечательные мыслители указывали, что, пока нет культурного населения, нечего и затевать политические реформы. А вот через двадцать лет, когда эти мальчишки подрастут...

— Так и есть, спятил,— сказал Уэйн, бросая карандаш. — А пяти фунтов как не бывало!

— Ошибаетесь,— заметил Тернбулл. — Где вам, суровым людям, понять, насколько лучше спорится дело, если его приправить чепуховиной да вдобавок хорошенько перекусить. Я сказал вам сущую правду, только увешал ее словесными побрякушками. Да, вчера вечером я раздал сорок полукрон сорока мальчишкам и разослал их во все концы Лондона: пусть возвращаются оттуда на извозчиках. И сказал, куда возвращаться, — всем к одному и тому же месту. Через полчаса будет расклеено объявление войны и как раз начнут прибывать кебы, а вы держите стражу наготове. Мальчишки знай подкатывают, а мы отпрягаем лошадей — вот она и кавалерия, а кебы чем не баррикады? Извозчикам мы предложим драться вместе с нами или сидеть пока чего в подвалах и погребах. Мальчишки снова пригодятся, будут разведчиками. Главное — что к началу боевых действий у нас будет преимущество над всеми противниками — будет конница. Ну, а теперь,— сказал он, выхлебывая эль, — пойду-ка я обучать ополченцев.

Он вышел из молочной, и лорд-мэр проводил его восхищенным взглядом.

Через минуту-другую он рассмеялся. Смеялся он всего два два в жизни, издавая довольно странные звуки, — не давалось ему это искусство. Однако даже ему показалась забавной головокружительная проделка с мальчишками и полукронами. А чудовищной нелепости всех своих демаршей и военных приготовлений он не замечал. Он почувствовал себя воителем, и чужая пустая забава стала его душевной отрадой. Тернбулл же все-таки немного забавлялся, но больше радовался возможности противостоять ненавистной современности, монотонной цивилизации. Разламывать огромные отлаженные механизмы современного бытия и превращать обломки в орудия войны, громоздить баррикады из omnibusов и устраивать наблюдательные посты на фабричных трубах — такая военная игра, на его взгляд, стоила

свеч. Он здраво рассудил — и такое здравомыслие будет сотрясать мир до конца времен — рассудил неспешно и здраво, что в веселый час и смерть не страшна.

Глава III ПОПЫТКА МИСТЕРА БАКА

Королю было подано проникновенное и красноречивое прошение за подписями Уилсона, Баркера, Бака, Свиндона и проч. Они просили дозволить им явиться на имеющее быть в присутствии Его Величества совещание касательно покупки земельного участка, занятого Насосным переулком, в обычных утренних парадных костюмах, а не в лорд-мэрских нарядах, уповая при этом, что придворный декорум пострадает лишь незначительно, и заверяя Его Величество в своем совершеннейшем и несказаннейшем почтении. Так что все участники совещания были в сюртуках и даже король явился всего-навсего в смокинге с орденом, что, впрочем, бывало и прежде, но на этот раз он нацепил не орден Подвязки, а бляху-значок клуба Дружков Старого Проныры, превеликими трудами раздобытый в редакции полупенсової газетенки для школьников. И так, все были в черном; но в яркo-алом величественно вошел в палату Адам Уэйн, как всегда, препоясанный мечом.

— Мы собрались,— объявил Оберон, — дабы разрешить труднейший и неотложный вопрос. Да сопутствует нам удача! — И он чинно уселся во главе стола.

Бак подвинул кресло поудобнее и заложил ногу на ногу.

— Ваше Величество,— как нельзя добродушной сказал о н , — я не пойму одного — почему бы нам не решить этот вопрос за пять минут. Имеется застройка: мы ее сносим и получаем тысячную прибыль, даром что сама-то она и сотни не стоит. Ладно, мы даем за нее тысячу. Я знаю, так дела не делаются, можно бы сторговать и подешевле; неправильно это, не по-нашему, но вот чего уж тут нет — так это затруднений.

— Затруднение очень простое,— сказал Уэйн. — Предлагайте хоть миллион — Насосный переулок просто-напросто не продается.

— Погодите, погодите, мистер Уэйн, — холодно, однако же с напором вмешался Баркер. — Вы одумайтесь. Вы не имеете никакого права занимать такую позицию. Торговаться вы имеете право — но вы же не торгуетесь. Вы, наоборот, отвергаете предложение, которое любой нормальный человек на вашем месте принял бы с благодарностью, — а вы отвергаете, нарочито и злонамеренно; да, иначе не скажешь, злонамеренно и нарочито. Это, знаете ли, дело уголовное — вы идете против общественных интересов. И королевское правительство вправе вас принудить.

Он распластал пальцы на столе и впился глазами в лицо Уэйна: тот и бровью не повел.

— Да, вправде... принудить вас, — повторил он.

— Какое вправде, обязано, — коротко проговорил Бак, резко придвинувшись к столу. — Мы со своей стороны сделали все.

Уэйн медленно поднял на него глаза.

— Я ослышался, — спросил он, — или милорд Бак и вправду сказал, что король Англии что-то кому-то обязан?

Бак покраснел и сердито поправился:

— Не обязан, так должен — словом, что надо, то надо. Я говорю, мы уж, знаете, расщедрились донельзя: кто скажет, что нет? В общем, мистер Уэйн, я человек вежливый, я вас обижать не хочу. И надеюсь, вы не очень обидитесь, если я скажу, что вам самое место в тюрьме. Преступно это — мешать по своей прихоти общественным работам. Эдак другой спалит десять тысяч луковиц у себя в палисаднике, а третий пустит детей голышом бегать по улице; и вы вроде них, никакого права не имеете. Бывало и прежде, что людей заставляли продавать. Вот и король, надеюсь, вас заставит, велит — и все тут.

— Но пока не велит, — спокойно отвечал Уэйн, — до тех пор законы и власти нашей великой нации на моей стороне, и попробуйте-ка это оспорить!

— В каком же это смысле, — воскликнул Баркер, сверкая глазами и готовясь поймать противника на слове, — в каком же это, извините, смысле законы и власти на вашей стороне?

Широким жестом Уэйн развернул на столе большой свиток, поля которого были изрисованы корявыми акварельными чело-вечками в коронах и венках.

— Хартия предместий... — заявил он.

Бак грубо выругался и захохотал.

— Бросьте вы идиотские шутки. Хватит с нас и того...

— И вы смеете сидеть здесь, — воскликнул Уэйн, вскочив, и голос его зазвучал, как труба, — и вместо ответа мне бросать оскорбления в лицо королю?

Разъяренный Бак тоже вскочил.

— Ну, меня криком не возьмешь, — начал он, но тут король медлительно и неописуемо властно проговорил:

— Милорд Бак, напоминаю вам, что вы находитесь в присутствии короля. Редкостный случай: прикажете монарху просить защиты от верноподданных?

Баркер повернулся к нему, размахивая руками.

— Да ради же Бога не берите сторону этого сумасшедшего! — взмолился он. — Отложите свои шуточки до другого раза! Ради всего святого...

— Милорд правитель Южного Кенсингтона, — по-прежнему размеренно молвил король Оберон, — я не улавливаю смысла ваших реплик, которые вы произносите чересчур быстро, а при дворе это не принято. Очень похвально, что вы пытаетесь допол-

нить невнятную речь выразительными жестами, но увы, и они дела не спасают. Я сказал, что лорд-мэр Северного Кенсингтона, — а я обращался к нему, а не к в а м , — лучше бы воздержался в присутствии своего суверена от непочтительных высказываний по поводу его королевских манифестов. Вы несогласны?

Баркер заерзал в кресле, а Бак смолчал, ругнувшись под нос, и король безмятежно приказал:

— Милорд правитель Ноттинг-Хилла, продолжайте.

Уэйн обратил на короля взор своих голубых глаз; к общему удивлению, в них не было торжества — была почти ребяческая растерянность.

— Прошу прощения, Ваше Величество, — сказал о н , — боюсь, что я виноват не менее, нежели лорд-мэр Северного Кенсингтона. Мы оба в пылу спора вскочили на ноги; стыдно сказать, но я первый. Это в немалой степени оправдывает лорд-мэра Северного Кенсингтона, и я смиренно прошу Ваше Величество адресовать упрек не ему, но главным образом мне. Мистер Бак, разумеется, не без вины: он погорячился и неуважительно высказался о Хартии. В остальном же он, по-моему, тщательно соблюдал учтивость.

Бак прямо-таки расцвел: деловые люди — народ простодушный, в этом смысле они сродни фанатикам. А король почему-то впервые в жизни выглядел пристыженно.

— Спасибо лорд-мэру Ноттинг-Хилла на добром слове, — заявил Бак довольным голосом, — я так понимаю, что он не прочь от дружеского соглашения. Стало быть, так, мистер Уэйн. Вам были поначалу предложены пятьсот фунтов за участок, за который, по совести, и сотни-то много. Но я — человек, прямо скажу, богатый, и коли уж вы со мной по-хорошему, то и я с вами так же. Чего там, кладу тысячу пятьсот, и Бог с вами. На том и ударим по рукам, — и он поднялся, расхохотавшись и сияя дружелюбием.

— Ничего себе, полторы тысячи, — прошептал мистер Уилсон, правитель Бейзуотера. — А мы как, полторы тысячи-то наберем?

— Это уж моя забота, — радушно сказал Б а к . — Мистер Уэйн как настоящий джентльмен не поскупился замолвить за меня словечко, и я у него в долгу. Ну что ж, вот, значит, и конец переговорам.

Уэйн поклонился.

— И я того же мнения. Сожалею, но сделка невозможна.

— Как? — воскликнул мистер Баркер, вскакивая на ноги.

— Я согласен с мистером Б а к о м , — объявил король.

— Да еще бы нет. — Тот сорвался на крик и тоже вскочил. — Я же говорю...

— Я согласен с мистером Баком, — повторил король. — Вот и конец переговорам.

Все поднялись из-за стола, и один лишь Уэйн не выказывал ни малейшего волнения.

— В таком случае, — сказал он, — Ваше Величество, наверно, разрешит мне удалиться? Я свое последнее слово сказал.

— Разрешаю вам удалиться, — сказал Оберон с улыбкой, однако ж не поднимая глаз. И среди мертвого молчания лорд-мэр Ноттинг-Хилла прошествовал к дверям.

— Ну? — спросил Уилсон, оборачиваясь к Баркеру. — Ну и как же?

Баркер безнадежно покачал головой.

— Место ему — в лечебнице, — вздохнул он. — Но хотя бы одно ясно — его можно сбросить со счетов. Чего толковать с сумасшедшим?

— Да, — сказал Бак, мрачно и решительно соглашаясь. — Вы совершенно правы, Баркер. Он парень-то неплохой, но это верно: чего толковать с сумасшедшим? Давайте рассудим попросту: пойдите скажите первым десяти прохожим, любому городскому врачу, что одному тут предложили полторы тысячи фунтов за земельный участок, которому красная цена четыреста, а он в ответ что-то мелет о нерушимых правах Ноттинг-Хилла и называет его священной горой. Что вам скажут, как вы думаете? На нашей стороне здравый смысл простых людей — чего еще нам надо? На чем все законы держатся, как не на здравом смысле? Я вот что скажу, Баркер: правда, хватит трепаться. Прямо сейчас посылаем рабочих — и с Насосным переулком покончено. А если старина Уэйн хоть слово против брякнет — мы его тут же в желтый дом. Поговорили — и будет.

У Баркера загорелись глаза.

— Извините за комплимент, Бак, но я всегда считал вас настоящим человеком дела. Я вас целиком поддерживаю.

— Я, разумеется, тоже, — заявил Уилсон.

Бак победно выпрямился.

— Ваше Величество, — сказал он, в новой роли народного трибуна, — я смиренно умоляю Ваше Величество поддержать это наше предложение, с которым все согласны. И уступчивость Вашего Величества, и наши старания — все было впустую, не тот человек. Может, он и прав. Может, он и взаправду Бог, а нет — так дьявол. Но в интересах дела мы решили, что он — умалишенный. Начнешь с ним канителиться — пиши пропало. Мы канителиться не станем, и без всяких проволочек принимаемся за Ноттинг-Хилл.

Король откинулся в кресле.

— Хартия предместий... — звучно выговорил он.

Но Бак теперь уже взял быка за рога, сделался осторожнее и не проявил неуважения к монаршим дурачествам.

— Ваше Величество, — сказал он, почтительно поклонившись, — я слова не скажу против ваших деяний и речений. Вы человек образованный, не то что я, и стало быть, какие ни на есть, а есть причины — интеллектуальные, наверно, — для всей этой круговерти. Но я вас вот о чем спрошу — и пожалуйста, если

можно, ответьте мне по совести. Вы когда сочиняли свою Хартию предместий — вы могли подумать, что явится на свет Божий такой Адам Уэйн? Могли вы ожидать, что ваша Хартия — пусть это будет эксперимент, пусть декорация, пусть просто шутка, не важно, — но что она застопорит огромные деловые начинания, перегорит дорогу кебам, омнибусам, поездам, что она разорит полгорода и приведет чуть ли не к гражданской войне? На что бы вы ни рассчитывали, но уж не на это, верно?

Баркер и Уилсон восхищенно посмотрели на него; король взглянул еще восхищенной.

— Лорд-мэр Бак, — сказал Оберон, — ораторствуете вы так, что лучше некуда. И я как художник слова великодушно снимаю перед вами шляпу. Нет, я нимало не предвидел возникновения мистера Уэйна. Ах! если б у меня хватило на это поэтического чутья!

— Благодарствуйте, Ваше Величество, — с почтительной поспешностью отозвался Бак. — Ваше Величество всегда изъясняетесь внятно и продуманно, и я не премину сделать вывод из ваших слов. Раз ваш заветный замысел, каков бы он ни был, не предполагал возникновения мистера Уэйна, то исчезновение мистера Уэйна вам тоже нипочем. Так позвольте уж нам снести к чертовой матери этот треклятый Насосный переулок, который мешает нашим замыслам и ничуть, как вы сами сказали, не способствует вашим.

— Вмазал! — заметил король с восторженным безучастием, словно зритель на матче.

— Уэйна этого, — продолжал Бак, — любой доктор тут же упрячет в больницу. Но этого нам не надо, пусть его просто посмотрят. А тем временем ну никто, ну даже он сам, не понесет ни малейшего урона из-за обновления Ноттинг-Хилла. Мы-то, само собой, не понесем: мы это дело тихо обмозговывали добрых десять лет. И в Ноттинг-Хилле никто не пострадает: все его нормальные обитатели ждут не дождутся перемен. Ваше Величество тоже останется при своем: вы же сами говорите и, как всегда, здраво, что никак не предвидели появления этого оглашенного. И, повторяю, сам он тоже только выиграет: он — малый добродушный и даже даровитый, а ежели его посмотрит доктор-другой, так толку будет больше, чем от всех свободных городов и священных гор. Словом, я полагаю — извините, если это на ваш слух дерзко звучит, — что Ваше Величество не станет препятствовать продолжению строительных работ.

И мистер Бак уселся под негромкий, но восторженный гул одобрения.

— Мистер Бак, прошу у вас прощенья за посещавшие меня порой изящные и возвышенные мысли, в которых вам неизменно отводилась роль последнего болвана. Впрочем, мы сейчас не о том. Предположим, пошлете вы своих рабочих, а мистер Уэйн — он ведь на это вполне способен — выпроводит их с колодушками?

— Я подумал об этом, Ваше Величество, — с готовностью отвечал Б а к , — и не предвижу особых затруднений. Отправим рабочих с хорошей охраной, отправим с ними — ну, скажем, сотню алебардщиков Северного Кенсингтона (он брезгливо ухмыльнулся), столь любезных сердцу Вашего Величества. Или, пожалуй, сто пятьдесят. В Насосном переулке всего-то, кажется, сотня жителей, вряд ли больше.

— А если эта сотня все-таки задаст вам жару? — задумчиво спросил король.

— В чем дело, пошлем две с о т н и , — весело возразил Бак.

— Знаете ли, — мягко предположил король , — оно ведь может статься, что один алебардщик Ноттинг-Хилла стоит двух северных кенсингтонцев.

— Может и такое статься, — равнодушно согласился Б а к . — Ну что ж, пошлем двести пятьдесят.

Король закусил губу.

— А если и этих побьют? — ехидно спросил он.

— Ваше Величество, — отвечал Бак, усевшись поудобнее , — и такое может быть. Ясно одно — и уж это яснее ясного: что война — простая арифметика. Положим, выставит против нас Ноттинг-Хилл сто пятьдесят бойцов. Ладно, пусть двести. И каждый из них стоит двух наших — тогда что же, пошлем туда не четыре даже сотни, а целых шесть, и уж тут хочешь не хочешь, наша возьмет. Невозможно ведь предположить, что любой из них стоит наших четверых? И все же — зачем рисковать? Покончить с ними надо одним махом. Шлем восемьсот, сотрем их в порошок — и за работу.

Мистер Бак извлек из кармана пестрый носовой платок и шумно высморкался.

— Знаете ли, мистер Б а к , — сказал король, грустно разглядывая с т о л , — вы так ясно мыслите, что у меня возникает немислимое желание съездить вам, не примите за грубость, по морде. Вы меня чрезвычайно раздражаете. Почему бы это, спрашивается? Остатки, что ли, нравственного чувства?

— Однако же, Ваше Величество, — вкрадчиво вмешался Баркер , — вы же не отвергаете наших предложений?

— Любезный Баркер, ваши предложения еще отвратительнее ваших манер. Я их знать не хочу. Ну, а если я вам ничего этого не позволю? Что тогда будет?

И Баркер отвечал вполголоса:

— Будет революция.

Король быстро окинул взглядом собравшихся. Все сидели потупившись; все покраснели. Он же, напротив, странно побледнел и внезапно поднялся.

— Джентльмены, — сказал о н , — вы меня приперли к стенке. Говорю вам прямо, что, по-моему, полоумный Адам Уэйн стоит всех вас и еще миллиона таких же впридачу. Но за вами сила и, надо признать, здравый смысл, так что ему несдобровать. Давай-

те собирайте восемьсот алебардчиков и стирайте его в порошок. По-честному, лучше бы вам обоиться двумя сотнями.

— По-честному, может, и лучше бы, — сурово отвечал Бак, — но это не по-хорошему. Мы не художники, нам неохота любоваться на окровавленные улицы.

— Подловато, — сказал Оберон. — Вы их задавите числом, и битвы никакой не будет.

— Надеемся, что не будет, — сказал Бак, вставая и натягивая перчатки. — Нам, Ваше Величество, никакие битвы не нужны. Мы мирные люди, мы народ деловой.

— Ну что ж, — устало сказал король, — вот и договорились. Он мигом вышел из палаты; никто и шевельнуться не успел.

* * *

Сорок рабочих, сотня беизуотерских алебардчиков, две сотни южных кенсингтонцев и три сотни северных собрались возле Холланд-Парка и двинулись к Ноттинг-Хиллу под водительством Баркера, раскрасневшегося и разодетого. Он замыкал шествие; рядом с ним угрюмо плелся человек, похожий на уличного мальчишку. Это был король.

— Баркер, — принялся он канючить, — вы же старый мой приятель, вы знаете мои пристрастия не хуже, чем я ваши. Не надо, а? Сколько потехи-то могло быть с этим Уэйном! Оставьте вы его в покое, а? Ну что вам, подумаешь — одной дорогой больше, одной меньше? А для меня это очень серьезная шутка — может, она меня спасет от пессимизма. Ну, хоть меньше людей возьмите, и я часок-другой порадуюсь. Нет, правда, Джеймс, собирали бы вы монеты или, пуше того, колибри, и я бы мог раздобыть для вас монетку или пташку — ей-богу, не пожалел бы за нее улицы! А я собираю жизненные происшествия — это такая редкость, такая драгоценность. Не отнимайте его у меня, плюньте вы на эти несчастные фунты стерлингов. Пусть порезвятся ноттингхилльцы. Не трогайте вы их, а?

— Оберон, — мягко сказал Баркер, в этот редкий миг откровенности обращаясь к нему за просто, — ты знаешь, Оберон, я тебя понимаю. Со мною тоже такое бывало: кажется, и пустяк, а дороже всего на свете. И дурачества твоим я, бывало, иногда сочувствовал. Ты не поверишь, а мне даже безумство Адама Уэйна бывало по-своему симпатично. Однако же, Оберон, жизнь есть жизнь, и она дурачества не терпит. Двигатель жизни — грубые факты, они вроде огромных колес, и ты вокруг них порхашь, как бабочка, а Уэйн садится на них, как муха.

Оберон заглянул ему в глаза.

— Спасибо, Джеймс, ты кругом прав. Я, конечно, могу слегка утешаться в том смысле, что даже мухи неизмеримо разумнее колес. Но мушиный век короткий, а колеса — они вертятся, вертятся и вертятся. Ладно, вертись с колесом. Прощай, старина.

И Джеймс Баркер бодро зашагал дальше, румяный и веселый, постукивая по ноге бамбуковой тросточкой.

Король проводил удаляющееся воинство тоскливым взглядом и стал еще больше обычного похож на капризного младенца. Потом он повернулся и хлопнул в ладоши.

— В этом серьезнейшем из миров, — сказал он, — нам остается только есть. Тут как-никак смеху не оберешься. Это же надо — становятся в позы, пыжатыся, а жизнь-то от природы смехотворна: как ее, спрашивается, поддерживают? Поиграет человек на лире, скажет: «Да, жизнь — это священнодействие», а потом идет, садится за стол и запикивает разные разности в дырку на лице. По-моему, тут природа все-таки немного сгубила — ну что это за дурацкие шутки! Мы, конечно, и сами хороши, нам подавай для смеху балаган, вроде как мне с этими предместьями. Вот природа и смешит нас, олухов, зрелищем еды или зрелищем кенгуру. А звезды или там горы — это для тех, у кого чувство юмора потоньше.

Он обратился к своему конюшему:

— Но я сказал «есть», так поедем же: давайте-ка устроим пикник, точно благодетельные детки. Шагом марш, Баулер, и да будет стол, а на нем двенадцать, не меньше, яств и вдоволь шампанского — под этими густолиственными ветвями мы с вами вернемся к природе.

Около часу заняла подготовка к скромной королевской трапезе на Холланд-Лейн; тем временем король расхаживал и посвистывал — впрочем, довольно мрачно. Он предвкушал потеху, обманулся и теперь чувствовал себя ребенком, которому показали фигу вместо обещанного представления. Но когда они с конюшим подзакусили и выпили как следует сухого шампанского, он понемногу воспрянул духом.

— Как все, однако, медленно делается, — сказал он. — Очень мне мерзостны эти баркеровские идеи насчет эволюции и маломальского преображения того-сего в то да се. По мне, уж лучше бы мир и вправду сотворили за шесть дней и еще за шесть разнесли вдребезги. Да я бы сам за это и взялся. А так — ну что ж, в целом неплохо придумано: солнце, луна, по образу и подобию и тому подобное, но как же все это долго тянется! Вот вы, Баулер, никогда не жаждали чуда?

— Никак нет, сэр, — отвечал Баулер, эволюционист по долгу службы.

— А я жаждал, — вздохнул король. — Иду, бывало, по улице с лучшей на свете и во вселенной сигарой в зубах, в животе у меня столько бургундского, сколько вы за всю свою жизнь не видавали; иду и мечтаю — эх, вот бы фонарный столб взял да и превратился в слона, а то скучно, как в аду. Вы уж мне поверьте, разлюбезный мой эволюционист Баулер, — вовсе не от невежества люди искали знамений и веровали в чудеса. Наоборот, они были мудрецами — может, гнусными и гадкими, а все же мудре-

цами, и мудрость мешала им есть, спать и терпеливо обуваться. Батюшки, да этак я, чего доброго, создам новую теорию происхождения христианства — вот уж, право, нелепица! Хлопнем-ка лучше еще винишка.

Они сидели за небольшим столиком, застланным белоснежной скатертью и уставленным разноцветными бокалами; свежий ветер овевал их и раскачивал верхушки деревьев в Холланд-Парка, а лучистое солнце золотило зелень. Король отодвинул тарелку, не спеша раскурил сигару и продолжал:

— Вчера я было подумал, будто случилось нечто едва ли не чудесное, и я успею этому порадоваться, прежде чем обрадую могильных червей своим появлением под землей. Ох, поглядел бы я, как этот рыжий маньяк размахивает огромным мечом и произносит зажигательные речи перед сонмом своих невообразимых сторонников — и приоткрылся бы мне Край Вечной Юности, сокрытый от нас судьбами. Я такое напридумывал! Конгресс в Найтсбридже, Найтсбриджский договор — я тут как тут, на троне; может, даже триумф по-древнеримски и бедняга Баркер в каких ни на есть цепях. А теперь эти мерзавцы, эти устроители жизни, будь они трижды прокляты, пошли устранять мистера Уэйна, и заточат они его ради вящей гуманности в какую-нибудь такую лечебницу. Да вы подумайте, какие сокровища красноречия будут изливаться на голову равнодушного зрителя, а? Хоть бы уж меня, что ли, назначили его зрителем. Слово, жизнь — это юдоль. Всегда об этом помните, и все будет в порядке. Главное, надо сызмала...

Король прервался, и сигара, которой он жестикулировал, замерла в воздухе: он явно прислушивался к чему-то. Несколько секунд он не двигался; потом резко обернулся к высокой и сплошной речной изгороди, отделявшей сады и лужайки от улицы. Изгородь содрогалась, будто какой-то плененный зверь царапал и грыз деревянную клетку. Король отшвырнул сигару, вспрыгнул на стол — и сразу увидел руки, уцепившиеся за верх изгороди. Руки напряглись в судорожном усилии, и между ними появилась голова — не чья-нибудь, а бейзуотерского городского советника: глаза Выпучены, бакенбарды торчком. Он перевалился и плюхнулся оземь, издавая громкие и непрерывные стоны. Точно залп ударил в тонкую дощатую ограду; она загудела, как барабан, послышалась суматошная ругань, и через нее перемахнули разом человек двадцать в изорванной одежде, со сломанными ногтями и окровавленными лицами. Король соскочил со стола и отпрянул футов на пять в сторону; стол был опрокинут, бутылки и бокалы, тарелки и обьедки разлетелись, людской поток подхватил и унес Баулера, как впоследствии написал в своем знаменитом репортаже король, «словно похищенную невесту». Высокая ограда зашаталась, разламываясь, как под градом картечи: на нее лезли, с нее прыгали и падали десятки людей, из проломов появлялись все новые и новые безумные

лица, выскакивали все новые беглецы. Это была сущая человечья свалка: одни каким-то чудом целы и невредимы, другие — израненные, в крови и грязи; некоторые роскошно одеты, а иные — полуголые и в лохмотьях; те — в несуразном шутовском облачении, эти — в обыкновенных современных костюмах. Король глядел на них во все глаза, но из них никто даже не взглянул на короля. Вдруг он сделал шаг вперед.

— Баркер, — крикнуло оно, — что случилось?

— Разбиты, — отозвался тот, — разгромлены — в пух и прах! — и умчался, пыхтя, как загнанная лошадь, в толпе беглецов.

В это самое время последний стоячий кусок изгороди, треща, накренился, и камнем из пращи выбросило на аллею человека, вовсе не похожего на остальных, в алой форме стражника Ноттинг-Хилла; алебарда его была в крови, на лице — упоение победы. И тут же через поверженную изгородь хлынуло алое воинство с алебардами наперевес. Гонители вслед за гонимыми промелькнули мимо человечка с совиными глазами, который не вынимал рук из карманов.

Сперва он понимал только, что ненароком чуть не угодил в бредовый людской водоворот. Но потом случилось что-то неопишное — у него описание не выходило, а мы и пробовать не будем. В темном проходе на месте разметанных ворот возникла, как в раме, пламенеющая фигура.

Победитель Адам Уэйн стоял, закинув голову и воздев к небсам свой огромный меч; его пышные волосы вздыбились, как львиная грива, а красное облачение реяло за плечами, точно архангельские крылья. И король вдруг почему-то увидел мир совсем иными глазами. Ветер качал густозеленые кроны деревьев и взметывал полы алой мантии. Меч сверкал в солнечных лучах. Нелепый маскарад, в насмешку выдуманный им самим, сомкнулся вокруг него и поглотил весь свет. И это было нормально, разумно и естественно; зато он, рассудительный и насмешливый джентльмен в черном сюртучке, был исключением, случайностью — черным пятном на ало-золотых ризах.

Книга четвертая

Глава I ФОНАРНАЯ БИТВА

Мистер Бак хоть и жил на покое, но частенько захаживал в свой большой фирменный магазин на Кенсингтон-Хай-стрит; и нынче он запирал его, уходя последним. Стоял чудесный золотисто-зеленый вечер, но до этого ему особого дела не было; впрочем, скажи ему кто-нибудь об этом, он бы степенно согласился: богатому человеку идет тонкая натура.

Потянуло прохладой: он застегнул желтое летнее пальто и задымил сигарой; в это время на него чуть не наскочил человек тоже в желтом пальто, но демисезонном и расстегнутом, чтоб не сказать распахнутом.

— А, Баркер! — узнал его суконщик. — За покупками, на распродажу? Опоздали, опоздали. Рабочий день кончен, закон не велит, Баркер. Туманность и прогресс — не шутка, голубчик мой.

— Ох, да не болтайте вы! — крикнул Баркер, топнув ногой. — Мы разбиты.

— Что значит разбиты? — не понял Бак.

— Уэйн разгромил нас.

Бак наконец посмотрел в лицо Баркеру: лицо было искаженное, бледное и потное, поблескивавшее в фонарном свете.

— Пойдемте выпьем чего-нибудь, — сказал он.

Они зашли в первый попавшийся ресторанчик, уютный и светлый; Бак развалился в кресле и вытащил портсигар.

— Закуривайте, — предложил он.

Взбудораженный Баркер словно бы не собирался садиться; потом все-таки присел так, будто вот-вот вскочит. Они заказали виски, не обменявшись ни словом.

— Ну и как же это случилось? — спросил Бак, устремив на собеседника крупные властные глаза.

— А я почему знаю? — выкрикнул Баркер. — Случилось, будто — будто во сне. Как могут двести человек одолеть шестьсот? Вот как?

— Ну-ну, — спокойно сказал Бак, — и как же они вас одоле-ли? Припомните-ка.

— Не знаю; это уму непостижимо, — отвечал тот, барабана по столу. — Значит, так. Нас было шестьсот, все с этими трекля-тыми обероновыми рогатинами — и никакого другого оружия. Шли колонной по двое, мимо Холланд-Парка между высокими изгородами — мне-то казалось, мы идем напрямик к Насосному переулку. Я шел в хвосте длинной колонны, нам еще идти и идти между оградами, а головные уже пересекали Холланд-Парк-авеню. Они там за авеню далеко углубились в узенькие улочки, а мы вышли к перекрестку и следом за ними на той, северной стороне свернули в улочку, которая хоть вкось и вкривь, а все ж таки ведет к Насосному переулку — и тут все переменялось. Улочки стали теряться, мешаться, сливаться, петлять, голова колонны была уже невесть где, спасибо, если не в Северной Америке. И кругом — ни души.

Бак стряхнул столбик сигарного пепла мимо пепельницы и начал развозить его по столу: серые штрихи сложились в подо-бие карты.

— И вот, хотя на этих улочках никого не было (а это, знаете ли, действует на нервы), но когда мы в них втянулись и углубились, начало твориться что-то совсем уж непонятное. Спереди — из-за трех-четырех поворотов — вдруг доносился шум, лязг, сдавленные крики, и снова все затихало. И когда это случалось, по всей колонне — ну, как бы сказать — дрожь, что ли, пробегала, всех дергало, будто колонна — не колонна, а змея, которой наступили на голову, или провод под током. Чего мы мечемся — никто не понимал, но метались, толпились, толкались; потом, опомнившись, шли дальше, дальше, петляли грязными улочками и взбирались кривыми проулками. Что это было за петляние — ни объяснить, ни рассказать: как страшный сон. Все словно бы потеряло всякий смысл, и казалось, что мы никогда не выберемся из этого лабиринта. Странно от меня такое слышать, правда? Обыкновенные это были улицы, извест-ные, все есть на карте. Но я говорю, как было. Я не того боялся, что вот сейчас что-нибудь случится. Я боялся, что не случится больше ничего до окончания веков.

Он осушил стакан, заказал еще виски, выпил его и про-должал:

— Но наконец случилось. Клянусь вам, Бак, что с вами никогда еще ничего не происходило. И со мной не происходило.

— Как это — не происходило? — изумился Бак. — Что вы хо-тите сказать?

— Никогда ничего не происходило, — с болезненным упор-ством твердил Баркер. — Вы даже не знаете, как это бывает! Вот вы сидите в конторе, ожидаете клиентов — и клиенты приходят; идете по улице навстречу друзьям — и встречаете друзей; хотите выпить — пожалуйста; решили держать пари — и держите. Вы

можете выиграть или проиграть, и либо выигрываете, либо проигрываете. Но уж когда происходит! — И его сотрясла дрожь.

— Дальше, — коротко сказал Бак. — Дальше.

— Вот так мы плутали и плутали, и наконец — бац! Когда что-то происходит, то это лишь потом замечаешь. Оно ведь происходит само, ты тут ни при чем. И выясняется жуткая вещь: ты, оказываешься, вовсе не пуп земли! Иначе не могу это выразить. Мы свернули за угол, за другой, за третий, за четвертый, за пятый. Потом я медленно пришел в сознание и выкарабкался из сточной канавы, а меня опять сшибли, и на меня валились, весь мир заполнился грохотом, и больших, живых людей расшвыривало, как кегли.

Бак посмотрел на свою карту, насупив брови.

— Это было на Портобелло-роуд? — спросил он.

— Да, — сказал Баркер, — да, на Портобелло-роуд. Я потом увидел табличку; но Боже мой, какое там Портобелло-роуд! Вы себе представьте, Бак: вы стоите, а шестифутовый детина, у которого в руках шестифутовое древко с шестью фунтами стали на конце, снова и снова норовит раскроить этой штукой вам череп! Нет, уж если вы такое переживете, то придется вам, как говорит Уолт Уитмен, «пересмотреть заново философии и религии».

— Оно конечно, — сказал Бак. — Ну, а коли это было на Портобелло-роуд, вы сами-то разве не понимаете, что случилось?

— Как не понимать, отлично понимаю. Меня сшибли с ног четыре раза: я же говорю, это сильно меняет отношение к жизни. Да, случилось еще кое-что: я сшиб с ног двоих. В четвертый раз на карачках (кровопролития особого не было, просто жестокая драка — где там размахнешься алебардой!) — так вот, поднявшись на ноги в четвертый раз, я осатанел, выхватил у кого-то протазан и давай гвоздить им где только вижу красные хламиды уэйновских молодчиков. С Божьей помощью сбил с ног двоих — они здорово окровавили мостовую. А я захохотал — и опять грохнулся в канаву, и снова встал и гвоздил направо и налево, пока не разломался протазан. Кого-то все-таки еще ранил в голову.

Бак стукнул стаканом по столу и крепко выругался, топорща густые усы.

— В чем дело? — удивленно осекся Баркер: то он его слушал с завидным спокойствием, а теперь взъярился больше его самого.

— В чем дело? — злобно переспросил Бак. — А вы не видите, как они обставили нас, эти маньяки? Что эти два идиота — шут гороховый и полоумный горлопан — подстроили нормальным людям ловушку, и те будто ошалели. Да вы себе только представьте, Баркер, такую картину: современный, благовоспитанный молодой человек в сюртуке скачет туда-сюда, размахивая курам на смех алебардой семнадцатого века — и покушается на смертоубийство обитателей Ноттинг-Хилла! Черт побери! И вам непонятно, как они нас обставили? Не важно, что вы чувствовали, —

важно, как это выглядело. Король склонил бы свою дурацкую головенку набок и сказал бы, что это восхитительно. Лорд-мэр Ноттинг-Хилла задрал бы кверху свой дурацкий нос и сказал бы, что это геройство. Но вы-то ради Бога подумайте — как бы вы сами это назвали два дня назад?

Баркер закусил губу.

— Вас там не было, Бак,— сказал он. — Вы себе не представляете этой стихии — стихии битвы.

— Да не спорю я против стихии! — сказал Бак, ударив по столу. — Я только говорю, что это *их* стихия. Это стихия Адама Уэйна. Мы же с вами считали, что эта стихия давным-давно навсегда исчезла из цивилизованного мира!

— Так вот не исчезла,— сказал Баркер, — а коли сомневаетесь, дайте мне протазан, и я вам докажу, что не исчезла.

Молчание затянулось; потом Бак обратился к собеседнику тем доверительным тоном — будем, дескать, смотреть правде в глаза, — который помогал ему заключать особо выгодные сделки.

— Баркер,— сказал он, — вы правы. Эта древняя стихия — стихия битвы — снова тут как тут. Она ворвалась внезапно и застала нас врасплох. Пусть так, пусть на первый случай победил Адам Уэйн. Но не перевернулось же все вверх дном — и разум, и арифметика остались в силе, а значит, в следующий раз мы одолеем его, и одолеем окончательно. Раз перед нами встает какая-то задача, надо толком изучить ее условия и повернуть дело в свою пользу. Раз надо воевать — что ж, разберемся, в чем тут секрет. Я должен уразуметь условия войны так же спокойно и обстоятельно, как я вникаю в сукноделие; вы — так же, как вникаете в политику, спокойно и обстоятельно. Перейдем к фактам. Я ничуть не отступаю от того, что говорил прежде. Если у нас есть решающий перевес, то война — простая арифметика. А как же иначе? Вы спрашивали, каким образом двести человек могут победить шестьсот. Я вам отвечу. Двести человек могут победить шестьсот, когда шестьсот воюют по-дурачки. Когда они теряют из виду обстановку и ведут боевые действия на болотах, точно это горы, в лесу — будто это равнина; когда они ведут уличные бои, забывая о назначении улиц.

— А каково назначение улиц? — спросил Баркер.

— А каково назначение ужина? — сердито передразнил его Бак. — Разве неясно? Военное дело требует здравого смысла, и не более того. Назначение улиц — вести из одного места в другое: поэтому улицы соединяются и поэтому уличный бой — дело особое. Вы шествовали по лабиринту улочек, словно по открытой равнине, точно у вас был круговой обзор. А вы углублялись в крепостные ходы, и улицы вас выдавали, улицы вас предавали, улицы сбивали вас с пути, и все это было на руку неприятелю. Вы знаете, что такое Портобелло-роуд? Это единственное место на вашем пути, где боковые улочки встречаются напрямую. Уэйн

собрал своих людей по обе стороны, пропустил половину колонны и перерезал ее, как червяка. А вы не понимаете, что могло вас выручить?

Баркер покачал головой.

— Эх вы, а еще толкуете про «стихию»! — горько усмехнулся Бак. — Ну что мне, объяснять вам на высокопарный лад? Представьте же, что, когда вы вслепую отбивались с обеих сторон от красных ноттингхилльцев, за спиной у них послышался бы боевой клич. Представьте, о романтик Баркер! что за их красными хламидами вы узрели бы синее с золотом облачение южных кенсингтонцев, которые напали на них с тыла, окружили их в свою очередь и отбросили на острия ваших протазанов!

— Если б такое было возможно... — начал Баркер и разразился проклятием.

— Такое было очень даже возможно, — отрезал Бак, — по всем правилам арифметики. К Насосному переулку ведет известное число улиц: их не девятьсот и не девять миллионов. Они по ночам не удлиняются. Они не вырастают, как грибы. Наш огромный численный перевес дает нам возможность наступать сразу со всех сторон. И на каждой уличной артерии, на каждом подходе мы выставим почти столько же бойцов, сколько их всего у Уэйна. Вот и все, и попался птенчик. Просто, как чертеж.

— И вы думаете, это наверняка? — спросил Баркер, еще неуверенный, но страстно желая поверить.

— Я вот что думаю, — добродушно сказал Бак, поднимаясь с кресла, — я думаю, что Адам Уэйн учинил на диво лихую потасовку; и мне его, признаться, дьявольски жаль.

— Бак, я преклоняюсь перед вами! — воскликнул Баркер и тоже встал. — Вы меня вернули к рассудку. Стыдно сказать, но я поддался романтическому наваждению. Да, у вас железная логика. Война подчиняется физическим законам, а стало быть, и математике. Мы потерпели поражение потому, что мы не считались ни с математикой, ни с физикой, ни с логикой — потерпели заслуженное поражение. Занять все подступы, и он, разумеется, в наших руках. Когда откроем боевые действия?

— Сейчас, — сказал Бак, выходя из ресторана.

— Как сейчас! — воскликнул Баркер, торопливо следуя за ним. — Прямо сейчас? Но ведь поздно уже.

Бак обернулся к нему и топнул ногой.

— Вы что, думаете, на войне бывает рабочий день? — сказал он, подзывая кеб. — К Ноттинг-Хиллу, — сказал он, и кеб почался.

* * *

Иной раз прочную репутацию можно завоевать за час. За шестьдесят или восемьдесят минут Бак с блеском доказал, что он поистине человек дела. Его зигзагообразное перемещение от ко-

роля к Уилсону, от Уилсона к Свиндону, от Свиндона назад к Баркеру было молниеносно. В зубах его была неизменная сигара, в руках — карта Северного Кенсингтона и Ноттинг-Хилла. Он снова и снова объяснял, убеждал, настаивал, что в радиусе четверти мили имеется лишь девять подходов к Насосному переулку: три от Уэстборн-Гроув, два от Ледбрук-Гроув и четыре от Ноттинг-Хилл-Хай-стрит. Эти подходы были заняты отрядами по двести человек прежде, чем последний зеленоватый отблеск странного заката погас в темном небе.

Ночь выдалась на редкость темная, и, указывая на это, какой-то маловер попытался оспорить оптимистические прогнозы лорд-мэра Северного Кенсингтона. Но возобладал заразительный здравый смысл новоявленного полководца.

— В Лондоне, — сказал он, — никакая ночь не темна. Идите от фонаря к фонарю. Смотрите вот сюда, на карту. Две сотни лиловых северных кенсингтонцев под моей командой займут Осингтон-стрит, еще двести начальник стражи Северного Кенсингтона капитан Брюс поведет через Кланрикард-Гарденз. Двести желтых западных кенсингтонцев под командой лорд-мэра Свиндона наступают от Пембридж-роуд, а еще две сотни моих людей — от восточных улиц, со стороны Квинз-роуд. Два отряда желтых двигаются двумя улицами от Уэстборн-Гроув. И наконец, две сотни зеленых бейзуотерцев подходят с севера по Чепстоу-Плейс; и лорд-мэр Уилсон лично поведет еще две сотни от конца Пембридж-роуд. Джентльмены, это мат в два хода. Неприятель либо сгрудится в Насосном переулке, где и будет истреблен, либо же отступит — если в сторону Коксогазоосветительной компании, то напорется на мои четыре сотни; если же в сторону церкви святого Луки — то на шестьсот копий с запада. Либо мы все свихнулись, либо же дело ясное. Приступаем. Командиры по местам; капитан Брюс подаст сигнал к наступлению — и вперед, от фонаря к фонарю: простая математика одолеет бессмыслицу. Завтра все мы вернемся к мирной жизни.

Его уверенность разгоняла темноту, словно огромный факел, и она передалась всем и каждому в том многочисленном воинстве, которое сомкнулось железным кольцом вокруг жалкой горстки ноттингхильцев. Сражение было выиграно заранее. Усилия одного человека за один час спасли город от гражданской войны.

Следующие десять минут Бак молча расхаживал возле недвижимого строя своих сотен. Он был одет, как и прежде, но поверх желтого пальто появилась перевязь и кобура с револьвером, и странно выглядел одетый по-нынешнему человек подле алебардчиков в пышных облачениях, казавшихся лиловыми сгустками ночной темноты.

Наконец откуда-то с соседней улицы донесся пронзительный трубный звук: это был сигнал к наступлению. Бак подал команду, и лиловая колонна, тускло поблескивая стальными жалами протазанов, выползла из проулка на длинную улицу, залитую газо-

вым светом, прямую, как шпага, одну из девяти, направленных в ту ночь в сердце Ноттинг-Хилла.

Четверть часа прошагали в безмолвии; до осажденной крепости было уже рукой подать, но оттуда не доносилось ни звука. На этот раз, однако же, они знали, что неприятель зажат в тисках, и переходили из одного светового озера в другое, вовсе не чувствуя той жуткой беспомощности, какую испытывал Баркер, когда их одинокую колонну затягивали враждебные улицы.

— Стой! Оружие к бою! — скомандовал Бак: спереди послышался топот. Но втуне ощетинились протазаны. Подбежал гонец от беизуотерцев.

— Победа, мистер Бак! — возгласил он, задыхаясь. — Они бежали. Лорд-мэр Уилсон занял Насосный переулок.

Бак взволнованно выбежал ему навстречу.

— Куда же они отступают? Либо к церкви святого Луки — там их встретит Свиндону, либо нам навстречу, мимо газовщиков. Беги со всех ног к Свиндону, скажи, чтоб желтые наглухо перекрыли все проходы мимо церкви. Мы здесь начеку, не беспокойтесь. Все, они в капкане. Беги!

Гонец скрылся в темноте, а воинство Северного Кенсингтона двинулось дальше, размеренно и неотвратно. Не прошли они и сотни ярдов, как снова заблестали в газовом свете протазаны, взятые наизготовку: ибо опять раздался топот, и опять прибежал все тот же гонец.

— Мистер лорд-мэр, — доложил он, — желтые западные кенсингтонцы уже двадцать минут после захвата Насосного стерегут все проходы мимо церкви святого Луки. До Насосного и двухсот ярдов не будет: не могли они отступить в ту сторону.

— Значит, отступают в эту, — радостно заключил лорд-мэр Бак, — и, по счастью, вот-вот покажутся на отлично освещенной, хотя, правда, извилистой улице. Вперед!

Им оставалось шагать немногим более трехсот ярдов, и Бак, может статься, впервые в жизни впал в философическое размышление, ибо люди его склада под воздействием успеха добреют и чуть-чуть как бы грустнеют.

— А вот, ей-богу, жаль мне старину Уэйна, — пробормотал он. — Как он за меня заступился тогда на совещании! И Баркеру, ах ты, чтоб его, крепко натянул нос. Вольно ж ему сдуру переть против арифметики, не говоря уж о цивилизации. Ну и вздор же, однако, все эти разговоры о военном гении! Я, видно, подтверждаю открытие Кромвеля: что смекалистый торговец — лучший полководец и что, ежели кто умеет покупать и продавать, тот сумеет посылать людей убивать. Дело-то немудреное: точь-точь как подсчитывать приход-расход. Раз у Уэйна две сотни бойцов, то не может он выставить по две сотни на девяти направлениях. Если их вышибли с Насосного — значит, они куда-то отступают. Коли не отступают к церкви, значит, пробираются мимо газовщиков — и сейчас угодят к нам в лапы. У нас, деловых

людей, вообще-то своих забот хватает и великие дела нам ни к чему, да вот беда — умники народ ненадежный: чуть что и с панталыку, а мы поправляй. Вот и приходится мне, человеку, скажем так, среднего ума, разглядывать мир взором Господа Бога, взирать на него, как на огромный механизм. О Господи, что такое? — Он прижал ладони к глазам и попятился.

И в темноте раздался его дикий, растерянный голос:

— Неужели я богохульствовал? Боже мой, я ослеп!

— Что? — возопил кто-то сзади голосом некоего Уилфрида Джарвиса, северного кенсингтонца.

— Ослеп! — крикнул Бак. — Я ослеп!

— Я тоже ослеп! — отчаянно подхватил Джарвис.

— Одурели вы, а не ослепли, — сказал грубый голос сзади, — а ослепли мы все. Фонари погасли.

— Погасли? Почему? Отчего? — вскрикивал Бак, ни за что не желая примириться с темнотой и вертяться волчком. — Как же нам наступать? Мы же упустим неприятеля! Куда они подевались?

— Да они, видать... — произнес все тот же сипловатый голос и осекся.

— Что видать? — крикнул Бак, топая и топая ногой.

— Да они, — сказал непочтительный голос, — видать, пошли мимо газовщиков ну и сообразили кое-что.

— Боже праведный! — воскликнул Бак и схватился за револьвер, — вы думаете, они перекрыли...

Не успел он договорить, как невидимая сила швырнула его в черно-лиловую людскую гущу.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — закричали из темноты грозные голоса: казалось, кричали со всех сторон, ибо северные кенсингтонцы мгновенно заплутались — чужая сторона, да еще в темноте, тут же обернулась темным лесом.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — кричали невидимки, и захватчиков разила насмерть черная сталь, впотьмах потерявшая блеск.

* * *

Контуженный протазаном Бак злобно силился сохранить соображение. Он поискал стену неверной рукой — и наконец нашел ее. Потом ощупью, срывая ногти, добрался по стенке до проулка и увел туда остаток отряда. Приключения их в ту бредовую ночь не поддаются описанию. Они не знали, куда идут — навстречу неприятелю или бегут от него. А не зная, где они сами, смешно было бы спрашивать, куда делась остальная армия. Ибо на Лондон обрушилась давным-давно забытая дозвездная темнота, и они потерялись в ней, точно до сотворения звезд. Черный час шел за часом, и они вдруг сталкивались с живыми людьми, и те убивали их, а они тоже убивали с бешеной яростью. Когда наконец забрезжил серый рассвет, оказалось, что их отбросили на Аксбридж-роуд. И еще оказалось, что, встречаясь вслепую, север-

ные кенсингтонцы, бейзуотерцы и западные кенсингтонцы снова и снова крошили друг друга, а тем временем Уэйн занял круговую оборону в Насосном переулке.

Глава II

КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРИДВОРНОГО ЛЕТОПИСЦА»

В те будущие, благочинные и благонадежные, баркеровские времена журналистика, в числе прочего, сделалась вялым и довольно никчемным занятием: во-первых, не стало ни партий, ни ораторства; во-вторых, с полнейшим прекращением войн упразднились дела иностранные; в последних же и в главных — вся нация заболотилась и подернулась ряской. Из оставшихся газет, пожалуй, известней других был «Придворный летописец», запыленная редакция которого помещалась в миленьком особнячке на задворках Кенсингтон-Хай-стрит. Когда все газеты, как одна, год от года становятся зануднее, степеннее и жизнерадостнее, то главенствует самая занудная, самая степенная и самая жизнерадостная из них. И в этом газетном соревновании к концу XX века победил «Придворный летописец».

По какой-то таинственной причине король был завсегдатаем редакции «Придворного летописца»: он обычно выкуривал там первую утреннюю сигарету и рылся в подшивках. Как всякий заядлый лентяй, он पुще всего любил болтаться и трепаться там, где люди более или менее работают. Однако и в тогдашней прозаической Англии он все же мог бы сыскать местечко пооживленней.

Но в это утро он шел от Кенсингтонского дворца бодрым шагом и с чрезвычайно деловым видом. На нем был непомерно длинный сюртук, бледно-зеленый жилет, пышный и весьма *dégage*¹ черный галстук и чрезвычайно желтые перчатки: форма командира им самим учрежденного Первого Его Величества Полка Зеленоватых Декадентов. Муштровал он их так, что любо-дорого было смотреть. Он быстро прошел по аллее, еще быстрее — по Хай-стрит, на ходу закурил сигарету и распахнул дверь редакции «Придворного летописца».

— Вы слышали новости, Палли, вы новости знаете? — спросил он.

Редактора звали Хоскинс, но король называл его Палли, сокращая таким образом полное наименование — Паладин Свобод Небывалых.

— Ну как, Ваше Величество, — медленно отвечал Хоскинс (у него был устало-интеллигентный вид, жидкая каштановая борода), — ну, вы знаете, Ваше Величество, до меня доходили любопытные слухи, но я...

¹ Небрежно повязанный (*фр.*).

— Сейчас до вас дойдут слухи еще любопытнее, — сказал король, исполнив, но не до конца, негритянскую пляску. — Еще куда любопытнее, да-да, уверяю вас, о мой громогласный трибун. Знаете, что я намерен с вами сделать?

— Нет, не знаю, Ваше Величество, — ответил Паладин, по-видимому, растерявшись.

— Я намерен сделать вашу газету яростной, смелой, предприимчивой, — объявил король. — Ну-ка, где ваши афиши вчерашних боевых действий?

— Я, собственно, Ваше Величество, — промямлил редактор, — и не собирался особенно афишировать...

— Бумаги мне, бумаги! — вдохновенно воскликнул король. — Несите мне бумаженцию с дом величиной. Уж я вам афиш понаделаю. Погодите-ка, надобно снять сюртук.

Он весьма церемонно снял его — и набросил на голову мистера Хоскинсу — тот скрылся под сюртуком — и оглядел самого себя в зеркале.

— Сюртук долой, — сказал он, — а цилиндр оставить. Как есть помощник редактора. По сути дела, именно в таком виде редактору и можно помочь. Где вы там, — продолжал он, обернувшись, — и где бумага?

Паладин к этому времени выбрался из-под королевского сюртука и смущенно сказал:

— Боюсь, Ваше Величество...

— Ох, нет у вас хватки, — сказал Оберон. — Что это там за рулон в углу? Обои? Обставяете собственное неприкосновенное жилище? Искусство на дому, а, Палли? Ну-ка, сюда их, я такое нарисую, что вы и в гостиной-то у себя станете клеить обои рисунком к стене.

И король развернул по всему полу обойный рулон.

— Ножницы давайте, — крикнул он и взял их сам, прежде чем тот успел пошевелиться.

Он разрезал обои примерно на пять кусков, каждый величиною с дверь. Потом схватил большой синий карандаш, встал на колени, подстелив замызганную клеенку, и огромными буквами написал:

НОВОСТИ С ФРОНТА.
ГЕНЕРАЛ БАК РАЗГРОМЛЕН.
СМУТА, СТРАХ И СМЕРТЬ.
УЭЙН ОКОПАЛСЯ В НАСОСНОМ.
ГОРОДСКИЕ СЛУХИ.

Он поразмыслил над афишей, склонив голову набок, и со вздохом поднялся на ноги.

— Нет, как-то жидковато, — сказал он, — не встревожит, пожалуй. Я хочу, чтобы «Придворный летописец» внушал страх заодно с любовью. Попробуем что-нибудь покрепче.

Он снова опустил на колени, поцасывая карандаш, потом принялся деловито выписывать литеры.

— А если вот так? — сказал он. —

УЭЙН УБИВАЕТ В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ?

Ну ведь нельзя же, — сказал он, умоляюще прикусив карандаш, — нельзя же написать «у их во тьме»? «Уэйн убивает у их в кромешной тьме»? Нет, нет, нельзя: дешежка. Надо шлифовать слог, Палли, шлифовать, шлифовать и шлифовать! Вот как надо:

УДАЛЕЦ УЭЙН.

КРОВАВАЯ БОЙНЯ В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ

Затмились светила на тверди фонарной.

(Эх, хорошо у нас Библия переведена!) Что бы еще такое измыслить? А вот сыпанем-ка мы соли на хвост бесценному Баку! — и он приписал, на всякий случай помельче:

«По слухам, генерал Бак предан военно-полевому суду».

— Для начала неплохо, — сказал он и повернул обойные листы узором вверх. — Попрошу клейстеру.

С застывшим выражением ужаса на лице Паладин принес клейстер из другой комнаты.

Король принялся размазывать его по обоям — радостно, как грязнуля-младенец, опрокинувший банку патоки. Потом он схватил в обе руки по обойному листу и побежал наклеивать их на фасад, где повиднее.

— Ну-с, — сказал Оберон, вернувшись и бурля по-прежнему, — а теперь — за передовую!

Он расстелил на столе обрезки обоев, вытащил авторучку и начал лихорадочно и размашисто писать, перечитывая вслух написанное и смакуя фразы, словно глотки вина, — есть букет или нет букета?

— Вести о сокрушительном поражении наших вооруженных сил в Ноттинг-Хилле, как это ни ужасно — как это ни ужасно — (нет! как это ни прискорбно) — может быть, и ко благу, поскольку они привлекают внимание к такой-сякой халатности (ну, разумеется, к безобразной халатности) нашего правительства. Судя по всему, было бы преждевременным (ай да оборот!) — да, было бы преждевременным в чем бы то ни было винить генерала Бака, чьи подвиги на бесчисленных полях брани (ха-ха!), чьи боевые шрамы и заслуженные лавры дают ему полное право на снисходительность, чтоб не сказать больше. Есть другой виновник, и настало время сказать о нем в полный голос. Слишком долго молчали мы — то ли из ложной щепетильности, то ли из ложной лояльности. Подобная ситуация никогда не могла бы возникнуть, если бы не королевская политика, которую смело назовем непозволительной. Нам больно писать это, однако же, отстаивая интересы общественности (краду у Баркера: никуда не денешься от его исторического высказывания), мы не должны шараться при мысли о том, что будет задета личность, хотя бы и самая высокопоставленная. И в этот роковой для нашей страны час народ единогласно вопрошает: «А где же король?» Чем он занят в то

время, когда его подданные, горожане великого города, крошат друг друга на куски? Может быть, его забавы и развлечения (не будем притворяться, будто они нам неизвестны) столь поглотили его, что он и не помышляет о гибнущей нации? Движимые глубоким чувством ответственности, мы предупреждаем это высокопоставленное лицо, что ни высокое положение, ни несравненные дарования не спасут его в лихую годину от судьбы всех тех, кого, ослепленных роскошью или тиранией, постиг неотвратимый народный гнев, ибо английский народ нелегко разгневать, но в гневе он страшен.

— Вот так,— сказал король, — а теперь опишу-ка я битву пером очевидца.

Он схватил новый лист обоев в тот самый миг, когда в редакцию вошел Бак с перевязанной головой.

— Мне сказали,— заявил он с обычной неуклюжей учтивостью, — что Ваше Величество находитесь здесь.

— Скажите пожалуйста, — восторженно воскликнул король, — вот он и очевидец! Или, вернее, оковидец, ибо я не без грусти замечаю, что вы смотрите на мир одним оком. Вы нам напишете отчет о битве, а, Бак? Вы владеете газетным слогом?

Сдержанный до вежливости Бак счел за благо не обращать внимания на королевское бессовестное дружелюбие.

— Я позволил себе, Ваше Величество, — коротко сказал он, — пригласить сюда мистера Баркера.

И точно, не успел он договорить, как на пороге возник Баркер: он, по обыкновению, куда-то торопился.

— Теперь-то в чем дело? — облегченно вздохнув и поворачиваясь к нему, спросил Бак.

— Бои продолжаются,— сказал Баркер. — Четыре западно-кенсингтонские сотни почти невредимы: они к побоищу не приближались. Зато бейзуотерцев Уилсона — тех здорово порубали. Но они и сами рубились на славу: что говорить, даже Насосный переулочек заняли. Ну и дела на свете творятся: это ж подумать, что из всех нас один замухрышка Уилсон с его рыжими баками оказался на высоте!

Король быстро черкнул на обойной бумаге:

«Геройские подвиги мистера Уилсона».

— Н-да,— сказал Бак, — а мы-то чванились перед ним правильным произношением.

Внезапно король свернул, не то скомкал клочок обоев и записал его в карман.

— Возникла мысль,— сказал он. — Я сам буду очевидцем. Я вам такие буду писать репортажи с передовой, что перед ними померкнет действительность. Подайте мне сюртук, Паладин. Я вошел сюда простым королем Англии, а выхожу специальным военным корреспондентом «Придворного летописца». Бесплатно удерживать меня, Палли, не обнимайте моих колен, Бак; напрасно вы, Баркер, будете рыдать у меня на груди. «По зову долга...» — конец этой замечательной фразы вылетел у меня из головы. Первый репортаж получите сегодня вечером, с восьмичасовой почтой.

И, выбежав из редакции, он на полном ходу вскочил в синий байзуотерский омнибус.

— Да-а, — угрюмо протянул Баркер, — вот такие дела.

— Баркер, — сказал Бак, — может, политика и выше бизнеса, зато война с бизнесом, как я понял ночью, очень даже накоротке. Вы, политики, — такие отпетые демагоги, что даже и при деспотии, как огня, боитесь общественного мнения. Привыкли цап и бежать, а чуть что — отступаетесь. Мы же вцепляемся мертвой хваткой. И учимся на ошибках. Да поймите же! В этот самый миг мы уже победили Уэйна!

— Уже победили Уэйна? — недоуменным эхом отозвался Баркер.

— Еще бы нет! — вскричал Бак с выразительным жестом. — Вы поймите: да, я сказал прошлой ночью, что, коли мы заняли девять подходов, они у нас в руках. Ну, я ошибся: то есть они были бы в наших руках, но вмешалось непредвиденное происшествие — погасли фонари. А то бы все сладилось как надо. Но вы не заметили, о мой великолепный Баркер, что с тех пор произошло еще кое-что?

— Нет — а что? — спросил Баркер.

— Вы только представьте себе — солнце взошло! — с нечеловеческим терпением разъяснил Бак. — Почему бы нам снова не занять все подступы и не двинуться на них? Это еще на восходе солнца надо было сделать, да меня чертов доктор не выпускал. Вы командовали, вам и надо было.

Баркер мрачно улыбнулся.

— С превеликим удовольствием сообщаю вам, дорогой Бак, что мы это ваше намерение в точности осуществили. Едва рассвело, как мы устремились со всех девяти сторон. К несчастью, пока мы лупили друг друга впотьмах, как пьяные землекопы, мистер Уэйн со товарищи даром времени отнюдь не теряли. За три сотни ярдов от Насосного переуллка все девять подходов преграждены баррикадами высотой с дом. К нашему прибытию они как раз достраивали последнюю, на Пембридж-роуд. Учимся на ошибках! — горько воскликнул он и бросил на пол окуроч. — Это они учатся, а не мы.

С минуту оба молчали; Баркер устало откинулся в кресле. Резко тикали настенные часы.

И Баркер вдруг сказал:

— Послушайте, Бак, а вам не приходит в голову, что это все как-то чересчур? Отличная была идея — соединить трассой Хаммер-смит и Мейд-Вейл, и мы с вами рассчитывали на изрядный куш. Но нынче — стоит ли оно того? Ведь на подавление этого дурацкого мятежа уйдут многие тысячи. Может, пусть их дурачатся дальше?

— Ну да: и расписаться в поражении, в том, что верх над нами взял этот рыжий остолоп, которого любые два врача немедленно отправили бы в лечебницу? — воскликнул Бак, вскакивая на

ноги. Еще чего не предложите ли, мистер Баркер? Может, уж заодно извиниться перед великолепным мистером Уэйном? Преклонить колена перед Хартией предместий? Приложиться к хорову с Красным Львом, а потом перелобызать священные фонари, спасшие Ноттинг-Хилл? Нет, Богом клянусь! Мои ребята здорово дрались — их не победили, а повели за нос. И они из рук оружия не выпустят — до победы!

— Бак,— сказал Баркер, — я всегда вами восхищался. И вчера вы тоже все правильно говорили.

— Про что я вчера говорил правильно?

— Про то,— отвечал Баркер, медленно поднявшись, — что вы выпали из своей стихии и попали в стихию Адама Уэйна. Друг мой, земные владения Адама Уэйна простираются не далее девяти улиц, запертых баррикадами. Но его духовное владычество простерлось куда как далеко — и здесь, в редакции, оно очень чувствуется. Рыжий остолоп, которого любые два врача немедля запрут в лечебницу, заполняет эту вот комнату своим бредом и безрассудством. И последние ваши слова — это ведь он говорит вашими устами.

Бак ничего не ответил и отошел к окну.

— Словом,— сказал он наконец, — вы сами понимаете — и речи быть не может о том, чтобы я отступился от своего.

* * *

А король между тем поспешал на передовую на крыше синего омнибуса. Бурные события последних дней лондонскому сообщению особенно не помешали: в Ноттинг-Хилле беспорядки, район захвачен бандой мятежников — и его попросту объезжали. Синие омнибусы огибали его, будто там ведутся строительные работы: точно так же свернул на углу бейзуотерской Квинз-роуд и тот омнибус, на котором восседал специальный корреспондент «Придворного летописца».

Король сидел наверху один-одинешенек и восхищался бешеной скоростью продвижения.

— Вперед, мой красавец, мой верный скакун, — говорил он, ласково похлопывая омнибус по боку, — резвей тебя нет во всей Аравии! Вот интересно: водитель твой так же ли холит тебя, как своего коня бедуин? Спите ли вы с ним бок о бок или...

Но его размышления были прерваны: омнибус внезапно и резко остановился. Король поглядел и увидел сверху, как лошадей отпрягают люди в алых хламидах; и услышал распорядительные команды.

Засим король Оберон с превеликим достоинством сошел с крыши омнибуса. Наряд или пикет алых алебардщиков, остановивших омнибус, насчитывал не более двадцати человек; командовал ими чернявый молодой офицерик, непохожий на остальных: он был в обычном черном сюртуке, но препоясан алым кушаком с прикрепленной длинной шпагой семнадцатого века.

Лоснистый цилиндр и очки самым приятным образом довершали его наряд.

— С кем имею честь? — спросил король, стараясь, вопреки невозможности, явить собой подобие Карла Первого.

Чернявый офицерик в очках приподнял цилиндр не менее чинно.

— Моя фамилия Баулз, — сказал он. — Я — аптекарь. И под моей командой состоит энская рота армии Ноттинг-Хилла. Крайне прискорбно, что я вынужден остановить омнибус и прервать ваше путешествие, однако же, согласно вывешенной прокламации, мы останавливаем всех проезжающих. Смею ли полюбопытствовать, с кем имею честь... О Боже мой, прошу прощения у Вашего Величества. Я польщен и восхищен, что имею дело с самим королем.

Оберон простер длань с несказанным величием.

— Не с королем, нет, — заявил он, — вы имеете дело со специальным военным корреспондентом «Придворного летописца».

— Прошу прощения у Вашего Величества, — с большим сомнением сказал мистер Баулз.

— Вы по-прежнему именуєте меня Величеством? А я повторяю, — твердо сказал Оберон, — что я здесь в качестве представителя прессы. Как нельзя более ответственно заявляю, что меня зовут — как бы вы думали? — Пинкер. Над своим прошлым я опускаю занавес.

— Как скажете, сэр, — сказал мистер Баулз, покоряясь, — мы чтим прессу не менее, нежели трон. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы весь мир узнал о наших обидах и наших дерзаниях. Вы не против, мистер Пинкер, если я вас представлю лорд-мэру и генералу Тернбуллу?

— С лорд-мэром мы уже имели удовольствие познакомиться, — небрежно заметил Оберон. — Наш брат матерый журналист всюду, вы знаете, вхож. Однако я со своей стороны был бы не прочь, что называется, возобновить знакомство. А с генералом Тернбуллом не худо бы повидаться впервые. Люблю молодежь! А то мы, старики с Флит-стрит, как-то, бывает, отрываемся от жизни.

— Вы не будете так любезны проследовать вон туда? — осведомился командир энской роты.

— Я буду любезен и так, и этак, — отвечивал мистер Пинкер. — Ведите.

Глава III

ВОИНСТВО ЮЖНОГО КЕНСИНГТОНА

Специальный корреспондент «Придворного летописца» при- слал, как обещался, в тот же вечер стопку шершавых листов черногового блокнота, покрытых королевскими каракулями, — по

три слова на страницу, и ни одно не разберешь. А начало статьи и вовсе ставило в тупик: абзацы, один за другим, были перечеркнуты. Видимо, автор подбирал нужный слог. Возле одного абзаца было написано на полях: «Попробуем на американский манер», а сам абзац начинался так:

«Королю не место на троне. Нам нужны люди напористые. Оно, конечно, болтовня, она...» На этом абзац обрывался, и написано было: «Нет уж, лучше добротню, по старинке. Ну-ка...»

Добротно и по старинке получалось так:

«Величайший из английских поэтов заметил, что роза, как бы...»

И этот пассаж обрывался. Дальше на полях было написано что-то совсем уж неразборчивое, примерно такое: «А что, ежели по стопам старика Сти-ивенса ловчить слово за словом, а? Вот, например:

Утро устало подмигивало мне из-за крутого склона Кампденского холма и тамошних домов в четком теневом обрамлении. Серая тень огромного черного квадрата мешает различать цвета: однако же я наконец увидел в тумане какое-то коричневатожелтое передвижение и понял, что это движутся ратники Свиндона, армия Западного Кенсингтона. Их держали в резерве, они охраняли склон над Бейзуотер-роуд. Главные силы их расположились в тени Водонапорной башни на Кампденском холме. Забыл сказать: Водонапорная башня выглядит как-то ловеще.

Я миновал их и, свернув излучиной Силвер-стрит, увидел густо-синее воинство Баркера, заслонившее выходы на шоссе, словно облако сапфирного дыма (хорошо!). Расположение союзных войск под общим командованием мистера Уилсона приблизительно таково: желтяки (да не обидятся на меня за это слово западные кенсингтонцы) узкой полоской пересекают холм с запада на восток — от Кампден-Хилл-роуд до начала Кенсингтон-Гарденз. Изумрудцы Уилсона облегли Ноттинг-Хилл-Хай-роуд от Квинз-роуд до самого угла Пембридж-роуд и дальше за угол еще ярдов на триста по направлению к Уэстборн-Гроув. А уж Уэстборн-Гроув блокируют южные кенсингтонцы Баркера. И наконец четвертая сторона этого неровного четырехугольника со стороны Квинз-роуд занята лиловыми бойцами Бака.

Все это вместе взятое напоминает старинную, изящную голландскую клумбу. На гребне холма — золотые крокусы Западного Кенсингтона. Они служат, так сказать, огневещущей окраиной. С севера напирает темно-синий Баркер, теснятся его несчетные гиацинты. А там, к юго-западу, простирается зеленая поросль бейзуотерцев Уилсона, и далее — гряда лиловых ирисов (из коих крупнейший — сам мистер Бак) завершает композицию. А серебристый отблеск извне... (Нет, я теряю слог, надо было написать, что «дальше за угол» — «великолепным витком». И гиацинты надо было назвать «внезапными». Мне этот слог не по

силам. Он ломается под напором войны. Будьте добры, отдайте статью рассыльному, пусть выправит слог.)

А по правде-то говоря, сообщать особенно не о чем: тусклая обыденщина, всегда готовая пожрать всю красоту мира (как Черная Свинья в ирландской мифологии в конце концов слопает звезды и всех богов); так вот обыденщина, подобно Черной Свинье, сожрала всю жидкую романтическую поросль: еще вчера были возможны нелепые, но волнующие уличные стычки, а сегодня война принижена до самого прозаического предела — она превратилась в осаду. Осаду можно определить как мир со всеми военными неудобствами. Конечно же, Уэйн осады не выдержит. Помощи со стороны ему не будет — равно как и кораблей с Луны. Если бы старина Уэйн набил до отказа свой Насосный переулок консервами и уселся на них — а он, увы, так и сделал: там, говорят, и повернуться негде, — что толку? Ну, продержатся месяц-другой, а там припасу конец, изволь сдаваться на милость победителя, и ломаный грош цена всем твоим прежним подвигам, не стоило и утруждаться. Как это, право, неталантливо со стороны Уэйна!

Но странное дело: обреченные чем-то притягательны. Я всегда питал слабость к Уэйну, а теперь, когда я точно знаю, что его песенка спета, в мыслях у меня один сплошной Уэйн. Все улицы указуют на него, все трубы кренятся в его сторону. Какое-то болезненное чувство: этот его Насосный переулок я прямо-таки физически ощущаю. Ей-богу, болезненно — будто сердце сдает. «Насосный переулок» — а что же сердце, как не насос? Это я распускаю слюни.

Лучший наш военачальник — разумеется, генерал Уилсон. В отличие от прочих лорд-мэров он облачился в форму алебардщика — жаль, этот дивный костюм шестнадцатого века не очень идет к его рыжим бакенбардам. Это он, сломив героическое сопротивление, вломился прошлой ночью в Насосный переулок и целых полчаса его удерживал. Потом его выбил оттуда генерал Тернбулл, но рубились отчаянно, и кто знает, чья бы взяла, если бы не обрушилась темень, столь губительная для ратников генерала Бака и генерала Свиндона.

Лорд-мэр Уэйн, с которым мне довелось иметь любопытнейшую беседу, воздал должное доблести генерала Уилсона в следующих красноречивых выражениях: «Я впервые купил леденцы в его лавочке четырех лет от роду и с тех пор был его постоянным покупателем. Стыдно признаться, но я замечал лишь, что он гнусавит и не слишком часто умывается. А он шутя перемахнул нашу баррикаду и низринул на нас, точно дьявол из пекла». Я повторил этот отзыв с некоторыми купюрами самому генералу Уилсону, и тот, похоже, остался им доволен. Впрочем, по-настоящему он доволен разве что мечом, которым не преминул препоясаться. Из надежных источников мне стало известно, что побрит он более чем небрежно. В военных кругах полагают, что он отращивает усы...

Как я уже сообщил, сообщать не о чем. Усталым шагом бреду я к почтовому ящику на углу Пембридж-роуд. Ровным счетом ничего не происходит: готовятся к длительной и вялой осаде, и вероятно, я в это время на фронте не понадоблюсь. Вот я гляжу на Пембридж-роуд, а сумерки сгущаются: по этому поводу мне припомнилось еще кое-что. Хитроумный генерал Бак присоветовал генералу Уилсону, дабы не повторилась вчерашняя катастрофа (я имею в виду всего лишь коварную темень), повесить на шею каждому воину зажженный фонарь. За что я перед генералом Баком преклоняюсь, так это за так называемое «смирение человека науки», за готовность без усталости учиться на своих ошибках. Тут он даст Уэйну сто очков вперед. Вереница огоньков на Пембридж-роуд похожа на гирлянду китайских фонариков.

Позднее. Писать мне затруднительно: все лицо в крови, и боюсь испачкать бумагу. Кровь очень красива, поэтому ее и скрывают. Если вы спросите, отчего мое лицо в крови, я отвечу вам, что меня лягнул конь. А если вы спросите, что еще за конь, я не без гордости отвечу: это боевой конь. Если же вы, не унявшись, поинтересуетесь, откуда на пехотной войне взялся боевой конь, то я вынужден буду исполнить тягостный долг военного корреспондента и рассказать о том, что случилось.

Как было сказано, я собирался бросить корреспонденцию в почтовый ящик и взглянул на огнистую излучину Пембридж-роуд, на бейзуотерские фонарики. И замешкался: вереница огней в буроватых сумерках словно бы потускнела. Я был почти уверен, что там, где только что горело пять огоньков, теперь горят четыре. Я вгляделся, пересчитал их: их стало три — два — один; и все огоньки вблизи вдруг заплесали, как колокольчики на сбруе. Они вспыхивали и гасли: казалось, это меркнут светила небесные, и вот-вот воцарится первозданная темнота. На самом деле еще даже не стемнело: дотлевал рдяный закат, рассеивая по небу как бы каминные отсветы. Для меня, однако же, три долгих мгновения темнота была полная. В четвертое мгновение я понял, что небо мне заслоняет всадник на огромной лошади; на меня наехала и отбросила к тротуару черная кавалькада, вылетевшая из-за угла. Они свернули влево, и я увидел, что они вовсе не черные, они алые: это была вылазка осажденных во главе с Уэйном.

Я выбрался из канавы: рана, хоть и пустяковая, обильно кровоточила, но мне все это было как-то нипочем. Отряд проскакал, настала мертвая тишина; потом набежали алебардчики Баркера — они со всех ног гнались за конниками. Их-то заставу и опрокинула вылазка, но уж чего-чего, а кавалерии они не ожидали, и можно ли их за это винить? Да если на то пошло, Баркер и его молодцы едва не нагнали конников: еще бы немного, и ухватили бы лошадей за хвосты.

К чему сей сон — никто не понимает. И вылазка-то малочисленная — Тернбулл с войском остался за баррикадами. История знает подобные примеры: скажем, во время осады Парижа в 1870-м — но ведь тогда осажденные надеялись на помощь извне. А этим на что надеяться? Уэйн знает (а если он вконец свихнулся, так знает Тернбулл), что здравомыслящие лондонцы единодушно презирают его шутовской патриотизм, как и породившее его дурачество нашего жалкого монарха. Словом, все в полном недоумении; многие думают, что Уэйн попросту предатель, что он бросил осажденных на произвол судьбы. Загадки загадками, они постепенно разъяснятся, а вот чего уж никак не понять, так это откуда у них взялись лошади?

Позднее. Мне рассказали удивительную историю о том, откуда они взялись. Оказывается, генерал Тернбулл, этот сногшибательный военачальник, а ныне, в отсутствие Уэйна, властелин Насосного переулка, поутру в день объявления войны собрал ораву уличных мальчишек (по-нашему, по-газетному — херувимов сточных канав), раздал им по полкроны и, разослав их во все концы Лондона, велел возвращаться на извозчиках. Едва ли не сто шестьдесят кебов съехались в Ноттинг-Хилл, да там и остались: извозчиков отпустили, пролетками забаррикадировали улицы, а лошадей свели в Насосный переулок, превращенный в конюшню и манеж; вот они и сгодились для этой безумной вылазки. Сведения самые достоверные; теперь все ясно, кроме главного — зачем вылазка?

За углом баркеровцев властно остановили, но не враги, а рыжий Уилсон, который стремглав бежал им навстречу, размахивая вырванной у часового алебардой. Баркер с дружиною ошеломленно повиновался: как-никак главнокомандующий! Сумеречную улицу огласила громкая и отчетливая команда — даже не верилось, что у такого тщедушного человечка может быть такой зычный голос: «Стойте, южные кенсингтонцы! Стерегите на всякий случай этот проход. Их я беру на себя. Бойцы Бейзуотера, вперед!»

Меня отделяла от Уилсона двойная темно-синяя шеренга и целый лес протазанов; но из-за этой живой изгороди слышны были четкие приказы и бряцанье оружия, виднелась зеленая дружина, устремившаяся в погоню. Да, это наши чудо-богатыри: Уилсон зажег их сердца своей отвагой, и они за день-другой стали ветеранами. На груди у каждого поблескивал серебряный значок-насос: они побывали в логове врага.

Кенсингтонцы остались стоять, преграждая Пембридж-роуд, а я помчался следом за наступающими и вскоре нагнал их задние ряды. Сумерки ступились, и я почти ничего не видел, только слышал тяжкий маршевый шаг. Потом раздался общий крик, рослые воины, пятась, спотыкались об меня, снова заплясали

фонарики, и лошади, фыркая в лицо, разбрасывали людей по сторонам. Они, стало быть, развернулись и атаковали нас.

— Болваны! — прокричал холодный и гневный голос Уилсона, мигом смиривший панику. — Вы что, не видите? Кони-то без всадников!

В самом деле, смяли нас лошади без седоков. Что бы это значило? Может, Уэйна уже разгромили? Или это новая военная хитрость, на которые он, как известно, горазд? А может быть, они там все переоделись и попрятались по домам?

Никогда еще не бывал я так восхищен ничьей смекалкой (даже своей собственной), как восхитился уилсоновской. Он молча указал протазаном на южную сторону улицы. Знаете ведь, какие крутые проулки, чуть не лестницы, ведут на вершину холма: так вот, мы были возле самого крутого, возле Обри-роуд. Взбежать по нему нетрудно; куда труднее взвести необученных лошадей.

— Левое плечо вперед! — скомандовал Уилсон. — Вон их куда понесло, — сообщил он мне, оказавшемуся рядом.

— Зачем? — отважился я спросить.

— Да кто их знает, — отвечал бейзуотерский генерал. — Но, видать, очень спешили — потому и спешились. Вроде понятно: они хотят прорваться в Кенсингтон или Хаммерсмит — и нанесли удар здесь, на стыке армий. Им бы, дуракам, взять чуть подальше: глядишь, и обошли бы нашу последнюю заставу. Ламберт отсюда ярдов за четыреста; правда, я его предупредил.

— Ламберт! — воскликнул я. — Уж не Уилфрид ли Ламберт, мой однокорытник?

— Уилфрид Ламберт его зовут, это уж точно, — отвечал генерал, — повеса из повес, эдакий длинноносый обалдуй. Дурням вроде него на войне самое место, тут они при деле. И Ламберт хорош, грех жаловаться. Эти желтяки, западные кенсингтонцы, — не войско, а сущее охвостье. Он привел их в божеский вид, хотя сам под началом у Суиндона — ну, тот попросту осел. А Ламберт давеча показал себя — в атаке с Пембридж-роуд.

— Он еще раньше показал себя, — сказал я. — Он ополчился на мое чувство юмора. Это был его первый бой.

Мое замечание, увы, пропало попусту: командир союзных войск его не понял. Мы в это время взбирались по Обри-роуд, на кручу, похожую на старинную карту с нарисованными деревцами. Немного пыхтя, мы наконец одолели подъем и едва свернули в улочку под названием Подбашенная Креси, словно бы предвосхитившим наши нынешние рукопашные битвы, как вдруг получили в поддых (иначе не знаю, как и сказать): нас чуть не смела вниз гурьба ноттингхилльцев — в крови и грязи, с обломками алебард.

— Да это же старина Ламберт! — заорал дотоле невозмутимый повелитель Бейзуотера. — Черт его подери, ну и хват! Он уже здесь! Он их на нас гонит! Урра! Урра! Вперед, бейзуотерцы!

Мы ринулись за угол, и впереди всех бежал Уилсон, размахивая алебардой, она же протазан...

А можно, я немного о себе? Пожалуй, можно, — тем более что ничего особенно лестного, а даже слегка и постыдное. Впрочем, скорее забавное: вот ведь какой мы, журналисты, впечатлительный народ! Казалось бы, я с головой погружен в поток захватывающих событий; и однако же, когда мы обогнули угол, мне первым делом бросилось в глаза то, что не имеет никакого отношения к нынешней войне. Я был поражен, точно черной молнией с небес, высотой Водонапорной башни. Не знаю, замечают ли обычно лондонцы, какая она высокая, если внезапно выйти к самому ее подножию. На миг мне показалось, что подле этой громады все людские распри — просто пустяки. На один миг, не более — но я чувствовал себя так, будто захмелел на какой-то попойке, и меня вдруг отрезвила эта надвинувшаяся гигантская тень. И почти тут же я понял, что у подножия этой башни свершается то, что долговечней камня и головокружильней любой высоты — свершается человеческое действо, а по сравнению с ним эта огромная башня — сущая пустяковина, всего-навсего каменный отросток, который род людской может переломить как спичку.

Впрочем, не знаю, чего я разболтался про эту дурацкую, обшарпанную Водонапорную башню: она идет к делу самое большее как задник декорации — правда, задник внушительный, и мрачновато обрисовались на нем наши фигуры. Но главная причина, должно быть, в том, что в сознании моем как бы столкнулись каменная башня и живой человек. Ибо страхнув с себя, так сказать, тень башни, я сразу же увидел человека, и человека мне очень знакомого.

Ламберт стоял на дальнем углу подбашенной улицы, отчетливо видный при свете восходящей луны. Он был великолепен — герой, да и только, но я-то углядел кое-что поинтересней героизма. Дело в том, что он стоял почти в той же самодовольной позе, в какой запомнился мне около пятнадцати лет назад, когда он воинственно взмахнул тростью, вызываясь воткнул ее в землю и сказал мне, что все мои изыски — просто околесица. И ей-богу же, тогда ему на это требовалось больше мужества, чем теперь — на ратные подвиги. Ибо тогда его противник победно восходил на вершину власти и славы. А сейчас он добывает (хоть и с риском для жизни) врага поверженного, обреченного и жалкого — какой жалкой и обреченной была эта вылазка навстречу гибели! Нынче никому невдомек, что победное чувство — это целых полдела. Тогда он напал на растленного, однако же победительного Квина; теперь — сокрушает вдохновенного, но полудизниченного Уэйна.

Имя его возвращает меня на поле брани. Случилось вот что: колонна алых алебардчиков двигалась по улице у северной стены — низовой дамбы, ограждающей башню, — и тут из-за угла на

них ринулись желтые кенсингтонцы Ламберта, смяли их и отшвырнули нестойких, как я уже описал, прямо к нам в объятия. И когда мы ударили на них с тыла, стало ясно, что с Уэйном покончено. Его любимца — бравого цирюльника — сшибли с ног, бакалейщика контузили. Уэйн и сам был ранен в ногу и отброшен к стене. Они угодили в челюсти капкана.

— Ага, подоспели? — радостно крикнул Ламберт Уилсону через головы окруженных ноттингхилльцев.

— Давай, давай! — отозвался генерал Уилсон. — Прижимай их к стене!

Ратники Ноттинг-Хилла падали один за другим. Адам Уэйн ухватился длинными ручищами за верх стены, подтянулся и вспрыгнул на нее: его гигантскую фигуру ярко озаряла луна. Он выхватил хоругвь у знаменосца под стеной и взмахнул ею: она с шумом зареяла над головами, точно раскатился небесный гром.

— Сомкнемся вокруг Красного Льва! — воскликнул он. — Выставим острия мечей и жала алебард — это шипы на стебле розы!

Его громовой голос и плеск знамени мгновенно взбудрили ноттингхилльцев, и почуяв это, Ламберт, чья идиотская физиономия была едва ли не прекрасна в упоении битвы, заорал:

— Брось свою кабацкую вывеску, дуралей! Бросай сейчас же!

— Хоругвь Красного Льва редко склоняется, — горделиво ответил Уэйн, и вновь зашумело на ветру развернутое знамя. На этот раз любовь к театральным жестам могла дорого обойтись бедняге Адаму: Ламберт вспрыгнул на стену со шпагой в зубах, и клинок свистнул возле уха Уэйна прежде, чем тот успел обнажить меч — руки-то у него были заняты тяжелым знаменем. Он едва успел отступить и уклониться от выпада; древко с длинным острием поникло почти к ногам Ламберта.

— Знамя склонилось! — громогласно воскликнул Уэйн. — Знамя Ноттинг-Хилла склонилось перед героем!

С этими словами он пронзил Ламберта насквозь и стряхнул его тело с древка знамени вниз; с глухим стуком грянулось оно о камни мостовой.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — неистово, как одержимый, восклицал Уэйн. — Наше знамя освящено кровью отважного врага! Ко мне, на стену, патриоты! Все сюда, на стену! Ноттинг-Хилл!

Его длинная могучая рука протянулась кому-то на помощь, и на озаренной луной стене возник второй силуэт, за ним еще и еще; одни забирались сами, других втаскивали, и вскоре израненные, полуживые защитники Насосного переулка кое-как взгромоздились на стену.

— Ноттинг-Хилл! Ноттинг-Хилл! — неустанно восклицал Уэйн.

— А чем хуже Бейзуотер? — сердито крикнул почтенный мастеровой из дружины У и л с о н а . — Да здравствует Бейзуотер!

— Мы победили! — возгласил Уэйн, ударив оземь древком знамени. — Да здравствует Бейзуотер! Мы научили наших врагов патриотизму!

— Ох, да перебить их всех, и дело с концом! — выкрикнул офицер из отряда Ламберта почти в панике: ему ведь надо было принимать команду.

— Попробуем, если получится, — мрачно сказал Уилсон, и оба войска накинулись на третье.

* * *

Я просто не берусь описывать, что было дальше. Прошу прощения, но меня одолевает усталость, мне тошно, да вдобавок еще и ужас берет. Замечу лишь, что предыдущий кусок я дописал часов в 11 вечера, сейчас около двух ночи, а битва все длится, и конца ей не видно. Да, вот еще что: по крутым проулкам, от Водонапорной башни к Ноттинг-Хилл-Хай-роуд красными змеями вьются кровавые ручьи; там, на широкой улице, они сливаются в огромную лужу, сверкающую под луной.

Позднее. Ну вот, близится конец всей этой жуткой бессмыслице. Минуло несколько часов, настало утро, а люди все мечутся и рубятся у подножия башни и за углом, на Обри-роуд; битва не кончилась. Но смысла в ней нет ни малейшего.

В свете новых известий ясно, что и отчаянная вылазка Уэйна, и отчаянное упорство его бойцов, ночь напролет сражавшихся на стене у Водонапорной б а ш н и , — все это было попусту. И наверно, мы никогда не узнаем, с чего это вдруг осажденные выбрались погигать — по той простой причине, что еще через два-три часа их перебьют всех до последнего.

Минуты три назад мне сообщили, что Бак, собственно, уже выиграл войну: победила его деловая сметка. Он, конечно, был прав, что переулку с городом не тягаться. Мы-то думали, он торчит на восточных подступах со своим лиловым войском; мы-то бегали по улицам, размахивая алебардами и потрясая фонарями; бедняга Уилсон мудрил, как Мольтке, и бился, как Ахиллес; а мистер Бак, суконщик на покое, тем временем разъезжал в пролетке и обстригал дельце проще простого: долго ли умеючи? Он съездил в Южный Кенсингтон, Бромптон и Фулем, израсходовал около четырех тысяч фунтов собственных денег и снарядил почти четырехтысячную армию, которая может шутя раздавить не только Уэйна, но и всех его нынешних противников. Армия, как я понимаю, расположилась на Кенсингтон-Хай-

стрит, заняв ее от собора до моста на Аддисон-роуд. Она будет наступать на север десятью колоннами.

Не хочу я больше здесь оставаться. Глаза бы мои на все это не глядели. Холм озарен рассветом; в небе раскрываются серебряные окна в золотистых рамах. Ужасно: Уэйна и его ратников рассвет словно бодрит, на их бледных, окровавленных лицах появляется проблеск надежды... невыносимо трогательно. Еще ужаснее, что сейчас они берут верх. Если бы не новое полчище Бака, они могли бы — пусть ненадолго — оказаться победителями.

Повторяю, это непереносимо. Точно смотришь этукую пьесу старика Метерлинка (люблю я жизнерадостных декадентов XIX века!), где персонажи безмятежно беседуют в гостиной, а зрители знают, какой ужас подстерегает их за дверями. Только еще тягостней, потому что люди не беседуют, а истекают кровью и падают замертво, не ведая, что бьются и гибнут зря, что все уже решено и дело их проиграно. Серые людские толпы сшибаются, теснят друг друга, колышутся и растекаются вокруг серой каменной громады; а башня недвижна и пребудет недвижной. Этих людей истребят еще до захода солнца; на их место придут другие — и будут истреблены, и обновится ложь, и заново отяготеет над миром тирания, и новая низость заполонит землю. А каменная башня будет все так же выситься и, неживая, свысока взирать на безумцев, приемлющих смерть, и на еще худших безумцев, приемлющих жизнь».

На этом обрывался первый и последний репортаж специального корреспондента «Придворного летописца», отосланный в сию почтенную газету.

А корреспондент, расстроенный и угнетенный известием о торжестве Бака, уныло побрел вниз по крутой Обри-роуд, по которой накануне так бодро взбегал, и вышел на широкую, по-рассветному пустынную улицу. Без особой надежды на кеб он огляделся: кеба не было, зато издали быстро приближалось, сверкая на солнце, что-то синее с золотом, похожее на огромного жука; король удивился и узнал Баркера.

— Слыхали хорошие новости? — спросил тот.

— Да, — отвечал Квин ровным голосом, — да, меня уже успели порадовать. Может, возьмем извозчика до Кенсингтона? Вон, кажется, едет.

Не прошло и пяти минут, как они выехали навстречу несметной и непобедимой армии. Квин по дороге не обмолвился ни словом, и Баркер, чуя неладное, тоже помалкивал.

Великая армия шествовала по Кенсингтон-Хай-стрит, а из всех окон высывались головы, ибо тогдашние лондонцы в жизни своей не видывали такого огромного войска. Это полчище,

которое возглавлял Бак и к которому пристроился король-журналист, разом упраздняло все проблемы. И красные ноттингхилльцы, и зеленые бейзуотерцы превращались в копошащихся насекомых, а вся война за Насосный переулоч становилась суматохой в муравейнике под копытом вола. При одном взгляде на эту человеческую махину всякому было ясно, что грубая арифметика Бака наконец взяла свое. Прав был Уэйн или нет, умник он или дуралей—об этом теперь можно было спорить, это уже отошло в историю. В конце Соборной улицы, возле Кенсингтонского собора воинство остановилось; командиры были в отличнейшем настроении.

— Вышлем-ка мы к ним, что ли, вестника или там глашатая,— предложил Бак, обращаясь к Баркеру и к королю. — Пусть живенько сдаются—нечего канителиться.

— А что мы им скажем?—с некоторым сомнением спросил Баркер.

— Да сообщим голые факты, и все тут,— отозвался Бак. — Армии капитулируют перед лицом голых фактов. Просто-напросто напомним, что покамест их армия и наши, вместе взятые, насчитывали примерно тысячу человек. И скажем, что у нас прибавилось четыре тысячи. Чего тут мудрить? Из прежней тысячи бойцов ихних самое большее—триста, так что теперь им противостоит четыре тысячи семьсот человек. Хотят— пусть дерутся, — и лорд-мэр Северного Кенсингтона расхотался.

Глашатая снарядили со всей пышностью: он был в синей хламиде с тремя золотыми птахами; его сопровождали два трубача.

— Как, интересно, они будут сдаваться?—спросил Баркер, чтобы хоть что-то сказать: все огромное войско внезапно пришло.

— Я Уэйна знаю как облупленного,— смеясь, сказал Бак. — Он придет к нам алого глашатая с ноттингхилльским Львом на хламиде. Кто-кто, а Уэйн не упустит случая капитулировать романтически, по всем правилам.

Король, стоявший рядом с ним в начале шеренги, нарушил свое долгое молчание.

— Не удивлюсь,— сказал он, — если Уэйн, вопреки вашим ожиданиям, никакого глашатая не придет. Вряд ли вы так уж хорошо его знаете.

— Что ж, Ваше Величество,— снизошел к нему Бак, — тогда не извольте обижаться, коли я переведу свой политический расчет на язык цифр. Ставлю десять фунтов против шиллинга, что вот-вот явится глашатай и возвестит о сдаче.

— Идет,— сказал Оберон. — Может, я и не прав, но как я понимаю Адама Уэйна, он ляжет костями, защищая свой город, и пока не ляжет, покоя вам не будет.

— Заметано, Ваше Величество, — сказал Бак.

И снова все смолкли в ожидании; Баркер нервно расхаживал перед строем замершего воинства. Внезапно Бак подался вперед.

— Готовьте денежки, Ваше Величество, — сказал он. — Я же вам говорил! Вон он — глашатай Адама Уэйна.

— Ничего подобного! — воскликнул король, приглядываясь. — Врете вы, это красный омнибус.

— Нет, не омнибус, — спокойно возразил Бак, и король смолчал, ибо сомнений не оставалось: посредине широкой, пустынной улицы шествовал глашатай с Красным Львом на хламиде и два трубача.

Бак умел, когда надо, проявлять великодушие. А в час своего торжества ему хотелось выглядеть великодушным и перед Уэйном, которым он по-своему восхищался, и перед королем, которого только что осрамил на людях, и в особенности перед Баркером, номинальным главнокомандующим великой армии, хотя она и возникла его, Бака, стараниями.

— Генерал Баркер, — сказал он, поклонившись, — угодно ли вам выслушать посланца осажденных?

Баркер поклонился в свою очередь и выступил навстречу глашатаю.

— Получил ли ваш лорд-мэр, мистер Адам Уэйн, наше требование капитуляции? — спросил он.

Глашатай отвечал утвердительно, степенным и учтивым наклоном головы.

Баркер кашлянул и продолжал более сурово:

— И каков же ответ лорда-мэра?

Глашатай снова почтительно склонил голову и отвечал, размеренно и монотонно:

— Мне поручено передать следующее: Адам Уэйн, лорд-мэр Ноттинг-Хилла, согласно хартии короля Оберона и всем установлениям, божеским и человеческим, свободного и суверенного града, приветствует Джеймса Баркера, лорд-мэра Южного Кенсингтона, согласно тем же установлениям, града свободного, досточтимого и суверенного. Со всем дружественным почтением и во исполнение законов Джеймсу Баркеру, а равно и всему войску под его началом, предлагается немедленно сложить оружие.

Еще не отзвучали эти слова, как король с сияющими глазами радостно вырвался вперед, на пустую площадь. Остальные — и командиры, и рядовые воины — онемели от изумления. Придя в себя, они разразились неудержимым хохотом — вот уж чего никто не ожидал!

— Лорд-мэр Ноттинг-Хилла, — продолжал глашатай, — отнюдь не намерен после вашей капитуляции использовать свою победу в целях утеснений, подобных тем, какие претерпел сам. Он оставит в неприкосновенности ваши законы и границы, ваши знамена и правительство. Он не покусится на религию Южного Кенсингтона и не станет попираť древние обычаи Бейзуотера.

И опять содрогнулся от хохота строй великой армии.

— Не иначе как король к этому руку приложил, — заметил Бак, хлопнув себя по ляжке. — До такого нахальства надо додуматься. Баркер, давайте-ка выпьем по стакану вина.

Вконец развеселившись, он и правда послал алебардщика в ресторанчик напротив собора; подали два стакана, и дело было за тостом.

Когда хохот утих, глашатай столь же монотонно продолжал:

— В случае капитуляции, сдачи оружия и роспуска армии под нашим наблюдением все ваши суверенные права вам гарантируются. Если же вы не пожелаете сдаться, то лорд-мэр Ноттинг-Хилла доводит до вашего сведения, что он полностью захватил Водонапорную башню и что ровно через десять минут, то есть получив или не получив от меня известие о вашем отказе, он откроет шлюзы главного водохранилища, и низина, в которой вы находитесь, окажется на глубине тридцати футов. Боже, храни короля Оберона!

Бак уронил стакан, и лужа вина растеклась по мостовой.

— Но... но... — проговорил он и, заново призвав на помощь все свое великолепное здравомыслие, посмотрел правде в глаза.

— Надо сдаваться, — сказал он. — Если на нас через десять минут обрушатся пятьдесят тысяч тонн воды, то деваться некуда. Надо сдаваться. Тут уж все равно, четыре нас тысячи или четыре человека. Ты победил, Галилеянин! Перкинс, налейте мне стакан вина.

Таким образом сдалась несметная рать Южного Кенсингтона и началось владычество Ноттинг-Хилла. Надо еще, пожалуй, упомянуть вот о чем: Адам Уэйн приказал облицевать Водонапорную башню золотом и начертать на ней эпитафию, глашатаю, что это — постамент памятника Уилфреду Ламберту, павшему здесь смертью храбрых; сам же памятник под облаками не очень удался: у живого Ламберта нос был куда длиннее.

Книга пятая

Глава I

ВЛАДЫЧЕСТВО НОТТИНГ-ХИЛЛА

Вечером третьего октября, через двадцать с лишним лет после великой победы Ноттинг-Хилла, которая принесла ему главенство над Лондоном, король Оберон вышел, как бывало, из Кенсингтонского дворца.

Он мало изменился, только в волосах проглянули седые пряди; а лицо у него всегда было старообразное, походка медлительная, шаткая. Выглядел он древним стариком вовсе не потому, что одряхлел умом или телом, а из-за того, что упорно держался допотопной моды — носил сюртук и цилиндр.

— Я пережил потоп,— говаривал о н . — Я сохраняюсь как пирамида.

Кенсингтонцы в своих живописных синих нарядах почтительно приветствовали короля и качали головами ему вслед: ну и чудно же одевались в старину!

Король, шаркая сверх всякой меры (друзьям было велено заглазно называть его «Старинушка Оберон»), доковылял до Южных ворот Ноттинг-Хилла и постоял перед ними. Всего ворот было девять: огромные створки из стали и бронзы покрывали барельефы — картины былых сражений работы самого Чиффи.

— Эх-хо-хо! — покряхтел он, трясая головой. — В мое время ничего этого и в помине-то, помнится, не было.

Вошел он через Оссингтонские ворота, украшенные медно-красным Львом на желтой латуни и девизом «Никто тут не хил». Красно-золотой страж отсалютовал ему алебардой.

Вечерело; на улицах зажигали фонари. Оберон полюбовался ими; глаз знатока радовала эта, может быть, лучшая работа Чиффи. В память о Великой Фонарной битве каждый чугунный фонарь был увенчан изваянием: ратник с мечом и в плаще держал над пламенем колпак, как бы всегда готовый опустить его, если в город снова вторгнутся недруги с юга или

с запада. И дети, играя на улицах Ноттинг-Хилла, вспоминали рассказы о том, как их родной город спасся от вражеского нашествия.

— Старина Уэйн был в своем роде прав, — заметил король. — Меч действительно преображает: мир переполнился романтикой. А меня-то, эх, считали шутом: вообразится же, мол, такое — романтический Ноттинг-Хилл! Батюшки светы! (или «охти мне» — как лучше?) — это надо же! словно из другой жизни.

Свернув за угол, он попал в Насосный переулок и оказался перед четырьмя домиками, перед которыми двадцать лет назад расхаживал в раздумье Адам Уэйн. От нечего делать он зашел в бакалейную лавку мистера Мида. Хозяин ее постарел, как и весь мир; окладистая рыжая борода и пышные усы поседели и поблекли. Синий, коричневый и красный цвета его длинной ризы сочетались по-восточному замысловато; она была расшита иероглифами и картинками, изображавшими, как бакалейные товары переходят из рук в руки, от нации к нации. На шее у него, на цепочке висел бирюзовый кораблик, знак сана: он был Великим Магистром Бакалейщиков. Лавка не уступала хозяину своим сумрачным великолепием. Все товары были на виду, как и встарь, но теперь они были разложены с толком и вкусом, со вниманием к цвету — бакалейщик прежних дней нашел бы тут, чему поучиться. Никакой торгашеской назойливости; выставка товаров казалась прекрасной, умело подобранной коллекцией тонкого знатока. Чай хранился в больших синих и зеленых вазах; на них были начертаны девять необходимых изречений китайских мудрецов. Другие вазы, оранжево-лиловые, не столь строгие и чопорные, более скромные и более таинственные, содержали индийский чай. В серебристых ларцах предлагались покупателю консервы, и на каждом ларце была простая, но изящная чеканка: раковина, рога, рыба или яблоко — внятное для взора пояснение.

— Ваше Величество, — сказал мистер Мид, склонившись с восточной учтивостью. — Великая честь для меня, но еще большая — для нашего города.

Оберон снял цилиндр.

— Мистер Мид, — сказал он, — у вас в Ноттинг-Хилле только и слышно, что о чести: то вы ее оказываете, то вам ее воздают. А вот есть ли у вас, к примеру, лакрица?

— Лакрица, сэр, — отвечивал мистер Мид, — это драгоценное достояние темных недр Аравии, и она у нас есть.

Плавным жестом указал он на серебристо-зеленый сосуд в форме арабской мечети; затем неспешно приблизился к нему.

— Не знаю уж почему, — задумчиво произнес король, — но что-то нынче не идут у меня из головы дела двадцатилетней давности. Вы как, мистер Мид, помните довоенные времена?

Завернув лакричные палочки в вощеную бумажку с подобающей надписью, бакалейщик устремил отуманенные воспоминанием большие серые глаза в окно, на вечернее небо.

— О, да, Ваше Величество, — молвил он. — Я помню эти улицы до начала правления нашего лорда-мэра. Не помню только, почему мы жили, будто так и надо. Сраженья и песенная память о сраженьях — они, конечно, все изменили, и не оценить, сколь многим обязаны мы лорд-мэру; но вот я вспоминаю, как он зашел ко мне в лавку двадцать два года назад, вспоминаю, что он говорил. И представьте себе, тогда мне его слова вроде бы показались диковинными. Теперь-то наоборот — я не могу надивиться тому, что говорил я: говорил, точно бредил.

— Вот так, да? — сказал король, глядя на него более чем спокойно.

— Я тогда ничего не смыслил в бакалейном деле, — продолжал тот. — Ну не диковинно ли это? Я и знать не знал, откуда взялись мои товары, как их изготовили. Я и ведасть не ведал, что по сути дела я — властелин, рассылающий рабов гарпунить рыб в неведомых водоемах и собирать плоды на неизвестных островах. Ничего этого в голове у меня не было: ни дать ни взять умалишенный.

Король тоже обернулся и взглянул в темное окно, за которым уже зажглись фонари, напоминавшие о великой битве.

— Выходит, крышка бедняге Уэйну? — сказал он сам себе. — Воспламенил он всех кругом, а сам пропал в отблесках пламени. Это ли твоя победа, о мой несравненный Уэйн, — что ты стал одним из несчетных уэйнов? Затем ли ты побеждал, чтобы затеряться в толпе? Чего доброго, мистер Мид, бакалейщик, затмит тебя красноречием. Чудны дела твои, Господи! — не стоит и с ума сходить: оглядишься — а кругом такие же сумасшедшие!

В раздумье он вышел из лавки и остановился у следующей витрины — точь-в-точь, как лорд-мэр два десятилетия назад.

— Ух ты, как жутковато! — сказал он. — Только жуть какая-то заманчивая, обнадеживающая. Похоже на страшную детскую сказку: мурашки ползут по спине, а все-таки знаешь, что все кончится хорошо. Фронтон-то, фронтон! острый, низкий — ну прямо черный нетопырь крылья сложил! а эти чаши как странно светятся — вурдалачьи глаза, да и только. А все ж таки похоже на пещеру доброго колдуна: по всему видать, аптека.

Тут-то и показался в дверях мистер Баулз: на нем была черная бархатная мантия с капюшоном, вроде бы и монашеская, но отчасти сатанинская. Он был по-прежнему темноволос, а лицо стало бледнее прежнего. На груди его вспыхивала самоцветная звезда — знак принадлежности к Ордену Красного Огня Милосердия, ночного светила врачей и фармацевтов.

— Дивный вечер, сэр, — сказал аптекарь. — Но позвольте, как мог я не узнать сразу Ваше Величество! Заходите, прошу вас, разопьем бутылочку салициловой или чего-нибудь другого, что

вам по вкусу. Кстати же, ко мне как раз наведалься старинный приятель Вашего Величества: он, с позволения сказать, смакует этот целебный напиток.

Король вошел в аптеку, словно в сказочную пещеру, озаренную переливчатой игрой оттенков и полутонов: аптечные товары богаче цветами, нежели бакалейные, и сочетание их было здесь еще причудливее и утонченнее. Никогда еще подобный, так сказать, фармацевтический букет не предлагался глазу ценителя.

Но даже это таинственное многоцветье ночной аптеки не скрадывало пышности фигуры у стойки; напротив, блекло перед нею. Высокий, статный мужчина был в синем бархатном костюме с прорезями, как на портретах Возрождения; в прорезях сквозила ярко-лимонная желтизна. Орденские цепи висели у него на шее; а золотисто-бронзовые перья на его шляпе были так длинны, что достигали золотого эфеса длинного меча, что висел у него при бедре. Он отпивал из бокала салициловой и любовался на свет ее опаловым сияньем. Лицо его скрывала тень; король недоуменно приблизился и воскликнул:

— Пресвятой Боже, да это вы, Баркер!

Тот снял пышно оперенную шляпу, и король увидел ту же темную шевелюру и длинную лошадиную физиономию, которая, бывало, виднелась над высоким чиновничьим воротничком. На висках пробилась седина, а в остальном изменений не было: Баркер был как Баркер.

— Ваше Величество, — сказал он, — при виде вас в душе моей оживает славное прошлое, осиянное золотистым октябрьским светом. Пью за дни былые, — с чувством проговорил он и духом осушил свой бокал.

— Отрадно вас видеть снова, Баркер, — отозвался король. — Давненько мы не встречались. Я, знаете, путешествовал по Малой Азии, писал книгу (вы читали мою «Жизнь викторианского мужа в изложении для детей»?) — словом, раза всего два мы с вами виделись после Великой войны.

— Вы позволите, — немного замялся Баркер, — можно говорить с Вашим Величеством напрямик?

— Чего уж там, — разрешил Оберон, — время позднее, разговор приватный. В добрый час, мой буревестник!

— Так вот, Ваше Величество, — промолвил Баркер, понизив голос. — Думается, мы — на пороге новой войны.

— Это как? — спросил Оберон.

— Мы этого ига больше не потерпим! — негодуяще выкрикнул Баркер. — Мы не стали рабами оттого, что Адам Уэйн двадцать лет назад обвел нас вокруг пальца. На Ноттинг-Хилле свет не клином сошелся. Мы в Южном Кенсингтоне тоже не беспомытные — ну нас есть свои упования. Если они отстояли несколько фонарей и лавчонок — неужели же мы не стоим за нашу Хай-стрит и священный Музей естественной истории?

— Силы небесные! — промолвил потрясенный Оберон. — Будет ли конец чудесам? А это уж чудо из чудес — вы, значит, теперь угнетенный, а Уэйн — угнетатель? Вы — патриот, а он — тиран?

— Корень зла отнюдь не в самом Уэйне, — возразил Баркер. — Он большей частью сидит у камина с мечом на коленях, погруженный в мечтания. Не он тиран, а Ноттинг-Хилл. Здешние советники и здешняя чернь так приохотились насаждать повсеместно старые замыслы и проекты Уэйна, что они всюду суют нос, всем указывают, всех норовят перекрыть на свой лад. Я не спорю, та давнишняя война, казалось бы, и нелепая, необычайно оживила общественную жизнь. Она разразилась, когда я был еще молод, и — согласен — открыла передо мной новые горизонты. Но мы больше не желаем сносить ежедневные и ежечасные глумления и придирки лишь потому, что Уэйн четверть века назад нам в чем-то помог. Я здесь ожидаю важных новостей. Говорят, Ноттинг-Хилл запретил открытие памятника генералу Уилсону на Чепстоу-Плейс. Если это действительно так, то это прямое и вопиющее нарушение условий, на которых мы сдались Тернбуллу после битвы у Башни. Это — посягательство на наши обычаи и самоуправление. Если это действительно так...

— Это действительно так, — подтвердил глубокий бас, и собеседники обернулись.

В дверях стояла плотная фигура в лиловом облачении, с серебряным орлом на шее; усы его спорили пышностью с плюмажем.

— Да, да, — сказал он в ответ на изумленный взор короля, — я — лорд-мэр Бак, а слухи — верны. Здешний сброд забыл, что мы дрались у Башни не хуже их и что иной раз не только подло, но и опрометчиво оскорблять побежденных.

— Выйдем отсюда, — сказал посуровевший Баркер.

Они вышли на крыльцо вслед за Баком; тот обводил ненавистным взглядом ярко освещенную улицу.

— Хотел бы я своей рукой смести это все с лица земли, — прорычал он, — хоть мне и под семьдесят. Уж я бы...

Вдруг он страшно вскрикнул и отшатнулся, прижав ладони к глазам, в точности как на этих же улицах двадцать лет назад.

— Темнота! — вскрикнул он. — Опять темнота! Что это значит?

И правда, все фонари в переулке погасли, и при свете витрины они еле-еле различали силуэты друг друга. Из черноты послышался неожиданно радостный голос аптекаря.

— А, вы и не знали? — сказал тот. — Вас разве не предупредили, что сегодня — Праздник Фонарей, годовщина Великой битвы, когда Ноттинг-Хилл едва не сгинул и был спасен едва ли не чудом? Вы разве не знаете, Ваше Величество,

что в ту ночь, двадцать один год назад, мы увидели, как по нашему переулку мчатся яростные, будто исчадия ада, зеленые алебардщики Уилсона, а горстка наших, с Уэйном и Тернбуллом, отступает к газовому заводу? Тогда, в тот роковой час, Уэйн запрыгнул в заводское окно и одним могучим ударом погрузил город во тьму — а потом, издав львиный рык, слышный за несколько кварталов, ринулся с мечом в руках на растерявшихся бейзуотерцев — и очистил от врага наш священный переулок. Вы разве не знаете, что в эту ночь каждый год на полчаса гасят фонари и мы поем в темноте гимн Ноттинг-Хилла? Слушайте! Вот — начинают.

В темноте раскатился глухой барабанный бой, и мощный хор мужских голосов завел:

Содрогнулся мир, и свет померк и погас,
Свет померк и погас в тот ночной, ненадежный час,
Когда враг вступал в Ноттинг-Хилл, погруженный в сон;
Накатил океанской волной и накрыл с головою он —
Мрак, спасительный мрак, когда враг был со всех сторон.
И ратники Ноттинг-Хилла расслышали трубный глас,
И стала их знаменем эта черная мгла,
И прежде, чем стяг их поникнет, звезды сгорят дотла.
Ибо в час, когда в Переулке послышалась вражья речь,
Когда рушилась крепость и преломился меч —
Почернела ночь и склубилась, точно Господень смерч —
Ратники Ноттинг-Хилла расслышали трубный глас.

Голоса затянули вторую строфу, но ее прервала суматоха и яростный вопль. Баркер выхватил кинжал и прыгнул с крыльца в темноту с кличем: «Южный Кенсингтон!»

Во мгновение ока заполненный народом переулок огласился проклятьями и лязгом оружия. Баркера отшвырнули назад, к витрине; он перехватил кинжал в левую руку, обнажил меч и кинулся на толпу, выкрикнув: «Мне вас не впервой рубить!» Кого-то он и правда зарубил или приколол: раздались крики, в полутьме засверкали ножи и мечи. Баркера снова оттеснили, но тут подоспел Бак. При нем не было оружия; в отличие от Баркера, который из чопорного фата стал фатом драчливым, он сделался мирным, осанистым бюргером. Но он разбил кулаком витрину лавки древностей, схватил самурайский меч и, восклицая «Кенсингтон! Кенсингтон!», кинулся на подмогу.

Меч Баркера сломался; он отмахивался кинжалом. Его сшибли с ног, но подбежавший Бак уложил нападающего, и Баркер снова вскочил с залитым кровью лицом.

Внезапно все крики перекрыл могучий голос; казалось, он слышался с небес. Но Бака, Баркера и короля испугало не это — они знали, что небеса пусты; страшней было то, что голос был им знаком, хотя они давно его не слышали.

¹ Пер. Н. Муравьевой.

— Зажгите фонари! — повелел голос из поднебесья; в ответ раздался смутный ропот.

— Именем Ноттинг-Хилла и Совета Старейшин Города, зажгите фонари!

Снова ропот, минутная заминка — и вдруг переулочек осветился нестерпимо ярко: все фонари зажглись разом. На балконе под крышей самого высокого дома стоял Адам Уэйн; его рыжую с проседью гриву ворошил ветер.

— Что с тобою, народ мой? — вымолвил он. — Неужели едва мы достигаем благой цели, как она тут же являет свою обратную сторону? Гордая слава Ноттинг-Хилла, достигшего независимости, окрыляла мой ум и согревала сердце в долгие годы уединенного созерцания. Неужели же *вам* этого недостаточно — вам, увлеченным и захваченным бурями житейскими? Ноттинг-Хилл — это нация; зачем нам становиться простой империей? Вы хотите низвергнуть статую генерала Уилсона, которую бейзуотерцы по справедливости воздвигли на Уэстборн-Гроув. Глупцы! Разве Бейзуотер породил этот памятник? Его породил Ноттинг-Хилл. Разве не в том наша слава, наше высшее достижение, что благородный идеализм Ноттинг-Хилла вдохновляет другие города? Правота нашего противника — это наша победа. О, близорукие глупцы, зачем хотите вы уничтожить своих врагов? Вы уже сделали больше — вы их создали. Вы хотите низвергнуть огромный серебряный молот, который высится, как обелиск, посреди хаммерсмитского Бродвея. Глупцы! До того, как победил Ноттинг-Хилл, появился бы на хаммерсмитском Бродвее серебряный молот? Вы хотите убрать бронзового всадника вместе с декоративным бронзовым мостом в Найтсбридже? Глупцы! Кому бы пришло в голову воздвигнуть мост и статую, если бы не Ноттинг-Хилл? Я слышал даже, и болью это отдалось в моем сердце, что вы устремили завистливый взор далеко на запад и в своей имперской спеси требуете уничтожить великое черное изваяние Ворона, увенчанного короной — память о побоище в Рэвенскорт-Парке. Откуда взялись все эти памятники? Не наша ли слава создала их? Умались ли Афины оттого, что римляне и флорентийцы переняли афинское патриотическое красноречие? Неужто судьба Афин, судьба Назарета — скромный удел создателей нового мира кажется вам недостойным? Умалится ли Назарет оттого, что миру были явлены многие такие же селеньица, о которых вопрошают спесивцы: может ли быть оттуда что доброе? Разве требовали афиняне, чтобы все облеклись в хитоны? Разве приверженцам Назорея должно было носить тюрбаны? Нет! но частица души Афин была в тех, кто твердой рукой подносил к губам чашу цикуты, и частица души Назарета — в тех, кто радостно и твердо шел на распятие. Те, кто принял в себя частицу души Ноттинг-Хилла, постигли высокий удел горожанина. Мы создали свои символы и об-

ряды; они создают свои — что за безумие препятствовать этому! Ноттинг-Хилл изначально прав: он искал себя и обретал, менялся по мере надобности, и менялся самостоятельно. Ноттинг-Хилл воздвигся как нация и как нация может рухнуть. Он сам решает свою судьбу. И если вы сами решите воевать из-за памятника генералу Уилсону...

Рев одобрения заглушил его слова; речь прервалась. Бледный, как смерть, великий патриот снова и снова пытался продолжать, но даже его влияние не могло унять беснующуюся уличную стихию. Его попросту не было слышно; и он, опечаленный, спустился из своей мансарды и отыскал в толпе генерала Тернбулла. С какой-то суровой лаской положив руку ему на плечо, он сказал:

— Завтра, мой друг, нас ждут свежие, неизведанные впечатления. Нас ждет разгром. Мы вместе сражались в трех битвах, но своеобразного восторга поражения мы не изведали. Вот обменяться впечатлениями нам, увы, вряд ли удастся: скорее всего, как назло, мы оба будем убиты.

Смутное удивление выразилось на лице Тернбулла.

— Да убиты — это ничего, дело житейское, — сказал он, — но почему нас непременно ждет разгром?

— Ответ очень простой, — спокойно отозвался Уэйн. — Потому что мы ничего другого не заслужили. Бывали мы на волосок от гибели, но я твердо верил в нашу звезду, в то, что мы заслужили победу. А теперь я знаю так же твердо, что мы заслужили поражение: и у меня опускаются руки.

Проговорив это, Уэйн встрепенулся: оба заметили, что им внимает человек с круглыми любопытствующими глазами.

— Простите, милейший Уэйн, — вмешался король, — но вы и правда думаете, что завтра вас разобьют?

— Вне всякого сомнения, — отвечал Адам Уэйн, — я только что объяснил почему. Если угодно, есть и другое, сугубо практическое объяснение — их стократное превосходство. Все города в союзе против нас. Одно это, впрочем, дела бы не решило.

Совиные глаза Квина не смигнули; он настаивал:

— Нет, вы совершенно уверены, что вас должны разбить?

— Боюсь, что это неминуемо, — мрачно подтвердил Тернбулл.

— В таком случае, — воскликнул король, взмахнув руками, — давайте мне алебарду. Эй, кто-нибудь, алебарду мне! Призываю всех в свидетели, что я, Оберон, король Англии, отрекаюсь от престола и прошу лорд-мэра Ноттинг-Хилла зачислить меня в его лейб-гвардию. Живо, алебарду!

Он выхватил алебарду у растерявшегося стражника и, взяв ее на плечо, пристроился к колонне, шествовавшей по улице с воинственными кликами. Еще до рассвета памятник генералу Уилсону был низвергнут; впрочем, в этой акции король-алебарщик участия не принимал.

Глава II

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

Под хмурыми небесами Уэйн повел свое войско на гибель в Кенсингтон-Гарденз; еще пуще нахмурилось небо, когда алых ратников обступили разноцветные полчища обновленного мира. В промежутке зловеще блеснуло солнце, и лорд-мэр Ноттинг-Хилла каким-то сторонним, безмятежным взором окинул расположение неприятеля: изумрудные, сапфирные и золотые прямоугольники и квадраты, точно вытканый на зеленом ковре чертеж к эвклидовой теореме. Но солнечный свет был жидкий, едва сочился и вскоре вовсе иссяк. Король попытался было расспрашивать Уэйна, как мыслится битва, однако же тот отвечал равнодушно и вяло. Он верно сказал накануне, что вместе с чувством нездешней правоты утратил все качества вождя. Он отстал от времени, ему непонятны были ни соглашения, ни раздоры враждующих империй, когда примерно один черт, кто виноват и кто прав. И все же, завидя короля, который чинно расхаживал в цилиндре и с алебардой, он немного посветлел.

— Что же, Ваше Величество,— сказал он , — вы-то, по крайней мере, можете нынче гордиться. Пусть ваши дети встали друг на друга, так или иначе ваши дети победят. Другие короли отправляли правосудие, а вы наделяли жизнью. Другие правили нацией, а вы нации создавали. Те скапливали земли, а вы порождали царства земные. Отец, взгляни на своих детей! — и он обвел рукой неприятельский стан.

Оберон не поднял глаз.

— Посмотрите же, как это великолепно! — воскликнул Уэйн. — Как подступают из-за реки новые города. Смотрите, вон Баттерси — под знаменем Блудного Пса; а Патни — видите Патни? — вот как раз солнце озарило их знамя, знамя Белого Оседланного Кабана! Настают новые времена, Ваше Величество. Ноттинг-Хилл не так себе владычествует: он, вроде Афин, порождает новый образ жизни, возвращает вселенной юность, наподобие Назарета. Помню, в былые, тусклые дни умники писали книги о сверхскоростных поездах, о всемирной империи и о том, как трамваи будут ездить на луну. Еще ребенком я говорил себе: «Нет, скорее уж снова мы все двинемся в крестовый поход или возобождем городские божества!» Так оно и случилось. И я этому рад, хотя это — моя последняя битва.

Его слова прервал скрежет и гул слева, и он радостно обернулся.

— Уилсон! — восторженно крикнул он . — Рыжий Уилсон громит наш левый фланг! Ему нет преграды: что ему мечи! Он — воин не хуже Тернбулла; только терпенья ему не хватает,

вот потому и хуже. Ух ты! Баркер пошел в атаку. Баркер-то каков: залюбуешься! Перья перьями, а вот ты попробуй оправдай свои перья! Ну!

Лязг и гроыхание справа возвестили о том, что Баркер всею силою обрушился на ноттингхилльцев.

— Там Тернбулл! — крикнул Уэйна. — Контратакует — остановил? — отбросил! А слева дела плохи: Уилсон расколошматил Баулза и Мида, того и гляди сомнет. Гвардия лорд-мэра, к бою!

И центр стронулся: впереди сверкал меч и пламенела рыжая грива Уэйна. Король побежал следом; задние ряды содрогнулись — передние сшиблись с врагом. За лесом протазанов Оберон увидел стяг с лиловым орлом Северного Кенсингтона. Слева напирал Рыжий Уилсон: его зеленая фигурка мелькала повсюду, в самой гуще сечи появлялись огненные усы и лавровый венок. Баулз рубанул его по голове: посыпались лавровые листья, венок окровавился; взревев, как бык, Уилсон бросился на аптекаря, и после недолгого поединка тот пал, пронзенный мечом, с криком: «Ноттинг-Хилл!» Ноттингхилльцы дрогнули и уступили натиску зеленых воинов во главе с Уилсоном.

Зато справа Тернбулл громил ратников Баркера, и уже ясно было, что Золотые Птахи не выстоят против Красного Льва. Баркеровцы падали один за другим. В центре рубились, смешавшись, ратники Уэйна и Бака. Словом, сражение шло наравне, но сражались словно в насмешку. За спиною трех небольших ратей, с которыми схватились ратники Ноттинг-Хилла, стояло несметное союзное воинство: оттуда презрительно следили за схваткой. Им стоило только шевельнуться, чтобы шутя раздавить все четыре дружины.

Вдруг они всколыхнулись: в бой пошли пастухи Шепердс-Буша, в овчинах и с рогатинами, и свирепые, оголтелые паддингтонцы. Всколыхнулись они недаром: Бак яростно призывал их на подмогу; он был окружен, отрезан от своих. Остатки его дружины тонули в алом потоке ноттингхилльцев.

Союзники здорово проморгали. На их глазах Тернбулл наголову разгромил дружину Баркера; покончив с нею, старый опытный военачальник тут же развернул войско и атаковал Бака с тылу и с флангов. Уэйна крикнул громовым голосом «Вперед!» и ударил с фронта. Две трети северных кенсингтонцев изрубили в капусту прежде, чем подмога подоспела. Но потом нахлынуло море городов — знамена были точно буруны — и захлестнуло Ноттинг-Хилл на веки вечные. Битва не кончилась, ибо никто из ноттингхилльцев живым не сдавался: битва продолжалась до заката и после заката. Но все было решено — история Ноттинг-Хилла завершилась.

Увидевши это, Тернбулл на миг опустил меч и огляделся. Закатное солнце озарило его лицо: в нем был младенческий восторг.

— Юность не миновала м е н я , — сказал он. И, выхватив у ко-го-то бердыш, кинулся на рогадины Шепердс-Буша и принял смерть где-то в глубине взломанных рядов неприятеля. А битва все длилась и длилась; лишь к ночи добили последнего ноттингхильца.

Один Уэйн стоял, прислонившись к могучему дубу. На него надвигались воины с бердышами. Один с размаху ударил; он отразил удар, но оскользнулся — и, протянув руку, ухватился за дерево.

К нему подскочил Баркер с мечом в руке, дрожа от возбуждения.

— Ну как, милорд, — крикнул о н , — велик ли нынче Ноттинг-Хилл?

Уэйн улыбнулся; темнота сгущалась.

— Вот его г р а н и ц ы , — сказал он, и меч его описал серебряный полукруг.

Баркер упал, обезглавленный; но на труп его по-кошачьи вспрыгнул Уилсон, и Уэйн отбил смертоносный меч. Позади послышались крики, мелькнул желтый стяг, и показались алебардчики Западного Кенсингтона, взбиравшиеся на холм по колено в траве. Знамя несли впереди; сзади подбадривали криками.

Новый взмах меча Уэйна, казалось, покончил с Уилсоном; но взметнулся меч, и вместе с ним взметнулся Уилсон; меч его был сломан, и он, словно пес, метнулся к горлу Уэйна. Передовой желтый алебардщик занес секиру над его головой, но король со злобным проклятием раскроил ему череп и сам упал и покатился по склону; а тем временем неистовый Уилсон, снова отброшенный, опять вскочил на ноги и опять бросился на Уэйна. Отскочил он с торжествующим смехом: в руке у него была орденская лента, знак отличия ноттингхильского лорд-мэра. Он сорвал ее с груди, где она пребывала четверть века.

Западные кенсингтонцы с криками сгрудились вокруг Уэйна; желтое знамя колыхалось над его головой.

— Ну, и где же твоя лента, лорд-мэр? — воскликнул вожак западных кенсингтонцев. Вокруг захохотали.

Адам одним ударом меча сокрушил знаменосца и вырвал клоч поникшего желтого знамени. Алебардщик пырнул его в плечо: хлынула кровь.

— Вот желтый! — крикнул он, затыкая за пояс клоч знамени. — А вот, — указывая на окровавленное плечо, — вот и красный!

Между тем тяжелый удар алебарды уложил короля. Перед глазами его пронеслось видение давних времен, что-то виденное давным-давно, возле какого-то ресторана. Перед его меркнущими глазами сверкнули цвета Никарагуа — красный и желтый.

Квину не привелось увидеть, чем это все кончилось. Уилсон, вне себя от ярости, снова кинулся на Уэйна, и еще раз просвистел страшный меч Ноттинг-Хилла. Кругом втянули головы в плечи, а повелитель Бейзуотера превратился в кровавый обрубок, но и клинок, сокрушивший его, был сломан.

Страшное очарование исчезло; у самой рукояти сломался клинок. Уэйна прижали к дереву: нельзя было ни колоть алебардой, ни ударить мечом; враги сошлись грудь с грудью и даже ноздря к ноздре. Но Бак успел выхватить кинжал.

— Убить его! — крикнул он не своим, придушенным голосом. — Убить его! Какой он ни есть, он не наш! Не смотрите ему в лицо! Да Господи! Давно бы нам в лицо ему не смотреть! насмотрелись! — и он занес руку для удара, зажмурив глаза.

Уэйн по-прежнему держался за ветвь дуба; и грудь его, и вся его мощная фигура напряглась, словно горы в предвещии землетрясения. Этим страшным усилием он выломал, вырвал ветвь с древесными ключьями — и с размаху ударил ею Бака, сломав ему шею. И планировщик Великого Шоссе замертво рухнул ничком, стальной хваткой сжимая кинжал.

— Для тебя, и для меня, и для всех отважных, брат мой, — нараспев проговорил Уэйн, — много доброго, крепкого вина в том кабачке за гранью мироздания.

Толпа снова тяжело надвинулась на него; сражаться в темноте возможности не было. А он опять ухватился за дуб, на этот раз просунув руку в дупло, как бы цепляясь за самое нутро дерева. Толпа — человек тридцать — налегла на него, но оторвать его от дуба не смогла. Тишина стояла такая, точно здесь никого не было. Потом послышался какой-то слабый звук.

— Рука у него соскользнула! — в один голос воскликнули двое.

— Много вы понимаете, — проворчал третий (ветеран прошлой войны). — Скорее кости у него переломятся.

— Да нет, это не то. Господи, пронеси! — сказал один из тех двоих.

— А чего тогда? — спросил другой.

— Дерево падает, — ответил тот.

— Если упадет дерево, то там оно и останется, куда упадет, — сказал из темноты голос Уэйна, и была в нем, как всегда, заманчиво-бредовая жуть, и звучал он издалека, из былого или из будущего, но уж никак не из настоящего. Что бы ни делал Уэйн, говорил он будто бы декламировал. — Если дерево упадет, там оно и останется, — сказал он. — Этот стих Екклесиаста считается мрачным; а я на него не нарадуюсь. Это апофеоз верности, и я остаюсь верен себе, срастаясь и сживаясь с тем, что стало моим. Да, пусть упадет, но, упавши, пребудет навечно. Глупы те, кто разъезжает по миру, пожирая глазами царства земные, либеральные и рассудительные космополи-

ты, поддавшиеся дешевому искушению, презрительно отвергнутому Христом. Нет, я предпочел мудрость истинную, мудрость ребенка, который выходит в сад и выбирает дерево себе во владение: и корни дерева нисходят в ад, а ветви протягиваются к звездам. Я радуюсь, как влюбленный, для которого в мире нет ничего, кроме возлюбленной, как дикарь, которому, кроме своего идола, ничего на свете не надо. И мне ничего не надо, кроме моего Ноттинг-Хилла: здесь он, мой город, здесь и останется, куда упадет дерево.

При этих его словах земля вздыбилась, как живая, и клубком змей вывернулись наружу корни дуба. Его громадная крона, казавшаяся темно-зеленой тучей среди туч серых, помелом прошла по небу, и дерево рухнуло, опрокинулось, как корабль, погребая под собою всех и вся.

Глава III ДВА ГОЛОСА

На несколько часов воцарилась кромешная тьма и полное безмолвие. Потом откуда-то из темноты прозвучал голос:

— Вот и конец владычеству Ноттинг-Хилла. И началось оно, и закончилось кровопролитием; все было, есть и пребудет всегда одинаково.

И снова настало молчание, и опять зазвучал голос, но зазвучал иначе; а может, это был другой голос.

— Если все всегда одинаково, то потому лишь, что в сущности все и всегда героично. Все всегда одинаково новое: каждому даруется душа, и каждой душе единожды даруется власть вознестись над звездами. Век за веком заново дается нам эта власть: видимо, источник ее неиссякаем. И все, отчего люди дряхлеют — будь то империя или торгашество, — все подло. А то, что возвращает юность — великая война или несбыточная любовь, — все благородно. Темнейшая из богодухновенных книг дарит нас истиной под видом загадки. Люди устают от новизны — от новейших мод и прожектов, от улучшений и благотворных перемен. А все, что ведется издревле, — поражает и опьяняет. Издревле является юность. Всякий скептик чувствует, как дряхлы его сомнения. Всякий капризный богач знает, что ему не выдумать ничего нового. И обожатели перемен склоняют головы под гнетом вселенской усталости. А мы, не гонясь за новизной, остаемся в детстве — и сама природа заботится о том, чтобы мы не повзрослели. Ни один влюбленный не думает, что были влюбленные и до него. Ни одна мать, родив ребенка, не помышляет, что дети бывали и прежде. И тех, кто сражаются за свой город, не тяготит бремя рухнувших империй. Да, о темный голос, мир извечно одинаков, извечно оставаясь неожиданным.

Повеяло ночным ветерком, и первый голос отвечал:

— Но есть в этом мире и такие, дураки они или мудрецы, кого ничто не опьяняет, кому и все ваши невзгоды — что рой мошкар. Они-то знают, что хотя над Ноттинг-Хиллом смеются, а Иерусалим и Афины воспевают, однако же и Афины, и Иерусалим были жалкими местечками — такими же, как Ноттинг-Хилл. Они знают, что и земля тоже не Бог вещь какое местечко и что даже перемещаться-то по ней немножечко смешнато.

— То ли они зафилософствовались, то ли попросту одурели, — отозвался тот, другой голос. — Это не настоящие люди. Я же говорю, люди век от века радуются не затхлому прогрессу, а тому, что с каждым ребенком нарождается новое солнце и новая луна. Будь человечество нераздельно, оно бы давно уже рухнуло под бременем совокупной верности, под тяжестью общего героизма, под страшным гнетом человеческого достоинства. Но вышним произволением души людские так разобщены, что судят друг о друге вчуже, и на всех порознь нисходит счастливое озарение, мгновенное и яркое, как молния. А что все человеческие свершения обречены — так же не мешает делу, как не мешают ребенку играть на лужайке будущие черви в его будущей могиле. Ноттинг-Хилл низвержен; Ноттинг-Хилл погиб. Но не это главное. Главное, что Ноттинг-Хилл был.

— Но если, — возразил первый голос, — только всего и было, что обыденное прозябание, то зачем утруждаться, из-за чего гибнуть? Свершил ли Ноттинг-Хилл что-нибудь такое, что отличает его от любого крестьянского селения или дикарского племени? Что случилось бы с Ноттинг-Хиллом, будь мир иным, — это глубокий вопрос, но есть другой, поглубже. Что потеряло бы мироздание, не окажись в нем Ноттинг-Хилла?

— Оно понесло бы невозместимый урон, равно как если бы на любой яблоне уродилось шесть, а не семь яблок. Ничего вполне подобного Ноттинг-Хиллу до сей поры не было — и не будет до скончания веков. И я верую, что он был любезен Господу, как любезно ему все подлинное и неповторимое. Впрочем, я и тут не уступлю. Если даже Всевышнему он был ненавистен, я его все равно любил.

И над хаосом, в полутьме воздвиглась высокая фигура.

Другой голос заговорил нескоро и как бы сипловато.

— Но предположим, что все это было дурацкой проделкой, и как ее ни расписывай, нет в ней ничего, кроме сумасбродной издевки. Предположим...

— Я был участником этой проделки, — послышалось в ответ, — и я знаю, как все это было.

Из темноты появилась маленькая фигурка, и голос сказал:

— Предположим, что я — Бог и что я создал мир от нечего делать, что звезды, которые кажутся вам вечными, —

всего-навсего бенгальские огни, зажженные лоботрясом-школьником. Что солнце и луна, на которые вы никак не налюбуетесь, — это два глаза насмешливого великана, непрестанно подмигивающего? Что деревья, на мой господень взгляд, омерзительны, как огромные поганки? Что Сократ и Карл Великий для меня оба не более, чем скоты, расхаживающие, курам на смех, на задних лапах? Предположим, что я — Бог и что я потешаюсь над своим мирозданием.

— Предположим, что я — человек, — отвечал другой. — И что у меня есть наготове ответ сокрушительней всякой насмешки. Что я не буду хохотать в лицо Всевышнему, поносить и проклинать Его. Предположим, что я, воздев руки к небесам, от всей души поблагодарю Его за обольщение, мне предоставленное. Что я, задыхаясь от счастья, воздам хвалу Тому, чья издевка доставила мне столь несравненную радость. Если детские игры стали крестовым походом, если уютный и приятный палисадник окропила кровь мучеников — значит, детская превратилась во храм. Кто же выиграл, смею спросить?

Небо над вершинами холмов и верхушками деревьев посере-ло; издалека повеяло утром. Маленький собеседник перебрался поближе к высокому и заговорил немного иначе.

— Предположи, друг, — сказал он, — ты предположи в простейшем и горчайшем смысле, что все это — одно сплошное издевательство. Что от начала ваших великих войн некто следил за вами с чувством невыразимым — отчужденно, озабоченно, иронично и беспомощно. Кому-то, предположи, — известно, что все это, с начала до конца, пустая и глупая шутка.

Высокий отвечал:

— Не может ему это быть известно. Не шутка это была.

Порывом ветра разогнало облака, и сверкнула серебряная полоса у его ног. А другой голос проговорил, еще ближе.

— Адам Уэйн, — сказал он, — есть люди, которые исповедуются только на смертном одре; люди, которые винят себя, лишь если не в силах помочь другим. Я из них. Здесь, на поле кровавой сечи, положившей всему этому конец, я прямо и просто объясню то, что тебе не могло быть понятно. Ты меня узнаешь?

— Я узнаю тебя, Оберон Квин, — отозвался высокий, — и я рад буду облегчить твою совесть от того, что ее тяготит.

— Адам Уэйн, — повторил тот, — ты не будешь рад облегчить меня, услышав, что я скажу. Уэйн, это было издевкой с начала и до конца. Когда я выдумывал ваши города, я выдумывал их точно кентавров, водяных, рыб с ногами или пернатых свиней — ну, или еще какую-нибудь нелепость. Когда я торжественно ободрял тебя, говоря о свободе и нерушимости вашего града, я просто издевался над первым встречным, и эта тупая, грубая шутка растянулась на двадцать лет. Вряд ли кто мне поверит, но

на самом-то деле я человек робкий и милосердный. И когда ты кипел надеждой, когда был на вершине славы, я побоялся открыть тебе правду, нарушить твой великолепный покой. Бог его знает, зачем я открываю ее теперь, когда шутка моя закончилась трагедией и гибелью всех твоих подданных. Однако же открываю. Уэйн, я просто пошутил.

Настало молчанье, и ветер свежел, расчищая небо, и занимался бледный рассвет. Наконец Уэйн медленно выговорил:

— Значит, для тебя это была пустая шутка?

— Да, — коротко отвечал Квин.

— И значит, когда ты измыслил, — задумчиво продолжал Уэйн, — армию Бейзуотера и хоругвь Ноттинг-Хилла, ты даже отдаленно не предполагал, что люди пойдут за это умирать?

— Да нет, — отвечал Оберон, и его круглое, выбеленное расцветом лицо светилось простоватой искренностью, — ничуть не предполагал.

Уэйн спустился к нему и протянул руку.

— Не перестану благодарить тебя, — сказал он звенящим голосом, — за то добро, которое ты нехотя сотворил. Главное я уже сказал тебе, хотя и думал, что ты — это не ты, а насмешливый голос того всевластья, которое древнее вихрей небесных. А теперь я скажу доподлинно и действительно. Нас с тобою, Оберон Квин, то и дело называли безумцами. Мы и есть безумцы — потому что нас не двое, мы с тобою один человек. А безумны мы потому, что мы — полушария одного мозга, рассеченного надвое. Спросишь доказательства — за ним недалеко ходить. Не в том даже дело, что ты, насмешник, был в эти тусклые годы лишен счастья быть серьезным. И не в том, что мне, фанатику, был заказан юмор. Мы с тобой, различные во всем, как мужчина и женщина, мы притязали на одно и то же. Мы — как отец и мать Хартии Предместий.

Квин поглядел на груды листьев и ветвей, на поле кровавой битвы в утренних лучах, и наконец сказал:

— Ничем не отменить простое противоречие: что я над этим смеялся, а ты это обожал.

Восторженный лик Уэйна, едва ли не богоподобный, озарил ясный рассвет.

— Это противоречие теряется, его снимает та сила, которая вне нас и о которой мы с тобой всю жизнь мало вспоминали. Вечный человек равен сам себе, и ему нет дела до нашего противоречия, потому что он не видит разницы между смехом и обожанием; тот человек, самый обыкновенный, перед которым гении, вроде нас с тобой, могут только пасть ниц. Когда настают темные и смутные времена, мы с тобой оба необходимы — и оголтелый фанатик, и оголтелый насмешник. Мы возместили великую порчу. Мы подарили нынешним городам ту поэзию повседневности, без которой жизнь теряет сама

себя. Для нормальных людей нет между нами противоречия. Мы — два полушария мозга простого пахаря. Насмешка и любовь неразличимы. Храмы, воздвигнутые в боголюбивые века, украшены богохульными изваяниями. Мать все время смеется над своим ребенком, влюбленный смеется над любимой, жена над мужем, друг — над другом. Оберон Квин, мы слишком долго жили порознь: давай объединимся. У тебя есть алебарда, я найду меч — пойдем же по миру. Пойдем, без нас ему жизни нет. Идем, уже рассветает.

И Оберон замер, осиянный трепетным светом дня. Потом отсалютовал алебардой, и они пошли бок о бок в неведомый мир, в неизвестные края.



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ ЧЕТВЕРГОМ

(СТРАШНЫЙ СОН)

Роман

Перевод Н. Трауберг

THE MAN WHO WAS THURSDAY
(A NIGHTMARE)

1908

ЭДМОНДУ КЛЕРИХЬЮ БЕНТЛИ

Клубились тучи, ветер выл,
и мир дышал распадом
В те дни, когда мы вышли в путь
с неомраченным взглядом.
Наука славилась свой нуль,
искусством правил бред;
Лишь мы смеялись, как могли,
по молодости лет.
Уродливый пороков бал
нас окружал тогда —
Распутство без веселья
и трусость без стыда.
Казался проблеском во тьме
лишь Уистлера вихор,
Мужчины, как берет с пером,
носили свой позор.
Как осень, чахла жизнь, а смерть
жужжала как комар;
Воистину был этот мир
непоправимо стар.
Они сумели исказить
и самый скромный грех,
Честь оказалась не в чести, —
но, к счастью, не для всех.
Пусть были мы глупы, слабы
перед напором тьмы —
Но черному Ваалу
не поклонились мы.
Ребячеством увлечены,
мы строили с тобой

¹ © Перевод, Кружков Г. М., 1990 г.

Валы и башни из песка,
 чтоб задержать прибой.
Мы скоморошили вовсю
 и, видно, неспроста:
Когда молчат колокола,
 звенит колпак шута.

Но мы сражались не одни,
 подняв на башне флаг,
Гиганты брезжили меж туч
 и разгоняли мрак.
Я вновь беру заветный том,
 я слышу дальний зов,
Летающий с Поманока
 бурливых берегов;
«Зеленая гвоздика»
 увяла вмиг, увя! —
Когда пронесся ураган
 над листьями травы;
И благодатно и свежо,
 как в дождь синичья трель,
Песнь Тузиталы разнеслась
 за тридевять земель.
Так в сумерках синичья трель
 звенит издалека,
В которой правда и мечта,
 отрада и тоска.
Мы были юны, и Господь
 еще сподобил нас
Узреть Республики триумф
 и обновленья час,
И обретенный Град Души,
 в котором рабства нет, —
Блаженны те, что в темноте
 уверовали в свет.

То повесть миновавших дней,
 лишь ты поймешь один,
Какой зиял пред нами ад,
 таивший яд и сплин,
Каких он идолов рождал,
 давно разбитых в прах,
Какие дьяволы на нас
 нагнать хотели страх.
Кто это знает, как не ты,
 кто так меня поймет?
Горяч был наших споров пыл,
 тяжел сомнений гнет.

Сомненья гнали нас во тьму
по улицам ночным;
И лишь с рассветом в головах
рассеивался дым.
Мы, слава Богу, наконец
пришли к простым вещам,
Пустили корни — и стареть
уже не страшно нам.
Есть вера в жизни, есть семья,
привычные труды;
Нам есть о чем потолковать,
но спорить нет нужды.

Глава I

ДВА ПОЭТА В ШАФРАННОМ ПАРКЕ

На закатной окраине Лондона раскинулось предместье, багряное и бесформенное, словно облако на закате. Причудливые силуэты домов, сложенных из красного кирпича, темнели на фоне неба, и в самом расположении их было что-то дикое, ибо они воплощали мечтанья предприимчивого строителя, не чуждавшегося искусств, хотя и путавшего елизаветинский стиль со стилем королевы Анны, как, впрочем, и самих королев. Предместье не без причины слыло обиталищем художников и поэтов, но не подарило человечеству хороших картин или стихов. Шафранный парк не стал средоточием культуры, но это не мешало ему быть поистине приятным местом. Глядя на причудливые красные дома, пришелец думал о том, какие странные люди живут в них, и, встретив этих людей, не испытывал разочарования. Предместье было не только приятным, но и прекрасным для тех, кто видел в нем не мнимость, а мечту. Быть может, жители его не очень хорошо рисовали, но вид у них был, как говорят в наши дни, в высшей степени художественный. Юноша с длинными рыжими кудрями и наглым лицом не был поэтом, зато он был истинной поэмой. Старик с безумной белой бородой, в безумной белой шляпе не был философом, но самый вид его располагал к философии. Лысый субъект с яйцевидной головой и голой птичьей шеей не одарил открытием естественные науки, но какое открытие подарило бы нам столь редкий в науке вид? Так и только так можно было смотреть на занимающее нас предместье — не столько мастерскую, сколько хрупкое, но совершенное творение. Вступая туда, человек ощущал, что попадает в самое сердце пьесы.

Это приятное, призрачное чувство усиливалось в сумерки, когда сказочные крыши чернели на зареве заката и весь странный поселок казался отторгнутым от мира, словно плывущее облако. Усиливалось оно и в праздничные вечера, когда устраивали ил-

люминацию и китайские фонарики пылали в листве диковинными плодами. Но никогда ощущение это не было таким сильным, как в один и доныне памятный вечер, героем которого оказался рыжий поэт. Впрочем, ему не впервые довелось играть эту роль. Тот, кто проходил поздно вечером мимо его садика, нередко слышал зычный голос, поучавший всех, в особенности женщин. Кстати сказать, женщины эти вели себя очень странно. Исповедуя передовые взгляды и принципиально протестуя против мужского первенства, они покорно слушали мужчин, чего от обычной женщины не добьешься. Рыжего поэта, Люциана Грегори, стоило иногда послушать хотя бы для того, чтобы над ним посмеяться. Старые мысли о беззаконии искусства и искусстве беззакония обретали, пусть ненадолго, новую жизнь, когда он смело и своенравно излагал их. Способствовала этому и его внешность, которую он, как говорится, умело обыгрывал: темно-рыжие волосы, разделенные пробормом, падали нежными локонами, которых не постыдилась бы мученица с картины прерафаэлитов, но из этой благостной рамки глядело грубое лицо с тяжелым, наглым подбородком. Такое сочетание и восхищало, и возмущало слушателей. Грегори являл собой олицетворение кощунства, помесь ангела с обезьяной.

Вечер, о котором я говорю, сохранился бы в памяти обитателей из-за одного только необычайного заката. Небосклон оделся в яркие, на ощупь ощутимые перья; можно было сказать, что он усыпан перьями, и спускаются они так низко, что чуть не хлещут вас по лицу. Почти по всему небу они были серыми с лиловым, розовым и бледно-зеленым, на западе же пылали, прикрывая солнце, словно оно слишком прекрасно для глаз. Небо тоже опустилось так низко, что исполнилось тайны и того невыразимого уюта, которым держится любовь к родным местам. Самые небеса казались маленькими.

Я сказал, что многие обитатели парка помнят тот вечер хотя бы из-за грозного заката. Помнят его и потому, что здесь впервые появился еще один поэт. Рыжий мятежник долго властвовал один, но именно тогда наступил конец его одинокому величию. Новый пришелец, назвавшийся Гэбриелом Саймом, был безобиден, белокур, со светлой мягкой бородкой, но чем дольше вы с ним беседовали, тем сильнее вам казалось, что он не так уж и кроток. Появившись, он сразу признался, что не разделяет взглядов Грегори на самую суть искусства, и назвал себя певцом порядка, мало того — певцом приличия. Стоит ли удивляться, что Шафранный парк глядел на него так, словно он только что свалился с пламенеющих небес?

Грегори, поэт-анархист, прямо связал эти события.

— Весьма возможно, — сказал он, впадая в привычную велеречивость, — весьма возможно, что облака и пламя породили такое чудовище, как почтенный поэт. Вы зовете себя певцом законности, я же назову вас воплощенной бессмыслицей. Удивляюсь, что ваш приход не предвещали землетрясения и кометы.

Человек с голубыми кроткими глазами и остроконечной светлой бородкой вежливо, хотя и важно выслушал эти слова. Розамунда, сестра его собеседника, тоже рыжая, но гораздо более мирная, засмеялась восторженно и укоризненно, как смеялись все, кто слушал местного оракула. Оракул тем временем продолжал, упоенный своим красноречием:

— Анархия и творчество едины. Это синонимы. Тот, кто бросил б о м б у , — поэт и художник, ибо он превыше всего поставил великое мгновенье. Он понял, что дивный грохот и ослепительная вспышка ценнее двух-трех тел, принадлежавших прежде полисменам. Поэт отрицает власть, он упраздняет условности. Радость его — лишь в хаосе. Иначе поэтичнее всего на свете была бы подземка.

— Так оно и е с т ь , — сказал Сайм.

— Глупости! — воскликнул Грегори, обретавший здравомыслие, как только на парадоксы отваживался кто-нибудь д р у г о й . — Почему матросы и клерки в вагоне так утомлены и унылы, ужасно унылы, ужасно утомлены? Потому что, проехав Слоун-сквер, они знают, что дальше будет Виктория. Как засияли бы их глаза, какое испытали бы они блаженство, если бы следующей станцией оказалась Бейкер-стрит!

— Это вы не чувствуете поэзии, — сказал С а й м . — Если клерки и впрямь обрадуются этому, они прозаичны, как ваши стихи. Необычно и ценно попасть в цель; промах — нелеп и скучен. Когда человек, приручив стрелу, поражает далекую птицу, мы видим в этом величие. Почему же не увидеть его, когда, приручив поезд, он попадает на дальнюю станцию? Хаос уныл, ибо в хаосе можно попасть и на Бейкер-стрит, и в Багдад. Но человек — волшебник, и волшебство его в том, что он скажет «Виктория» и приедет туда. Мне не нужны ваши стихи и рассказы, мне нужно расписание поездов! Мне не нужен Байрон, запечатлевший наши поражения, мне нужен Брэдшоу, запечатлевший наши победы! Где расписание Брэдшоу, спрашиваю я?

— Вам пора ехать? — насмешливо сказал Грегори.

— Да слушайте же! — страстно продолжал С а й м . — Всякий раз, когда поезд приходит к станции, я чувствую, что он прорвал засаду, победил в битве с хаосом. Вы брезгливо суете на то, что после Слоун-сквер непременно будет Виктория. О нет! Может случиться многое другое, и, доехав до нее, я чувствую, что едва ушел от гибели. Когда кондуктор кричит: «Виктория!», это не пустое слово. Для меня это крик герольда, возвещающего победу. Да это и впрямь виктория, победа адамовых сынов.

Грегори покачал тяжелой рыжей головой и печально усмехнулся.

— Даже и т о г д а , — сказал о н , — мы, поэты, спросим: а что такое Виктория? Для вас она подобна Новому Иерусалиму. Мы же знаем, что Новый Иерусалим будет таким же, как Виктория. Поэта не усмирят и улицы небесного града. Поэт всегда мятежен.

— Ну вот! — сердито сказал Сайм. — Какая поэзия в мятеже? Тогда и морская болезнь поэтична. Тошнота — тот же мятеж. Конечно, в крайности может стошнить, можно и взбунтоваться. Но, черт меня подери, при чем тут поэзия? Чистое, бесцельное возмущение — возмущение и есть. Вроде рвоты.

Девушку передернуло при этом слове, но Сайм слишком распалился, чтобы ее щадить.

— Поэзия там, где все идет правильно! — восклицал он. — Тихое и дивное пищеварение — вот сама поэзия! Поэтичнее цветов, поэтичнее звезд, поэтичней всего на свете то, что нас не тошнит.

— Однако и примеры у вас... — брезгливо заметил Грегори.

— Прошу прощения, — отозвался Сайм, — я забыл, что мы упразднили условности.

Тут на лбу у Грегори впервые проступило красное пятно.

— Уж не хотите ли вы, — спросил он, — чтобы я взбунтовал вас тех, на лужайке?

Сайм посмотрел ему в глаза и мягко улыбнулся.

— Нет, не хочу, — отвечал он. — Но будь ваш анархизм серьезен, вы бы именно это и сделали.

Волосья глаза Грегори замигали, словно у сердитого льва, и огненная грива взметнулась.

— Значит, — грозно промолвил он, — вы не верите в мой анархизм?

— Виноват? — переспросил Сайм.

— По-вашему, я несерьезен? — спросил Грегори, сжимая кулаки.

— Ну что вы, право! — бросил Сайм и отошел в сторону. С удивлением и удовольствием он увидел, что Розамунда отошла вместе с ним.

— Мистер Сайм, — сказала она, — когда люди говорят так, как вы с братом, серьезно это или нет? Вы действительно верите в то, что говорите?

Сайм улыбнулся.

— А вы? — спросил он.

— Я не понимаю... — начала она, пытливо глядя на него.

— Дорогая мисс Грегори, — мягко объяснил он, — и неискренность, и даже искренность бывают разные. Когда вам передадут соль и вы скажете: «Благодарю вас», верите ли вы в то, что говорите? Когда вы скажете: «Земля круглая», искренни ли вы? Все это правда, но вы о ней не думаете. Такие люди, как ваш брат, иногда и впрямь во что-нибудь верят. Это половина истины, четверть истины, десятая доля истины, но говорят они больше, чем думают, потому что верят сильно.

Она смотрела из-под ровных бровей, лицо ее было спокойно и серьезно, ибо на него пала тень той нерассуждающей ответственности, которая таится в душе самой легкомысленной женщины, — материнской настороженности, старой как мир.

— Так он ненастоящий анархист? — спросила она.

— Только в таком смысле, — сказал Сайм. — Если можно назвать это смыслом.

Она сдвинула темные брови и резко спросила:

— Значит, он не бросит бомбу или... что они там бросают?

Сайм расхохотался, пожалуй, слишком громко для столь безупречного и даже шеголеватого джентльмена.

— Господи, конечно нет! — сказал он. — Покушения готовят тайно.

Тут уголки ее губ дрогнули в улыбке, и мысль о бестолковости брата блаженно слилась в ее душе с мыслью о его безопасности.

Сайм дошел с ней до скамьи в углу парка, излагая свои взгляды. Дело в том, что он был искренним и несмотря на элегантность и легкомысленный вид по сути своей смиренным. Именно смиренные люди говорят много, гордые слишком следят за собой. Он рьяно и самозабвенно отстаивал приличия, он страстно защищал любовь к тишине и порядку и все время чувствовал, что кругом пахнет сиренью. Однажды ему послышалось, что где-то еле слышно заиграла шарманка, и он подумал, что его отважным речам вторит тоненький напев, звучащий из-под земли или из-за края Вселенной.

Он говорил, глядя на рыжие кудри и внимательное лицо, и ему казалось, что прошло несколько минут, не больше. Потом он подумал, что в таких местах не принято беседовать вдвоем, встал и, к удивлению своему, увидел, что вокруг никого нет. Все давно ушли, и сам он, поспешно извинившись, вышел из парка. Позже он никак не мог понять, почему в этот час чувствовал себя так, словно выпил шампанского. Рыжая девушка не играла никакой роли в его чудовищных приключениях, он и не видел ее, пока все не кончилось. Однако мысль о ней возвращалась, словно музыкальная тема, и блеск ее волос вплетался красной нитью в грубую ткань тьмы. Ибо позже случились такие немислимые вещи, что все они могли быть и сном.

Когда Сайм вышел на улицу, слабо освещенную звездами, она показалась ему пустой. Затем он почему-то понял, что тишина скорей живая, чем мертвая. Прямо за воротами стоял фонарь, золотивший листву дерева, склонившегося над оградой. Примерно на шаг дальше стоял человек, темный и недвижимый, как фонарь. Цилиндр его и куртка были черны, черным казалось лицо, скрытое тенью, лишь огненный клочок волос на свету да вызывающая поза говорили о том, что это Грегори. Он немного походил на разбойника в маске, поджидающего врага со шпагой в руке. Грегори небрежно кивнул, Сайм чинно поклонился.

— Я вас жду, — сказал рыжий поэт. — Можно с вами поговорить?

— Конечно, — не без удивления ответил Сайм. — О чем же?

Грегори ударил тростью по дереву и по столбу.

— Об этом и об этом! — вскричал он. — О порядке и об анархии. Вот ваш драгоценный порядок — хилый, железный, безобразный фонарь, а вот анархия — щедрая, живая, сверкающая зеленью и золотом. Фонарь бесплоден, дерево приносит плоды.

— Однако, — терпеливо сказал Сайм, — сейчас мы видим дерево при свете фонаря. Можно ли увидеть фонарь при свете дерева? — Он помолчал и добавил: — Простите, неужели вы дождались меня в темноте только для того, чтобы продолжить наш незначительный спор?

— Нет! — крикнул Грегори, и голос его, словно гром, прокатился вниз по улице. — Я дождался вас, чтобы покончить с нашим спором раз и навсегда.

Они помолчали, и Сайм, ничего не понимая, ощутил, что дело нешуточно. Грегори тихо заговорил, как-то странно улыбаясь.

— Мистер Сайм, — сказал он, — сегодня вам повезло. Вы истине преуспели. Вы сделали то, чего не мог добиться ни один человек на свете.

— Вот как? — удивился Сайм.

— Ах нет, вспомнил... — задумчиво сказал поэт. — Если не ошибаюсь, это удалось еще одному. Капитану какого-то пароходика. Я на вас рассердился.

— Мне очень жаль, — серьезно сказал Сайм.

— Боюсь, мой гнев и вашу вину не искупишь извинением, — спокойно продолжал Грегори. — Никакой поединок их не изгладит. Смерть не изгладит их. Есть лишь один способ, и я его изберу. Быть может, ценою чести, быть может, ценою жизни я докажу вам, что вы были не правы, когда это сказали.

— Что же я сказал? — спросил Сайм.

— Вы сказали, — отвечал поэт, — что я несерьезен, когда именую себя анархистом.

— Серьезность бывает разная, — возразил Сайм. — Я никогда не сомневался в вашей искренности. Конечно, вы считали, что ваши слова важны, а парадокс напомнит о забытой истине.

Грегори напряженно и мучительно всматривался в него.

— И больше ничего? — спросил он. — Для вас я просто бездельник, роняющий случайные фразы? Вы не думаете, что я серьезен в более глубоком, более страшном смысле?

Сайм яростно ударил тростью по камню мостовой.

— Серьезен! — воскликнул он. — О господи! Серьезна ли улица? Серьезны ли эти несчастные китайские фонарики? Серьезен ли весь этот сброд? Гуляешь, болтаешь, обронишь связную мысль, но я невысоко ценю того, кто не утаил в душе чего-нибудь посерьезней слов. Да, посерьезней, и не важно, вера ли это в Бога или любовь к спиртному.

— Прекрасно, — сказал Грегори, и лицо его омрачилось. — Скоро вы увидите то, что посерьезней вина и даже веры.

Сайм, как всегда незлобиво, дождался следующей фразы; наконец Грегори заговорил.

— Вы упомянули о в е р е , — сказал о н . — Есть ли она у вас?

— Ах, — лучезарно улыбнулся С а й м , — все мы теперь католики!

— Тогда поклянитесь Богом и святыми, ну — всеми, в кого вы верите, что вы не откроете никому того, что я вам скажу. Ни одному человеку на свете, а главное — полиции. Если вы так страшно свяжете себя, если обремените душу обетом, которого лучше бы не давать, и тайной, которая вам не снилась, я обещаю...

— Обещаете... — поторопил его Сайм, ибо он остановился.

— Обещаю занятный в е ч е р , — закончил рыжий поэт.

Сайм почему-то снял шляпу.

— Предложение ваше слишком глупо, — сказал о н , — чтобы его отклонить. По-вашему, всякий поэт — анархист. Я с этим не согласен, но надеюсь, что всякий поэт — игрок. Даю обет вам, как христианин, обещаю, как добрый приятель и собрат по искусству, что не скажу ни слова полиции. Так что же вы хотите сказать?

— Я д у м а ю , — благодушно и непоследовательно заметил Г р е г о р и , — что надо бы кликнуть кеб.

Он дважды свистнул; по мостовой с грохотом подкатил кеб. Поэты молча сели в него. Грегори назвал адрес какой-то харчевни на чизуикском берегу реки. Кеб покатил по улице, и два почитателя фантазии покинули фантастический пригород.

Глава II

СЕКРЕТ ГЭБРИЕЛА САЙМА

Кеб остановился перед жалкой, грязной пивной, и Грегори поспешил ввести туда своего спутника. Они сели в душной и мрачной комнате за грязный деревянный стол на деревянной ноге. Было так тесно и темно, что Сайм с трудом разглядел грузного бородатого слугу.

— Не желаете ли закусить? — любезно спросил Г р е г о р и . — *Rôté de foie gras*¹ здесь не очень хорош, но дичь превосходна.

Чтобы поддержать шутку, Сайм невозмутимо произнес:

— Пожалуйста, омара под майонезом.

К его неописуемому изумлению, слуга ответил: «Слушаю, с э р», — и быстро удалился.

— Что будем пить? — все так же небрежно и учтиво продолжал Г р е г о р и . — Я закажу только *crème de menthe*², я ужинал. А вот шампанское у них недурное. Разрешите угостить вас для начала прекрасным «Поммери»?

¹ Паштет из гусиной печенки (фр.).

² Мятный ликер (фр.).

— Благодарю вас,— проговорил Сайм. — Вы очень любезны.

Дальнейшую беседу, и без того не слишком связную, прервал и прекратил, словно гром с небес, самый настоящий омар. Сайм отведал его, восхитился и принялся за еду с завидной поспешностью.

— Простите, что я жадно ем! — с улыбкой сказал он. — Нечасто видишь такие хорошие сны. Ни один мой кошмар не заканчивался омаром. Обычно омары ведут к кошмару.

— Вы не спите, поверьте мне,— сказал Грегори. — Напротив, скоро настанет самый реальный и поразительный миг вашей жизни. А вот и шампанское. Согласен, непритязательный вид этого заведения не совсем соответствует качеству кухни. Все наша скромность! Мы ведь очень скромны, таких скромных людей на свете и не было.

— Кто именно? — осведомился Сайм, осушив бокал шампанского.

— Ну, это несложно! — отвечал Грегори. — Серьезные, истинные анархисты, в которых вы не верите.

— Вот как! — заметил Сайм. — Что ж, в винах вы разбираетесь.

— Да,— сказал Грегори. — Мы ко всему подходим серьезно.— Помолчав немного, он добавил: — Если через несколько секунд стол начнет вертеться, не вините в этом шампанское. Я не хочу, чтобы вы незаслуженно корили себя.

— Если я не пьян, я безумен, — с безупречным спокойствием сказал Сайм. — Надеюсь, в обоих случаях я сумею вести себя прилично. Разрешите закурить?

— Разумеется,— сказал Грегори, доставая портсигар. — Прошу.

Сайм выбрал сигару, обрезал кончик и не спеша закурил, выпустив облачко дыма. К чести своей, делал он это спокойно, ибо стол начал вращаться и вращался все быстрее, словно на безумном спиритическом сеансе.

— Не обращайтесь внимания,— сказал Грегори. — Это вроде винта.

— Ах вон что! — благодушно отозвался Сайм. — Вроде винта. Подумать, как просто...

Дым его сигары, змеившийся в воздухе, рванулся кверху, словно из фабричной трубы, и оба собеседника, стол и стулья провалились вниз, будто их поглотила земля. Пролетев с грохотом по трубе или шахте, как оборвавшийся лифт, они остановились. Когда Грегори распахнул двери, красный подземный свет осветил Сайма, который продолжал невозмутимо курить, положив ногу на ногу, и волосы его были аккуратны как всегда.

Грегори ввел своего спутника в длинный сводчатый проход, в конце которого над низкой, но массивной дверью светил огромный, словно очаг, алый фонарь. В железо двери была вделана

решетка. Грегори пять раз постучал в нее. Низкий голос с иностранным акцентом спросил, кто идет. На это несколько неожиданно поэт ответил: «Джозеф Чемберлен». Тяжелые петли закрипели; несомненно, то был пароль.

За дверью коридор сверкал, словно его обили стальной кольчужой. Присмотревшись, Сайм разглядел, что блестящий узор составлен из ружей и револьверов, уложенных тесными рядами.

— Простите за такие формальности,— сказал Грегори, — приходится быть осторожными.

— Ах, что там! — отвечал Сайм. — Я знаю, как вы читаете закон и порядок, — и с этими словами он вступил в выложенный оружием коридор. Белокурый и элегантный, он выглядел странно и призрачно в сверкающей аллее смерти.

Миновав несколько коридоров, Грегори и Сайм дошли до комнаты с вогнутыми, почти круглыми стенами, где, как в ученой аудитории, стояли ряды скамеек. Здесь не было ни ружей, ни револьверов, но круглые стены сплошную покрывали еще более неожиданные и жуткие предметы, подобные клубням железных растений или яйцам железных птиц. То были бомбы, и сама комната казалась внутренностью бомбы. Сайм стряхнул о стену пепел с сигары и вошел.

— А теперь, дорогой мой мистер Сайм, — сказал Грегори, непринужденно усевшись на скамью под самой крупной бомбой, — теперь, в тепле и уюте, поговорим толком. Я не сумею объяснить, почему привел вас сюда. Порыв, знаете ли... словно ты прыгнул со скалы или влюбился. Скажу одно: вы были невыносимы, как, впрочем, и сейчас. Я нарушил бы двадцать клятв, чтобы сбить с вас спесь. Вы так раскуриваете сигару, что священник поступится тайной исповеди. Итак, вы усомнились в моей серьезности. Скажите, серьезно ли это место?

— Да, тут очень забавно,— сказал Сайм. — Но что-то ведь за этим есть. Однако могу ли я задать вам два вопроса? Не бойтесь отвечать. Если помните, вы очень хитро вытянули из меня обещание, и я его сдержу, не выдам вас. Спрашиваю я из чистого любопытства. Во-первых, что это все значит? Против чего вы боретесь? Против властей?

— Против Бога! — крикнул Грегори, и глаза его загорелись диким пламенем. — Разве дело в том, чтобы отменить десяток-другой деспотических и полицейских правил? Такие анархисты есть, но это жалкая кучка недовольных. Мы роем глубже, удар направляем выше. Мы хотим снять пустые различия между добром и злом, честью и низостью — различия, которым верны обычные мятежники. Глупые, чувствительные французы в годы революции болтали о правах человека. Для нас нет ни прав, ни бесправия, нет правых и неправых.

— А правых и левых? — искренне заволновался Сайм. — Надеюсь, вы отмените их. Очень уж надоели.

— Вы хотели задать второй вопрос, — оборвал его Грегори.

— Сейчас, сейчас,— ответил Сайм. — Судя по обстановке и по вашим действиям, вы с научной дотошностью храните тайну. Одна моя тетка жила над магазином, но я никогда не видел людей, которые по доброй воле обитают под харчевней. У вас тяжелые железные двери. Пройти в них может лишь тот, кто, унизив себя, назовется Чемберленом. Эти стальные украшения — как бы тут выразиться? — скорее внушительны, чем уютны. Вы прячетесь в недрах земли, что довольно хлопотно. Почему же, разрешите спросить, вы выставляете напоказ вашу тайну, болтая об анархизме с каждой дурочкой Шафранного парка?

Грегори усмехнулся.

— Очень просто,— ответил он. — Я сказал вам, что я настоящий анархист, и вы мне не поверили. Не верят и они. И не поверят, разве что я приведу их в это адское место.

Сайм задумчиво курил, с любопытством глядя на него.

— Быть может, вам интересно, почему так случилось, — продолжал Грегори. — Это очень занятая история. Когда я примкнул к Новым анархистам, я перепробовал много respectable личин. Сперва я оделся епископом. Я прочитал все, что пишут про них анархисты, изучил все памфлеты — «Смертоносное суеверие», «Хищные ханжи» и тому подобное. Выяснилось, что епископы эти — странные, зловещие старцы, скрывающие от людей какую-то жуткую тайну. Но я ошибся. Когда я впервые вошел в гостиную и возопил: «Горе тебе, грешный и гордый разум!» — все почему-то догадались, что я не епископ. Меня сразу выгнали. Тогда я притворился миллионером, но так умно отстаивал капитал, что и дурак уразумел бы, как я беден. Стал я майором. Надо сказать, я человек гуманный, но, надеюсь, не фанатик. Мне понятны последователи Ницше, которые славят насилие — жестокую, гордую борьбу за жизнь, ну, сами знаете. Я зашел далеко. То и дело я выхватывал шпагу. Я требовал крови, как требуют вина. Я твердил: «Да погибнет слабый, таков закон». И что же? Сами майоры почему-то ничего этого не делают. Наконец, в полном отчаянии я пошел к председателю Центрального Совета Анархистов, величайшему человеку в Европе.

— Кто же это? — спросил Сайм.

— Имя его вам ничего не скажет,— отвечал Грегори. — Тем он и велик. Цезарь и Наполеон вложили весь свой талант в то, чтобы их знали; и мир знал их. Он же вкладывает силы и ум в то, чтобы никто о нем не слышал, — и о нем не слышат. А между тем, поговорив с ним пять минут, чувствуешь, что и Цезарь, и Наполеон перед ним просто мальчишки.

Он замолчал, даже побледнел немного, потом заговорил опять:

— Когда он дает совет, совет этот неожидан, как эпитафия, и надежен, как английский банк. Я спросил его: «Какая личина скроет меня от мира? Что почтеннее епископов и майоров?» Он

повернул ко мне огромное, чудовищное лицо. «Вам нужна надежная маска? — спросил он . — Вам нужен наряд, заверяющий в благонадежности? Костюм, под которым не станут искать бомбы?» Я кивнул. Тогда он зарычал как лев, даже стены затряслись: «Да нарядитесь анархистом, болван! Тогда никто и думать не будет, что вы опасны». Не добавив ни слова, он показал мне широкую спину, а я последовал его совету и ни разу о том не пожалел. Я разглагольствую перед дамами о крови и убийстве, а они, честное слово, дадут мне покатать в колясочке ребенка.

Сайм не без уважения смотрел на него большими голубыми глазами.

— Вы и меня провели,— сказал он . — Да, неплохо придумано!

Помолчав, он спросил:

— А как вы зовете своего грозного владыку?

— Мы зовем его Воскресеньем,— просто ответил Грегори . — Понимаете, в Центральном Совете Анархистов — семь членов, и зовутся они по дням недели. Его называют Воскресеньем, а те, кто особенно ему предан, — Кровавым Воскресеньем. Занятно, что вы об этом спросили... Как раз тогда, когда вы к нам заглянули (если разрешите так выразиться), наша лондонская ветвь — она собирается здесь — выдвигает кандидата на опустевшее место. Наш товарищ, достойно и успешно исполнявший нелегкую роль Четверга, неожиданно умер. Естественно, мы собрались сегодня, чтобы выбрать ему преемника.

Он встал и прошелся по комнате, смущенно улыбаясь.

— Почему-то я доверяю вам, как м а т е р и , — беззаботно говорил он . — Почему-то мне кажется, что вам можно сказать все. Собственно, я скажу вам то, о чем не стал бы толковать с анархистами, которые минут через десять придут сюда. Конечно, мы выполним все формальности, но вам я признаюсь, что результат практически предрешен. — Он опустил глаза и скромно прибавил: — Почти окончательно решено, что Четвергом буду я.

— Очень рад! — сердечно сказал С а й м . — От души поздравляю! Поистине блистательный путь.

Грегори, как бы отвергая комплименты, улыбнулся и быстро пошел к столу.

— Собственно, все уже готово, лежит здесь,— говорил он . — Собрание не затянется.

Сайм тоже подошел к столу и увидел трость, в которой оказалась шпага, большой кольт, дорожный футляр с сэндвичами и огромную флягу бренди. На спинке стула висел тяжелый плащ.

— Перетерплю это голосование, — пылко продолжал Грегори , — схвачу трость, накину плащ, рассую по карманам футляра и флягу, выйду к реке, тут есть дверь, а там ждет катер, и я... и я... буду Четвергом... Какое счастье! — И он стиснул руки.

Сайм, снова сидевший на скамейке в своей обычной томной позе, встал и с необычным для себя смущением поглядел на него.

— Почему,— медленно проговорил он, — вы кажетесь мне таким порядочным? Почему вы так нравитесь мне, Грегори? — Он помолчал и добавил с удивлением и живостью: — Не потому ли, что вы истинный осел?

Оба они помолчали, и Сайм воскликнул:

— А, черт! Никогда не попадал в такое глупое положение... Значит, и вести себя надо глупо. Прежде чем прийти сюда, я дал вам слово. Я не нарушу его и под пыткой. Дадите вы мне, спокойствия ради, такое же обещание?

— Обещание? — ошеломленно переспросил Грегори.

— Да,— очень серьезно ответил Сайм. — Я клялся перед Богом, что не выдам вашей тайны полиции. Поклянетесь ли вы перед человечеством или перед каким-нибудь из ваших мерзких идолов не выдавать моей тайны анархистам?

— Вашей тайны? — спросил Грегори, неотрывно глядя на него. — У вас есть тайна?

— Да,— отвечал Сайм. — Тайна у меня е с т ь . — Он помолчал. — Так клянетесь?

Грегори мрачно глядел на него, потом резко сказал:

— Наверное, вы меня околдовали, но мне очень хочется ее узнать. Хорошо, клянусь не говорить анархистам то, что от вас услышу. Только поскорее, они сейчас придут.

Сайм медленно встал и сунул узкие белые руки в карманы узких серых брюк. Почти в тот же миг прозвучало пять ударов, возвестивших о том, что прибыл первый заговорщик.

— Ну вот... — неспешно произнес Сайм. — Будет короче всего, если я скажу так: не только вы и ваш глава догадались, что безопасней всего притвориться самим собой. Мы давно пользуемся этим приемом в Скотланд-Ярде.

Грегори трижды попытался встать и трижды не смог.

— Что вы сказали? — спросил он каким-то нечеловеческим голосом.

— То, что вы слышали,— просто ответил Сайм. — Я сыщик. Однако вот и ваши друзья.

Далеко за дверью неясно прозвучало имя Джозефа Чемберлена. Пароль повторился дважды, трижды, тридцать раз, и вереница Чемберленов (как возвышает эта мысль!) мерно протопотала по коридору.

Глава III

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТАЛ ЧЕТВЕРГОМ

Прежде чем чье-нибудь лицо показалось в проеме дверей, Грегори очнулся и ожил. Издав kloкочущий звериный звук, он прыгнул к столу, схватил револьвер и прицелился в Сайма. Но Сайм спокойно, даже учтиво поднял тонкую руку.

— Не делайте глупостей, — сказал он с женственной важностью священника. — Неужели вы не видите, что это ни к чему не приведет? Неужели вы не понимаете, что мы сейчас равны? Мы — в одной лодке, и ее сильно качает.

Грегори говорить не мог, не мог и стрелять и вопрос свой выразил взглядом.

— Мы же загнали друг друга в угол! — воскликнул Сайма. — Я не могу сказать полиции, что вы анархист. Вы не можете сказать анархистам, что я из полиции. Я могу только следить за вами, раз уж знаю, кто вы; вы тоже знаете, кто я, и можете следить за мной... Словом, у нас дуэль без свидетелей, мой ум — против вашего. Я полицейский, которого не защитит полиция. Вы, мой несчастный друг — анархист, которого не защитят закон и порядок, без которых нет анархии. Разница между нами — в вашу пользу. Вы не окружены проницательными полицейскими, я окружен проницательными анархистами. Я не могу выдать вас, но могу выдать себя. Ах, что уж там! Подождите, увидите, как ловко я себя выдам.

Грегори медленно положил револьвер, все еще глядя на Сайма, словно на морского змея.

— Я не верю в вечную жизнь, — наконец вымолвил он, — но если бы вы нарушили слово, Бог сотворил бы ад для вас одного.

— Слова я не нарушу, — сказал Сайма, — не нарушите и вы. А вот и ваши соратники.

Анархисты шагали тяжело и глядели угрюмо, словно сильно устали. Лишь один из них, с черной бородкой, в очках, чем-то похожий на Тима Хили, озабоченно поспешил вперед, держа какие-то бумаги.

— Товарищ Грегори, — сказал он, — надеюсь, с вами — наш делегат?

Грегори, застигнутый врасплох, опустил глаза и пробормотал фамилию своего спутника, а спутник этот заметил не без дерзости:

— Я рад, что ваши ворота надежно защищены и сюда нелегко войти чужому человеку.

Однако чернородый анархист настороженно хмурился.

— Какую ветвь вы представляете? — мрачно спросил он.

— Я не назвал бы это ветвью, — весело ответил Сайма. — Я по меньшей мере говорил бы о корне.

— Что вы имеете в виду? — спросил анархист.

— Видите ли, — безмятежно продолжал Сайма, — я блюду день воскресный. Меня послали посмотреть, достаточно ли здесь почитают Воскресенье.

Чернородый человечек выронил какую-то бумагу, остальные испуганно переглянулись. Судя по всему, грозный председатель, называвшийся Воскресеньем, иногда посылал сюда своих людей.

— Что ж, — сказал наконец анархист с бумагами. — По-видимому, лучше пустить вас на собрание.



— Если вы спрашиваете совета, — с благожелательной строгостью промолвил Сайм, — я тоже думаю, что так будет лучше.

Услышав, что опасная беседа окончилась в пользу соперника, Грегори вскочил и принялся шагать по комнате. Его терзали мысли, терзающие тех, кому надо сделать выбор. Он видел, что вдохновенная наглость спасет его противника от всех случайностей и полагаться на них не стоит. Сам он сделать ничего не мог, отчасти по благородству, отчасти же потому, что, если Сайм все же спасется, он будет свободен от всех обязательств и может отправиться в ближайший участок. В конце концов, думал Грегори, это всего лишь одно собрание и знать о нем будет всего лишь один сыщик. Значит, надо быть как можно сдержанней, а потом, когда Сайм уйдет, положиться на удачу.

Он подошел к анархистам, которые уже рассаживались по местам.

— Я думаю, пора начинать, — сказал он, — катер ждет на реке. Пусть товарищ Баттонс займет председательское место.

Все подняли руки, и человечек с бумагами юркнул туда, где это место было.

— Товарищи! — сказал он резко, словно выстрелил из пистолета. — Собрание это очень важное, хотя не должно быть долгим. Наша ветвь наделена почетным правом, мы выбираем Четверга в Центральный Европейский Совет. Мы выбирали его не раз, и выбор наш бывал удачен. Все мы оплакиваем отважного собрата, занимавшего этот пост неделю назад. Как вам известно, он сделал немало. Именно он организовал прославленный взрыв в Брайтоне, который, повези нам больше, убил бы всех на пристани. Известно вам и то, что смерть его была такой же героической, как жизнь, ибо он пал жертвой веры в гигиеническую смесь мела с водой. Смесь эта заменяла молоко, которое он считал ужасным, поскольку доить корову — жестоко, а покойный не выносил жестокости. Но мы собрались не для того, чтобы отдать ему должное; задача наша много сложнее. Трудно оценить по заслугам бывшего Четверга, трудно и заменить его. Вы, товарищи, выберете из нас человека, достойного стать Четвергом. Если кто-нибудь выдвинет кандидатуру, я поставлю ее на голосование. Если не выдвинет никто, мне придется признать, что дорогой нам всем динамитчик унес в неведомую бездну последний образец невинности и благородства.

По рядам пробежал неслышный, как в церкви, гул одобрения. Потом почтенный высокий старик с почтенной длинной бородой (вероятно, единственный здесь рабочий) неуклюже поднялся и сказал:

— Предлагаю на пост Четверга товарища Грегори.

После этого он неуклюже опустился на скамью.

— Кто поддерживает кандидатуру? — спросил председатель.

Ее поддержал невысокий анархист в бархатной куртке.

— Прежде чем перейти к голосованию, — сказал председатель, — предоставим слово товарищу Грегори.

Все бурно захлопали. Грегори встал. Лицо его было таким, бледным, что рыжие волосы казались багряными; однако он улыбался и не выдавал своих чувств. Он знал, что делать, он ясно видел свой путь, словно прямую дорогу. Ему оставалось одно: произнести туманную, путаную речь, чтобы сыщику показалось, будто братство анархистов, в сущности, невинная затея. Веря в свой поэтический дар, он думал, что сумеет найти нужные слова и тонкие оттенки речи, чтобы даже сейчас, при всех, незаметно исказить облик истины. Сайму казалось когда-то, что анархисты, как они ни дерзки, просто валяют дурака. Неужели нельзя убедить его в этом теперь, когда пришла опасность?

— Товарищи,— негромко, но проникновенно начал Грегори,— я не стану излагать своих взглядов, ибо они и ваши. На них клеветали, их искажали, их поносили, их калечили, но они не менялись. Те, кто толкует об ужасах анархии, узнают о ней где угодно, от кого угодно, только не у нас и не от нас. Они черпают сведения из бульварных романов и продажных газет, из грошовых брошюр и спортивных листков, но не черпают из истинного источника.

Мы не можем опровергнуть клеветы, затопившей Европу. Тот, кто вечно слышит, как мы страшны, не слышал нашего ответа. Не услышит он его и сегодня, хотя рвение мое могло бы взорвать крышу. Ведь угнетенные вправе собираться лишь глубоко под землей, как собирались в катакомбах христиане. Но если бы по ужасной, невысказанной случайности сюда попал человек, который всю жизнь судил о нас неверно, я спросил бы его: «Когда христиане собирались в катакомбах, какая слава ходила о них наверху, на улицах? Какие басни об их жестокости рассказывали друг другу просвещенные римляне? Предположите, — сказал бы я, — что мы повторяем таинственный парадокс истории. Предположите, что и нас считают чудищами, ибо мы безобидны. Предположите, что и нас считают безумными, ибо мы кротки».

Рукоплескания, пылкие поначалу, становились все слабее и оборвались при последнем слове. Наступила тишина. Человек в бархатной куртке крикнул тонким голосом:

— Я не кроток!

— Товарищ Уизерспун говорит нам, что он не к р о т о к, — сказал Грегори. — Как мало он знает себя! Да, слова его странны, вид его дик и даже неприятен, лишь взор глубокой и чуткой дружбы рассмотрит под всем этим истинную кротость, о которой не ведает он сам. Повторяю, мы те же ранние христиане, но мы пришли слишком поздно. Мы просты, как о н и, — посмотрите на товарища Уизерспуна. Мы скромны, как о н и, — посмотрите на меня. Мы милосердны...

— Нет! — возопил Уизерспун Бархатная Куртка.

— Мы милосердны, п о в т о р я ю, — яростно продолжал Грегори, — как первые христиане. Однако их обвиняли в людоедстве. Мы не людоеды...

— Позор! — крикнул Уизерспун. — А почему?

— Товарищ Уизерспун, — с лихорадочной веселостью сказал Грегори, — хочет узнать, почему его никто не ест. (Смех.) Не знаю, как другие, но мы его любим. Наше общество стоит на любви...

— Нет! — заорал Уизерспун. — Долой любовь!

— ...стоит на любви, — повторил Грегори, скрипнув зубами, — и потому нетрудно угадать, какие цели оно преследует и какие цели стану преследовать я, если меня выберут. Презрев наветы тех, кто видит в нас человекоубийц и врагов общества, мы не утратим достойной отваги и спокойной, твердой разумности. Мы будем стремиться к вечным идеалам братства и простоты.

Грегори сел и отер лоб. Наступило неловкое молчание. Председатель поднялся и произнес без какой бы то ни было интонации:

— Возражает ли кто-нибудь против кандидатуры товарища Грегори?

Анархисты смутно ощущали какое-то разочарование. Товарищ Уизерспун тревожно ерзал на стуле, что-то бормоча в густую бородку. Однако рутина так сильна, что все сошло бы гладко. Председатель открыл было рот, но в эту минуту Сайм вскочил с места и тихо, спокойно сказал:

— Да, товарищ председатель, я возражаю.

Самый сильный эффект в ораторском искусстве — неожиданная перемена голоса. Гэбриел Сайм был в этом искусстве сведущ. Первые ритуальные слова он произнес коротко и просто, но вдруг повысил голос, и следующее слово громом прокатилось под сводами, словно вдруг выстрелили ружья.

— Товарищи! — крикнул он так, что все подскочили. — Для этого ли мы собрались? Для того ли мы живем под землей, чтобы все это слышать? Такие речи произносят, поедая пышки на пикнике воскресной школы. Неужели мы выкладываем стены оружием и заграждаем двери смертью, чтобы услышать от товарища Грегори: «Чистота — лучшая красота», «Честность лучше хитрости» и «Добродетель сама себе награда»? Любое его слово умилило бы священника. (Смех.) Но я не священник (*всеобщее внимание*), и я не умиляюсь (*радостный ропот*). Человек, который годится в викарии, не станет твердым, бесстрашным, деятельным Четвергом (*ропот еще радостней*).

Товарищ Грегори, как бы прося прощения, сообщил нам, что мы не враги обществу. А я скажу вам: нет, мы ему враги, и тем хуже для общества. Мы — враги общества, ибо общество — враг человечества, древний и беспощадный враг (*всеобщее одобрение*). Товарищ Грегори все так же виновато сообщил нам, что мы не убийцы. С этим я согласен. Мы не убийцы, мы палачи (*громкие аплодисменты*).

С той минуты как Сайм поднялся, Грегори упорно, изумленно, бессмысленно смотрел на него. Когда он на секунду замол-

чал, побелевшие губы произнесли с безжизненной отчетливостью:

— Проклятый лицемер!

Бледно-голубые глаза смело встретили страшный взгляд анархиста, и Сайм сказал:

— Товарищ Грегори обвиняет меня в лицемерии. Он знает не хуже меня, что я верен своим обязательствам и исполняю свой долг. Я не шучу и шутить не намерен. Я утверждаю, что при всех своих достоинствах товарищ Грегори не может стать Четвергом. Он не может стать Четвергом из-за своих достоинств. Мы не хотим, чтобы в Совет Анархии проникло слюнявое милосердие (*всеобщее одобрение*). Нам некогда льстить, как льстят на собраниях, некогда и скромничать. Я отвожу кандидатуру товарища Грегори так же бесстрастно, как бесстрастно сверг бы все правительства Европы. Истинный анархист, всецело предавшийся анархии, не ведает ни смирения, ни гордыни (*аплодисменты*). Я не человек, я — дело (*бурные аплодисменты*). Я возражаю против товарища Грегори так же объективно и спокойно, как взял бы со стены тот, а не иной револьвер. Чтобы беззубые идеи не проникли в Высший Совет, я предложу другую кандидатуру — самого себя.

Слова эти утонули в грохоте рукоплесканий. Лица анархистов становились все свирепей по мере того, как речь становилась все непримиримей. Теперь их исказили довольные ухмылки, кто-то даже кричал от радости. В тот миг, когда Сайм выставил свою кандидатуру, волнение и восторг вышли за все пределы; и в тот же миг Грегори вскочил, пытаясь перекричать шум.

— Остановитесь, несчастные безумцы! — возопил о н . — Остановитесь...

Но и крики его, и гул оваций перекрыл такой же громкий, неумолимый голос Сайма:

— Я вступаю в Совет не для того, чтобы опровергнуть нашу грозную славу. Я вступаю в него, чтобы ее заслужить (*громкие крики одобрения*). Священник именует нас врагами веры, судья — врагами закона, жирный член парламента — врагами порядка. А я отвечу им: «Вы незаконные властители, но истинные пророки. Я пришел уничтожить вас и пророчество выполняю».

Тяжкий шум постепенно стихал. Но прежде чем он затих, взьерошенный Уизерспун вскочил и произнес:

— Предлагаю поправку, кандидатуру товарища Сайма.

— Стойте! Стойте! — крикнул Грегори, дико размахивая руками. — Это...

Холодный голос председателя прервал его:

— Кто поддерживает поправку?

В заднем ряду медленно поднялся высокий человек с печальными глазами и редкой, как у китайца, бородой, которую носят в Америке. Грегори все кричал; но вдруг сменил тон, и голос его стал страшнее крика.

— Довольно,— сказал он . — Этого человека выбрать нельзя.
Он...

— Да,— спросил Сайм, не двигаясь с места.— Кто же я такой?

Грегори дважды открыл и дважды закрыл рот; его помертвевшее лицо стало багровым.

— Он — новичок в нашей работе , — проговорил анархист и рухнул на свое место.

Но еще раньше длинный человек из заднего ряда снова встал и произнес высоким заунывным голосом, каким говорят в Америке:

— Поддерживаю поправку товарища Уизерспуна.

— Как обычно, сперва голосуем поправку , — быстро сказал мистер Баттонс, председатель. — Итак, товарищ Сайм...

Грегори снова вскочил на ноги.

— Товарищи! — задыхаясь крикнул он . — Я не сошел с ума.

— Неужели? — вставил Уизерспун.

— Я не сошел с ума , — повторил Грегори, и страшная его искренность на миг потрясла собравшихся , — но я дам вам совет, который вы можете назвать безумным. Нет, не совет, ведь я не вправе его объяснить. Не совет, приказ. Выполните его. Смейтесь над ним, но исполните. Ударьте меня, но выслушайте! Убейте, но послушайте! Не избирайте этого человека.

Истина так грозна даже в окопах, что непрочная и дикая победа Сайма пошатнулась, как тростник. Но вы не догадались бы об этом по его холодным голубым глазам.

— Товарищ Грегори приказывает... — произнес он.

Это развеяло чары.

— Кто вы такой? — громко спросил у Грегори один из анархистов. — Вы не Воскресенье.

А другой еще грознее прибавил:

— Даже и не Четверг.

— Товарищи! — крикнул Грегори истощенно, словно мученик, вставший превыше м у к и . — Возненавидьте меня как тирана и презирайте как раба. Мне все равно. Если вы не принимаете моих приказов, примите мою мольбу. Хотите, я встану на колени? Я умоляю, я прошу, я заклинаю вас — не избирайте его!

— Товарищ Грегори , — произнес председатель после неловой паузы , — все-таки не совсем прилично...

Впервые за этот вечер наступила тишина. Бледный, измученный Грегори снова рухнул на место, а председатель повторил, словно заведенный:

— Итак, ставим на голосование кандидатуру товарища Сайма.

Собрание зарокотало, как море; руки поднялись, и через три минуты Гэбриел Сайм, агент тайной сыскной полиции, был избран на пост Четверга в Центральном Совете Анархистов.

Вероятно, каждый почувствовал, что на реке поджидает катер, а трость со шпагой и револьвер лежат на столе. Как только

голосование закончилось и пути назад уже не было, Сайм получил мандат, а все вскочили и, пылко беседуя, собрались в небольшие кучки. Сайм очутился рядом с Грегори, с тяжелой злобой глядевшим на него. Оба долго молчали.

— Вы истинный дьявол, — сказал наконец анархист.

— А вы — истинный джентльмен, — серьезно ответил сыщик.

— Это вы меня поймали, — продолжал Грегори, сильно дрожа, — втянули меня...

— Не говорите глупостей, — резко прервал его Сайм. — Если уж на то пошло, это вы меня втянули в какой-то чертов парламент. Вы первый взяли с меня слово. Должно быть, оба мы поступаем по совести, но взгляды наши так различны, что договориться мы не можем. Общего у нас только честь да смерть... — И, накинув длинный плащ, он взял со стола флягу.

— Катер ждет, — предупредительно сообщил Баттонс. — Прошу вас, вот сюда!..

Жестом, избличающим в нем приказчика, он пригласил Сайма в короткий, окованный железом коридор. Пылающий гневом Грегори быстро и нервно шел за ними. Миновав коридор, Баттонс распахнул дверь, и глазам их внезапно предстали серебро и синева Темзы, напоминающей в свете луны сцену из пьесы. У самых дверей стоял темный маленький катер, похожий на дракона-младенца с единственным злым оком.

Прежде чем ступить на борт, Гэбриел Сайм обернулся к оцепенелому Грегори.

— Вы сдержали слово, — учтиво сказал он; лицо его закрыл тень. — Вы человек чести, и я благодарю вас. Слово вы сдержали во всем, даже в самой малости. В начале всех этих дел вы обещали мне кое-что, и вот я признаю, что вы выполнили свое обещание.

— Что вы хотите сказать? — воскликнул измученный Грегори. — Что я обещал?

— Занятный вечер, — отвечал Сайм, салютуя тростью; а катер уже неслышно скользил по реке.

Глава IV

ПОВЕСТЬ О СЫЩИКЕ

Гэбриел Сайм не был сыщиком, который прикинулся поэтом. Он был поэт, ставший сыщиком. Ненависть его к анархии не была лицемерной. Он принадлежал к тем, кто смолоду полюбил порядок по вине сумасбродных мятежников. Благопристойность он не унаследовал; она родилась сама, как бунт против бунта. В его нелепом семействе все взрослые увлекались новейшими веяниями. Один его дядя не носил шляпы, другой безуспешно

попытался пройтись в одной лишь шляпе по Лондону. Отец исповедовал красоту и свободу, мать предпочитала простоту и пользу. Мальчиком, в самом раннем детстве, он знал только два напитка — абсент и какао и к обоим питал искреннее отвращение. Чем яростнее мать проповедовала сверхпуританское воздержание, тем яростнее отец впадал в сверхъязыческую вседозволенность, и к тому времени, как она дошла до принудительного вегетарианства, он вплотную подходил к защите людоедства.

Окруженный с младенчества всеми разновидностями мятежа, Гэбриел должен был взбунтоваться, но оставалось ему лишь одно — здравый смысл. В нем хватало закваски фанатиков, чтобы самая борьба его была слишком яростной для здравомыслия. Он ненавидел нынешнее беззаконие, но утвердил эту ненависть весьма прискорбный случай. Однажды, когда он шел по переулку, на ближней улице бросили бомбу. Сперва он оглох и ослеп, потом увидел сквозь светлеющий дым разбитые окна и окровавленные лица. Он остался таким, как прежде — тихим, учтивым, даже мягким, но в душе его с этих пор не заживала рана. В отличие от многих из нас он видел в анархистах не горстку мрачных людей, сочетающих невежество с книжностью. Они были для него мерзкой, безжалостной угрозой, вроде вторжения китайцев.

Он наводнил издательства, точнее — редакционные корзины рассказами, стихами и яростными статьями, предупреждающими о том, что на нас грядет бесчеловечное всеотрицание. Однако враг ему не давался, и что хуже, не давался и заработок. Когда он бродил по набережной, печально посасывая дешевую сигару и размышляя о грядущем хаосе, не было на свете анархиста с бомбой в кармане, озлобленного и одинокого, как он. Он чувствовал, что и власти плохо, что она загнана в угол. Если бы не это, такой Дон Кихот не мог бы ее любить.

Однажды он бродил по набережной в багряный вечерний час. Багрец реки отражал багрец неба, оба отражали гнев Сайма. Уже почти стемнело, река сверкала, и свет ее был так ярок, что казалось, будто она пламенной глядящего в нее заката. Она походила на поток огня, текущий по просторным пещерам подземного царства.

Сайм был очень бледен в те дни. Он носил старомодный черный цилиндр и совсем уж старомодный старый плащ, что придавало ему сходство со злодеями Бульвер Литтона или молодого Диккенса. Светлые кудри и борода были пышными, львиными и никак не предвещали подстриженных волос и аккуратной эспаньолки, которые видели много позже в аллеях Шафранного парка. В стиснутых зубах он держал тощую черную сигару, купленную в Сохо за два пенса. Словом, Сайм был прекрасным образчиком тех самых анархистов, которым объявил священную войну. Быть может, потому однажды с ним заговорил полисмен.

— Добрый вечер, — сказал он.

Терзаемый страхами за человечество, Сайм был уязвлен невозмутимостью глупой глыбы, синевшей на фоне сумерек.

— Добрый? — резко спросил он. — Ваш брат назовет добрым и светопреставление. Посмотрите на это кровавое солнце и на кровавую реку! Если бы здесь текла и сверкала кровь, вы бы стояли так же неколебимо, выслеживая безобидного бродягу. Вы, полицейские, жестоки к бедным; но я скорее прощу вам жестокость, чем спокойствие.

— Да, мы спокойны, — отвечал полисмен. — Ведь мы едины, и мы противимся злу.

— Что? . . . — удивленно воскликнул Сайм.

— Солдат в битве должен быть спокоен, — продолжал его собеседник. — Спокойствие армии — гнев народа.

— О Господи! — сказал Сайм. — Вот оно, всеобщее образование.

— Нет, — печально возразил страж порядка. — Я не учился в бесплатной школе. Не так я молод. Боюсь, мне дали несовершенно, устаревшее воспитание.

— Где же это? — спросил Сайм.

— В Харроу, — ответил полицейский.

Как ни мнимы сословные симпатии, во многих они устойчивей всего, и чувства прорвались у Сайма наружу прежде, чем он успел с ними совладать.

— Ну что ж это такое! — сказал он. — Вам не место в полиции.

Полицейский грустно вздохнул и еще печальней кивнул.

— Я знаю, — серьезно сказал он. — Я знаю, что недостойн.

— Почему же вы туда пошли? — с непростительным любопытством спросил Сайм.

— По той причине, — отвечал собеседник, — по какой вы ее бранили. Я узнал, что там нужны люди, которых тревожит судьба человечества, причем их больше страшат заблуждения развитого ума, чем естественная и простительная, хотя и нежелательная, слабость воли. Надеюсь, вы меня поняли?

— Мысль свою вы выразили ясно, — сказал Сайм, — и я с ней согласен. Ее я понял, вас — ни в коей мере. Как могло случиться, что такой человек, как вы, стоит в полицейском шлеме у реки и ведет философскую беседу?

— Вижу, вы не слышали о наших недавних переменах, — сказал полицейский. — Иначе и быть не может, мы скрываемся от интеллектуалов, ведь среди них в основном и вращаются наши враги. Но воззрения ваши как раз такие, как надо. Мне кажется, вы почти достойны примкнуть к нам.

— К кому и в чем? — спросил Сайм.

— Сейчас объясню, — медленно произнес полицейский. — Дело обстоит так: глава нашего отдела, один из лучших в мире сыщиков, давно полагает, что самому существованию цивилизации скоро будет грозить интеллектуальный заговор. Он убежден,

что мир науки и мир искусства молчаливо объединились в борьбе против семьи и общества. Поэтому он образовал особый отряд полицейских, которые к тому же и философы. Они обязаны отыскивать зачатки заговора не только в преступных деяниях, но и в простых беседах. Лично я демократ и высоко ценю простых людей. Они прекрасно справятся там, где нужна простая отвага и простая добродетель. Но, сами понимаете, обычный полисмен не может обнаружить ересь.

Глаза Сайма светились сочувствием и любопытством.

— Что же вы делаете? — спросил он.

— Работа полицейского-философа, — сказал человек в синем, — требует и большей смелости, и большей тонкости, чем работа обычного сыщика. Сыщик ходит по харчевням, чтобы ловить воров; мы ходим на изысканные приемы, чтобы уловить самый дух пессимизма. Сыщик узнает из дневника или счетной книги, что преступление совершилось. Мы узнаем из сборника сонетов, что преступление совершится. Нам надо проследить, откуда идут те страшные идеи, которые в конечном счете приводят к нетерпимости и преступлениям разума. Мы едва успели предупредить убийство в Хартлпуле потому и только потому, что молодой Уилкс, человек на редкость способный, правильно понял один триолет.

— Неужели вы считаете, — спросил Сайм, — что современные идеи так тесно связаны с преступлением?

— Вы не слишком демократичны, — отвечал полисмен, — но вы правильно заметили, что полиция не милует бедных преступников. Иногда мне противно это занятие — я ведь вижу, как мои коллеги воюют с невежественными и отчаявшимися. Однако новое движение совсем иное. Мы не согласны с английскими снобами, которые считают неграмотных опасными злодеями. Мы помним римских императоров. Мы помним вельмож Возрождения. Опасен просвещенный преступник, опаснее же всего беззаконный нынешний философ. Перед ним многоженец и грабитель вполне пристойны, я им сочувствую. Они признают нормальный человеческий идеал, только ищут его не там, где надо. Вор почитает собственность. Он просто хочет ее присвоить, чтобы еще сильнее почитать. Философ отрицает ее, он стремится разрушить самую идею личной собственности. Двоеженец чтит брак, иначе он не подвергал бы себя скучному, даже утомительному ритуалу женитьбы. Философ брак презирает. Убийца ценит человеческую жизнь, он просто хочет жить полнее за счет других жизней, которые кажутся ему менее ценными. Философ ненавидит свою жизнь не меньше, чем чужую.

— Как верно! — воскликнул Сайм. — Я чувствую это с детства, но никогда не мог выразить. Обычный преступник — плохой человек, но он, по крайней мере, согласен быть хорошим на тех или иных условиях. Избавившись от помехи — скажем, от богато-того дяди, — он готов принять мироздание и славить Бога. Он —

реформатор, но не анархист. Он хочет почистить дом, но не разрушить. Дурной философ стремится уничтожить, а не менять. Современный мир сохранил те стороны полицейской службы, где есть и насилие, и произвол, — он преследует бедных, следит за неудачливыми. Но он отказался от более достойных дел и не карает ни могучих изменников, ни могущественных ересиархов. Теперь говорят, что нельзя наказывать за ересь. Я часто думаю, вправе ли мы наказывать за что-либо другое.

— Да это же нелепо! — воскликнул полисмен, стиснув руки, что несвойственно людям такого роста и в такой форме. — Это невыносимо! Не знаю, чем вы занимаетесь, но вы просто губите свою жизнь. Вы должны, вы непременно примкнете к нам. Армии анархистов стоят у границы. Они вот-вот нападут. Еще немного, и вы лишитесь чести работать с нами, а может — и великой чести умереть с последними героями мира.

— Конечно, нельзя упускать такой случай, — согласился Сайм. — И все же я еще не понимаю. Я знаю, как и вы, что современный мир кишит мелкими беззаконниками и мелкими безумцами. Они дурны, но у них есть одно достоинство — они вечно ссорятся друг с другом. Разве это армия, разве они могут напасть? О каких анархистах вы говорите?

— Не о тех, — отвечал констебль, — которые с горя, а то и по невежеству бросят бомбу в России или в Ирландии. Существует могучее философское движение, и состоит оно из внешнего и внутреннего круга. Можно бы назвать внешний круг мирянами, а внутренний — жрецами. Я назову внешний круг невинным, внутренний — очень, очень виновным. Внешний круг, то есть большинство — простые анархисты, другими словами — люди, полагающие, что правила и догмы мешают человеческому счастью. Преступления, считают они, дурны лишь потому, что некая система назвала их дурными. Они верят, что не кара порождена злодеянием, а злодеяние порождено карой. Они верят, что, соблазнив семь женщин, можно быть чистым как цветок. Они верят, что, обчистив чужой карман, надо восхищаться своею тонкостью. Их я называю невинными.

— Ну знаете ли! . . . — вставил Сайм.

— Конечно, — продолжал полисмен, — они толкуют о светлом будущем, о грядущем рае, о свободе от уз добра и зла. О том же толкуют и жрецы, люди внутреннего круга. Они говорят восторженной толпе о светлом будущем и о свободе. Но в их устах, — полисмен понизил голос, — эти радостные речи обретают ужасный смысл. Внутренний круг не обольщается мечтами, члены его слишком умны и не считают, что на этой земле можно быть свободными от борьбы и от греха. Когда они говорят все это, они имеют в виду смерть. Они толкуют о том, что мы обретем свободу, а думают, что мы покончим с собой. Они толкуют о рае, где нет добра и зла, а думают о могиле. У них только две цели: сначала уничтожить всех, потом самих себя. Вот

почему они бросают бомбы, не стреляют. Невинные, простые анархисты жалеют, что бомба не убила короля; жрецы довольны, что она хоть кого-нибудь убила.

— Как мне присоединиться к вам? — взволнованно спросил Сайм.

— Я знаю, что сейчас есть свободное место, — ответил полисмен. — Начальник наш оказывает мне честь и многое доверяет. Право, вам надо бы его повидать. Нет, что я говорю! Ведь его никто не видит. Вы можете, если хотите, побеседовать с ним.

— По телефону? — спросил Сайм.

— Нет, — спокойно сказал полисмен. — Он сидит в совершенно темной комнате. По его словам, это просветляет разум. Что ж, пойдете.

Несколько ошеломленный и очень взволнованный Сайм покорно двинулся за ним и вскоре очутился у боковой двери одного из зданий Скотланд-Ярда. Едва он сообразил, что с ним происходит, как прошел через руки трех или четырех посредников и переступил порог комнаты, чей мрак ослепил его, как яркий свет. В обычной темноте что-то смутно различаешь; здесь же казалось, что ты внезапно ослеп.

— Вы новый воин? — спросил его низкий голос.

Ничего не видя, Сайм почему-то понял две вещи: во-первых, человек этот очень высок и толст, во-вторых — он сидит к нему спиной.

— Вы новый воин? — повторил невидимый начальник, без сомнения, всезная. — Хорошо. Вы приняты.

Сайм, озадаченный вконец, растерянно попытался оспорить неумолимый приговор.

— Я еще никогда... — начал он.

— Никто и никогда, — отвечал начальник, — не бился при Армагеддоне.

— Право, я не гожусь... — проговорил Сайм.

— Вы готовы, — сказал неведомый. — Этого достаточно.

— Я не знаю занятия, — сказал Сайм, — для которого достаточно одной готовности.

— А я знаю, — сказал начальник. — Мученики. Я приговариваю вас к смерти. До свидания.

Так и случилось, что Гэбриел Сайм, в черном плаще и старой черной шляпе, вышел под алое вечернее небо членом нового сыскного отряда, сражающегося с великим заговором. По совету своего друга-полисмана, питавшего профессиональную склонность к порядку, он подстригся, подравнял бороду, купил хорошую шляпу и легкий голубовато-серый костюм, воткнул бледно-желтый цветок в петлицу — словом, стал тем элегантным и даже невыносимым джентльменом, с которым встретился Грегори в одной из аллей Шафранного парка. Прежде чем отпустить его, полисмен дал ему голубую карточку с надписью «Последний крестовый поход» и номерок, знак полицейской власти. Он береж-



но положил их в жилетный карман, закурил сигарету и отправился выследивать и разить врага в лондонских гостиных. Мы видели, куда это его завело. Около половины второго, предвесенним утром, вооруженный револьвером и тростью со шпагой, на маленьком катере, который плыл по тихой Темзе, находился законно избранный Четверг Центрального Совета Анархистов.

Шагнув на маленькую палубу, Сайм ощутил, что все стало иным, словно он попал не в новое место, а как бы на новую планету. Отчасти это объяснялось безумным, но твердым решением, которое он недавно принял, отчасти же тем, что за два часа — с той поры, как он вошел в харчевню, — и погода, и самое небо совершенно изменились. Исчезли пламенные перья заката, и с голых небес глядела голая луна, светлая и полная, словно слабое солнце. Это странно, но бывает нередко. Так и казалось, что свет не лунный, а дневной, только мертвый.

Все было светлым, и все обесцветилось, как в том недобром сумраке, который Мильтон назвал обителью солнечного затмения; и Сайм сразу ощутил, что он на чужой, пустынной планете, вращающейся вокруг чужого, печального солнца. Но чем сильнее чувствовал он сияющую печаль озаренного луною края, тем ярче пылало в ночи его отважное безумие. Даже самые простые вещи — бренди, еда, заряженный револьвер — обрели именно ту осязаемую поэтичность, которой радуется ребенок, когда берет ружье в дорогу или булочку в постель. Дары зловещих заговорщиков стали символами его собственной, куда более здоровой романтики. Трость со шпагой обратилась в рыцарский меч, фляжка — в прощальный кубок. Ведь и бесчеловечные бредни наших дней связаны с чем-нибудь простым и старым; приключения могут быть безумными, герой их должен быть разумен. Дракон без святого Георгия даже не смешон. Холодный пейзаж обретал красоту, когда в нем был человек, похожий на человека. Ярко-черные дома у реки казались впечатлительному Сайму пустынными, как горы на луне. Но и луна поэтична лишь потому, что на ней виднеется человек.

Катер вели двое, и плыл он медленно. Яркая луна, освещающая Чизуик, уже закатилась, когда он миновал Баттерси; когда же он приблизился к громаде Вестминстера, занимался рассвет. Свинцовая твердь раскололась, являя серебряные полосы, и серебро сияло белым огнем, когда катер свернул к большой пристани где-то за Черинг-Кросс.

Сайм посмотрел на камни набережной, и они показались ему огромными, словно темные глыбы на фоне белых небес. Ему почудилось, что он причалил к ступеням египетского дворца, и мысль эта не удивила его, ибо он ощущал, что идет опрокинуть престолы грозных языческих царей. Спрыгнув на скользкую ступень, он немного постоял, невысокий и призрачный перед камен-

ной громадой. Катер отчалил и ушел обратно, вверх по реке. Пока он плыл, два человека, им управлявшие, не произнесли ни слова.

Глава V ПИРШЕСТВО СТРАХА

Поначалу широкая каменная лестница показалась Сайму пустынной, как ступенчатая пирамида; но, еще не достигнув верхней ступени, он увидел, что у перил набережной стоит человек и смотрит на реку, вдаль. Человек этот ничем не отличался, он был в обычном фраке и в цилиндре, в петлице у него алел цветок. Сайм приближался к нему, он не шевелился; и только совсем вблизи Сайм разглядел в слабом утреннем свете тонкое, бледное лицо. Таким аскетическим благородным лицом пристало быть бритыми, но на подбородке темнел клок волос, словно незнакомец не добрился по рассеянности. Замечая все это, Сайм подходил ближе и ближе, а человек не шевелился.

Сперва чутье подсказало Сайму, что человек ждет его, но тот не подавал никаких знаков. Сайм решил, что ошибся, и снова почувствовал, что незнакомец чем-то связан с его безумными похождениями. Нельзя стоять неподвижно, когда к тебе подходят вплотную, а он стоял словно восковая фигура и был примерно так же неприятен. Сайм снова и снова глядел на него, он безучастно глядел куда-то на другой берег. Наконец Сайм достал из кармана мандат и развернул его перед скорбным строгим лицом. Тут человек улыбнулся, и улыбка его поразила Сайма — она пересекла лицо наискосок, вверх по правой щеке, вниз по левой.

Если здраво рассудить, ничего страшного не было. Нервные люди нередко так улыбаются, кривая улыбка даже бывает привлекательной. Но сейчас, на сумрачном рассвете, на пустынных мокрых ступенях, при таких обстоятельствах, улыбку эту было трудно вынести. У безмолвной реки стоял безмолвный человек с тонким точеным лицом. И вдруг, словно завершая страшный сон, это лицо перекосилось.

Перекосилось оно на миг и снова стало правильным и печальным. Человек заговорил, ни о чем не спрашивая, как со старым приятелем.

— Если мы пойдем на Лейстер-сквер, — сказал он, — мы как раз поспеем к завтраку. Воскресенье всегда настаивает на том, чтобы завтракать рано. Вы не спали?

— Н е т, — ответил Сайм.

— И я тоже, — равнодушно сказал незнакомец. — Попытаюсь заснуть попозже.

Он говорил легко и любезно, но безжизненный голос не вязался с одержимостью лица, словно вежливые слова для

него — пустая условность, а живет он ненавистью. Помолчав, он начал снова:

— Конечно, секретарь вашего отдела сообщил вам все что нужно. Но никогда нельзя сказать, что выкинет наш председатель, ибо причуды его незаконны, словно тропический лес. Сообщу на всякий случай, что сейчас он доводит до самых немислимых пределов свой принцип «Скрывайся не скрываясь». Конечно, и мы, как ваша ветвь, собирались в подземелье, но теперь Воскресень приказал нам нанимать отдельный кабинет в обычном ресторане. Он сказал, что, если ты не прячешься, никто тебя искать не будет. Да, знаю, равных ему нет, но иногда мне кажется, что на старости лет его могучий разум немного сбился с пути. Представьте себе, мы собираемся на людях. Теперь мы завтракаем на балконе. На балконе, вы подумайте, над самой площадью!

— А что говорят? — спросил Сайм.

— Очень просто, — ответил провожатый. — Говорят, что чудаки джентльмены играют в анархистов.

— Мне кажется, — заметил Сайм, — это неглупая мысль.

— Неглупая? Ну и нахал вы, однако! Неглупая, видите ли!.. — воскликнул анархист, и голос его стал неприятным и странным, как у л б к а. — Посидите с Воскресеньем полсекунды, и сразу отучитесь от таких слов.

Тут, выйдя из узкого переулочка, они увидели залитый утренним солнцем Лейстер-сквер. Едва ли мы когда-нибудь узнаем, почему эта площадь кажется такой чужой, не английской. Едва ли мы узнаем, чужеземный ее вид привлек к ней чужеземцев, или чужеземцы придали ей чужеземный вид. Этим утром такое ощущение было особенно сильным. И сама площадь, и позлащенные солнцем листья, и памятник, и восточный облик Альгамбры казались подобием французского или испанского города. Сходство это усилило иллюзию, которую Сайм испытал не раз, пока длились его приключения, — ему показалось, что он попал в неведомый мир. Он с юности покупал здесь дешевые сигары, но когда увидел деревья и мавританские башенки, мог бы поручиться, что вышел на Place de...¹ в какой-то чужой стране.

На одном из углов стояла дорогая, но скромная гостиница, выходящая фасадом на боковую улицу. Стеклопанельная дверь на первом этаже, по-видимому, вела в кофейню, выше, прямо над площадью, висел на массивных подпорках огромный балкон, на котором умещался обеденный стол или, точнее, стол для завтрака. За столом, у всех на виду, в свете солнца сидела и громко болтала шумная компания; одежды были вызывающе модными, жилеты сверкали белизной, в петлицах алели изысканные бутоньерки. Некоторые шуточки долетали чуть ли не до середины площади. Серьезный секретарь криво улыбнулся, и Сайм понял, что веселый пир — тайное заседание европейских динамитчиков.

¹ Площадь... (фр.).

Вглядевшись, Сайм увидел то, чего не заметил сразу. Не заметил он этого потому, что оно было слишком большим. У перил, закрывая часть небосвода, возвышалась огромная спина. Разглядев ее, Сайм подумал, что под таким человеком может обрушиться каменный балкон. Человек этот был необычайно высок и невероятно грузен, но главное — он был непомерно задуман, словно колоссальная статуя. Голова его в венчике седых волос казалась сзади больше, чем подобает голове, и даже уши казались больше обычных человеческих ушей. Он был невысказанно, ужасно огромен, и величина эта настолько подавляла, что, когда Сайм его разглядел, все другие съежились, обратились в карликов. Они по-прежнему сидели у стола, во фраках, с цветком в петлице, но теперь казалось, что взрослый развлекает и угощает четверых детей.

Когда Сайм и его проводник подошли к дверям отеля, им повстречался слуга.

— Джентльмены там наверху, сэр, — сообщил он, широко улыбаясь. — И болтают, и смеются, и чего только не скажут! Так и говорят, что бросят бомбу в короля.

Он поспешил прочь, перекинув салфетку через руку и все еще смеясь над потешными господами, которые сидят наверху.

Новоприбывшие молча поднялись по лестнице.

Сайму и в голову не пришло спросить, не грозный ли Председатель почти целиком заполняет балкон, который вот-вот обрушится под его тяжестью. Он знал это, он понял это сразу. Собственно, он был из тех, чья чуткость к неназванным душевным токам немного опасна для здоровья души. Он совершенно не боялся физической опасности, но слишком сильно ощущал духовное зло. Дважды за эту ночь незначительные мелочи бросались ему в глаза, и он чувствовал, что подходит все ближе к главному штабу преисподней. Чувство это стало особенно острым, когда он подходил все ближе к прославленному Председателю.

Облеклось оно в форму детской, но жуткой фантазии. Пока Сайм пересекал комнату, приближаясь к балкону, лицо Воскресенья становилось больше и больше, а он в ужасе думал, что, когда он подойдет вплотную, оно станет слишком большим, и он закричит. Ему вспомнилось, как в детстве он не хотел смотреть на маску Мемнона в Британском музее, такая она была огромная.

Собрав всю свою волю, точно для прыжка с обрыва, он подошел к пустому стулу и сел. Все добродушно заулыбались, будто были всегда с ним знакомы. Обычные сюртуки и солидный сверкающий кофейник немного отрезвили его. Он посмотрел на Воскресенье и увидел большое, но все же человеческое лицо.

Рядом с Председателем все казались довольно заурядными и отличались разве тем, что по его прихоти были одеты празднично, как гости на свадебном пиру. Только один из них

выделялся с первого взгляда: хоть кто-то здесь был привычным уличным динамитчиком. Как и все, он носил атласный галстук и сверкающий воротничок, но над воротничком торчала мятежная, бунтарская голова. Из-за спутанной, как у скайтерьера, чащи волос выглядели скорбные глаза русского крепостного. В отличие от Воскресенья, человек этот не был страшен; такая бесовщина сродни гротеску. Если бы над чопорным воротничком торчала песья или кошачья голова, неожиданность была бы ничуть не более глупой.

Звали его, кажется, Гоголем, а в круге дней — Вторником, и родом он был из Польши. Взор его и речи отличались неизлечимой скорбью, и он не мог играть веселую роль, навязанную Председателем. Когда Сайм вошел, Воскресенье, по обычаю своему презирая осторожность и подозрительность, как раз подшучивал над тем, что Гоголь никак не научится пристойности.

— Друг наш Вторник, — говорил он и зычно, и очень спокойно, — друг наш Вторник, по-видимому, никак не усвоит моей мысли. Он одет безупречно, но душа его велика для джентльмена, и он ведет себя как театральный заговорщик. Между тем, если джентльмен во фраке и цилиндре разгуливает по Лондону, никто не заподозрит в нем анархиста. Но если он наденет фрак и цилиндр, а потом пойдет на четвереньках, на него, вполне возможно, обратят внимание. Это и делает брат наш Гоголь. Он ходит на четвереньках так ловко, что скоро разучится ходить на двух ногах.

— Я не терпю в жи, — угрюмо произнес Гоголь с сильным акцентом. — Я не стыжусь нашего дева.

— Неправда, стыдитесь, — добродушно сказал Председатель. — Оно вас стыдится. Прячетесь вы не меньше нас, но вам это не удастся, ибо вы очень глупы. Вы пытаетесь соединить два несовместимых метода. Если хозяин найдет человека под кроватью, он удивится, это я допускаю. Но согласитесь, любезный Вторник, что он никогда этого не забудет, если незнакомец окажется в цилиндре. Когда вас нашли под кроватью адмирала Биффина...

— Я не умею притворяться, — сумрачно проговорил Вторник.

— Вот именно, мой дорогой, — задушевно сказал Председатель. — Вы вообще мало что умеете.

Во время этой беседы Сайм немного приободрился и осмотрел окружающих его людей. Пока он оглядывал их, к нему вернулось ощущение, что, если говорить о духе, многое в них странно.

Сперва ему показалось, что все, кроме мохнатого Гоголя, вполне обычны и обычно одеты. Но, приглядевшись, он заметил в каждом то самое, что поразило его в человеке у реки, — хотя бы одну бесовскую черту, чьим прообразом могла служить кривая улыбка. С десятого, а то и с двадцатого взгляда в каждом

обнаруживалось что-нибудь не совсем нормальное и даже не совсем человеческое. Ему пришла в голову лишь одна метафора: все они выглядели так, как выглядели бы светские, пристойные люди в кривом зеркале.

Только примеры могут передать эту полускрытую странность. Вожатый Сайма звался Понедельником, он был Секретарем Совета, и его кривая улыбка казалась самой жуткой, если не говорить о страшном, радостном смехе Председателя. Теперь, при свете, глядя на него прямо, Сайм подметил и другие жутковатые черты. Тонкое лицо было изможденным, словно Секретаря глодал тайный недуг; но отчаянье в темных глазах говорило о том, что страдает не тело его, а разум. Глаза эти светились такой мукой, словно самая мысль причиняла ему боль.

То же самое было с каждым — каждый отличался хоть какой-то странностью. Рядом с Секретарем сидел всклокоченный Вторник, самый дикий из них с виду; дальше — Среда, некий маркиз де Сент-Эташ, человек весьма заметный. Только на нем одном элегантный костюм выглядел естественно. Черная борода была подстрижена квадратом, на французский манер, черный фрак был выкроен безупречно, и все же чуткий Сайм ощутил удушающий дух роскоши. Он невольно подумал об одуряющих куреньях и гаснущих светильниках в самых мрачных поэмах Байрона и По. Кроме того, ему казалось, что маркиз одет не в более светлые, а в более мягкие ткани и потому их черный цвет гуще и теплее, словно бы сгустился из какой-то другой краски. Черный фрак был на самом деле темно-пурпурным, черная борода — темно-синей, а во мраке ее презрительно кривились чувственные темно-красные губы. Французом он не был; он мог быть евреем; мог происходить из страны, уходящей еще глубже в темные глубины Востока. Такие миндалевидные глаза, иссиня-черные бороды и жестокие малиновые губы можно увидеть на пестрых персидских миниатюрах, изображающих царскую охоту.

Рядом с ним сидел Сайм, а потом — глубокий старец, профессор де Вормс, занимавший кресло Пятницы, хотя все ожидали, что оно вот-вот освободится за его смертью. Он дошел до последней стадии старческого маразма, но ум свой сохранил. Лицо его было белым, как и длинная борода, лоб навеки сморщило жалобное отчаяние. Ни у кого, даже у Гоголя, свадебная щеголеватость костюма не казалась столь мучительно неуместной. Алый цветок оттенял свинцовую бледность лица, и все вместе наводило на гнусную мысль, что подгулявшие франты нарядили по моде труп. Когда он вставал или садился с невыразимой осторожностью, в его замедленных движениях отражалась не простая слабость, а что-то иное, неуловимо связанное с ужасом всей этой сцены. То была не дряхлость, то было разложение, и еще одна гнусная мысль терзала Сайма: всякий раз как Пятница шевелил рукой или ногой, он думал, что они отвалятся.

Завершал неделю человек, звавшийся Субботой, самый простой и самый загадочный. Он был невысок, плотен, гладко выбрит и держался бойко, но грубовато, что нередко бывает у молодых врачей. Он и на самом деле был врачом и в миру назывался Буллем. Элегантный костюм он носил скорее самоуверенно, чем непринужденно, с лица его не сходила улыбка. Странного в нем не было ровно ничего, кроме темных, непроницаемых очков. Возможно, у Сайма от страха разгулялась фантазия, но эти черные диски напоминали ему полузабытые рассказы о медяках, которые кладут на глаза покойнику. У едва живого профессора или изможденного Секретаря такие очки были бы уместны. Но у молодого, здорового человека они казались загадкой. Из-за них никто не смог бы понять, какое же у него лицо; не смог бы понять, что значит его улыбка или его серьезность. От этого ли или из-за своей пошловатой мужественности, которой не было ни в ком другом, Суббота казался самым зловещим из злодеев, и Сайм подумал на мгновение, что глаза его прикрыты, потому что в них слишком страшно смотреть.

Глава VI РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Таковыми были шесть человек, поклявшиеся разрушить мир. Сидя рядом с ними, Сайм снова и снова призывал на помощь здравый смысл, и порою ему казалось, что впечатления его субъективны, перед ним — обычные люди, один из которых стар, другой нервен, третий близорук. Но всякий раз им снова овладевало чувство, что это не люди, а неестественные символы. Каждый из них выходил за пределы реальности, подобно тому как их теория выходила за пределы разума. Он знал, что каждый довел до конца безумную мысль, и вспоминал старинные сказки, где, пойдя на запад, дойдешь до края света и увидишь что-нибудь невероятное, скажем — дерево, которое больше или меньше дерева, ибо в нем живет злой дух, а пойдя на восток, увидишь башню, самые очертания которой исполнены зла. Так и казалось, что люди эти загадочно и четко встают из-за края земли, словно призраки из бездны. Когда ты глядел на них, край света подходил вплотную.

Пока Сайм смотрел и думал, беседа не прекращалась, и одним из самых резких контрастов этого безумного завтрака был контраст между тоном ее и содержанием. Обсуждали самое настоящее, неотложное покушение. Давешний слуга не ошибся, речь шла о бомбах и властителях. Всего через три дня, в Париже, русский царь должен был встретиться с французским президентом; и, поедая яичницу с ветчиной на залитом солнцем балконе, улыбающиеся собеседники обсуждали, как именно умрут власти-

тели. Выбрали и оружие — по-видимому, чернобородый маркиз должен был отвезти бомбу.

В сущности, близость явного, невыдуманного преступления могла бы отрезвить Сайма и прогнать его мистические страхи. Он мог бы забыть обо всем, кроме одного — необходимо спасти хотя бы два человеческих тела, пока их не разнес в куски неумолимый взрыв. Но именно теперь к нему подобрался третий страх, более острый и здоровый, чем нравственное отвращение или социальная ответственность. Попросту говоря, ему было не до царей и не до президентов, ибо он начал бояться за самого себя. Почти никто из собравшихся не обращал на него внимания. Они спорили, сгрудившись теснее, и лица их были одинаково серьезны, только лицо Секретаря порою пересекала улыбка, словно зигзаг молнии, наискось пересекающий небо. Но одно обстоятельство сперва смутило Сайма, потом насмерть напугало. Председатель глядел на него в упор с несомненным интересом. Огромный человек сидел смирно и тихо, только синие его глаза буквально вылезали из орбит. Обращены они были к Сайму.

Сайму захотелось вскочить и спрыгнуть с балкона. Когда он встречал взгляд Воскресенья, ему казалось, что он прозрачен как стекло. Он и не сомневался, что каким-то неведомым образом страшный Председатель узнал, что он сыщик. Взглянув вниз, он увидел полисмена, рассеянно созерцавшего блестящую решетку и залитые солнцем деревья.

Тут его посетило великое искушение, которым он терзался еще много дней. Перед этими могущественными, гнусными людьми, властелинами анархии, он почти забыл жалкий, почти призрачный облик Грегори, ее певца. Теперь он относился к мятежному поэту с какой-то привычной доброжелательностью, словно они вместе играли когда-то давно, в детстве. Однако он твердо помнил, что они связаны великой клятвой: он поклялся не делать того, что почти готов был сделать; поклялся не прыгать с этого балкона и не говорить с этим полицейским. Сайм снял холодную руку с холодных каменных перил. Душу его подхватил вихрь сомнения. Стоит ему оборвать нить обета, данного преступнику, и жизнь его станет ясной и светлой, как площадь внизу. Стоит ему остаться верным своей старомодной чести, и он постепенно, понемногу попадет во власть врага человеческого, чей разум подобен застенку. Глядя вниз, он видел спокойного полисмена, столп здравомыслия и порядка. Глядя перед собой, он видел Председателя, пытливо и спокойно глядевшего на него большими, страшными глазами.

Однако при всем смятении мыслей о двух вещах он не подумал. Во-первых, он не усомнился в том, что Председатель и Совет раздавят его, если он останется один. Быть может, это случится на людях; быть может, это невыполнимо. Но Воскресенье не из тех, кто будет так беспечен, если как-то, где-то не расставит ловушки. Неизвестным ли ядом, несчастным ли случаем, гипнозом, адским пламенем Председатель уничтожит его.

Если Сайм бросит вызов, он умрет тут же, за столом, или намного позже, от невинной болезни. Если он кликнет полицию, всех арестует, все расскажет, восстановит против них все силы Англии — быть может, он уцелеет. Другого выхода нет. На балконе, над светлой и шумной площадью сидели приличные с виду люди; но Сайм чувствовал себя так, словно вооруженные пираты сидели на палубе корабля, над пустынным морем.

И вторая мысль не коснулась его — он ни разу не подумал, что может поддаться врагу. Многие наши современники, увлеченные малодушным поклонением уму и силе, восхитились бы могучей личностью. Вероятно, они назвали бы Воскресенье сверхчеловеком. Если сверхчеловек вообще возможен, Председатель им и казался, так отрешен он был, так грозен, словно ходячее изваяние. Замыслы его были слишком просты, чтобы их разгадать, лицо — слишком открыто, чтобы понять его, и нетрудно было бы сказать, что он — выше человека. Но даже сейчас, невыразимо страдая, Сайм не опустился так низко. Как все мы, он был достаточно слаб, чтобы бояться страшной силы, но не так слаб, чтобы ею восхищаться.

Беседуя, анархисты ели, и каждый из них ел по-своему. Доктор Булль и маркиз ели попросту, без затей, выбирая все лучшее — холодного фазана, страсбургский пирог. Секретарь оказался вегетарианцем и ревностно обсуждал будущее убийство над половинкой помидора и стаканом тепловатой воды. Старый профессор хлебал жидкую кашку, вызывавшую мысль о том, что он впал в какое-то мерзостное детство. Председатель даже тут сохранял свое странное, чисто количественное превосходство — он жрал за десятерых, явно наслаждаясь и перемалывая пищу, словно колбасная фабрика. Но, сжевав дюжину булок и выпив кварту кофе, он продолжал неотступно глядеть на Сайма, склонив набок огромную голову.

— Я все думаю, — сказал маркиз, откусывая кусок от тоста с джемом, — не лучше ли мне убить их кинжалом? Удачнейшие убийства совершали именно так. К тому же какое свежее ощущение! Всадить кинжал в президента Франции, повернуть...

— Вы не правы, — возразил Секретарь, хмурия черные брови. — Кинжал был символом личного спора с твоим, личным тираном. Динамит не только лучшее наше оружие, но и лучший наш символ. Он совершенен; он как ладан, для христиан подобный молитве. Динамит — это взрыв; он разрушает, ибо расширяется. Так и мысль. Она тоже становится все шире и приводит к разрушению. Мозг — это бомба! — вдруг крикнул он и с непонятым пылом ударил себя по голове. — Мой мозг подобен бомбе всегда, днем и ночью! Дайте ему волю! Дайте волю, даже если он разнесет весь мир!

— По-моему, мир разносит рановато, — протянул маркиз. — Я собираюсь проделать до смерти еще немало мерзостей. Вчера я как раз обдумывал одну в постели.

— Если наша цель — н и ч т о , — сказал доктор Булль, загадочно улыбаясь, — стоит ли трудиться?

Старый профессор уныло глядел куда-то вверх.

— Каждый знает в сердце своем, — проговорил о н , — что ради великого Ничто трудиться стоит.

Наступило многозначительное молчание, потом Секретарь сказал:

— Однако мы отошли от темы. Нам надо решить, как именно убьет их Среда. Полагаю, все согласны с первым предложением, с бомбой. Что же до частных, я предложу, чтобы завтра утром он...

Речь его резко прервалась, над ним нависла огромная тень. Председатель поднялся, заслонив собою небо.

— Прежде чем это обсуждать, — спокойно и тихо сказал о н , — перейдем в комнату. Я должен сообщить нечто важное.

Сайм вскочил раньше всех. Миг выбора настал, смерть подошла вплотную. Он слышал, как полисмен внизу переступает с ноги на н о г у , — утро, хотя и солнечное, было холодным.

Вдруг где-то на улице весело заиграла шарманка. Сайм замер и подобрался, словно зазвучала боевая труба. Он ощутил, что неведомо откуда на него снизошло сверхъестественное мужество. Бренчащие звуки звенели всей живучестью, всей нелепостью, всей безрассудной храбростью бедных, упорно полагавшихся там, в грязных улочках, на все, что есть доброго и доблестного в христианском мире. Мальчишеская игра в полицейских ушла куда-то; он не ощущал себя ни посланцем приличных людей, притворившимся сыщиком, ни посланцем старого чудака из темной комнаты. Здесь он представлял людей простоватых и добрых, каждый день выходящих на бой под звуки шарманки. Он возгордился тем, что он — человек, это ставило его неизмеримо выше сидевших рядом чудовищ. Хотя бы на мгновение он увидел их жуткие причуды с сияющих высот обычности. Он испытал то простое превосходство, которое чувствует смелый человек, когда встретит могучего зверя, мудрый — когда встретит могущественное заблуждение. Он знал, что не наделен умом и мощью Председателя, но сейчас это беспокоило его не больше, чем то, что у него нет тигриной силы или рога на носу. Все исчезло, он знал одно — Председатель не прав, шарманка права. В ушах его звучал неопровержимый и грозный трюизм из «Песни о Роланде»: «Païens ont tort et chrétiens ont droit»¹, который на древнем, гнусавом языке звенит и скрежещет, как мечи. Дух его сбросил бремя слабости, он решил спокойно встретить смерть. Если шарманочный люд может держаться старых как мир обязательств, может и он. Он гордился, что верен слову, именно потому, что дал это слово неверным. Вот она, последняя победа над безумцами — он войдет в их темную комнату и умрет за то, чего им

¹ Язычники не правы, а христиане правы (*старофр.*).

даже не понять. Шарманка играла марш бодро и звонко, как оркестр, и сквозь голоса труб, певших славу жизни, он слышал глухую дробь барабанов, твердивших о славе смерти.

Заговорщики тем временем входили в отель через балконную дверь. Сайм замыкал шествие, спокойный с виду, хотя мысль его и тело были послушны возвышенному ритму. Председатель провел анархистов вниз по кривой лесенке (должно быть, по ней ходили слуги), и все очутились в полутемной, холодной комнате, где стояли скамьи и стол, словно в заброшенном зале заседаний. Когда все вошли, он закрыл дверь и запер ее на ключ.

Первым заговорил неугомонный Гоголь, задышавшийся от невысказанного протеста.

— Фот! — крикнул он с таким сильным акцентом, что даже это слово стало почти непонятным. — Фы гофорите, что не скрываетесь. Это вошь! Когда надо обсудить что-нибудь фажное, фы прячетесь ф темный ящик.

Председатель встретил эту речь с невозмутимым благодушием.

— Никак вы не поймете, Гоголь, — сказал он заботливо, как отец. — Все слышали нашу болтовню на балконе, и никому не интересно, куда и зачем мы пошли. Если бы мы сразу явились сюда, все слуги прильнули бы к замочной скважине. Видно, вы ничего не смыслите в людях.

— Я умру за них! — запальчиво вскричал Гоголь. — Я убью тех, кто их притесняет! Мне не до игры в прятки. Я поразив бы тирана прямо на площади.

— Так, т а к, — благодушно кивнул Председатель, усаживаясь во главе длинного стола. — Сперва вы умрете за людей, потом поразите тирана. Прекрасно. А теперь не сдержите ли вы свои похвальные чувства и не сядете ли с нами за стол? Впервые за сегодняшний день вы услышите толковое слово.

Сайм сразу же сел с нервной поспешностью, отличавшей его в это утро. Гоголь сел последним, ворча в бороду «...согвашатевство». По-видимому, никто, кроме Сайма, не подозревал, что их ждет. Сам он чувствовал себя как человек, который собирается сказать хорошую речь на эшафоте.

— Товарищи, — начал Председатель, поднявшись с места. — Поиграли, и хватит. Я привел вас сюда, чтобы сообщить вам такую простую и потрясающую вещь, что даже слуги, привыкшие к нашим шуткам, уловили бы в моем тоне серьезность. Мы обсуждали планы и назначали место. Прежде всего я предлагаю ни планов, ни места на голосование не ставить, а всецело препоручить их одному из нас. Самым надежным мне представляется товарищ Суббота, доктор Буль.

Все уставились на него, потом подскочили, потому что следующие слова Председатель произнес негромко, но с истинной страстью и стукнул кулаком по столу:



— Итак, ни о планах, ни о месте мы говорить не будем. В этом обществе ничего обсуждать нельзя.

Воскресенье умел удивить соратников, но сейчас им показалось, что он еще никогда не удивлял их по-настоящему. Все беспокойно заерзали, только Сайм сидел неподвижно, держа руку в кармане, где лежал заряженный револьвер. Когда удар обрушится на него, он дорого продаст свою жизнь. По крайней мере, он узнает, смертен ли Председатель.

Воскресенье ласково говорил:

— Вероятно, вы догадываетесь, почему я препятствую свободной беседе на этом пиршестве свободы. Пускай посторонние слышат нас, это не важно — они считают, что мы шутим. Зато важно другое. Если среди нас окажется человек, знающий о наших взглядах, но не разделяющий их, человек, который...

Секретарь по-женски взвизгнул.

— Этого не может быть! — крикнул он и вскочил с места. — Не может...

Председатель хлопнул по столу большой рукой, плоской, как плавник гигантской рыбы.

— Может, — медленно произнес он. — Среди нас сыщик. За этим столом сидит предатель. Не буду тратить лишних слов. Это...

Сайм приподнялся, держа палец на курке.

— Это Гоголь, — сказал Воскресенье. — Вот тот лохматый шарлатан, выдающий себя за поляка.

Гоголь вскочил, в обеих его руках были револьверы. Три человека мгновенно схватили его, даже профессор попытался встать. Но Сайм ничего не видел. Окутанный блаженным мраком, он опустился на место, обессилев от радости.

Глава VII

НЕОБЪЯСНИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССОРА ДЕ ВОРМСА

— Садитесь! — сказал Воскресенье голосом, которым говорил лишь два или три, голосом, при звуке которого люди роняли оружие.

Те, кто схватили Гоголя, сели, и сам этот сомнительный человек сел.

— Итак, мой милый, — сказал Председатель, словно обращаясь к незнакомцу, — пожалуйста, суньте руку в жилетный кармашек и покажите мне, что у вас там.

Бывший Гоголь немного побледнел, что было заметно несмотря на густую поросль, но с подчеркнутым хладнокровием запустил в карман два пальца и вынул голубую карточку. Стоило Сайму увидеть ее, как он ожил. Карточка была далеко, разобрать слов он не мог, но это и не было нужно. Она в точности походила

на ту, которую получил он сам, когда стал полицейским, сражающимся с анархией.

— Печальный славянин, — сказал Председатель, — трагическое дитя Польши, можете ли вы пред лицом этой карточки отрицать, что здесь вы... как бы это выразить?.. *de trop*?¹

— Чего уж там! — отозвался бывший Вторник.

Все подскочили, когда из чаши заморских волос послышался быстрый и бойкий говор лондонца. Это было так нелепо, словно китаец вдруг заговорил с шотландским акцентом.

— Вижу, вы понимаете свое положение, — заметил Председатель.

— Не без того, — отвечал сыщик. — Ну что же, ваша взяла! Согласитесь, никакой поляк не сумел бы так говорить.

— Соглашаюсь, — сказал Воскресенье. — Акцент ваш неподражаем, хотя... надо будет поупражняться как-нибудь в ванне. Вас не затруднит положить вашу бороду рядом с карточкой?

— Чего там! — отвечал сыщик и сдернул одним пальцем косматую обложку, из-под которой вынырнули жидкие рыжеватые волосы и бледное остренькое лицо. — Жарко было, — добавил он.

— Отдаю вам должное, — сказал Председатель с каким-то жестоким восхищением, — держались вы неплохо. А теперь послушайте. Вы мне нравитесь. Поэтому я огорчился бы две с половиной минуты, если бы услышал, что вы умерли в муках. Между тем, сообщите вы о нас полиции или кому-нибудь иному, мне не избежать этих неприятных минут. О ваших ощущениях распространяться не стану. Будьте здоровы. Не споткнитесь, тут ступенька...

Рыжеватый служитель порядка, притворявшийся Гоголем, молча встал и вышел. На вид он был беспечен, но потрясенный Сайм все же понял, что это далось ему нелегко. Судя по легкому шуму у двери, изгнанный сыщик оступился.

— Время летит, — весело сказал Председатель, взглянув на часы, которые, как и все у него, были больше, чем надо. — Пора и уходить. Опаздываю в филантропическое общество, мне вести заседание.

Секретарь повернулся к нему, дернув бровью, и не без резкости спросил:

— Не лучше ли обсудить план? Шпион ушел.

— Не лучше, — сказал Председатель зевая (зевок этот был похож на легкое землетрясение). — Оставьте все, как есть. Суббота распорядится. Мне пора. Значит, завтракаем здесь ровно через неделю.

Бурные сцены сильно расшатали и без того больные нервы Секретаря. Он был из тех, кто щепетилен и совестлив даже в преступлении.

¹ Лишний (*фр.*).

— Я протестую,— сказал он. — Так нельзя. Одно из основных наших правил требует, чтобы планы обсуждал Совет в полном составе. Конечно, я всецело одобряю вашу осторожность, но теперь, когда предателя нет...

— Любезный Секретарь,— отвечал Воскресенье, — если придя домой, вы сварите свою голову вместо репы, она еще может пригодиться. Впрочем, не знаю. Нет, скорее пригодится.

Секретарь поднялся на дыбы, словно разъяренный конь.

— Право, я не пойму... — обиженно начал он.

— То-то и оно,— перебил Председатель, часто кивая, — то-то и оно, что вы никак не поймете. Да осел вы несчастный! — взревел он и встал. — Вы не хотите, чтобы нас подслушали? А откуда вы знаете, что предателей больше нет?

И он вышел из комнаты, трясясь от непонятого презрения. Четверо оставшихся глядели ему вслед, явно ничего не понимая. Один Сайм все понял и похолодел от ужаса. Если последняя фраза что-нибудь означала, она означала, что опасности не кончились. Воскресенье еще не мог обличить его, как Гоголя, но не мог и доверять ему, как другим.

Другие эти встали с мест и, ворча кто громко, кто потише, пошли куда-нибудь пообедать, ибо было уже далеко за полдень. Профессор выбрался последним, он двигался медленно и мучительно. Сайм посидел еще, обдумывая свое странное положение. Молния в него не ударила, но гроза не прошла стороной. Наконец он встал и вышел на площадь. Холод стал сильнее, и Сайм удивился, увидев порхающие снежинки. Трость и фляга были при нем, но плащ он снял и оставил то ли на катере, то ли на балконе. Надеясь, что скоро распогодится, он укрылся в подъезде небольшой грязноватой парикмахерской, в витрине которой виднелась лишь хилая, хотя и нарядная дама.

Снег между тем становился все гуще, и, чтобы не впасть в уныние от вида восковой дамы, Сайм стал усердно глядеть на пустынную белую улицу. К великому своему удивлению, он заметил, что неподалеку тихо стоит старик и смотрит на парикмахерскую. Цилиндр его был засыпан снегом, словно шапка Рождественского Деда, вокруг штиблет и шиколоток образовались сугробы, но ничто не могло оторвать его от созерцания облезлой дамы в грязном вечернем платье. Странно было уже то, что он стоит неподвижно в такую погоду и любит такую витрину. Но праздное недоумение Сайма сменилось потрясением: он узнал в старике профессора де Вормса. Поистине, здесь нечего было делать столь старому и немощному существу.

Сайм готов был поверить в какие угодно извращения обезчеловеченного братства, но даже и он не мог допустить, чтобы старый калека влюбился в восковую даму. Оставалось предположить, что немощи де Вормса сопровождаются приступами транса или столбняка. Это не вызвало у Сайма жалости; напротив, он обрадовался, что легко убежит от человека, который

движется так осторожно и с таким трудом. Он хотел одного: подышать хотя бы час чистым воздухом, а не отравленным. Тогда он смог бы собраться с мыслями, выработать план действий и решить окончательно, держать или не держать слово.

Сайм зашагал прочь под пляшущим снегом, прошел улицы две вверх, потом вниз, увидел маленький ресторанчик, которых так много в Сохо, и нырнул туда, чтобы пообедать. Он рассеянно съел четыре легких вкусных блюда, запил их красным вином и черным кофе, потом закурил сигару, не переставая думать. Сидел он наверху, вокруг звенели ножи, болтали иностранцы, и ему припомнилось, что когда-то давно эти безобидные, милые люди представлялись ему анархистами. Вспомнив об анархистах, он вздрогнул, но, как это ни стыдно, обрадовался, что от них сбежал. Вино, простая еда, знакомое место, обычные лица, привычная болтовня почти убедили его, что Совет Дней Недели — только тяжелый сон; и хотя он точно знал, что это явь, теперь она была далеко. Между ним и отелем, где он видел страшную седмицу, лежали шумные улицы и высокие дома. Он был свободен в свободном Лондоне и пил вино среди свободных. Успокоившись немного, он взял трость и шляпу и спустился вниз, в общий зал.

Там он застыл на месте. За маленьким столиком у пустого окна, выходящего на белую от снега улицу, сидел над стаканом молока анархист-профессор, обратив к потолку мертвенное лицо и опустив веки. С минуту Сайм стоял неподвижно, как трость, на которую он опирался. Затем, проскочив мимо профессора, бросился к двери, захлопнул ее за собой и остановился под снегом.

«Неужели этот труп меня выслеживает? — думал он, кусая светлый у с . — Нет, я слишком долго там сидел. Даже параличный старик успел сюда добраться. Одно хорошо: стоит мне прибавить шагу, и он окажется дальше Африки. А может, я просто мнителен. Точно ли он следит за мною? Воскресенье не так глуп, чтобы приставлять ко мне хромого старца».

Он бодро направился к Ковент-Гардену, размахивая и вертя тростью. Пока он пересекал рынок, снег пошел гуще и все больше слепил, ибо уже смеркалось. Хлопья осаждали его серебряным роєм. Они залепляли глаза, таяли в бороде, терзая и без того взвинченные нервы. Когда, широко шагая, он достиг Флит-стрит, терпение его истощилось. Увидев маленькое кафе, он юркнул туда, чтобы передохнуть, и заказал еще одну чашку кофе. Едва успел он это сделать, как профессор де Вормс, кряхтя, вошел в комнату, с трудом уселся и спросил молока.

Трость выпала из руки Сайма, звякнув сталью, но профессор не оглянулся. Сайм, обычно владевший собой, разинул рот, словно деревенский простофиля, глядящий на фокусника. Кеб не ехал за ним, не подъехал и теперь — он бы услышал стук колес; следовательно, профессор пришел пешком. И все же двигался он не быстрее улитки, а Сайм несся как ветер. Теряя голову от этой

чисто математической нелепицы, поэт порядка вскочил и вылетел за дверь, не притронувшись к кофе. Мимо с непривычной быстротой катил омнибус. Сайму пришлось пробежать ярдов сто, чтобы нагнать его, и он едва успел вскочить, уцепившись за подножку. На миг остановившись, чтобы перевести дух, он уселся на империале. Примерно через полминуты он услышал за собой тяжелое, хриплое дыхание.

Резко обернувшись, он увидел, что по ступеням омнибуса медленно поднимается заметенная снегом шляпа, из-под полей которой глядят подслеповатые глаза. Вскоре появились и дрожащие плечи. Со свойственной ему осторожностью профессор уселся и закутался по самую бороду в непромокаемый плащ.

Каждое движение его, дрожанье рук, нетвердый жест, беспомощная поза — все убеждало в том, что он беспредельно дряхл, едва жив. Передвигался он мелкими шажками, садился с трудом, кряхтя и вздыхая. Между тем, если время и пространство хотя бы в какой-то степени реальны, он бежал за омнибусом и догнал его.

Сайм вскочил, дико поглядел в холодное небо, темневшее с каждой минутой, и кинулся вниз, едва удержавшись, чтобы просто не спрыгнуть на мостовую.

Уже не оглядываясь и не рассуждая, он бросился в какой-то переулочек у Флит-стрит, словно кролик в норку. Ему казалось почему-то, что, если за ним и вправду гонятся, загадочного старика легче сбить со следа в лабиринте улочек. Он шмыгал туда и сюда по кривым проулкам, похожим скорее на трещины. Лишь обогнув множество углов и очертив тем самым невысказанный многоугольник, он остановился, прислушался, но ничего не услышал. Впрочем, особого шума быть и не могло, ибо переулочки устланы гасящим звуки снегом. За Ред-Лайон-Корт он подметил площадку ярдов в двадцать, расчищенную от снега каким-то рачительным лондонцем, сверкающий мокрый булыжник. Не обратив на нее особого внимания, он снова нырнул в хитросплетение переулочков, но шагов на триста дальше остановился, прислушался, и сердце его тоже остановилось. По оголенным камням явственно стучала трость и шаркали шаги проклятого калеки.

Небо обложили тяжелые снежные тучи, погружая Лондон в слишком ранний, наводящий отчаяние сумрак. По обеим сторонам тянулись слепые голые стены. Здесь не было ни единого окошка, ни единого взгляда. Сайму захотелось вырваться из этого улья на открытую, освещенную улицу, но он еще долго путал следы, пока на нее не вышел. Оказалось, что он зашел дальше, чем думал. Перед ним открылось пустое пространство Ледгейт-Серкус, и он увидел на фоне туч собор святого Павла.

Поначалу он удивился, что улицы пусты, словно над городом пронеслась чума. Потом решил, что удивляться нечему: во-первых, мело уже слишком сильно, во-вторых, было воскресенье. При этом слове он закусил губу — теперь оно звучало мерзко, как грязная шутка. В снежном тумане, поднявшемся до

самых небес, лондонские сумерки стали очень странными, зеленоватыми, словно ты двигался в глубинах моря. Угрюмый закат за темным куполом собора отливал зловещими тонами — болезненно-зеленым, мертвенно-лиловым, тускло-бронзовым, достаточно яркими все же, чтобы оттенить плотную белизну снега. Над невеселым закатом вставала черная глыба, а на самом ее верху, словно на альпийской вершине, сверкало белое пятно. Снег падал как попало, но расположился так, что закрыл ровно половину купола, высветив чистым серебром и огромный шар, и крест наверху. Увидев это, Сайм внезапно выпрямился и, почти того не замечая, поднял трость, как поднимают меч.

Он знал, что старик зловещей тенью медленно или быстро подкрадывается к нему, знал — и не боялся. Небеса темнели, но светлая вершина земли еще сверкала, и это показалось ему знакомством веры и отваги человека. Быть может, бесы захватили небо, но распятие им не досталось. Ему снова захотелось вырвать тайну у пляшущего, скачущего, преследующего калеки, и, едва выйдя из переулка, он повернулся, сжимая трость, чтобы встретить его лицом к лицу.

Профессор де Вормс медленно обогнул угол. Силуэт его в свете фонарей был странным, словно извилистые улочки исковеркали его тело, и Сайм вспомнил стихи о скрюченном человеке и скрюченной дорожке. Он подходил все ближе, лучи сверкали в обращенных к нему очках, освещали закинутое лицо. Сайм дожидался его, как дожидался дракона святой Георгий, как дожидается человек последнего откровения или смерти. Старый анархист поравнялся с ним и равнодушно прошел мимо, даже не моргнув печальными веками.

В этом неожиданном и тихом неведении было что-то такое, отчего Сайм разъярился. Бесцветное лицо и безучастный взгляд явственно утверждали, что погоня эта — просто несчастная случайность. Сайм ожил: в него вселилась сила, которая сродни и досаде, и мальчишеской лихости. Он взмахнул рукой, словно хотел сбить с профессора шляпу, несвязно вскрикнул: «А ну поймай!» — и бросился бегом через белую пустую площадь. Скрыться было невозможно; и, оглядываясь через плечо, он видел черный силуэт старика. Профессор гнался за ним широкими шагами, словно бегун на состязании. Но лицо над скачущим телом было бледным, ученым, важным, словно голову лектора приделали к туловищу клоуна.

Пока невероятная пара мчалась через Ледгейт-Серкус, по Ледгейт-Хилл, вокруг собора, вдоль Чипсайда, Сайм вспоминал все кошмары, которые видел за свою жизнь. Наконец он свернул к реке и добежал почти до самых доков. Тут он заметил освещенное окно, ввалился в невысокий кабачок и спросил пива. Кабачок был самого низкого пошиба — такой, где пьют заморские матросы. Здесь могли бы курить опиум и драться на ножах.

Профессор де Вормс вошел туда через минуту, осторожно уселся и спросил молока.

Глава VIII

РАССКАЗ ПРОФЕССОРА

Когда Гэбриел Сайм прочно обосновался на стуле и увидел напротив себя печальные брови и свинцовые веки де Вормса, все страхи возвратились к нему. Не оставалось сомнений, что загадочный член свирепого Совета преследует его. По-видимому, старик раздваивался на паралитика и гончую, что делало его более занятым, но не более приятным. Если по прискорбной случайности профессор разоблачит его, едва ли ему послужит утешением то, что он разгадал профессора. Сайм выпил большую кружку пива прежде, чем престарелый анархист притронулся к молоку.

Оставалось еще одно соображение, внушавшее надежду, хотя и никак не помогавшее. Быть может, это не преследование, а условный знак. Быть может, дурацкие скачки — дружеский привет, ритуал, который надо понять. Быть может, это особая церемония. Быть может, нового Четверга принято гонять вдоль Чипсайда, как провожают по тому же пути нового лорд-мэра. Сайм придумывал, как бы поосторожней начать расспросы, но профессор внезапно предупредил его. Не дожидаясь первой дипломатической фразы, старый анархист спросил без всяких приготовлений:

— Вы полицейский?

Сайм был готов ко всему, но столь грубый и недвусмысленный вопрос его поразил. Он умел владеть собой, однако выдержки хватило лишь на неуклюжую шутливость.

— Полицейский? — глуповато смеясь, переспросил он. — С чего вы взяли?

— Очень просто, — отвечал терпеливый профессор. — Мне показалось, что вы полицейский. Мне и теперь так кажется.

— Неужели я прихватил в ресторане полицейский шлем? — спросил Сайм, неестественно улыбаясь. — А может, на мне оказался номерок или у моих ботинок подозрительный вид? Почему я должен быть полицейским? Нельзя ли почтальоном?

Старый профессор серьезно покачал головой, что не слишком обнадеживало, но Сайм продолжал с лихорадочной игривостью:

— Может быть, я мало смыслу в тонкостях немецкой философии. Может быть, полицейский — понятие относительное. Если подойти с точки зрения эволюции, обезьяна так плавно превращается в полицейского, что я и сам не замечу перехода. Да, обезьяна — полисмен в потенции. Старая дева из Клэпама — несостоявшийся полисмен. Что ж, на это согласен и я. Пусть немецкий философ называет меня как угодно.

— Вы служите в полиции? — спросил старик, не замечая этих отчаянных импровизаций. — Вы сыщик?

Сердце у Сайма стало тяжелым, как камень, но лицо его не изменилось.

— Какая чепуха, — начало он. — Почему, собственно....

Профессор гневно ударил немощной рукой по шаткому столу и чуть не сломал его.

— Вы слышите меня, трус? — высоким, странным голосом воскликнул он. — Я вас спрашиваю прямо, сыщик вы или нет?

— Нет, — отвечал Сайм так, словно стоял под виселицей.

— Честное слово? — спросил де Вормс, склоняясь к нему, и мертвенное его лицо как-то гнусно оживилось. — Вы в этом клянетесь? Клянетесь? Ложная клятва губит душу. Вы не боитесь, что на ваших поминках будут плясать бесы? Вы уверены, что на вашей могиле не воссядет адский ужас? А что, если вы ошиблись? Вы точно анархист и динамитчик? Ни в коей мере не сыщик? Не служите в английской полиции?

Он высунул в сторону острый локоть и приложил к уху, как заслонку, большую ладонь.

— Я не служу в английской полиции, — с безумным спокойствием сказал Сайм.

Профессор де Вормс откинулся на спинку стула так странно, словно ему нехорошо, но он ничуть не сердится.

— Очень жаль, — сказал он. — А я вот в ней служу.

Сайм вскочил, отшвырнув скамейку.

— Что? — глухо спросил он. — Где вы служите?

— В полиции, — ответил профессор, радостно улыбаясь, и глаза его впервые засияли сквозь очки. — Но поскольку вы считаете, что полицейский — понятие относительное, нам с вами говорить не о чем. Я служу в полиции, вы не служите, встретились мы на сборище анархистов. Видимо, придется вас арестовать. — И он положил перед Саймом на стол голубую карточку — точно такой же, как у него самого, знак полицейской власти.

Сайму показалось, что мир перевернулся вверх дном, деревья растут вершиной вниз, звезды сверкают под ногами. Затем им овладело другое, противоположное чувство: последние сутки мир стоял вверх ногами, а теперь, перекувырнувшись, встал как должно. Бес, от которого он так долго бежал, оказался членом его семьи, старшим братом, который сидел по ту сторону стола и смеялся над ним. Сайму ни о чем не хотелось спрашивать, он радовался глупому, блаженному факту: тень, так назойливо преследовавшая его, была тенью друга, и тот в нем нуждался. Он чувствовал себя и глупым, и свободным — нельзя излечиться от недоброго мрака, не пройдя через здоровое унижение. Бывают минуты, когда нам остается одно из трех: упорствовать в сатанинской гордыне, расплакаться, рассмеяться. Несколько мгновений Сайм из самолюбия придерживался первого выхода, потом внезапно избрал третий. Выхватив из кармана голубую карточку, он швырнул ее на стол, закинул голову так, что

светлый клин бородки устремился к потолку, и залился диким смехом.

Даже здесь, в тесном кабачке, где вечно звенели ножи, тарелки, кружки, ругань и всякую минуту могла начаться драка, кое-кто из полупьяных мужчин оглянулся, услышав гомерический хохот.

— Над кем смеетесь, хозяин? — спросил удивленный докер.

— Над с о б о й, — ответил Сайм, заходясь и содрогаясь от счастья.

— Возьмите себя в руки, — сказал профессор. — С вами будет истерика. Выпейте еще пива. И я выпью.

— Вы не допили м о л о к о, — заметил Сайм.

— Молоко! — с невыразимым презрением повторил профессор. — Ах, молоко! Стану я смотреть на эту дрянь, когда нет мерзких анархистов! Все мы здесь христиане, — добавил он, оглядывая пьяный с б р о д, — хотя, быть может, и не очень строгие. Молоко? Да уж, я его прикончу, — и он смахнул стакан, отчего тот разлетелся, а серебристые брызги взметнулись вверх.

Сайм глядел на него с радостным любопытством.

— Понял! — воскликнул о н . — Значит, вы не старик.

— Сейчас я не могу разгримироваться, — сказал профессор де В о р м с . — Грим довольно сложный. Не мне судить, старик ли я. Недавно мне исполнилось тридцать восемь.

— Я имел в виду, — нетерпеливо проговорил С а й м , — что вы совсем здоровы.

— Как сказать, — безмятежно ответил с ы щ и к . — Я склонен к простуде.

Сайм опять засмеялся, слабея от облегчения. Ему было очень смешно, что философ-паралитик оказался молодым загримированным актером. Но он смеялся бы не меньше, если бы опрокинулась перечница.

Мнимый профессор выпил пива и отер фальшивую бороду.

— Вы знали, — спросил о н , — что этот Гоголь из наших?

— Я? — переспросил С а й м . — Нет, не знал. А вы?

— Куда там! — отвечал человек, называвший себя де В о р м с о м . — Я думал, он говорит обо мне, и трясся от страха.

— А я думал, что обо мне, — радостно засмеялся С а й м . — Я все время держал на курке палец.

— И я, — сказал с ы щ и к . — И Гоголь, наверное, тоже.

— Да нас было трое! — крикнул Сайм, ударив кулаком по с т о л у . — Трое из семи, это немало. Если бы мы только знали, что нас трое!

Лицо профессора омрачилось, и он не поднял глаз.

— Нас было трое, — сказал о н . — Если бы нас было триста, мы бы и тогда ничего не сделали.

— Триста против четверых? — удивился Сайм.

— Нет, — спокойно сказал профессор. — Триста против Воскресенья.

Самое это имя сковало холодом радость. Смех замер в душе поэта-полисмена прежде, чем на его устах. Лицо незабвенного Председателя встало в памяти четко, словно цветная фотография, и он заметил разницу между ним и всеми его приверженцами. Их лица, пусть зловещие, постепенно стирались, подобно всем человеческим лицам; черты Воскресенья становились еще реальной, как будто бы оживал портрет.

Соратники помолчали; потом речь Сайма снова вскипела, как шампанское.

— Профессор,— воскликнул о н , — я больше не могу! Вы его боитесь?

Профессор поднял тяжелые веки и посмотрел на Сайма широко открытыми голубыми глазами почти неземной чистоты.

— Б о ю с ь , — кротко сказал о н . — И вы тоже.

Сайм сперва онемел, потом встал так резко, словно его оскорбили, и отшвырнул скамью.

— Да,— сказал о н , — вы правы. Я его боюсь. И потому клянусь перед Богом, что разыщу его и ударю. Пусть небо будет ему престолом, а земля—подножием, я клянусь, что его низвергну.

— Пойдите,— сказал оторопевший профессор. — Почему же?

— Потому что я его боюсь,— отвечал С а й м . — Человек не должен терпеть того, чего он боится.

Де Вормс часто мигал в тихом изумлении. Он хотел что-то сказать, но Сайм продолжал негромко, хотя и очень волнуясь:

— Кто станет поражать тех, кого не боится? Кто унижится до пошлой отваги ярмарочного борца? Кто не презрит бездушное бесстрашие дерева? Бейся с тем, кого боишься. Помните старый рассказ об английском священнике, который исповедовал на смертном одре сицилийского разбойника? Умирая, великий злодей сказал: «Я не могу заплатить тебе, отец, но дам совет на всю жизнь — бей сверху!» Так и я говорю вам, бейте сверху, если хотите паразитить звезды.

Де Вормс глядел в потолок, как ему и подобало по роли.

— Воскресенье — большая звезда , — промолвил он.

— Скоро он станет падучей звездой , — заметил Сайм, надевая шляпу с такой решительностью, что профессор неуверенно встал.

— Вы хоть знаете, что намерены делать? — в кротком изумлении спросил он.

— Да,— сказал С а й м . — Я помешаю бросить бомбу в Париже.

— А как это сделать, вам известно? — спросил профессор.

— Н е т , — так же решительно отвечал Сайм.

— Вы помните, конечно , — продолжал мнимый де Вормс, поглаживая бороду и глядя в о к н о , — что перед нашим несколько

поспешным уходом он поручил это дело маркизу и доктору Буллю. Маркиз, должно быть, плывет сейчас через Ламанш. Куда он отправится и что сделает, едва ли знает сам Председатель. Мы, во всяком случае, не знаем. Но знает доктор Булль.

— А, черт! — воскликнул Сайм. — И еще мы не знаем, где доктор.

— Нет, — отрешенно проговорил профессор, — это я знаю.

— Вы мне скажете? — жадно спросил Сайм.

— Я отведу вас туда, — сказал профессор и снял с вешалки шляпу.

Сайм глядел на него не двигаясь.

— Неужели вы пойдете со мной? — спросил он. — Неужели решитесь?

— Молодой человек, — мягко сказал профессор, — не смешно ли, что вы принимаете меня за труса? Отвечу коротко и в вашем духе. Вы думаете, что можно сразить Воскресенье. Я знаю, что это невозможно, но все-таки иду. — И, открыв дверь таверны (в залу ворвался свежий воздух), они вышли вместе на темную улицу, спускавшуюся к реке.

Почти весь снег растаял и смешался с грязью, но там и сям во мраке скорее серело, чем белело светлое пятно. Весь лабиринт проулков запрудили лужи, в которых прихотливо плясало пламя фонарей, словно внизу возникал и пропадал иной мир, тоже упавший с высот. Смешение света и мрака ошеломило Сайма, но спутник его бодро шагал к устью улочки, где огненной полосой пылала река.

— Куда вы идете? — спросил Сайм.

— Сейчас, — ответил профессор, — иду за угол. Хочу посмотреть, лег ли спать доктор Булль. Он бережет здоровье и рано ложится.

— Доктор Булль! — воскликнул Сайм. — Разве он живет за углом?

— Нет, — сказал профессор. — Он живет за рекой. Отсюда мы можем увидеть, лег ли он.

С этими словами он свернул за угол, стал лицом к мрачной, окаймленной огнями реке и указал куда-то палкой. В тумане правого берега виднелись дома, усеянные точками окон и вздымавшиеся, словно фабричные трубы, на почти немыслимую высоту. Несколько домов стояли так, что походили все вместе на многооковую Вавилонскую башню. Сайм никогда не видел небоскреба и мог сравнить эти дома лишь с теми, которые являются нам во сне.

Пока он смотрел, на самом верху испещренной огнями башни одно из окон погасло, словно черный Аргус подмигнул ему одним из своих бесчисленных глаз.

Профессор де Вормс повернулся и ударил палкой о башмак.

— Мы опоздали, — сказал он. — Аккуратный доктор лег.

— Как так? — спросил Сайм. — Значит, он живет на самом верху?

— Да, — сказал профессор. — Именно за тем окном, которого теперь не видно. Пойдемте ужинать. К нему мы отправимся с утра.

Он повел своего спутника окольными путями и вывел на шумную, светлую улицу. По-видимому, профессор хорошо знал эти места, ибо сразу юркнул в закоулок, где освещенные витрины лавок резко сменялись тьмой и тишиной, а футах в двадцати от угла стояла белая харчевня, давно нуждавшаяся в ремонте.

— Хорошие харчевни еще попадаются, как динозавры, — пояснил профессор. — Однажды я наткнулся на вполне приличный уголок в Вест-Энде.

— Должно быть, — улыбнулся Сайм, — это соответствующий уголок в Ист-Энде?

— Вот именно, — серьезно кивнул профессор и открыл дверь.

Здесь они поужинали со знанием дела, здесь и заночевали. Бобы с ветчиной, которые тут стряпали очень вкусно, старое вино, неожиданно появившееся из здешних подвалов, окончательно утешили Сайма. Он знал, что теперь у него есть друг. Самым страшным за это время было для него одиночество, а на свете нет слов, способных выразить разницу между одиночеством и дружбой. Быть может, математики правы, дважды два — четыре. Но два — не дважды один, а тысячу раз один. Вот почему, как это ни накладно, мир всегда будет возвращаться к единобрачию.

Накопец Сайм смог поведать о своих немислимых приключениях, начиная с той минуты, когда Грегори привел его в кабачок у реки. Он говорил не спеша, наслаждаясь речью, словно беседовал со старыми друзьями. Не менее словоохотлив был и тот, кто изображал профессора де Вормса; а история его была почти так же нелепа.

— Грим у вас хороший, — заметил Сайм, попивая вино, — куда лучше, чем у Гоголя. Даже в самом начале он показался мне чересчур мохнатым.

— Разные школы... — задумчиво сказал профессор. — Гоголь — идеалист. Он изобразил идеал, саму идею анархиста. Я — реалист; я — портретист. Впрочем, это неточно: я — портрет.

— Не понимаю, — сказал Сайм.

— Портрет, — повторил профессор. — Портрет знаменитого де Вормса. Если не ошибаюсь, сейчас он в Неаполе.

— Вы загримировались под него, — сказал Сайм. — Неужели он не знает, что вы используете все его внешность?

— Знать-то он знает, — весело откликнулся новый друг.

— Почему же он не обличит вас? — спросил Сайм, и профессор ответил:

— Потому что я его обличил.

— Объясните получше, — сказал Сайм.

— С удовольствием, — согласился прославленный иноземный философ, — если вы готовы слушать мой рассказ. Я актер, фамилия моя Уилкс. Когда я еще играл, я встречался с богемным да и много худшим сбродом — с отбросами скачек, с отбросами сцены, а то и с политическими эмигрантами. В одном прибежище изгнанных сновидцев меня познакомили со знаменитым немецким нигилистом, профессором де Вормсом. Теорий его я толком не понял, но вид у него был гнусный, и я к нему присмотрелся. По-видимому, он как-то доказал, что Бог — начало разрушительное, и потому призывал неустанно и неумолимо разрушать все на свете. Он прославлял силу, сам же был хромым, подслеповатым и еле двигался. Когда мы встретились, я был в ударе и он так не понравился мне, что я решил его сыграть. Будь я художником, я бы нарисовал карикатуру, но я актер и стал карикатурой сам. Гримируюсь, я думал, что безбожно искажаю его мерзкую внешность. Входя в комнату, где сидели почитатели, я ожидал, что все расхохочутся, а если зашли далеко — разозлятся. К великому моему удивлению, меня встретила почтительная тишина, сменившаяся восхищенным ропотом, лишь только я заговорил. Да, я пал жертвой своего дарования. Я играл слишком тонко, слишком хорошо, и они поверили, что перед ними — сам проповедник нигилизма. В то время я был молод, мыслил здраво и, признаюсь, очень расстроился. Не успел я опомниться, как ко мне подбежали двое или трое из самых ярких поклонников и, пылая гневом, сказали, что в соседней комнате меня тяжело оскорбляют. Я спросил, в чем дело, и обнаружил, что какой-то нахал загримировался под меня самым непотребным образом. Выпил я больше, чем следовало, и сдуру решил довести игру до конца. Когда настоящий профессор вошел в комнату, его встретили гневные крики и мой удивленный, леденящий взгляд.

Надо ли говорить, что мы сцепились? Пессимисты, кишевшие вокруг, пытливо глядели то на меня, то на него, пытаюсь определить, кто дряхлее. Выиграл, конечно, я. Большой старик не может быть такой развалиной, как молодой актер в расцвете сил. Что поделаешь, он и на самом деле еле двигался, куда уж тут играть калеку! Тогда он попробовал сразиться со мной на поприще мысли. Но я победил его простым приемом. Когда он изрекал что-нибудь такое, чего никто, кроме него, не мог понять, я отвечал то, чего не понимал и сам.

«Навряд ли вы полагаете, — сказал он, — что эволюция есть чистое отрицание, ибо ей свойственны пробелы, без которых нет различия». Я с искренним презрением возразил: «Это вы вычитали у Пинквертса! Глюмпе давно опроверг предположение, что инволюция функционирует евристически!» Незачем и говорить, что на свете никогда не было ни Пинквертса, ни Глюмпе. Как ни странно, окружающие превосходно их знали; профессор же, видя, что высокоумная загадочность отдаст его во власть не слишком

честного противника, прибегнул к более привычным видам юмора. «Что ж, — язвительно произнес он, — вы побеждаете, как мнимая свинья у Эзопа». — «А вы, — отвечал я, — погибаете, как еж у Монтеня». (Надо ли объяснять, что Монтень и не мыслил о еже?) «Ваши трюки фальшивы, — сказал он, — как ваша борода». Я не смог достойно ответить на это вполне резонное, даже меткое замечание, но громко рассмеялся, ответив наугад: «Нет, как башмаки пантеиста!» — а затем отвернулся, всем видом своим выражая триумф. Профессора выставили, впрочем, довольно мирно, хотя кто-то прилежно пытался оторвать ему нос. Теперь он слывет по всей Европе забавнейшим шарлатаном. Серьезность и гнев только прибавляют ему забавности.

— Я понимаю, — сказал Сайм, — ради шутки можно прилепить на один вечер грязную бороду. Но никак не пойму, почему вы ее не сняли.

— Подождите, — ответил актер. — Меня проводили почтительными аплодисментами, и я заковылял по темной улице, собираясь, уйдя подальше, шагать нормально. Свернув за угол, я с удивлением ощутил, что кто-то положил мне руку на плечо. Оглянувшись, я увидел огромного полисмена. Он сказал, что меня ждут. Я принял мерзейшую позу и закричал с немецким акцентом: «Да, меня ждут угнетенные всего мира! Вы хватаете меня, ибо я — прославленный анархист де Вормс!» Полисмен невозмутимо заглянул в какую-то бумажку. «Нет, сэръ, — сказал он, — не совсем так. Я задерживаю вас, ибо вы не анархист де Вормс». Такое преступление не очень тяжко, и я пошел за ним без особой тревоги, хотя и сильно удивился. Меня провели через несколько комнат к какому-то начальнику, который объяснил мне, что организуют крестовый поход против анархии и мой успешный маскарад может сильно помочь в этом деле. Он предложил мне хорошее жалованье и дал вот эту карточку. Беседовали мы недолго, но меня поразили его юмор и могучий разум, хотя я мало могу о нем сказать, потому что...

Сайм положил нож и вилку.

— Знаю, — сказал он. — Потому что вы говорили с ним в темной комнате.

Профессор де Вормс кивнул и допил вино.

Глава IX

ЧЕЛОВЕК В ОЧКАХ

— Славная штука бургундское, — горестно сказал профессор, ставя стакан.

— Глядя на вас, этого не подумаешь, — сказал Сайм. — Вы пьете его, как микстуру.

— Вы уж миритесь с моими особенностями, — попросил профессор. — Мне тоже нелегко. Меня просто распирает веселье, но я так удачно играю паралистика, что не могу остановиться. Даже среди своих, когда притворяться не надо, я мямлю и морщу лоб, словно это и правда *мой* лоб. Хочется радоваться и кричать, а выходит совсем другое. Вы бы послушали, как я говорю: «Веселей, старина!» Заплакать можно.

— Да, можно, — сказал Сайм. — Но мне кажется, сейчас вы и впрямь немного озабочены.

Профессор вздрогнул и пристально посмотрел на него.

— Однако вы умны, — сказал он. — Приятно работать с таким человеком. Да, я озабочен. Надо разрешить нелегкую задачу. — И он опустил на ладони лысое чело.

Немного погодя он тихо спросил:

— Вы играете на рояле?

— Да, — удивленно ответил Сайм. — Говорят, у меня хорошее туше.

Профессор не отвечал, и он осведомился:

— Как, легче вам?

Профессор долго молчал и наконец изрек из темной пещеры ладоней:

— Наверное, вы неплохо печатаете на машинке.

— Спасибо, — сказал Сайм. — Вы мне льстите.

— Слушайте меня, — сказал актер, — и запомните, с кем мы завтра увидимся. То, что мы намерены сделать, гораздо опасней, чем украсть королевские бриллианты. Мы попытаемся похитить тайну у очень хитрого, очень сильного и очень дурного человека. Я думаю, на свете нет — кроме Председателя, конечно, — такого страшного и непостижимого создания, как этот ухмыляющийся субъект в очках. Вероятно, он не знает той восторженной жажды смерти, того безумного мученичества ради анархии, которым терзается Секретарь. Но в фанатизме Понедельника есть что-то человеческое, трогательное, и это многое искупает. Доктор же груб и нормален, а это гораздо гнуснее, чем болезненная взвинченность. Заметили, какой он живучий и крепкий? Он подскакивает, как мячик. Поверьте, Воскресенье не дремал (дремлет ли он вообще?), когда поместил все планы преступления в круглую черную голову доктора Булля.

— И вы думаете, — вставил Сайм, — что это чудовище смягчится, если я сыграю ему на рояле?

— Не валяйте дурака, — отозвался его наставник. — Я упомянул о пианистах, потому что у них ловкие, подвижные пальцы. Сайм, если вы хотите, чтобы мы остались живы после этой беседы, надо пользоваться сигналами, которых этот мерзавец не поймет. Я изобрел простенький шифр для пяти пальцев. Вот смотрите, — и он пробарабанил по столу «ПЛОХО». — Да, именно «плохо». Слово это понадобится нам не раз.

Сайм налил себе еще вина и начал изучать шифр. Он был

умен и ловок, легко решал загадки, легко делал фокусы и быстро научился передавать простые сообщения, как бы невзначай постукивая по столу или по колену. Вино и приятное общество всегда вдохновляли его, и профессору вскоре пришлось бороться с его неумемной фантазией. Проходя через разгоряченный мозг Сайма, новый язык неудержимо разрастался.

— Нам нужны ключевые слова,— серьезно говорил Сайм. — И такие, заметьте, которые передают тончайшие оттенки смысла. Мое любимое слово «соименный». А ваше?

— Перестаньте дурачиться,— молил профессор. — Вы поймите, это очень серьезно.

— Или «разнотравье»,— задумчиво продолжал Сайм. — Очень хорошее слово.

— Вы думаете,— сердито спросил профессор, — что нам придется беседовать с ним о траве?

— Можно подойти к предмету с разных сторон, — сказал Сайм, — и невзначай ввести это слово. Например: «Доктор Булль, вы мятежник и помните, конечно, что тиран когда-то посоветовал нам есть траву. И впрямь, многие из нас, глядя на буйное разнотравье...»

— Вы понимаете,— перебил профессор, — что все это очень страшно?

— Прекрасно понимаю,— отвечал Сайм. — Если вам страшно, будьте смешным. Что же еще остается? Мне бы хотелось обогатить ваш язык. Нельзя ли изъясняться и пальцами ног? Правда, пришлось бы разуться во время беседы, а как ты скромно это ни делай...

— Сайм,— просто и сурово сказал профессор, — ложитесь спать!

Однако Сайм еще долго сидел на постели, осваивая новый шифр. Проснулся он, когда восток был еще затянут мраком, и увидел, что у изголовья, словно призрак, стоит его седебородый друг.

Он присел на кровати, часто мигая; потом медленно собрался с мыслями и встал. Почему-то он ощутил, что радость и уют прошлого вечера безвозвратно исчезли и он снова погружается в холодный воздух опасности. Спутнику своему он был верен и доверял по-прежнему; но то была верность двух людей, идущих на эшафот.

— Ну вот! — сказал он с напускной веселостью, надевая брюки. — Мне снилась ваша азбука. Долго вы ее составляли?

Профессор молчал, глядя перед собой, и глаза его были такого же цвета, как зимнее море.

— Вы долго над ней возились? — снова спросил Сайм. — Говорят, я способен к языкам, а пришлось зубрить битый час. Неужели вы ее сразу выдумали?

Профессор не отвечал, глаза его были широко открыты, на губах застыла улыбка.

— Как долго вы занимались? — еще раз спросил Сайм.

Профессор не шелохнулся.

— Черт вас побери, можете вы ответить? — крикнул Сайм, скрывая злостью страх.

Неизвестно, мог профессор ответить или нет, но он не ответил.

Сайм уставился на безжизненное, как пергамент, лицо и чистые светлые глаза. Сперва он решил, что спутник его помешался; вторая мысль была еще ужасней. В конце концов, что он знает о странном человеке, которого принял за друга? Очень немного: человек этот завтракал с анархистами и рассказал ему нелепую басню. Вероятно ли, чтобы там, на балконе, оказался еще один из своих? Быть может, теперь профессор объявил войну? Быть может, неподвижно глядя вдаль, над ним глумится троекратный предатель, совершивший последнее предательство? Сайм стоял, прислушиваясь к неумолимой тишине, и ему казалось, что динамитчики тихо крадутся по коридору, чтобы схватить его.

Тут он случайно взглянул вниз и расхохотался. Профессор стоял неподвижно, как статуя, но пять немых пальцев живо плясали на мертвом столе. Сайм проследил их мельканье и прочел слова:

«Буду говорить только так. Надо тренироваться».

«Ладно, — весело пробарабанило он. — Идемте завтракать».

Они молча взяли шляпы и трости, но, когда Сайм брал свою трость, он стиснул ее в руке.

Остановились на несколько минут, чтобы выпить кофе с толстыми сэндвичами в уличной кофейне, и поспешили на другой берег реки, унылой, как Ахерон, в светлевшем сером рассвете. Дойдя до высокого дома, который они вчера видели через реку, они медленно пошли по голым бесконечным ступенькам, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекинуться фразой-другой, барабанив по перилам. На пустых площадках были окна, и между этажами в каждое окно глядела бледная, скорбная заря, медленно и мучительно поднимавшаяся над Лондоном. Виделись шиферные крыши, подобные свинцовым валам серого моря, встревоженного дождем. Сайм ощущал все сильнее, что в его новую жизнь входит дух холодной рассудительности, куда более страшной, чем былые безумные приключения. Вчера вечером, например, высокий дом показался ему башней из страшного сна. Теперь, когда он устало поднимался по нескончаемой лестнице, его смущало и подавляло, что ей нет конца, но то был не ужас сна или заблуждения. Лестница напоминала скорее о математической бесконечности, невообразимой, но необходимой, или о пугающих расстояниях между звездами, известных нам от астрономов. Он поднимался в обиталище рассудка, который безобразней безумия.

Когда они достигли площадки, на которой жил доктор Булль, в последнее окно глядел ярко-белый рассвет, обрамлен-

ный багровыми тучами, больше похожими на красную глину, чем на алые облака. Когда же они вошли в пустую мансарду, она была залита солнцем.

Сайм пытался вспомнить что-то из истории, связанное с этими голыми стенами и суровым рассветом. Когда он увидел мансарду и доктора Булля у стола, он понял, что ему мерещится французская революция. На белом и красном фоне мрачного утра могла бы чернеть гильотина. Доктор в белой рубашке и черных брюках, со стриженными черными волосами мог сойти за Марата или за небрежного Робеспьера, еще не надевшего парик.

Однако стоило взглянуть на него, как эти образы исчезали. Якобинцы были идеалистами; доктора отличал какой-то убийственный материализм. В резком утреннем свете, падавшем сбоку, он был и бледнее, и угловатей, чем на балконе гостиницы. Черные очки, прикрывавшие его глаза, еще сильнее походили на черные глазницы черепа. Если смерти доводилось сидеть за письменным столом, это была она.

Доктор поднял глаза и весело улыбнулся, потом вскочил с той упругой прытью, о которой говорил профессор. Придвинув им стулья, он подошел к вешалке, надел жилет и темный сюртук, аккуратно застегнулся и возвратился к столу.

Спокойное добродушие его действий обезоружило противников, и профессору не сразу удалось нарушить молчание.

— Сожалею, что пришлось так рано вас побеспокоить, — начал он, тщательно подражая манерам и слогу де Вормса. — Несомненно, вы уже распорядились насчет парижского покушения? — И прибавил с невыносимой медлительностью: — Мы получили сведения, которые требуют немедленных и неотложных действий.

Доктор Булля улыбался и молча глядел на них.

— Пожалуйста, — продолжал профессор, останавливаясь перед каждым словом, — не считите меня чрезмерно торопливым, но я советую вам изменить планы или же, если мы опоздали, немедленно следовать за товарищем Средою. С нами обоими случились некоторые происшествия, рассказывать о которых неуместно, если мы с вами не пожелаем воспользоваться... э-э... обретенным опытом. Тем не менее я готов изложить их, рискуя потерять время, ибо это поистине необходимо для уразумения задачи, которую нам предстоит разрешить.

Он сплетал словеса все медленней и нуднее, надеясь, что Булля выйдет из себя, а значит — хоть как-то себя выдаст. Но маленький доктор сидел и улыбался, никак не откликаясь на эту речь. Сайм страдал все сильнее. Улыбка и молчание доктора нимало не походили на застывший взгляд и страшное безмолвие, которым полчас назад его испугал профессор. Сайм вспоминал о былых страхах, как о детском ужасе перед чудищем. Грим и повадки де Вормса были нелепы, как пугало. Теперь же, при

дневном свете, перед ними сидел здоровый, крепкий человек, ничуть не странный, если не считать безобразных очков, благодушно улыбался и не говорил ни слова. Вынести это было невозможно. Свет становился все ярче, и разные мелочи — скажем, покрой костюма или румяные щеки — обретали ту преувеличенную важность, какая выпадает на их долю в реалистическом романе. Между тем улыбка была приятна, голова любезно клонилась набок, только молчание казалось поистине жутким.

— Как я уже с к а з а л, — снова начал профессор, словно продвигаясь сквозь зыбучие п е с к и, — случай, приведший нас сюда, чтобы осведомиться о маркизе, может показаться вам недостойным подробного изложения. Но так как непосредственно в нем замешан не я, а товарищ Сайм, мне представляется...

Слова его тянулись, как литания, но длинные пальцы отбивали быструю дробь по деревянному столу. «Продолжайте, — разобрал С а й м, — этот бес высосал меня досуха».

— Да, это было с о м н о й, — начал Сайм, импровизируя вдохновенно, как всегда в минуту опасности. — Мне удалось разговаривать с сыщиком, из-за шляпы он принял меня за порядочного человека. Я пригласил его в ресторан и напоил. Напившись, он размяк и прямо сказал мне, что дня через два они собираются арестовать маркиза в Париже. Если ни вам, ни мне не удастся его перехватить...

Доктор дружелюбно улыбался, его скрытые глаза были по-прежнему непроницаемы. Профессор пробарабанил, что может продолжать, и начал с таким же натужным спокойствием:

— Сайм немедленно явился ко мне, и мы поспешили к вам, чтобы узнать, не склонны ли вы воспользоваться нашими сведениями. Мне представляется, что необходимо как можно скорее...

Все это время Сайм глядел на доктора так же пристально, как доктор на профессора, но не улыбался. Соратники едва держались под гнетом недвижимого дружелюбия, как вдруг поэт порядка небрежно пробарабанил по краю стола: «А у меня мысль!»

Профессор, не умолкая, ответил: «Дело ваше».

«Поразительная», — уточнил Сайм.

«Могу себе представить», — ответил профессор.

«Заметьте, — напомнил С а й м, — я поэт».

«Точнее, мертвец», — парировал профессор.

Лицо у Сайма стало алым, ярче волос, глаза сверкали. Как он и сказал, на него снизошло вдохновение, возвышенное и легкое. Он снова пробарабанил другу:

«Вы и не представляете, как прекрасна моя догадка! Что-то такое бывает в начале весны...» — и принялся изучать ответ.

«Идите к ч е р т у», — отвечал профессор и окончательно погрузился в медленное плетение словес.

«Скажу иначе, — барабанил С а й м. — Догадка моя подобна дуновению моря среди раннего разнотравья».

Профессор не отвечал.

«Нет, все не то,— сообщил Сайм, — она хороша и надежна, как пламенные кудри прекрасной женщины».

Профессор продолжал свою речь, когда его прервал странный возглас. Сайм склонился над столом и крикнул:

— Доктор Булль!

Тот все так же улыбался, голова его не дрогнула, но глаза под очками несомненно метнулись к Сайму.

— Доктор Булль,— четко и вежливо сказал Сайм, — не окажете ли мне небольшую услугу? Не будете ли вы любезны снять очки?

Профессор быстро обернулся и воззрился на друга, застыв от яростного изумления. Сайм перегнулся вперед, словно бросил все на карту; лицо его пылало. Доктор не шевельнулся.

Несколько секунд царило мертвое молчание, только гудок гудел где-то на Темзе. Потом доктор Булль, улыбаясь, медленно встал и снял очки.

Сайм вскочил с места и отступил на шаг, как читающий лекцию химик при удачном взрыве. Глаза его сияли, словно звезды, палец указывал на Булля. Говорить он не мог.

Вскочил и профессор, забыв о параличе, и смотрел на доктора так, словно тот внезапно превратился в жабу. Надо сказать, превращение его было ничуть не менее удивительно.

Перед сыщиками сидел молодой человек, почти мальчик, с бесхитростными карими глазами и веселым открытым лицом, просто дышавший добродетелью, едва ли не мещанской. Костюм его был прост и безкусен, как у лондонского клерка. Он улыбался, но то была первая улыбка младенца.

— Вот видите, я поэт! — воскликнул Сайм в неподдельном волнении. — Я знал, что чутье мое непогрешимо, как папа римский. Все дело в очках! Из-за этих мерзких черных дисков и здоровье, и бодрость, и улыбка просто пугали, словно доктор — живой бес среди бесов мертвых.

— Несомненно, перемена разительна, — проговорил профессор, — но что до планов доктора Булля...

— К черту планы! — кричал Сайм. — Да посмотрите вы на него! Смотрите на его лицо, на его воротничок, на его благословенные ботинки! И это, по-вашему, анархист?

— Сайм! — возопил профессор.

— А, Богом клянусь! — сказал Сайм. — Возьму риск на себя. Доктор Булль, я полицейский. Прошу, — и он швырнул на письменный стол голубую карточку.

Профессор боялся, что все погубло, но остался верным другом: он вынул карточку и, дрожа, положил ее рядом. Тогда третий из собравшихся засмеялся, и впервые за это утро они услышали его голос.

— Вот это славно, что вы так рано пришли! — живо, как школьник, сказал он. — Теперь мы поедем во Францию. Конечно,

я служу в полиции, — и он небрежно щелкнул карточкой, как бы для проформы.

Лихо нахлобучив котелок и снова надев бесовские очки, доктор так быстро двинулся к двери, что гости послушно пошли за ним. Сайм был немного рассеян; переступив через порог, он звонко стукнул палкой по каменному полу.

— Господи милостивый! — крикнул он. — Значит, в этом проклятом Совете больше сыщиков, чем злодеев!

— Да, мы могли схватиться с ними, — сказал доктор Булль. — Нас было четверо против троих.

Профессор, уже спускавшийся по лестнице, отозвался снизу:

— Нет, нас было не четверо против троих, далеко нам до такого счастья. Нас было четверо против одного.

И они молча дошли до низа.

Молодой человек по фамилии Булль с присущей ему прохладушной учтивостью настоял на том, чтобы пропустить гостей вперед, но, выйдя на улицу, тут же опередил их и бодро поспешил к справочной вокзала, переговариваясь со спутниками через плечо.

— А хорошо, когда есть приятели, — говорил он. — Я чуть не умер со страха, пока был один. Честное слово, еще немного, и я бы бросился на шею Гоголю, и зря, конечно. Надеюсь, вы не презираете меня за то, что я струсил?

— Трусил и я, — сказал Сайм, — словно за мной гнались все бесы, какие только есть. Но худшим из них были вы в этих очках...

Молодой человек залился радостным смехом.

— А правда, ловкая штука? — сказал он. — Какая простая мысль — впрочем, не моя, куда мне! Понимаете, я мечтал служить в полиции и как раз в этом отделе, против динамитчиков. Значит, надо было притвориться анархистом, а все ручались, что это у меня не выйдет. Все твердили, что даже походка у меня честная и сзади я похож на свод законов. Как меня только не называли в Скотланд-Ярде! И я слишком здоровый, и я слишком веселый, и приветливый, и достойный... В общем, будь я злодеем, я бы сделал блестящую карьеру, так я приличен с виду, но раз уж я, на свою беду, человек приличный, за злодея мне никак не сойти, полиции не помочь. Наконец привели меня к какому-то старому тузу, он у них занимал большой пост. Умный был человек! Другие болтали Бог знает что. Кто советовал отрастить бороду, чтобы скрыть улыбку, кто — вычернить лицо, чтобы сойти за негра, но тот старикан дал самый неожиданный совет. «Наденьте ему черные очки, и все. Сейчас он похож то ли на клерка, то ли на ангела. Наденьте очки, и дети будут визжать от страха». Честное слово, так и вышло. Когда я скрыл глаза, все прочее — улыбка, широкие плечи, короткие волосы — стало страшным, как у беса. Да, штука простая, все чудеса просты, но

не это главное чудо. Когда я вспоминаю о самом удивительном, у меня голова кружится.

— Что же это такое? — спросил Сайм.

— А вот что, — отвечал доктор. — Тот полицейский, который про меня все знал и придумал эти очки, никогда меня не видел!

Сайм взглянул на него, глаза его сверкнули.

— Как же так? — сказал поэт. — Кажется, вы с ним говорили?

— Говорил, — весело откликнулся врач, — но комната была темная, как погреб. Что, не угадали бы?

— Никогда бы и в голову не пришло, — сказал Сайм.

— И впрямь оригинальная мысль, — поддержал его профессор.

Новый союзник оказался на удивление деловитым. Быстро и ловко узнав в справочной, какие поезда идут в Дувр, он запахал спутников в кеб, а потом сел с ними в вагон, прежде чем они уразумели, что происходит. Беседа толком возобновилась лишь на палубе, по пути в Кале.

— Я знал, что буду обедать во Франции, — пояснил доктор. — Но я так рад, что со мною будете вы. Понимаете, мне пришлось снарядить эту скотину с бомбой. Председатель следил за мной, хотя Бог его знает, как он ухитрялся. Когда-нибудь я вам все расскажу. Просто ужас какой-то! Только я попытаюсь увильнуть, откуда ни возьмись является он. Идешь мимо клуба, а он улыбается из окошка. Переходишь улицу — раскланивается с империаля. Нет, честное слово, он продается черту. Он может быть сразу в шести местах.

— Значит, вы снарядили маркиза в путь, — сказал профессор. — Давно это было? Успеем мы его перехватить?

— Да, — отвечал Булль. — Я все рассчитал. Мы застанем его в Кале.

— Хорошо, перехватим, — сказал профессор. — Но что мы с ним будем делать?

Доктор Булль впервые растерялся, но подумал немного и сказал:

— Должно быть, нам надо позвать полицию.

— Только не мне, — сказал Сайм. — Лучше сразу утопиться. Я обещал одному бедняге, настоящему пессимисту, дал ему честное слово. Не хочу заниматься казуистикой, но нынешнего пессимиста я обмануть не могу. Это все равно что обмануть ребенка.

— Вот так же и я, — сказал профессор. — Я хотел пойти в полицию и не мог, я ведь тоже дал глупый обет. В бытность актером я много грешил, но одного все же не делал — не изменял, не предавал. Если я это сделаю, я перестану различать добро и зло.

— Я это все понимаю, — сказал доктор Булль. — Я тоже не могу, мне жаль Секретаря. Ну, этого, с кривой улыбкой. Друзья

мои, он страшно страдает. Желудок ли виной, или нервы, или совесть, или взгляд на вещи, только он проклят, он живет в аду. Я не могу выдать и ловить такого человека. Разве можно сечь прокаженного? Наверное, я рехнулся, но не могу, и все тут.

— Не думаю, чтобы вы рехнулись,— сказал Сайм. — Я знал, что вы именно такой, с тех пор...

— Да? — спросил доктор.

— С тех пор,— закончил Сайм,— как вы сняли очки.

Доктор улыбнулся и прошел по палубе посмотреть на залитое солнцем море. Потом он вернулся, беззаботно притоптывая, и трое спутников помолчали, сочувствуя друг другу.

— Что же,— сказал Сайм,— по-видимому, мы одинаково понимаем нравственность, а если хотите — безнравственность. Значит, надо принять то, что из этого следует.

— Да,— согласился профессор,— вы совершенно правы. Поторопимся же, я вижу мыс на берегу Франции.

— Следует же из этого,— сказал Сайм,— что мы одиноки на земле. Гоголь исчез Бог знает куда; быть может, Воскресенье раздавил его, как муху. В Совете нас трое против троих: мы — как римляне на мосту. Но нам хуже, чем им, потому что они могли позвать своих, а мы не можем, и еще потому...

— ...потому,— закончил профессор,— что один из троих не человек.

Сайм кивнул, помолчал и начал снова:

— Мысль у меня такая. Надо задержать маркиза в Кале до завтрашнего полудня. Я перебрал проектов двадцать. Донести на него мы не можем; не можем и подвести под арест под пустым предлогом, потому что нам пришлось бы выступать в суде, а он знает нас и поймет, что дело нечисто. Можно задержать его как бы по делам Совета, он поверит многому в этом роде, но не тому, что надо сидеть в Кале, когда царь спокойно ходит по Парижу. Можно похитить его и запереть, но это вряд ли удастся, его здесь знают. У него много верных друзей, да и сам он храбр и силен.. Что же, воспользуемся этими самыми качествами. Воспользуемся тем, что он храбр, и тем, что он дворянин, и тем, что у него много друзей в высшем обществе.

— Что вы несете? — спросил профессор.

— Саймы впервые упоминаются в четырнадцатом веке,— продолжал поэт порядка,— по преданию, один из них сражался при Беннокберне, рядом с Брюсом. Начиная с тысяча триста пятидесятого года генеалогическое древо неоспоримо.

— Он помешался,— сказал доктор, в изумлении глядя на него.

— Наш герб,— невозмутимо продолжал Сайм,— серебряная перевязь в червленом поле и три андреевских креста. Девиз меняется.

Профессор схватил его за лацканы.

— Мы причаливаем,— сказал он . — Что это с вами? Морская болезнь или неуместная шутливость?

— Замечания мои до неприличия практичны, — неспешно отвечал Сайм . — Род Сент-Эсташ тоже древний. Маркиз не может отрицать, что он дворянин; не может отрицать, что и я дворянин. А чтобы подчеркнуть мой социальный статус, я при первом же случае собою с него шляпу. Вот мы и у пристани.

В некотором изумлении они сошли на опаленный солнцем берег. Сайм, перенявший теперь у Булля роль вожака, повел их вдоль набережной к осенним зеленым, глядящим на море кофейням. Шагал он дерзко и тростью размахивал как шпагой. По-видимому, он направлялся к последней кофейне, но вдруг остановился и резким мановением затянутой в перчатку руки оборвал беседу, указывая на столик среди цветущих кустов. За столиком сидел Сент-Эсташ. На лиловом фоне моря сверкали ослепительные зубы, темнело смелое лицо, затененное светло-желтой соломенной шляпой.

Глава X ПОЕДИНОК

Сайм с друзьями сел за другой столик (его голубые глаза сверкали, как море неподалеку) и с радостным нетерпением заказал бутылку вина. Он и раньше был неестественно оживлен, и настроение его все поднималось по мере того, как опускалось вино в бутылке. Через полчаса он порол немыслимую чепуху. Собственно, он составлял план предстоящей беседы со зловещим маркизом, поспешно записывая карандашом вопросы и ответы. План этот был построен наподобие катехизиса.

— Я подхожу,— с невероятной быстротой сообщал Сайм . — Пока он не снял шляпы, снимаю свою. Я говорю: «Маркиз де Сент-Эсташ, если не ошибаюсь?» Он говорит: «Полагаю, прославленный мистер Сайм?» Я говорю: «О да, самый Сайм!» Он говорит на безупречном французском языке: «Как поживаете?» Я отвечаю на безупречном лондонском...

— Ой, хватит! — воскликнул человек в очках . — Придите в себя и бросьте эту бумажку. Что вы собираетесь делать?

— Такой был хороший разговорник... — жалобно сказал Сайм . — Дайте мне его дочитать. В нем всего сорок три вопроса и ответа. Некоторые ответы маркиза поразительно остроумны. Я справедлив к врагу.

— Какой во всем этом толк? — спросил изнемогающий доктор.

— Я подвожу маркиза к дуэли,— радостно пояснил Сайм . — После тридцать девятого ответа, гласящего...

— А вы не подумали, — весело и просто спросил профессор, — что маркиз может все сорок три раза ответить иначе? Тогда, мне кажется, ваши реплики будут несколько натянутыми.

Сайм ударил кулаком по столу, лицо его сияло.

— И верно! — согласился он. — Ах, в голову не пришло! Вы удивительно умны, профессор. Непременно прославитесь!

— А вы совсем пьяны, — сказал доктор Буль.

— Что ж, — невозмутимо продолжал Сайм, — придется иначе разбить лед, разрешите мне так выразиться, между мною и человеком, которого я хочу прикончить. Если, как вы проницательно заметили, один из участников беседы не может предсказать ее, придется этому участнику взять всю беседу на себя. Так я и сделаю! — И он внезапно встал, а ветер взметнул его светлые волосы.

Где-то за деревьями, на открытой сцене играл оркестр, и певица только что кончила свою арию. Звон меди показался взволнованному Сайму звоном и звяканьем шарманки на Лейстерсквер, под музыку которой он однажды встал, чтобы встретить смерть. Он взглянул на столик, за которым сидел маркиз. Сидели там и двое степенных французов в сюртуках и цилиндрах, а один из них — и с красной ленточкой Почетного легиона. Очевидно, то были люди солидные и почтенные. Рядом с корректными трубами цилиндров маркиз в вольнодумной панаме и светлой весенней паре казался богемным и даже пошловатым, но все же глядел маркизом. Мало того — он глядел монархом; что-то царственное было и в звериной его небрежности, и в пламенном взоре, и в гордой голове, темневшей на светлом пурпуре волн. Однако то был не христианский король, а смуглолицый деспот, то ли греческий, то ли азиатский, из тех, что в прошлые дни, когда рабство казалось естественным, смотрели сверху на Средиземное море, на галеры и на стонущих рабов. Точно таким, думал Сайм, было бронзово-золотое лицо тирана рядом с темной зеленью оливок и плачущей синевой.

— Ну, — сердито спросил профессор, глядя на неподвижного Сайма, — намерены вы обратиться к собранию?

Сайм осушил последний стакан искрящегося вина.

— Намерен, — сказал он, указывая на маркиза и его друзей. — Это собрание мне не нравится. Я сейчас дерну собрание за его большой медно-красный нос.

И он быстро, хотя и не вполне твердо, подошел к маркизу. Увидев его, маркиз удивленно поднял черные ассирийские брови, но вежливо улынулся.

— Мистер Сайм, если не ошибаюсь? — сказал он.

Сайм поклонился.

— А вы маркиз де Сент-Эташ, — произнес он с немалым изяществом. — Разрешите дернуть вас за нос?

Чтобы сделать это, он наклонился, но маркиз отскочил,

опрокинул кресло, а люди в цилиндрах схватили Сайма за плечи.

— Он меня оскорбил! — крикнул Сайм, красноречиво взмахнув рукой.

— Оскорбил вас? — удивился господин с красной ленточкой. — Когда же?

— Да вот сейчас, — бестрепетно ответил Сайм. — Он оскорбил мою матушку.

— Вашу матушку? — недоверчиво переспросил француз.

— Ну, тетушку, — уступил Сайм.

— Каким образом мог маркиз ее оскорбить? — спросил второй француз с понятным удивлением. — Он все время сидел здесь.

— Но что он говорил? — туманно изрек Сайм.

— Я ничего не говорил, — сказал маркиз. — Разве что насчет оркестра. Я люблю, когда хорошо играют Вагнера.

— Это намек, — твердо сказал Сайм. — Моя тетя плохо играла Вагнера. Нас вечно этим попрекают.

— Все это очень странно, — заметил господин с ленточкой, в недоумении глядя на маркиза.

— Уверю вас, — настаивал Сайм, — ваш разговор кишел намеками на слабости моей тетушки.

— Вздор! — воскликнул маркиз. — Я за полчаса только и сказал, что эта брюнетка хорошо поет.

— То-то и оно! — гневно отозвался Сайм. — Моя тетушка была рыжей.

— Мне кажется, — сказал француз без ордена, — вы просто хотите оскорбить маркиза.

— Честное слово, — обрадовался Сайм, круто повернувшись к нему, — вы неглупый человек!

Маркиз вскочил. Глаза его горели, как у тигра.

— Со мной ищут ссоры! — вскричал он. — Со мной ищут поединка! За чем же дело? Долго его искать не приходилось никому. Господа, не согласитесь ли вы быть моими секундантами? До вечера еще часа четыре. Можем драться сегодня.

Сайм отвесил вполне изящный поклон.

— Маркиз, — сказал он, — ваш поступок достоин вашей славы и вашего рода. Позвольте мне посоветоваться с теми, в чьи руки я предаю свою судьбу.

Он в три шага вернулся к спутникам, и те, видевшие его вдохновленный шампанским вызов и слышавшие идиотские реплики, сильно удивились. Теперь он был трезв, хотя и слегка бледен, и речь его дышала пылкой деловитостью.

— Ну вот, — тихо и хрипло сказал он. — Я навязал этой скотине дуэль. Слушайте внимательно, времени у нас мало. Вы мои секунданты, и все должно исходить от вас. Стойте на том, чтобы дуэль состоялась завтра, после семи утра. Только тогда я помешаю ему поспеть к парижскому поезду, который проходит здесь в семь

сорок пять. Если он пропустит поезд, он пропустит и убийство. В такой пустячной просьбе он вам отказать не сможет. Но вот что он сделает: он выберет поляну поближе к станции, чтобы все же вскочить в вагон. Фехтует он хорошо и понадеется на то, что успеет убить меня. Однако и я недурно фехтую и постараюсь задержать его, пока не пройдет поезд. Тогда, наверное, он убьет меня, чтобы утешиться. Поняли? Превосходно. А теперь позвольте мне представить вас моим достойнейшим друзьям, — и, быстро подведя их к столу маркиза, он назвал две чрезвычайно аристократические фамилии, которых ни доктор, ни профессор в жизни своей не слышали.

Время от времени у Сайма бывали приступы здравого смысла, отнюдь не присущего ему. Как сказал он (когда речь шла об очках), его охватило вдохновение, а оно доходило порой до высот пророчества.

В данном случае он угадал тактику противника. Когда секунданты уведомили маркиза, что Сайм может встретиться с ним только утром, тот сообразил, конечно, что между ним и его смертоносной миссией встало неожиданное препятствие. Объяснить он этого не мог и сделал именно то, что предсказал Сайм. Он велел секундантам найти небольшую лужайку почти у самого пути и положился на роковой исход первых своих выпадов.

Когда он с полным хладнокровием явился на поле чести, никто бы не понял, что он торопится. Руки он держал в карманах, шляпу сдвинул на затылок, красивое лицо нагло золотилось на солнце. Но постороннему человеку могло бы показаться странным, что кроме секундантов, несущих шпаги, его сопровождало и двое слуг, несущих саквояж и корзину с едой.

Несмотря на ранний час все купалось в теплых лучах солнца, и Сайм удивился, заметив, как много весенних цветов горят серебром и золотом в высокой траве, доходившей почти до колен.

Кроме маркиза, все были одеты мрачно и торжественно; цилиндры напоминали трубы, а маленький доктор в темных очках казался гробовщиком из фарса. Сайм поневоле ощущал, как смешно и нелепо это похоронное шествие на светлой лужайке, усеянной полевыми цветами. Но, конечно, комический контраст между светлыми цветами и черной шляпой был лишь символом трагического контраста между светлыми цветами и черным делом. Справа виднелся лесок; далеко налево уходил изгиб железной дороги, которую Сайм охранял от маркиза, норовившего туда сбежать. Впереди, за черными силуэтами противников, над смутной линией моря, он мог различить миндальный куст в цвету, похожий на яркое облачко.

Кавалер Почетного легиона, который звался полковником Дюкруа, с величайшей учтивостью приблизился к профессору и Булло и предложил драться лишь до первой крови.

Однако доктор Булль, хорошо подготовленный Саймом, с большим достоинством, хотя и с отвратительным акцентом

ответил, что сражение должно продолжаться до тех пор, пока один из дуэлянтов не будет выведен из строя. Сайм рассчитал, что не изувечит маркиза и не даст маркизу изувечить себя в продолжение двадцати минут. За двадцать минут парижский поезд успеет уйти.

— Для такого искусного и мужественного фехтовальщика, как маркиз, — важно сказал профессор, — подобные мелочи должны быть безразличны, а наш доверитель имеет веские причины требовать более продолжительного поединка. Щекотливость этих причин не позволяет мне открыть их, но за справедливость их и благородство я...

— Черт! — воскликнул маркиз, и лицо его омрачилось. — Хватит болтать, начнем... — И он снес тростью головку высокого цветка.

Сайм понял его неучитивое нетерпение и глянул через плечо, нет ли поезда. Но на горизонте еще не было дыма.

Полковник Дюкруа опустился на колени, открыл футляр и достал две одинаковые шпаги, клинки которых сверкнули на солнце лучами белого огня. Одну он подал маркизу, без церемоний схватившему ее, другую Сайму, который бережно ее принял, согнул и взвесил на руке со всей медлительностью, какую допускала честь. Затем полковник достал еще две шпаги, для себя и для доктора Булля, и начал размещать противников.

Дуэлянты сбросили сюртуки и жилеты и встали на места со шпагами в руках. Секунданты застыли по сторонам, тоже со шпагами, все такие же мрачные, в черных сюртуках и шляпах. Маркиз и Сайм салютовали друг другу, полковник спокойно сказал: «Engage!»¹ и клинки со звоном скрестились.

Когда трепет скрестившихся шпаг пробежал по руке Сайма, все странные страхи, о которых мы поведали, покинули его, как покидают сны по пробуждении. Теперь он видел в каждом из них лишь игру нервов: страх перед профессором был страхом перед своеволием кошмара, страх перед доктором — страхом перед безвоздушной пустотой науки. Сперва он отдался древнему страху перед чудом, потом — безнадежному нынешнему страху перед тем, что чудес не бывает. Но когда возник реальный страх смерти во всей его грубой, беспощадной простоте, Сайм понял, что прежние страхи были пустыми фантазиями. Он чувствовал себя как человек, которому снилось, что он падает в пропасть, а поутру, проснувшись, он понял, что его ждет виселица. Едва он увидел отблеск солнца на неприятельской шпаге, едва ощутил, что скрестились стальные клинки, трепетавшие словно живые, он понял, что противник его — грозный боец, а для него, должно быть, пришел смертный час.

Он ощутил беспредельную ценность земли и травы под

¹ Начнем! (*фр.*)

ногами, преисполнился любовью к жизни и ко всему живому. Казалось, он слышал, как растет трава; ощущал, как растут и раскрываются цветы, алые, синие, ярко-золотые, словно весенний праздник. И всякий раз, когда его взор отрывался на миг от спокойных, уверенных, властных глаз маркиза, он видел миндальный куст на горизонте. Если он каким-то чудом спасется, думал он, хорошо бы всю жизнь просидеть у этого куста, ни о чем не помышляя.

Земля и небо являли ему живую красоту утраты, но другая половина его сознания была ясна, как стекло, и он парировал удары с механически точным блеском, на который едва ли счел бы себя способным. Однажды острие шпаги скользнуло по его запястью, оставив полоску крови, но он не заметил или не пожелал заметить ее. Иногда нападал и он, и раза два ему показалось, что шпага попала в цель, но, не видя крови ни на клинке, ни на рубашке маркиза, он решил, что ошибся. Потом все изменилось.

Рискуя все потерять в единый миг, маркиз оторвал упорный взгляд от Сайма и быстро взглянул через правое плечо на железную дорогу. Когда он повернулся к противнику, лицо его было лицом беса, и биться он стал так, словно в руке у него оказалось двадцать клинков. Выпады следовали один за другим с такой быстротой и яростью, что шпага обратилась в дождь сверкающих стрел. Сайм не мог взглянуть на железную дорогу; но и не хотел. Причина боевого иступления была ему ясна — показался парижский поезд.

Между тем маркиз превзошел самого себя. Сайм дважды отбил его удары, а в третий раз сделал выпад так быстро, что не сомневался в успехе. Шпага согнулась под упором тяжелого тела, и поэт был уверен, что вонзил клинок в неприятеля, как уверен садовник, что воткнул в землю лопату. Тем не менее маркиз отскочил назад не пошатнувшись, а Сайм как дурак воззрился на свою шпагу. Крови на ней не было.

На миг наступила тяжкая тишина, и Сайм, пожираемый любопытством, перешел в атаку. Маркиз, вероятно, фехтовал лучше, чем он, но сейчас почему-то растерялся и утратил свое превосходство. Он дрался рассеянно и даже слабо, то и дело оглядываясь на железную дорогу, словно боялся поезда больше, чем клинка. Сайм же сражался свирепо, но хладнокровно, страстно стремясь понять, почему на шпаге нет крови. Теперь он целился не столько в туловище, сколько в шею и в голову. Минуты полторы спустя он ощутил, что лезвие вонзилось прямо под челюстью — и вышло обратно чистым. Почти теряя рассудок, он снова нанес удар, который должен был оставить хотя бы след, хотя бы царапину на щеке; но следа не оказалось.

На миг небо снова заволокли сверхъестественные ужасы. Сайм понял, что противник его заколдован. Новый, суеверный страх был много ужаснее простой нелепицы, чьим символом был

быстроногий паралитик. Профессор казался гномом, маркиз — бесом, быть может — самим Сатанюю. Как бы то ни было, человеческое оружие трижды вонзилось в него, не оставив следа. Когда Сайм подумал об этом, все лучшее, что было в нем, громко запело, как ветер поет в деревьях. Он вспомнил об истинно человеческом в своей эпопее — о китайских фонариках Шафранного парка, о рыжей девушке в саду, о честных, налитых пивом матросах в портовом кабаке, о верных товарищах, стоящих рядом с ним.

«Что ж, — сказал он себе, — я выше беса, я человек. Я могу умереть», — и в тот же миг, как это слово прозвучало в его сознании, раздался слабый, отдаленный гудок, которому предстояло стать ревом парижского поезда.

Сайм снова бросился на врага со сверхъестественной беспечностью, словно мусульманин, жаждущий рая. По мере того как поезд подходил все ближе и ближе, ему чудилось, что там, в Париже, воздвигают цветочные арки и сам он сливается со звоном и блеском великой республики, врата которой оборонял от ада. Мысли его воспаряли все выше, поезд грохотал все громче, пока грохот не сменился гордым и пронзительным свистом. Поезд остановился.

Внезапно, ко всеобщему удивлению, маркиз отпрянул назад и отбросил шпагу. Скачок был тем более поразителен, что Сайм как раз перед тем вонзил клинок ему в бедро.

— Остановитесь! — властно сказал аристократ. — Я должен вам кое-что сообщить.

— В чем дело? — удивленно спросил полковник Дюкруа. — Что-нибудь не так?

— Еще бы! — сказал заметно побледневший доктор Буль. — Наш доверитель ранил маркиза по крайней мере четыре раза, а тот невредим.

Маркиз поднял руку с каким-то грозным терпением.

— Позвольте мне сказать, — вымолвил он. — Это довольно важно. Мистер Сайм, — и он повернулся к противнику, — если память мне не изменяет, мы сражаемся из-за того, что вы пожелали дернуть меня за нос, а я счел это неразумным. Сделайте одолжение, дергайте как можно скорее. Я очень спешу.

— Это против правил, — с негодованием сказал доктор Буль.

— Действительно, так нельзя, — согласился полковник, с тревогой поглядывая на маркиза. — Был, правда, случай (капитан Бельгар и барон Цумпт), когда противники во время поединка обменялись шпагами. Но едва ли можно назвать нос оружием...

— Будете вы дергать меня за нос? — в отчаянии воскликнул маркиз. — Ну, мистер Сайм! Давайте дергайте! Вы и не знаете, как это для меня важно. Не будьте эгоистом, тащите, когда вас просят! — и он наклонился вперед, любезно улыбаясь.

Парижский поезд, пыхтя и хрипя, подошел к полустанку за ближним холмом.

Саймом овладело чувство, не раз посещавшее его во время этих приключений, — ему показалось, что грозная волна, взметнувшись до самого неба, ринулась вниз. Почти не понимая, что делает, он шагнул вперед и ухватил римский нос загадочного вельможи. Когда он дернул, нос остался у него в руке.

Он постоял, с дурацкой торжественностью держа картонный хобот. Солнце, облака и лесистые холмы глядели сверху на эту глупейшую сцену.

Молчание нарушил маркиз.

— Кому нужна моя левая бровь? — громко и бодро сказал он. — Пожалуйста, прошу. Полковник Дюкруа, не желаете ли? Хорошая вещь, всегда может пригодиться. — И, степенно оторвав одну из ассирийских бровей вместе с частью смуглого лба, он вежливо преподнес ее онемевшему и побагровевшему полковнику.

— Если бы я знал, — забормотал тот, — что помогаю трусу, который подкладывает вату перед дуэлью...

— Ладно, ладно! — сказал маркиз, бесшабашно разбрасывая по лужайке части своего тела. — Вы заблуждаетесь, но я не могу сейчас объяснять. Понимаете, поезд подошел к станции.

— Да, — гневно вымолвил доктор Булль, — и он отойдет от станции. Он уйдет без вас. Мы знаем, какое адское дело...

Таинственный маркиз в отчаянии воздел руки. На ярком солнце, с содранной половиной лица, он казался истинным пугалом.

— Я из-за вас с ума сойду! — крикнул он. — Поезд...

— Вы не уедете этим поездом, — твердо сказал Сайм и сжал рукоять шпаги.

Немыслимая физиономия повернулась к нему. По-видимому, маркиз собрал последние силы.

— Кретин, дурак, оболтус, остолоп, идиот, безмозглая репа, — быстро сказал он. — Сытая морда, белобрысая образина, недо...

— Вы не уедете этим поездом, — повторил Сайм.

— А какого черта, — взревел маркиз, — ехать мне этим поездом?

— Мы все знаем, — строго сказал профессор. — Вы едете в Париж, чтобы бросить бомбу.

— Нет, я не могу! — закричал маркиз, без труда вырывая ключьями волосы. — Что вы все, слабоумные? Неужели не поняли, кто я? Неужели вы серьезно думаете, что я хотел попасть на этот поезд? Да пускай в Париж проедет хоть двадцать поездов! Ну их к черту!

— Чего же вы хотите? — спросил профессор.

— Чего хочу? — переспросил маркиз. — Да сбежать от поезда! А теперь, Богом клянусь, он меня поймал!

— К сожалению,— смущенно сказал Сайм, — я ничего не понимаю. Если бы вы удалили остатки вашего первого лба и подбородка, я бы понял лучше. Многое может прояснить разум... Что вы имеете в виду? Как так поймал? Быть может, это лишь поэтическая фантазия — все же я поэт, — но мне кажется, что ваши слова что-то значат.

— Они немало значат,— сказал маркиз. — Но что там, все кончено! Теперь мы в руках Воскресенья.

— Мы!..— повторил ошеломленный профессор. — Что вы имеете в виду?

— Полицию, разумеется, — ответил маркиз, срывая скальп и пол-лица.

Вынырнувшая наружу голова оказалась русой и прилизанной, что весьма распространено среди английских полисменов; лицо было очень бледно.

— Я инспектор Рэтклиф, — до грубости поспешно сказал бывший маркиз. — Мое имя достаточно известно в полиции, к которой, полагаю, принадлежите и вы. Но если кто-нибудь сомневается... — и он стал извлекать из кармана голубую карточку.

Профессор утомленно махнул рукой.

— Ах, не показывайте! — сказал он. — У нас их столько, хоть разыгрывай в лотерею...

Человек, именуемый Буллем, как и многие люди, отличающиеся с виду бойкой вульгарностью, нередко проявлял истинный такт. Сейчас он спас положение. Прервав необычайную сцену, он выступил вперед со всей степенностью секунданта.

— Господа, — обратился он к секундантам недавнего противника, — мы приносим вам серьезные извинения. Могу вас заверить, что вы не сделали жертвами низкопробной шутки и ничем не запятнали свою честь. Ваше время не пропало даром: вы помогали спасать мир. Мы не шуты. Мы почти без надежды сражаемся со страшным заговором. Тайное общество анархистов травит нас, как зайцев. Я говорю не о несчастных безумцах, бросающих бомбу с голоду или от немецкой философии, а о богатой, могущественной и фанатической церкви, исповедующей восточное отчаяние. Она считает своей святой обязанностью истребить людей, как гадов. О том, как она теснит нас, вы можете заключить хотя бы из того, что мы пускаемся на нелепейшие переодевания и выходы, подобные той, от которой вы сейчас пострадали.

Младший секундант, невысокий толстяк с черными усами, вежливо поклонился и сказал:

— Разумеется, я принимаю ваши извинения, но и вы извините меня, если я не стану вникать в ваши дела и откланяюсь. Не каждый день увидишь, как твой почтенный соотечественник разбирается на части, и с меня вполне достаточно. Полковник, я не вправе влиять на ваши поступки, но если и вы полагаете, что

окружающее нас общество не совсем нормально, едемте обратно в город.

Полковник Дюкруа машинально шагнул вслед за ним, яростно дернул себя за белый ус и воскликнул:

— Нет, я останусь! Если эти господа и впрямь скрестили шпаги с такими негодяями, я буду с ними до конца. Я сражался за Францию. Сражусь и за цивилизацию.

Доктор Булль снял котелок и замахал им, как на митинге.

— Не шумите, — остановил его инспектор Рэтклиф, — вас услышит Воскресенье.

— Воскресенье! — воскликнул Булль, и котелок его упал в траву.

— Да, — кивнул Рэтклиф. — Наверное, он с ними.

— С кем? — спросил Сайм.

— С пассажирами этого поезда, — ответил инспектор.

— Какая чушь!.. — начал Сайм. — Да прежде всего... Боже мой, — воскликнул он, словно увидел взрыв вдалеке. — Боже мой! Если это правда, все наше сборище было против анархии. Все как один — сыщики, кроме Председателя и его личного Секретаря. Что же это такое?

— Что это такое? — повторил Рэтклиф с неожиданной силой. — Это конец. Разве вы не знаете Воскресенья? Шутки его так чудовищны и так просты, что никогда никому не придут в голову. Вот уж поистине в его духе всунуть всех своих главных врагов в Совет анархистов! Да он подкупил каждый трест, каждый телеграф, каждую железнодорожную линию, особенно эту! — и он указал дрожащим пальцем на маленькую станцию. — Все движение направлял он, полмира готово идти за ним. Осталось, быть может, ровно пять человек, способных ему противиться, и он, мерзавец, ткнул их в Совет, чтобы они ловили не его, а друг друга. Ах мы идиоты! Он сам и замыслил наши идиотства. Он знал, что профессор будет гнаться за Саймом в Лондоне, а Сайм будет драться со мной во Франции. Он сосредоточивал капиталы, захватывал телеграфные линии, пока пятеро дураков гонялись друг за другом, как дети, играющие в жмурки.

— И что же? — не утратив упорства, спросил Сайм.

— А то, — с внезапным спокойствием ответил бывший маркиз, — что он изловил нас, пока мы играли в жмурки на этой прекрасной, простой, пустынной поляне. Должно быть, он завладел всем светом, кроме нее и собравшихся на ней олухов. И если вы хотите знать, чем плох этот поезд, я вам скажу. Поезд плох тем, что из него в эту самую минуту вышел Воскресенье или его Секретарь.

Сайм невольно вскрикнул, и все повернулись к станции. Несомненно, к ним двигалось довольно много народу, но разглядеть лица было еще нелегко.

— Покойный маркиз де Сент-Эташ, — сказал полицейский, доставая кожаный футляр, — всегда носил при себе бинокль. Ли-

бо Председатель, либо Секретарь идет на нас с этой толпой. Они настигли нас в укромном месте, где мы при всем желании не сможем нарушить наши клятвы и обратиться к полиции. Доктор Булль, я подозреваю, что бинокль поможет вам больше, чем ваши убедительные окуляры.

Он вручил бинокль доктору, который тут же снял очки.

— Не будем заранее бить тревогу,— сказал профессор. — Правда, народу там немало, но это, наверное, простые туристы.

— Носят ли простые туристы черные полумаски? — спросил доктор Булль, глядя в бинокль.

Сайм вырвал у него бинокль и посмотрел на пассажиров парижского поезда. Большинство из них выглядело вполне заурядно, но двое или трое впереди были в черных масках, спуставшихся почти до самых губ. Это сильно меняло лицо, особенно на расстоянии, и Сайм никого не узнавал, видя только выбритые подбородки. Но вот, разговаривая, все улыбнулись, и один улыбнулся наискосок.

Глава XI

ПРЕСТУПНИКИ ГОНЯТСЯ ЗА ПОЛИЦИЕЙ

Сайм опустил бинокль. Ему стало много легче.

— Что ж, хоть Председателя с ними нет, — сказал он, отирая лоб.

— Они еще далеко, — сказал полковник, не вполне пришедший в себя после поспешных, хотя и учтивых объяснений доктора Булля. — Как же вы различите своего Председателя в такой толпе?

— Как бы я различил белого слона? — не без раздражения сказал Сайм. — Да, они далеко, но если бы он был с ними... Господи, земля бы тряслась!

Помолчав немного, инспектор Рэтклиф сказал с мрачной решимостью:

— Конечно, его нет. Лучше бы он с ними был. Наверное, он с триумфом въезжает в Париж или сидит на соборе святого Павла, точнее — на его развалинах.

— Это нелепо! — сказал Сайм. — Не спорю, что-нибудь да случилось, пока нас не было, но не мог же он единым махом покорить мир. Действительно, — добавил он, хмуро глядя на поля у маленькой станции, — действительно, сюда идет толпа, но не такая уж большая, не войско.

— О, эти! — пренебрежительно отмахнулся новоявленный сыщик. — Да, их не очень много. Стоит ли тратить на них? Скажу откровенно, мы не так уж важны, мой друг, в мире Воскресенья. Телеграф и железные дороги он захва-

тил сам. А перебить Центральный Совет — просто пустяк, как опустить открытку. Это сделает и Секретарь. — И он плюнул в траву. Потом, повернувшись к спутникам, не без суровости добавил: — Можно многое сказать в защиту смерти. Но если вы предпочитаете другой вариант, искренне советую, идите за мной.

С этими словами он повернулся и молча зашагал к лесу. Остальные оглянулись и увидели, что темная туча, отделившись от станции, в поразительном порядке идет через луг. Уже и без бинокля можно было различить на лицах черные пятна полумасок. Недолго думая, они тоже повернулись и последовали за своим вожаком, исчезнувшим в мерцании леса.

На лугу пекло и пылало солнце, и, нырнув в лес, они радостно удивились прохладе, словно пловцы, нырнувшие в пруд. Свет дробился, тени дрожали, лес казался трепещущей завесой, как экран в кино. Узоры светотени плясали, и Сайм едва различая своих спутников. То чья-нибудь голова загоралась рембрандтовским светом, то возникали ярко-белые руки и темный, как у негра, нос. Бывший маркиз низко нахлобучил шляпу, и тень полей разделяла его лицо черной полумаской. Недоумение, томившее Сайма, становилось все тяжелее. В маске ли он? В маске ли кто-нибудь вообще? Кто из них кто? Волшебный лес, где лица становились то черными, то белыми, где очертания расплывались в свете и таяли во тьме, этот хаос светотени, сменивший четкую яркость солнечного дня, представлялся Сайму символом того мира, в котором он жил последние трое суток, — мира, в котором люди снимали бороды, очки и носы, превращаясь в кого-то другого. Трагическая вера, горевшая в его сердце, когда он счел маркиза бесом, почему-то исчезла, когда он увидел в нем друга. После всех этих превращений он плохо понимал, что такое друг, что — недруг. Существует ли вообще что-нибудь, кроме того, что кажется? Маркиз снял нос и стал сыщиком. А вдруг он снимет голову и станет лешим? Быть может, жизнь подобна неверному лесному миру, пляске света и тени. Все мелькает, все внезапно меняется, все исчезает. В сбрызнутом солнцем лесу Гэбриел Сайм нашел то, что нередко находили там нынешние художники. Он нашел импрессионизм — так называют теперь предельное сомнение, когда мир уже не стоит ни на чем.

Как человек, видящий дурной сон, старается крикнуть и проснуться, Сайм постарался отогнать последнюю, худшую из своих фантазий. Нетерпеливо нагнав того, кого научился звать Рэтклифом, он громко и бодро нарушил бездонное молчание.

— Скажите, — спросил он, — куда же мы идем?

Сомнения его были так сильны, что он обрадовался, услышав обычный человеческий голос.

— Нам надо добраться до моря, — ответил Рэтклиф, — через городок Ланси. Мне кажется, в этой местности навряд ли перейдут на их сторону.

— Ну что вы! — воскликнул Сайм. — Не мог он поработить весь мир. Я уверен, что среди рабочих не так уж много анархистов, а если бы и много, простая толпа не может разбить полицию и солдат.

— Толпа! — повторил инспектор и гневно фыркнул. — При чем тут простой народ, при чем тут рабочие? Вечно эта идиотская идея! Неужели вы считаете, что анархия придет от бедных? Откуда вы это взяли? Бедные бывают мятежниками, но не бывают анархистами. Кому-кому, а им нужна мало-мальски приличная власть. Они вросли корнями в свою страну. А богатые — нет. Богач может уплыть на яхте в Новую Гвинею. Бедные иногда бунтовали против плохих властей, богатые всегда бунтовали против всяких. Аристократы издавна были анархистами, вспомните мятежных баронов.

— Прекрасная лекция для малолетних, — сказал Сайм, — но я не пойму, к чему вы клоните.

— Клоню я к тому, — отвечал Рэтклиф, — что помогают Воскресенью миллионеры из Южной Африки и Северной Америки. Вот почему он завладел дорогами и телеграфом. Вот почему последние воины из полиции, вставшей против анархии, бегают по лесу, как зайцы.

— Миллионеры, это понятно, — задумчиво сказал Сайм. — Они почти все спятили. Но одно дело совратить нескольких скверных стариков, совсем другое — совратить великие христианские нации. Я нос дам на отсечение (не сочтите за намек), что Председатель не сможет совратить обычного, здравомыслящего человека.

— Смотря какого, — сказал инспектор.

— Хотя бы этого! — воскликнул Сайм, указывая прямо перед собой. — Такого не совратишь, — и он указал куда-то пальцем.

Они уже вышли на залитую солнцем просеку, знаменовавшую для Сайма возвращение здравого смысла. Посреди нее стоял человек, с почти пугающей полнотой воплощавший этот здравый смысл. Грузный крестьянин, пропеченный солнцем, рубил дерево. Рубаха его пропотела, лицо и вся фигура дышали той беспредельной важностью, которую обретают люди, выполняющие день за днем сотни мелких и необходимых дел. Повозка, наполовину нагруженная дровами, стояла в нескольких шагах; лошадь, щипавшая траву, была отважна, но не отчаянна, как и ее хозяин; она была, как и хозяин, благополучна и невесела. Дровосек, нормандец — немного повыше, чем обычный француз, и почти квадратный, — темнел в прямоугольнике света, словно аллегория труда на золотом фоне.

— Сайм говорит,— крикнул Рэтклиф полковнику, — что вот этот человек никогда не станет анархистом.

— На сей раз мсье Сайм совершенно прав, — смеясь, ответил полковник, — ведь этому человеку есть что отстаивать. Я забыл, что у себя на родине вы не привыкли встречать крестьян с достатком.

— Вид у него бедный, — заметил доктор Буль.

— Вот именно, — ответил полковник. — Потому он и богат.

— У меня мысль! — внезапно воскликнул доктор. — Сколько он возьмет за то, чтобы нас подвезти? Эти мерзавцы движутся пешком, мы живо бы от них ушли.

— Ах, дайте ему сколько запросит! — нетерпеливо подхватил Сайм. — У меня уйма денег.

— Так не годится,— возразил полковник. — Он не станет уважать вас, если вы не поторгуетесь.

— Нам некогда торговаться... — с досадой сказал Буль.

— Он торгуется, потому что он свободен, — сказал француз. — Поймите, он не оценит вашей щедрости. Ему не нужны чаевые.

Пришлось топтаться на месте, пока французский полковник обменивался с французским крестьянином неторопливыми шутками базарного дня. Однако всего минут через пять они убедились, что полковник прав, ибо дровосек принял их предложение не с равнодушной угодливостью хорошо оплаченного наемника, а с серьезностью адвоката, получившего должный гонорар. Он сказал, что лучше всего пробраться к маленькой харчевне в холмах над Ланси, хозяйн которой, старый солдат, ударившийся на старости лет в благочестие, поможет им и даже не пожалеет ради них жизни. Беглецы влезли на груды дров, и тряская повозка двинулась вниз по другому, крутому склону. Как ни тяжела и громоздка она была, двигалась она быстро, и вскоре всех воодушевила отрадная вера, что им удастся уйти от таинственных преследователей. Никто так и не знал, откуда анархисты раздобыли столько сторонников; по-видимому, люди срывались с места при одном взгляде на кривую улыбку Секретаря. Сайм время от времени глядел через плечо на преследующую их армию.

По мере того как лес, отдаляясь, становился реже и ниже, Сайм видел сзади над собой залитый солнцем склон, по которому, словно гигантский жук, ползла темная толпа. Солнце светило ярко, видел Сайм прекрасно и различал отдельные фигуры, но все больше удивлялся тому, что движутся они, как один человек. Одеты все были обычно, по-городскому — в темных костюмах и шляпах; но в отличие от уличных толп эта толпа на расплывалась, не рассыпалась, не распалась на отдельные группы. Она двигалась грозно и неумолимо, словно армия зрячих автоматов.

Сайм сказал об этом Рэтклифу.

— Да,— кивнул инспектор, — это дисциплина, это Воскресенье. Быть может, он за пятьсот миль, но страх перед ним — всегда с ними, как страх Божий. Маршируют они по правилам, и говорят по правилам, и думают. Но, что много важнее для нас, по всем правилам оптики исчезают вдаль.

Кивнул и Сайм. Черная толпа и впрямь становилась все меньше по мере того, как крестьянин погонял лошадь.

Залитая солнцем земля была здесь плоской, но за лесом, уступами, круто спускалась к морю, напоминая холмы Сассекса. Разница лишь в том, что сассекская дорога извилиста и прихотлива, как ручей, а белая французская дорога водопадом срывалась вниз. Повозка загромычала на крутизне, и через несколько минут, когда склон стал еще круче, беглецам открылись маленькая бухта и синяя дуга моря. Туча преследователей меж тем исчезла за холмами.

Лошадь лихо свернула за купу вязов, едва не задев мордой старика, сидевшего на скамье под вывеской «Le Soleil d'Or»¹. Возница что-то пробурчал, видимо прося прощения, и слез на землю. Путники тоже слезли один за другим и поздоровались со стариком, судя по радушию его — хозяином харчевни.

Он был седовлас, седоус и румян, как яблоко; такие простодушные люди с несколько сонным взором нередко встречаются во Франции, еще чаще — в южной Германии. И трубка его, и кружка пива, и цветы, и пчельник дышали покоем былых времен, но, войдя в дом, путники увидели на стене саблю.

Полковник поздоровался с трактирщиком, как со старым приятелем, прошел в дом, сел за стол и — вероятно, как всегда — что-то заказал. Воинская точность его действий заинтересовала Сайма; когда трактирщик вышел, он решил удовлетворить свое любопытство.

— Простите, полковник,— тихо спросил он, — почему мы зашли сюда?

Полковник Дюкруа усмехнулся, и усмешка пропала в его седых усах.

— По двум причинам, мсье,— отвечал он. — Первой я назову менее важную, но более практичную. Мы зашли сюда потому, что только здесь имеются лошади.

— Лошади? — повторил Сайм.

— Да,— сказал француз. — Если вы хотите уйти от врага, вам нужны лошади. Насколько я понимаю, вы не припасли ни велосипедов, ни мотора.

— Куда вы советуете ехать? — нерешительно спросил Сайм.

— В жандармерию, куда ж еще,— сказал полковник. — Она по ту сторону Ланси. Мой друг, чьим секундантом я был при довольно странных обстоятельствах, преувеличивает

¹ «Золотое солнце» (фр.).

опасность, всеобщего восстания быть не может, но даже он, полагаю, согласится, что среди жандармов вам будет спокойнее.

Сайм серьезно кивнул, потом спросил:

— А вторая причина?

— Вторая причина та,— степенно отвечал полковник, — что недурно повидать хорошего человека, когда стоишь перед лицом смерти.

Сайм взглянул на стену и увидел грубую и трогательную религиозную гравюру.

— Да,— сказал он.— Вы правы. — И почти сразу добавил: — Распорядился кто-нибудь насчет лошадей?

— Не беспокойтесь,— сказал полковник. — Я распорядился, как только вошел. Ваши враги не особенно торопливы, но двигались они быстро, как настоящая армия. Я и не думал, что у анархистов такая дисциплина. Нельзя терять ни минуты.

Почти в тот же миг вошел синеглазый седой трактирщик и доложил, что пять коней оседланы.

По совету полковника все захватили вина и еды, не забыли и шпаги — другого оружия не было, и понеслись по крутой белой дороге. Слуг, которые несли багаж инспектора в бытность его маркизом, решили оставить в харчевне, чему они не противились, намереваясь выпить вина.

Послеполуденное солнце уже светило наискось, и в его лучах Сайм видел трактирщика, становившегося все меньше, но упорно глядевшего им вслед. Серебряные волосы сверкали на солнце, и Сайм никак не мог отделаться от суеверной мысли, что это и впрямь последний хороший человек, которого он встретил на земле.

Он еще видел серый силуэт, осененный белым светом, когда на зелени крутого склона появилось черное пятно. Полчище черных людей, словно туча саранчи, нависло над добрым старцем и его домом. Коней оседлали вовремя.

Глава XII

ЗЕМЛЯ В АНАРХИИ

Дорога была неровной, но, пустив коней галопом, всадники вырвались далеко вперед, и вскоре первые здания предместья заслонили от них врага. Однако скакать до города пришлось еще довольно долго, и, когда они его достигли, запад уже сиял теплыми красками заката. Пока они ехали через город, полковник предложил по дороге в жандармерию приобрести еще одного небезопасного союзника.

— Из пяти здешних богачей,— сказал он, — четверо просто мошенники. Думаю, именно такой процент повсюду. Пятый

же — мой добрый знакомый и превосходный человек; а что еще важнее для нас, у него есть автомобиль.

— Боюсь, — с незлобивой насмешкой сказал профессор, оглядываясь на белую дорогу, где каждый миг могло появиться черное ползучее пятно, — боюсь, что сейчас не время для визитов.

— Доктор Ренар живет в трех минутах отсюда, — ответил полковник.

— Опасность — меньше чем в двух, — сказал доктор Булль.

— У него есть автомобиль, — повторил полковник.

— Он может его не дать, — сказал Булль.

— Непременно даст, — сказал полковник. — Он поймет нас.

— Мы можем не застать его, — настаивал доктор.

— Молчите! — крикнул Сайм. — Что это?

Они замерли на миг, словно конные статуи, — и на два, на три, на четыре мига замерли небо и земля. Потом, мучительно вслушиваясь, различили вдали на дороге тот неописуемый топот и трепет, который означает лишь одно — скачут кони.

Лицо полковника резко изменилось, словно молния поразила его и оставила живым.

— Ну что ж! — сказал он насмешливо и коротко, как истинный воин. — Готовьтесь встретить кавалерию.

— Где они достали коней? — спросил Сайм.

Полковник помолчал и глухо ответил:

— Я выражался точно, когда сказал, что, кроме той таверны, лошадей нет на двадцать миль в округе.

— Не верю! — упрямо сказал Сайм. — Не может быть. Вспомните его серебряные волосы!

— Должно быть, его принудили, — мягко сказал полковник. — Их не меньше ста. Они сильны. Потому и нужно захватить к моему другу Ренару.

С этими словами он свернул за угол и помчался так быстро, что и на полном скаку все едва поспевали за развевающимся хвостом его лошади.

Доктор Ренар обитал в высоком удобном доме, на самом верху крутой улочки, и когда всадники спешили к его дверям, им снова открылись зеленая гряда холмов и белая дорога над городскими крышами. Увидев, что дорога пуста, они перевели дух и позвонили в дверь.

Русобородый хозяин оказался приветливым и радушным. Он был образцом того молчаливого, но чрезвычайно делового сословия, которое сохранилось во Франции даже лучше, чем в Англии. Когда ему объяснили суть дела, он посмеялся над бывшим маркизом, утверждая с весомым французским скепсисом, что общее восстание анархистов совершенно невымыслимо.

— Анархия! — сказал он, пожимая плечами. — Что за ребячество...

— Et ça ¹,— крикнул полковник, — et ça, по-вашему, ребячество?

Беглецы оглянулись и увидели изогнутое пятно. Кавалерия неслась по круче стремительно, как войско Аттилы. При всей своей быстроте ряды двигались строго, и маски на лицах первых всадников чернели ровной полосой. Да, черное пятно не изменилось, хотя и двигалось быстрее, но все же одно различие было, и различие поразительное. На склоне холма, как на карте, положенной наклонно, всадники держались вместе; но один из них мчался впереди так быстро, словно убегал от погони. Он размахивал руками, понукая коня, и вид его был настолько дик, что даже издали в нем признали Понедельника.

— Жалею, что придется прервать такую глубокую беседу, — сказал полковник. — Не можете ли вы одолжить мне свой автомобиль?

— Должно быть, вы не в себе, — заметил доктор Ренар, добродушно улыбаясь. — Но безумие дружбе не помеха. Идемте в гараж.

Доктор Ренар был тихого нрава, но невероятно богат; комнаты его напоминали музей, в гараже стояли три автомобиля. Однако вкусы у него были простые, как у всех французов среднего класса, автомобилем он пользовался редко, и когда нетерпеливые беглецы ворвалась в гараж, им пришлось повозиться, чтобы определить, исправен ли хоть один мотор. Потом они не без труда выкатили автомобиль на улицу и, выйдя из полутемного гаража, с удивлением увидели, что быстро, словно в тропиках, стемнело. Либо они провозились дольше, чем думали, либо над городом собрался сплошной навес облаков. Над морем, в конце крутой улочки, поднимался легкий туман.

— Поспешим,— сказал доктор Бульль. — Я слышу топот коной.

— Нет,— поправил его профессор, — вы слышите топот коня.

Так оно и было; по камням, все ближе и ближе, скакала не кавалькада, а тот, кто намного ее опередил, — безумный Секретарь.

У родителей Сайма, как у многих сторонников опрощения, был автомобиль, и он умел его водить. Вскочив на шоферское сиденье, он принялся колдовать над отвыкшими от употребления рукоятками; лицо его пылало. Нажав на что-то со всею силой, он подождал и спокойно сказал:

— Боюсь, ничего не выйдет.

Пока он говорил, из-за угла вылетел всадник, прямой и стремительный как стрела. Улыбка его была такой странной, словно он вывихнул челюсть. Подлетев к неподвижному автомобилю, где сидели все беглецы, он положил руку на кузов. Это и вправду

¹ А это? (*фр.*)

был Секретарь, улыбавшийся в радости победы безумной, но уже не кривой улыбкой.

Сайм лихорадочно повернул руль. Все было тихо, только вдали скакали кони остальных преследователей. Вдруг лязгая и громокая, автомобиль сорвался с места, выхватив Секретаря из седла, как вынимают клинок из ножен, протащил шагов двадцать и оставил распластанным на мостовой. Когда мотор величаво заворачивал за угол, беглецы успели увидеть, как анархисты поднимают своего вождя.

— Не могу понять, почему так стемнело, — тихо сказал профессор.

— Должно быть, гроза идет, — ответил доктор Булль. — А знаете, жалко, что у нас нет фонаря.

— Фонарь у нас есть, — сказал полковник и выудил снизу тяжелый резной фонарь, в котором стояла свеча. Фонарь был дорогой, старинный и, может быть, висел когда-то в храме, ибо одно из цветных стекол пересекал грубый крест.

— Где вы его раздобыли? — спросил профессор.

— Там же, где автомобиль, — сказал полковник. — У своего друга. Пока мсье Сайм возился с мотором, я подбежал к открытым дверям, у которых стоял Ренар. Кажется, я спросил: «Фонарь достать некогда?» Он благодушно замигал и оглядел красивые своды передней. С потолка спускался на цепях фонарь тончайшей работы, одно из бесчисленных сокровищ его домашней сокровищницы. Доктор рванул его, вырвал, повредив при этом роспись и свалив с размаху две драгоценные вазы, и вручил мне, а я отнес сюда. Прав ли я был, когда советовал заглянуть к Ренару?

— Правы, — сказал Сайм и повесил тяжелый фонарь на ветровое стекло. Современный автомобиль со странным священным светильником мог показаться аллегорией их испытаний.

Поначалу они ехали пустынными улицами, и редкие пешеходы не давали возможности судить, дружелюбны или враждебны к ним здешние жители. Потом в домах стали загораться огни, все больше напоминая о милости и уюте. Доктор Булль повернулся к инспектору, который стал их главою, и улыбнулся, как обычно, простой, приветливой улыбкой.

— С огнями как-то веселей, — сказал он.

Инспектор Рэтклиф нахмурил брови.

— Меня веселят только одни огни, — сказал он. — Вон те, в жандармерии. Я их уже вижу. Дай Бог, чтобы мы оказались там минут через десять!

Здравомыслие и надежда, преисполнявшие Булля, бурно вырвались наружу.

— Какая чушь! — воскликнул он. — Если вы верите, что обычные люди в обычных домах могут стать анархистами, вы сами безумней анархиста. Случись нам вступить в бой, весь город будет за нас.

— Нет,— отвечал Рэтклиф с неколебимой простотой. — Весь город был бы за них. Сейчас увидим.

Пока он говорил, профессор в немалом волнении наклонился вперед.

— Что это за шум? — спросил он.

— Должно быть, кони,— сказал полковник. — Я думал, они совсем отстали.

— Кони? — сказал профессор. — Нет, это не кони, и они не сзади.

Он еще говорил, когда впереди что-то дважды мелькнуло. Как ни молниеносно было это движение, беглецы разглядели, что же мелькнуло перед ними. Бледный профессор вскочил и принялся убеждать, что автомобили принадлежат Ренару.

— Это его моторы, — повторял он, обводя спутников безумным взглядом. — Там люди в масках.

— Чепуха! — гневно воскликнул полковник. — Доктор Ренар не даст им своих машин.

— Должно быть, его принудили, — спокойно сказал Рэтклиф. — Город на их стороне.

— Вы все еще в это верите, — сказал полковник.

— Скоро поверите и вы, — с безнадежным спокойствием сказал сыщик.

Наступило нелегкое молчание, затем полковник отрывисто проговорил:

— Нет, не поверю. Какой вздор! Простодушные жители мирного французского городка...

Шум оглушил его, у самых глаз вспыхнул свет. Автомобиль успел проскочить, сзади поднялся белый дымок, и Сайм услышал, что мимо просвистела пуля.

— Господи! — воскликнул полковник. — В нас кто-то стреляет.

— Зачем же прекращать разговор? — заметил мрачный Рэтклиф. — Продолжайте, полковник. Помнится, вы говорили о простодушных жителях мирного городка.

Полковник давно перестал ощущать насмешку. Он тревожно оглядывал улицу.

— Поразительно, — приговаривал он. — Нет, поразительно.

— Придирчивый человек,— сказал Сайм, — мог бы назвать это неприятным. Как бы то ни было, вон те огни — окна жандармерии. Скоро мы будем там.

— Нет,— сказал инспектор Рэтклиф, — мы никогда там не будем.

Все это время он стоял, зорко глядя вперед. Теперь он сел и устало провел рукой по гладким волосам.

— Что вы хотите сказать? — спросил Буль.

— Я хочу сказать, что мы туда не попадем, — спокойно повторил пессимист. — Поперек улицы стоят два ряда людей, я их отсюда вижу. Город против нас, как я и предсказывал. Могу утешиться сознанием своей правоты.

Рэтклиф уселся поудобней и закурил, но спутники его повскакали с мест, глядя в конец улицы. Теперь, когда надежды пошатнулись, Сайм повел автомобиль медленней и наконец остановился на углу улочки, круто сбегавшей к морю.

Было почти темно, хотя солнце еще не село, и там, куда проникали низкие лучи, тлео горячее золото. Предзакатный свет, словно прожектор в театре, прорезал переулок узким клином, обращая автомобиль в огненную колесницу. Остальная часть переулка, особенно верх и низ, были окутаны сумраком. Наконец остроглазый Сайм горестно и негромко свистнул.

— Все верно,— сказал он. — Внизу толпа, или войско, или что-то еще...

— Если и так,— нетерпеливо сказал доктор Булль, — это что-то еще. Может — цирковая борьба, может — день рождения мэра. Да мало ли что! Я не верю и не поверю, чтобы простые, славные люди в этом славном местечке ходили с динамитом в кармане. Подвиньтесь-ка поближе, Сайм, разглядим их.

Автомобиль прополз шагов сто, и все вздрогнули, ибо доктор громко расхохотался.

— Эх вы! — вскричал он. — Что я вам говорил? Да эта толпа послушна закону, как корова. Во всяком случае, она с нами.

— Откуда вы знаете? — спросил удивленный профессор.

— Вы что, слепой? — крикнул Булль. — Смотрите, кто их ведет!

Они вгляделись, и полковник, не сразу обретя голос, воскликнул:

— Да это Ренар!

По улице бежали какие-то люди, разглядеть их никто не мог бы, но гораздо ближе, в полосе вечернего света, шествовал доктор Ренар в белой шляпе, поглаживая правой рукой темно-русую бороду. В левой он держал револьвер.

— Какой я дурак,— воскликнул полковник. — Ну конечно, он пришел помочь нам!

Доктор Булль хохотал, размахивая шпагой беспечно, словно тростью. Он выскочил на мостовую и побежал вперед, крича:

— Доктор Ренар! Доктор Ренар!

Через мгновение Сайм подумал, что глаза его безумны. Человеколюбивый Ренар не спеша поднял револьвер и дважды выстрелил в своего коллегу.

Почти в ту же секунду, когда над этой прискорбной сценой поднялось белое облачко, от сигареты циничного Рэтклифа потянулась вверх белая струйка. Как и все, он чуть-чуть побледнел, но по-прежнему улыбался. Булль, едва увернувшись от смерти, постоял посреди дороги, никак не выражая страха, потом очень медленно побрел к автомобилю. В полях его котелка были две дырки.

— Ну-с,— медленно сказал тот, кто курил сигарету, — что вы теперь думаете?

— Я думаю,— твердо сказал доктор Булль, — что лежу в постели у себя дома и скоро проснусь. А если нет, стало быть, я сижу в обложенной тюфяками палате, и диагноз у меня печальный. Если же вы хотите знать, чего я не думаю, я скажу вам. Я не думаю того, что думаете вы. Я не думаю и не подумаю, что толпа обычных людей — скопище дрянных современных мыслителей. Нет, сэр, я демократ и никогда не поверю, чтобы Воскресенье совратил хоть одного матроса или приказчика. Быть может, я безумен; но человечество в своем уме.

Сайм поглядел на него ясными голубыми глазами. Он редко позволял себе смотреть так серьезно.

— Вы очень хороший человек,— сказал он. — Вы способны верить, что нормален кто-то, а не вы. В общем, вы правы насчет людей — насчет крестьян или таких, как этот милый старый трактирщик. Но вы не правы насчет Ренара. Я заподозрил его сразу. Он рационалист, и что еще хуже, он богат. Если долг и веру уничтожат, уничтожат их богачи.

— Их уже уничтожили, — сказал инспектор и встал, сунув руки в карманы. — Бесы идут на нас.

Спутники его взглянули туда, куда устало глядел он, и увидели толпу, впереди которой яростно шагал Ренар. Борода его развевалась по ветру.

— Господа, — воскликнул полковник, выскакивая на мостовую. — Это немисливо! Должно быть, это шутка. Если бы вы знали Ренара, как я... Тогда уж назовите динамитчицей королеву Викторю! Если бы вы знали этого человека...

— Доктор Булль его неплохо узнал, — сказал Сайм.

— Нет! — крикнул полковник. — Ренар все объяснит. Он все объяснит мне.— И он шагнул вперед.

— Не спешите,— сказал инспектор. — Скоро он всем нам объяснит.

Нетерпеливый полковник уже ничего не слышал, поспешая навстречу врачу. Возбужденный Ренар поднял револьвер, но, увидев приятеля, заколебался, и полковник начал говорить, размахивая руками.

— Ничего он не добьется от этого старого язычника, — сказал Сайм. — Лучше просто прорваться сквозь них, как пуля сквозь ваш котелок. Может быть, нас убьют, но и мы перебьем их немало.

— Ой, бросьте! — вскричал доктор Булль, который стал еще простоватей, так искренна была его честность. — Наверное, их сбили с толку. Пускай полковник попробует!

— Не повернуть ли нам назад? — спросил профессор.

— Улица и, там перерезана,— сухо сказал Рэтклиф. — Мало того, я вижу наверху вашего любимца, Сайм.

Сайм быстро повернулся и увидел всадников, скачущих к ним в полумгле. Над головой первого коня блеснуло серебро шпаги, потом — серебро седины. Тогда автомобиль по-





несся вниз, к морю, словно тот, кто им правил, хотел одного — умереть.

— Что такое? — спросил профессор, хватая его за руку.

— Скатилась утренняя звезда, — ответил Сайм. Автомобиль его падающей звездой катился во мраке.

Никто не понял этих слов, но, оглянувшись, все увидели, что вниз по круче мчатся враги, а впереди, в невинном сверкании предвечернего света, скачет добрый трактирщик.

— Весь мир помешался, — сказал профессор, закрывая руками лицо.

— Нет, — с непоколебимым смирением сказал доктор Буль. — Помешался я.

— Что же мы будем делать? — спросил профессор.

— Сейчас, — с отрешенной точностью ученого ответил Сайм, — мы врежемся в фонарный столб.

Раздался грохот, и через минуту-другую четыре человека выползли из груды металла, тогда как высокий тонкий столб, стоявший у самой набережной, повис над мостовую сломанным сучком.

— Хоть что-нибудь да разбили! — слабо улыбнулся профессор. — И то утешение.

— Вы прямо анархист какой-то, — сказал Сайм, тщательно отряхиваясь.

— Как и все, — отозвался Рэтклиф.

Пока они говорили, седовласый всадник и его соратники с грохотом промчались мимо, и почти в тот же миг у самого моря закричали и задвигались люди. Сайм взял свою шпагу в зубы, сунул две чужие под мышки, еще одну сжал в левой руке, фонарь — в правой и соскочил с высокой набережной на морской берег.

Решившись действовать, прочие прыгнули вслед за ним, покидая обломки мотора и собравшуюся толпу.

— У нас остается один шанс, — сказал Сайм, вынимая клинок из рта. — Что бы ни значила эта бесовщина, жандармерия нам поможет. Туда не добраться, путь отрезан, но вон там — мол, и мы можем продержаться на нем, как Гораций на мосту. Будем его защищать, пока не подойдут жандармы. Идите за мной.

Все пошли за ним, и морской гравий скоро сменился под ногами каменными плитами. Дойдя до конца узкого мола, врезавшегося в темное бурлящее море, они ощутили, что пришел конец им и всем событиям. Тогда они остановились и повернулись лицом к городу.

Город был в смятении. Во всю длину набережной ревел и волновался темный поток людей; и даже там, где гневные лица не мелькали в свете факелов, было видно, что сами силуэты дышат общей, организованной ненавистью. Не оставалось сомнений, что люди неведомо почему отвергли наших путников.

Человека два-три, казавшиеся издали темными и маленькими, как обезьяны, прыгнули с парапета на берег. Громко крича и увязая в песке, они двинулись вперед и зашлепали по мелкой водичке. Потом прыгнули и другие — темная масса перелилась через край, словно черная патока.

Вдруг Сайм увидел, что над толпой возвышается давешний крестьянин. Он въехал в воду на повозке, размахивая топором.

— Крестьянин! — крикнул Сайм. — Они не восставали со средних веков.

— Даже если жандармы и явятся, — уныло сказал профессор, — им не одолеть такую толпу.

— Чепуха! — сердито сказал Булль. — Остались же в городе нормальные люди.

— Нет, — отвечал лишенный надежд инспектор, — скоро людей вообще не будет. Мы — последние.

— Вполне возможно, — отрешенно проговорил профессор; потом прибавил обычным своим сонным тоном: — Как там, в конце «Тупициады»?

Светить не смеют ясные огни,
Туманны ночи, беспросветны дни,
Клубится древний хаос, словно дым,
Под дуновеньем гибельным твоим,
Безвластие окутало дома
И горестную землю кроет тьма.

— Стойте!.. — воскликнул Булль. — Вот они, жандармы.

И впрямь, на фоне жандармерии, в свете окон мелькали какие-то люди. Что-то бряцало и звякало в темноте, словно кавалерийский полк готовился к походу.

— Они атакуют толпу! — воскликнул Булль то ли радостно, то ли тревожно.

— Нет, — сказал Сайм, — они строятся вдоль набережной.

— Они целятся! — кричал Булль приплясывая.

— Да, — сказал Рэтклиф, — целятся в нас.

Он еще не кончил, когда застрекотали выстрелы и пули запрыгали, словно град, на каменных плитах.

— Жандармы примкнули к ним! — закричал профессор и ударил себя по лбу.

— Я в сумасшедшем доме, — твердо сказал Булль.

После долгого молчания Рэтклиф проговорил, глядя на бурное серо-лиловое море:

— Какая разница, кто помешан, кто в своем уме? Скоро все мы умрем.

Сайм повернулся к нему и спросил:

— Значит, вы больше не надеетесь?

Рэтклиф молчал; потом спокойно ответил:

— Нет. Странно сказать, но меня не оставляет одна безумная надежда. Силы всей земли встали против нас, а я все думаю, так ли она нелепа.

— На кого вы надеетесь и на что? — спросил Сайм.

— На того, кого я не видел, — ответил инспектор, глядя на серое море.

— Я знаю, о ком вы думаете, — тихо сказал Сайм. — О человеке в темной комнате. Наверное, Воскресенье его убил.

— Наверное, — согласился тот. — Но если и так, только его одного Воскресенью было трудно убить.

— Я слышал вас, — сказал профессор, стоявший к ним спиной, — и тоже надеюсь на того, кого никогда не видел.

Сайм стоял, словно слепой, погруженный в свои раздумья. Вдруг, очнувшись, он громко крикнул:

— Где же полковник? Я думал, он с нами.

— Да, — подхватил Булль. — Господи, где полковник?

— Он пошел поговорить с Ренаром, — напомнил профессор.

— Нельзя оставлять его среди этих скотов! — вскричал Сайм. — Умрем как приличные люди, если...

— Не жалейте полковника, — болезненно усмехнулся Рэтклиф. — Ему совсем неплохо. Он...

— Нет! Нет! Нет! — бешено закричал Сайм. — Только не полковник! Никогда не поверю!

— Не поверите собственным глазам? — спросил инспектор.

Многие из толпы шли по воде, потрясая кулаками, но море было бурным и никто не мог добраться до мола. Но вот двое вступили на каменную тропу. Случайно свет фонаря осветил их. На одном была черная маска, а рот под нею дергался так, что клоч борода казался живым. У другого были белые усы. Оба о чем-то совещались.

— Да, и его не стало, — сказал профессор, садясь на камень. — Ничего больше нет, нет и меня. Я не верю собственному телу. Мне кажется, что моя рука может подняться и меня ударить.

— Когда поднимется моя рука, она ударит другого, — сказал Сайм и зашагал навстречу полковнику, с фонарем в одной руке и шпагой в другой.

Словно разрушая последнюю надежду и последние сомнения, полковник, увидев его, поднял револьвер и выстрелил. Пуля не попала в Сайма, но разбила рукоятку шпаги. Сайм бросился вперед, высоко подняв фонарь.

— Иуда! — крикнул он и ударил полковника с размаху. Когда полковник растянулся на каменных плитах, Сайм повернулся к Секретарю, чьи страшные уста едва ли не покрылись пеной, и обратился к нему так властно, что тот застыл. — Видите этот фонарь? — грозно спросил он. — Видите крест и пламя? Не вы его сделали, не вы его зажгли. Лучшие, чем вы — люди, умевшие верить и повиноваться, — изогнули жилы железа и сохранили сказку огня. Каждая улица, каждая нить вашей одежды созданы, как этот фонарь, теми, кто не ведал вашей гнусной премудрости. Вы не можете ничего создать. Вы можете только разрушать.

Разрушьте мир. Уничтожьте всех людей. Но этого фонаря вам не уничтожить. Он будет там, откуда его не достать вашему обезьяньему царству.

Он ударил противника фонарем так, что Секретарь закачался, и, дважды взмахнув над головой светящимся сокровищем, с размаху швырнул его в море. Фонарь вспыхнул ракетой и погас.

— Шпагу! — крикнул Сайм, обращая пылающее лицо к своим соратникам. — Сразимся с этими псами, ибо настал наш смертный час.

Три спутника двинулись к нему, обнажив шпаги. Его шпага уже никуда не годилась, но он выхватил дубину из стиснутой руки какого-то рыбака. Еще мгновение, и сыщики погибли бы, вступив в бой с толпою; но их остановили. Выслушав Сайма, Секретарь стоял, словно в оцепенении, приложив руку к раненому лбу; потом внезапно сдернул черную маску. Бледное лицо в свете факелов было не гневным, а удивленным. Секретарь испуганно, хотя и властно поднял руку.

— Тут какое-то недоразумение, — сказал он. — Мистер Сайм, вы не совсем понимаете, в чем дело. Я арестую вас именем закона.

— Закона? — повторил Сайм, роняя дубинку.

— Разумеется, — отвечал Секретарь. — Я сыщик. — И он вынул из кармана голубую карточку.

— А мы кто по-вашему? — спросил профессор, воздевая к небу руки.

— Вы члены Совета анархистов, — твердо сказал Секретарь. — Притворившись вашим единомышленником, я...

Доктор Буль швырнул шпагу в море.

— Никакого Совета анархистов никогда не было, — сказал он. — Было несколько глупых сыщиков, гонявшихся друг за другом. А все эти славные люди, стрелявшие в нас, думали, что мы — динамитчики. Я знал, что не могу обмануться в обывателях, — и он оглядел с сияющей улыбкой толпу, тянущуюся вдоль набережной направо и налево. — Вульгарный человек не сходит с ума. Я сам вульгарен, мне ли не знать! Идемте-ка на берег. Ставлю выпивку всем поголовно.

Глава XIII

ПОГОНЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Утром на дуврский пароход село пятеро растерянных, но очень веселых пассажиров. Бедный полковник мог бы посетовать, ибо его сперва заставили сражаться за две несуществующие партии, потом сбили с ног тяжелым фонарем. Однако великодушный старик был рад, что ни на одной стороне не оказалось

динамитчиков, и с величайшей любезностью проводил новых друзей на пристань.

Пяти примирившимся сыщикам было о чем поведать друг другу. Секретарь рассказывал Сайму, как он и его товарищи надели маски, чтобы мнимые неприятели приняли их за сообщников; Сайм — почему они так поспешно бежали по цивилизованной стране. Но одного, и самого важного, никто объяснить не мог. Что все это значило? Если они — безобидные стражи порядка, кто же тогда Воскресенье? Если он не победил мира, чем он был занят? Инспектор Рэтклиф по-прежнему хмурился.

— Никак не пойму, что за игру он затеял, — говорил он. — Чем-чем, но честным человеком Воскресенье быть не может. А, черт! Да вы помните его лицо?

— Поверьте, — отвечал Сайм, — я никак не мог его забыть.

— Что ж, — сказал Понедельник, — завтра мы все узнаем. Ведь у нас опять собрание. Вы уж простите, — прибавил он с печальной улыбкой, — я хорошо знаю свои обязанности.

— Должно быть, вы правы, — задумчиво сказал профессор. — Можно спросить его самого. Но, признаюсь, я бы побоялся спросить у Воскресенья, кто он.

— Почему? — спросил Секретарь. — Вы боитесь, что он вас убьет?

— Я боюсь, — сказал профессор, — что он мне ответит.

— Давайте выпьем, — сказал доктор Булль, немного помолчав.

И на пароходе, и в поезде они старались держаться бодро, но ни на миг не расставались. Бывший Суббота, присяжный оптимист, уговаривал ехать с вокзала в одном и том же кебе, но они туда не уместились и взяли карету, причем сам он сидел рядом с кучером и весело пел.

Остановились они в отеле на Пикадилли-Серкус, чтобы утром быть поближе к Лейстер-сквер. Однако похождения этого дня на том не кончились. Неугомонный доктор отказался лечь; он хотел как можно скорее полюбоваться Лондоном и часов в одиннадцать вышел побродить. Минут через двадцать он вернулся, что-то выкликая еще в холле. Сайм пытался усмирить его, пока не заметил в его словах какого-то смысла.

— Да, я его видел! — с упорством повторял Булль.

— Кого? — быстро спросил Сайм. — Неужели Председателя?

— Куда лучше! — отвечал доктор с неуместным смехом. — Гораздо лучше! Он тут, со мной.

— Кто тут с вами? — спросил Сайм.

— Косматый, — вразумительно объяснил медик. — Тот, кто раньше был косматым. Гоголь. Да вот он, — и доктор Булль вытащил за локоть рыжего, бледного человека, которого почти неделю тому назад изгнали из Совета; первого из мнимых анархистов, которого разоблачили.

— Что вы ко мне лезете? — крикнул тот. — Вы меня выгнали как шпиона.

— Все мы шпионы, — тихо сказал Сайм.

— Мы шпионы! — завопил Булль. — Пойдем выпьем.

Утром отряд объединившихся сыщиков направился к отелю на Лейстер-сквер.

— Ну что ж! — говорил доктор Булль. — Ничего страшного. Шестеро человек идут спросить у одного, чего же он хочет.

— Все не так просто, — возразил Сайм. — Шестеро человек идут спросить у одного, чего хотят они сами.

Они молча свернули на площадь и, хотя отель был на другой ее стороне, увидели сразу и небольшой балкон, и огромного вождя. Он сидел один, склонившись над газетой. Но соратники, пришедшие, чтобы его свергнуть, переходили площадь так, словно с неба за ними следила сотня глаз.

Еще у себя в отеле они спорили, вести ли с собой бывшего Гоголя и сразу бросить карты на стол или сделать сначала какой-нибудь дипломатический ход. Сайм и Булль стояли за прямую атаку и победили, хотя Секретарь до конца спрашивал их, почему они так спешат.

— Очень просто, — объяснил Сайм. — Я нападаю на него сразу, потому что я его боюсь.

Сыщики молча поднялись за Саймом по темной лестнице и все сразу вошли туда, где их ждали лучезарный утренний свет и лучезарная улыбка Воскресенья.

— Какая прелесть! — сказал он. — Как приятно всех вас видеть. И день чудесный... А что царь, умер?

Секретарь выпрямился, чтобы слова его прозвучали и достойно, и гневно.

— Нет, сэр, — сурово вымолвил он. — Убийства не было. Черная мерзость...

— Ай-ай-ай-ай! — сказал Председатель, укоризненно качая головой. — У каждого свои вкусы. Простим Субботе его небольшие слабости. Называть черной мерзостью эти очки... Ах, как невежливо! И при нем!.. Вы ли это, мой милый?

Секретарь задохнулся; доктор сорвал очки и швырнул их на стол.

— Это и правда мерзость, — сказал он. — Но я больше в мерзостях не участвую. Посмотрите мне прямо в лицо...

— Ничего, ничего, — утешил его Председатель. — С таким лицом жить можно, бывает хуже. Мне ли судить игру природы? А вдруг и я в один прекрасный день...

— Сейчас не время шутить, — сказал Секретарь. — Мы пришли спросить, что это все означает. Кто вы такой? Чего вы хотите? Зачем вы собрали нас вместе? Знаете ли вы, кто мы? Безумец вы, играющий в заговор, или мудрец, валяющий дурака? Отвечайте.

— Должностные лица, — проурчал Воскресенье, — обязаны

отвечать лишь на восемь вопросов из семнадцати. Если не ошибаюсь, вы требуете, чтобы я объяснил, кто я такой, и кто такие вы, и что такое этот стол, и этот Совет, и этот мир. Что ж, отважусь сорвать завесу с одной из тайн. Что до вас, вы — сборище благонамеренных кретин.

— А вы? — спросил Сайм, наклоняясь вперед. — Вы что такое?

— Я? — взревел Председатель и медленно поднялся, словно огромная волна, которая вот-вот загнетя над головами и ринется вниз. — Хотите знать, что я такое? Булль, вы ученый. Вникните в корни деревьев и разгадайте их. Сайм, вы поэт. Взгляните на утренние облака и скажите мне или другим, что они значат. Но говорю вам, вы узнаете истину о самом высоком дереве и самой далекой тучке прежде, чем вам откроется истина обо мне. Вы разгадаете море, а я останусь загадкой; вы поймете звезды, но не меня. С начала времен меня травили, как волка, правители и мудрецы, поэты и законники, все церкви, все философы. Но никто не поймал меня, и небеса упадут прежде, чем паду я. Да, погонялись они за мной... Погоняетесь и вы.

Никто еще не шелохнулся, когда чудовищный человек перемахнул через перила, словно орангутан. Но раньше, чем спрыгнуть вниз, он подтянулся, как на турнике и, опершись огромным подбородком о край балкона, торжественно промолвил:

— Одно я вам скажу. Я — человек в темной комнате, который сделал вас сыщиками.

С этими словами он рухнул вниз и подпрыгнул, как гигантский мяч, и побежал мягкими прыжками к углу, где кликнул кеб, а потом в него вскочил. Шестеро сыщиков стояли в оцепенении; но когда загадочный Председатель исчез во тьме кеба, здравомыслие вернулось к Сайму. Он соскочил с балкона, едва не сломав себе ногу, и тоже кликнул кеб.

Они с Буллем вскочили в него, профессор с инспектором — в другой, Секретарь и бывший Гоголь — в третий, как раз вовремя, чтобы помчаться за мчащимся Председателем. Воскресенье направился на северо-запад, и возница, гонимый его нечеловеческой волей, гнал лошадь во всю прыть. Не расположенный к учтивости Сайм вскочил и заорал: «Держите вора!» — и за кебом побежала толпа. Полисмены всполошились. Возница Воскресенья перепугался, уменьшил прыть и заглянул в свой экипаж, чтобы урезонить пассажира, причем его длинный бич свесился вниз. Председатель дернулся вперед и резко вырвал бич. Затем он поднялся на ноги и принялся погонять лошадь, ревя так истошно, что она вихрем понеслась вперед. Улица за улицей, площадь за площадью летели мимо неистового экипажа, который возница тщетно пытался остановить. Три кеба мчались сзади, как гончие, если можно сравнить собаку с каретой. Магазины и улицы звенящими стрелами пролетали мимо них.

Когда кеб несся как угорелый, Воскресенье обернулся и скорчил страшную рожу. Белые его волосы свистели на ветру, но он был похож на гигантского уличного мальчишку. Вдруг он поднял правую руку, швырнул что-то в Сайма, пригнулся, а Сайм, инстинктивно прикрыв рукой глаза, поймал шарик, скатанный из двух бумажек. Одна была адресована ему, другая — Буллю, за чьей фамилией следовала вереница загадочных букв, занимавших гораздо больше места, чем самый текст, который состоял лишь из таких слов:

«Как же *теперь* насчет Мартина Таппера?»

— Чего он хочет, старый маньяк? — спросил доктор, глядя на записку. — А у вас что, Сайм?

Записка Сайма была длиннее и гласила следующее:

«Никто не огорчится больше меня, если вмешается епископ. Надеюсь, что до этого не дойдет. Однако спрошу в последний раз, где ваши калоши? Дело скверно, особенно после того, что сказал дядя».

Тем временем возница Председателя немного справился с лошадей, и, сворачивая на Эджвер-роуд, преследователи были ближе к беглецу. И тут случилось то, что они приписали воле рока: толпа и экипажи раздалась направо и налево, издали донесся рев пожарной машины, и через несколько секунд она медной молнией промелькнула мимо. Однако Воскресенье успел выскочить из кеба, ухватиться за нее и даже на нее взобраться. Сыщики видели, как, объясняя что-то пожарным, он исчезает в шумной дали.

— Вперед! — крикнул Сайм. — Теперь он не сбежит. Пожарную машину непустишь.

Трое возниц очнулись от испуга и снова погнали лошадей. Расстояние уменьшалось. Заметив это, Председатель перешел к заднему краю машины. Вставши лицом к ним, он раскланивался, посылал воздушные поцелуи и наконец бросил прямо на грудь инспектору аккуратно сложенную записку. Нетерпеливо развернув ее, адресат прочитал:

«Бегите немедленно. Раскрылась тайна ваших подтяжек. Преданный друг».

Пожарная машина неслась прямо на север в какие-то неведомые края. Когда она поравнялась с решеткой, осененной деревьями, шестеро сыщиков с удивлением, но и с облегчением увидели, что Председатель спрыгнул на землю. Однако прежде чем три кеба подоспели к нему, он вскарабкался на ограду, словно огромный серый кот, и скрылся в темной листве.

Сайм остановил кебмена, выскочил и бросился к решетке. Он уже перебросил через нее ногу, и соратники его лезли наверх, когда он обратил к ним лицо, бледное в тени деревьев.

— Что тут такое? — спросил он. — Неужели он здесь живет? Кажется, я слышал, что у него есть дом на северных окраинах Лондона.

— Если живет, тем лучше для нас, — сказал Секретарь, ища подходящую дыру в узоре ограды. — Застанем его дома.

— Нет, не в том дело, — сказал Сайм, мучительно хмурясь. — Я слышу жуткие звуки. Там кто-то хохочет, чихает, сморкается...

— Собаки, я думаю, — сказал Секретарь.

— Вы уж скажите — тараканы! — крикнул Сайм. — Улитки! Цветы!

Из чащи деревьев донесся протяжный рев — глухой, леденящий рев, похожий на рыдание.

— У него не может быть обыкновенных собак, — проговорил Гоголь и вздрогнул.

Сайм уже соскочил в парк и стоял, терпеливо прислушиваясь.

— Ну, слышите? — сказал он. — Собака это? Могут быть такие собаки?

Они услышали хриплый визг, словно кто-то стонал и верещал от боли, потом могучий, носовой, поистине трубный звук.

— Да это ад какой-то! — сказал Секретарь. — Что ж, пойду в ад... — и он перемахнул через ограду.

Перелезли и остальные. Продираясь сквозь путаницу кустов, они вышли на дорожку, ничего не видя. Вдруг доктор Булль всплеснул руками.

— Ослы вы ослы! — воскликнул он. — Это не ад, это сад. Зоологический.

Пока они оглядывались, нет ли где их дичайшего зверя, по дорожке опростелю промчались сторож и человек в штатском.

— Был он здесь? — задыхаясь, спросил сторож.

— Кто? — спросил Сайм.

— Слон! — воскликнул сторож. — Слон взбесился...

— Утащил на себе джентльмена, — подхватил человек в штатском. — Несчастного седого старика.

— Какой он, этот старик? — с большим интересом спросил Сайм.

— Очень высокий, очень толстый, в светло-сером костюме, — ответил сторож.

— Ну, — откликнулся Сайм, — если он толстый, высокий, в светло-сером, это не слон его утащил. Это он утащил слона. Не родился еще тот слон, с которым он сбежит против своей воли. А вот и они!

Сомнений в этом не было. Ярдов за двести, прямо по траве неся огромный слон, вытянув хобот, и трубил во всю свою мочь, как трубы Страшного суда. На спине его сидел Воскресенье, невозмутимый и величавый, как султан, но погонявший несчастного зверя чем-то острым.

— Остановите его! — кричала публика. — Он выскочит в ворота!



— Скорее обвал остановишь,— сказал сторож. — Уже выскочил.

Он еще говорил, когда, судя по крикам и треску, огромный серый слон и впрямь вылетел из сада и помчался по Олбэни-стрит, словно быстроходный омнибус.

— Господи Боже! — воскликнул Булль. — Никогда не думал, что слон может бегать так быстро. Придется опять взять кебы, а то мы его упустим.

Пока они бежали к воротам, Сайм замечал краем глаза клетки, в которых находились чрезвычайно странные существа. Позже он удивлялся, что разглядел их так отчетливо. В особенности запомнились ему пеликаны с нелепым отвислым зобом. Почему, думал он на бегу, пеликана считают символом милосердия? Не потому ли, что лишь милосердие поможет найти в нем красоту? Еще ему запал в память клюворог — огромный желтый клюв, к которому прикреплена небольшая птица. Все эти создания усиливали странное, очень живое чувство: ему казалось, что природа непрестанно и непонятно шутит. Воскресенье сказал им, что они поймут его, когда поймут звезды. Сайм спрашивал себя, способны ли даже архангелы понять клюворога.

Шестеро злополучных сыщиков вскочили в кебы и поскакали за слонем. На сей раз Воскресенье не оглядывался, но его широкая безучастная спина бесила их еще больше, чем прежние насмешки. Подъезжая к Бейкер-стрит, он что-то подбросил, и предмет этот упал, когда мимо него проезжал третий кеб. Повинуясь слабой надежде, Гоголь остановил возницу и поднял довольно объемистый пакет, адресованный ему. Состоял пакет из тридцати трех бумажек, а внутри лежала записка:

«Искомое слово, полагаю, будет «розовый».

Человек, носивший некогда имя Гоголь, ничего не сказал, но ноги его и руки нервно дернулись, словно он пришпорил коня.

Минуя улицу за улицей, квартал за кварталом, неслось живое чудо — скачущий слон. Люди глядели из окон, кареты шаркались в стороны. Три кеба неслись за ним, вызывая весьма нездоровое любопытство, пока зрители не сочли, что все это — просто странное шествие или реклама цирка. Неслись они с дикой скоростью, пространство сокращалось, и Сайм увидел Альберт-холл, когда думал, что они еще в Паддингтоне. На пустых аристократических улицах Южного Кенсингтона слон развернулся во всю силу, направляясь к тому пятну на горизонте, которое было одним из аттракционов Эрлс-Корта. Колесо становилось все ближе, пока не заполнило собою неба, словно кольцо созвездий.

Кебы сильно отстали. Многократно сворачивая за угол, они потеряли беглеца из виду и, добравшись до Эрлс-Корта, не смогли проехать сквозь толпу, окружавшую слона, который колыхал-

ся и пыхтел, как все бесформенные твари. Воскресенья на спине не было.

— Куда он девался? — спросил Сайм, спрыгнув на землю.

— Он вбежал на выставку, сэр! — ответил служащий, еще не очнувшийся от удивления. И обиженно прибавил: — Странный джентльмен, сэр. Попросил подержать лошадку и дал мне вот это.

И он протянул сложенный листок, на котором было написано:

«Секретарю Центрального Совета анархистов».

Секретарь с отвращением развернул записку и увидел такие стихи:

«Если рыбка побежит,
Понедельник задрожит.
Если рыбка скачет,
Понедельник плачет.

Народная мудрость».

— Да как же вы его пустили? — крикнул Секретарь. — Разве к вам приезжают на бешеных слонах? Разве...

— Смотрите! — закричал Сайм. — Смотрите туда!

— Куда? — сердито спросил Секретарь.

— На воздушный шар! — не унимался Сайм, показывая куда-то вверх.

— Зачем мне на него смотреть? — сказал Секретарь. — Что в нем такого?

— Не столько в нем, сколько на нем, — отвечал Сайм.

Все взглянули туда, где только что, словно детский шарик, парил огромный шар. Веревка порвалась, и шар уплывал прочь с легкостью мыльного пузыря.

— А, черт! — закричал Секретарь. — Он и туда влез! — И бывший Понедельник погрозил кулаком небу.

Когда шар, подхваченный случайным ветром, пролетал над сыщиками, они увидели большую голову Председателя, благодушно созерцавшего их.

— О Господи! — проговорил профессор с той старческой медлительностью, от которой не мог избавиться, как и от седой бороды, и от серой кожи. — О Господи милостивый! Мне показалось, будто что-то упало мне на шляпу.

Он снял дрожащей рукой клочок смятой бумаги, рассеянно его развернул и увидел, что там написано:

«Ваша красота не оставила меня равнодушным. Крохотный Подснежник».

Все помолчали, потом Сайм сказал, покусывая бородку:

— Нет, я не сдаюсь. Где-нибудь эта мерзкая штука спустится. Идемте за ней.

Глава XIV

ШЕСТЕРО МУДРЕЦОВ

По зеленым лугам, продираясь сквозь цветущие изгороди, милях в пяти от Лондона шли шесть сыщиков. Самый бодрый из них предложил поначалу ехать в кебах, но это было невыполнимо, поскольку упорный шар не желал лететь над дорогами, а упорные кебмены не желали следовать за шаром. И вот неутомимые, хотя и разъяренные путники продирались сквозь заросли и вязли во вспаханных полях, пока каждый из них не обрел вид, слишком жалкий даже для бродяги. Зеленые холмы Суррея видели гибель светло-серой пары, в которой Сайм ушел из Шафранного парка. Сломанная ветка прикончила цилиндр, шипы расправились с фалдами, английская грязь забрызгала даже ворот; но Сайм, безмолвно и яростно задрал голову, так что борода торчала прямо вперед, глядел на летящий клубок, подобный при свете дня закатному облаку.

— Что ни говори,— сказал он, — а шар этот очень красив!

— Странной и редкой красотой,— подтвердил профессор. — Чтоб ему лопнуть!

— Надеюсь, он не лопнет,— сказал Булль. — Тогда старик ударится.

— Ударится! — воскликнул злопамятный профессор. — Это он-то! Попадись он мне в руки, я бы его ударил... Подснежник, видите ли!

— А я не хочу ему зла, — сказал доктор.

— Неужели вы верите ему? — с горечью спросил Секретарь. — Неужели верите, что он — наш человек из темной комнаты? Воскресенье выдаст себя за кого угодно.

— Не знаю, правда это или нет,— ответил Булль, — но я не то думал сказать. Я не хочу, чтобы он разбился, потому что...

— Да? — нетерпеливо перебил Сайм. — Потому что?..

— Потому что он сам так похож на шар, — растерянно сказал доктор. — Я не знаю, он или не он дал нам голубые карточки. Если он, это чепуха какая-то. Но я всегда любил его, хотя он и очень плохой. Любят же непослушного ребенка. Как мне объяснить вам? Любовь не мешала мне сражаться с ним. Будет ли понятней, если я скажу: мне нравилось, что он такой толстый?

— Не будет, — отвечал Секретарь.

— Нет, вот как! — воскликнул Булль. — Мне нравилось, что он такой толстый и легкий. Ну прямо как мяч! Мы представляем толстых тяжелыми, а он перепляшет эльфа. Да, вот именно! Средняя сила выразит себя в насилии, великая — в легкости. В старину рассуждали, что было бы, если бы слон прыгал, как кузнечик.

— Наш слон, — сказал Сайм, глядя вверх, — так и делает.

— Вот почему я его люблю,— продолжал доктор. — Нет, я не поклоняюсь силе, это все глупости. Но Воскресенье всегда весел, словно хочет поделиться радостной новостью. Вы заметили, так бывает весной? Природа шутит часто, но весной мы видим, что шутки ее добры. Сам я Библию не читал, но место, над которым так смеются, — сущая правда: «Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?» Холмы действительно прыгают, стараются подпрыгнуть. Я люблю Воскресенье, — ах, как вам сказать? — потому что он такой прыгучий.

После долгого молчания Секретарь сказал странным, сдавленным голосом:

— Вы не знаете его, быть может, потому, что вы лучше меня и не знаете ада. Я от роду мрачен и нездоров. Человек во тьме за то меня и выбрал, что я похож на рехнувшегося заговорщика — и улыбка у меня кривая, и взгляд угрюмый, даже когда я смеюсь. Словом, есть во мне что-то, угодное анархистам. И вот когда я увидел Воскресенье, я узнал в нем не легкость и веселье, а грубость и печаль природы. Он курил в полумраке за спущенными шторами, а это куда мрачней живительной тьмы, в которой сидит наш начальник. Он сидел на скамье и показался мне темной, бесформенной грудой в образе человека. Слушая мои речи, он не говорил и не двигался. Я страстно зывал к нему, я вопрошал; и, когда я умолк, он долго молчал, а потом затрясся, я даже подумал, что он чем-то болен. Он трясся, как живой студень, напоминая мне обо всем, что довелось читать о низших формах жизни, о самом ее возникновении, о протоплазме в глубинах вод. Хуже того, мне казалось, что это — материя, лишенная формы, постыдная, пустая материя. Утешался я лишь тем, что такое чудовище страдает. Но вдруг я догадался, что скотоподобная туша сотрясается от смеха, и смеется она надо мной. И вы хотите, чтобы я его простил? Меня высмеял тот, кто и ниже, и сильнее, чем я, а это немало.

— Как вы все преувеличиваете! — звонко сказал инспектор Рэтклиф. — Воскресенье, не спорю, крепкий орешек, но он вовсе не такое несурзное чудовище. Он принял меня в обычной конторе, среди бела дня, и был на нем самый прозаичный серый в клеточку костюм. Говорил он со мной обычно; но, признаюсь, что-то жуткое в нем все-таки есть. Комната его убрана, костюм опрятен, но сам он — рассеян. Иногда он глядит в пустоту, иногда забывает о тебе. А дурной человек слишком страшен, чтоб быть рассеянным. Мы представляем злодея бдительным. Мы не смеем представить, что он искренне и честно задумался, ибо не смеем представить его в одиночестве. Рассеянный человек добродушен; если он заметит вас, он попросит прощения. Но как стерпеть того, кто, заметив вас, покончит с вами? Вот это и невыносимо — рассеянность вместе с жестокостью. Люди в девственных лесах нередко ощущали, что звери и невинны, и безжалостны. Они не

увидят вас, а если увидят — убьют. Хотелось бы вам провести часов десять с рассеянным тигром?

— А вы что думаете о Воскресенье? — спросил Сайм у Гоголя.

— Я вообще не могу о нем думать, — просто ответил Гоголь. — Не могу же я смотреть на солнце.

— Что ж, верно и это... — задумчиво заметил Сайм. — А вы что скажете, профессор?

Тот шел понуру, волоча за собой палку, и не ответил.

— Очнитесь! — сказал Сайм. — Что вы думаете о Воскресенье?

— Того, что я думаю, — медленно начал профессор, — мне не выразить. Точнее, я не могу это как следует понять. Скажу хотя бы так: смолоду я жил широко, как живет богема. И вот когда я увидел лицо Воскресенья, оно показалось мне слишком широким — нет, это видят все, скажу иначе: слишком расплывчатым. Нельзя было охватить его взором, нельзя понять, лицо ли это. Глаз слишком далеко отстоял от носа. Рот был сам по себе, и о нем приходилось думать отдельно. Нет, не могу объяснить!

Он помолчал, все так же волоча палку, и начал снова:

— Скажу иначе. Проходя как-то вечером по улице, я увидел человеческое лицо, составленное из фонаря, окна и облака. Если хоть у кого-нибудь на свете именно такое лицо, я сразу его узнаю. Но, пройдя подальше, я понял, что лица и не было: окно светилось в десяти ярдах, фонарь — в доброй сотне, облако — на небе. Так ускользает от меня лицо Воскресенья; оно разбегается в стороны, как случайная картина. Лицо его вселило в меня сомнение — а есть ли вообще лица? Быть может, доктор, один круг ваших гнусных очков совсем близко, а другой — за пятьдесят миль. Сомнения материалиста не стоят и гроша. Воскресенье научил меня худшим, последним сомнениям — сомнениям идеалиста. Наверное, я буддист; буддизм же — не вера, а сомнение. Бедный мой друг, — сказал он Буллю, — я не знаю, есть ли у вас лицо. Я не решаюсь верить в то, что вижу.

Сайм смотрел на воздушный шар, розовевший в лучах заката словно иной, более невинный мир.

— Заметили вы одну странность? — спросил он. — Каждый видит его по-разному, но каждый сравнивает с мирозданием. Булль узнает в нем землю весной, Гоголь — солнце в полдень, Секретарь — бесформенную протоплазму, инспектор — беспечность диких лесов, профессор — изменчивый ландшафт города. Все это странно, но еще страннее то, что сам я тоже думаю о нем и тоже сравниваю его с мирозданием.

— Идите быстрее, Сайм, — сказал доктор Булль. — Не забудьте, шар летит быстро.

— Когда я впервые увидел Воскресенье, — медленно продол-

жал Сайм, — он сидел ко мне спиною, и я понял, что хуже его нет никого на свете. Затылок его и плечи были грубы, как у гориллы или идола. Голову он наклонил, как бык. Словом, я чуть не решил, что это — зверь, одетый человеком.

— Так... — сказал доктор Булль.

— И тут случилось самое странное, — сказал Сайм. — Спины я видел с улицы. Но я поднялся на балкон, обошел спереди и увидел его лицо в свете солнца. Оно испугало меня, как пугает всех, но не тем, что грубо, и не тем, что скверно. Оно испугало меня тем, что оно так прекрасно и милостиво.

— Сайм, вы в себе? — вскричал Секретарь.

— Он показался мне Архистратигом, вершащим правый суд после битвы, — продолжал Сайм. — Смех был в его глазах, честь и скорбь — на устах. И белые волосы, и серые плечи остались такими же. Но сзади он походил на зверя; увидев его спереди, я понял, что он — бог.

— Пан был и богом, и зверем, — сказал профессор.

— И тогда, и позже, и всегда, — говорил Сайм как бы себе самому, — это было и его тайной, и тайной мироздания. Когда я вижу страшную спину, я твердо верю, что дивный лик — только маска. Когда я хоть мельком увижу лицо, я знаю, что спина — только шутка. Зло столь гнусно, что поневоле сочтешь добро случайным: добро столь прекрасно, что поневоле сочтешь случайным зло. Особенно сильно я это чувствовал вчера, когда мы за ним гнались и я всю дорогу был сзади.

— Неужели у вас было время думать? — спросил Рэтклиф.

— Да, — отвечал Сайм. — На одну дикую мысль у меня хватило времени. Мне показалось вчера, что слепой затылок — это безглазое страшное лицо, глядящее на меня. И еще мне показалось, что сам он бежит задом, приплясывая на ходу.

— Какой ужас! — сказал доктор Булль и содрогнулся.

— Мало сказать ужас, — возразил Сайм. — То была худшая минута моей жизни. Однако через десять минут он высунул голову, скорчил рожу — и я понял, что это отец играет в прятки с детьми.

— Игра что-то затягивается, — сказал Секретарь, мрачно глядя на стоптанные штиблеты.

— Послушайте меня! — с необычайным пылом сказал Сайм. — Открыть вам тайну мира? Тайна эта в том, что мы видим его только сзади, с оборотной стороны. Мы видим все сзади, и все нам кажется страшным. Вот это дерево, например — только изнанка дерева, облако — лишь изнанка облака. Как вы не понимаете, что все на свете прячет от нас лицо? Если бы мы смогли зайти спереди...

— Смотрите! — крикнул Булль. — Шар спускается!

Сайм видел это и без его крика, ибо все время глядел вверх. Огромный светящийся шар покачнулся, выпрямился и медленно спустился за деревья, словно закатное солнце.

Человек, именовавшийся Гоголем, мало говорил, пока они шли; но теперь он воздел руки к небу, горестно, словно погибшая луша.

— Он умер! — воскликнул он. — Теперь я знаю, что он был мне другом, моим другом во тьме!

— Умер! — фыркнул Секретарь. — Не так его легко убить. Если он вылетел из корзины, он катается в траве, как жеребенок, и дрыгает ногами от радости.

— Как жеребенок, — сказал профессор, — или как Пан.

— Опять вы со своим Паном! — сердито воскликнул Булль. — Послушать вас, этот Пан — все на свете.

— Он и значит «всё», — ответил профессор. — По-гречески.

— Однако, — заметил Секретарь, — от имени его происходит и слово «паника».

Сайм стоял, как бы не слыша всего этого.

— Он упал вон там, — сказал он. — Идем поищем его.

И прибавил, странно взмахнув рукою:

— О, если бы он надул нас и умер! Вот была бы шутка в его вкусе...

Он зашагал к деревьям; лохмотья щегольского костюма развевались на ветру. Спутники пошли за ним не так быстро, ибо сильно натерли ноги. И почти в одно и то же мгновение все шестеро ощутили, что на лужайке есть кто-то еще.

Опираясь на посох, подобный жезлу или скипетру, к ним приближался человек в красивом, но старомодном платье. Короткие, до колен, штаны были того лиловато-серого цвета, какой случается подметить в тенистом лесном закоулке; и благодаря старинному костюму казалось, что волосы его не седые, а напудрены. Двигался он очень тихо. Если бы не иней в волосах, его можно было бы принять за одну из лесных теней.

— Господа, — сказал он, — рядом на дороге вас ожидают кареты, которые прислал мой хозяин.

— Кто ваш хозяин? — спросил Сайм не шелохнувшись.

— Мне сказали, — почтительно отвечал слуга, — что вам известно его имя.

Все помолчали, потом Секретарь спросил:

— Где кареты?

— Они ожидают лишь несколько минут, — сказал седой незнакомец. — Мой хозяин только что вернулся.

Сайм оглядел небольшую зеленую поляну. Изгороди были изгородами, деревья — деревьями; между тем он чувствовал себя так, словно его заманили в сказочное царство. Оглядел он и загадочного посланца и не обнаружил ничего страшного, разве что одежда его перекликалась с сизыми тенями, а лицо повторяло багряные, бурые и золотые тона предзакатного неба.

— Проведите нас, — сказал Сайм, и слуга в лиловой ливрее, не вымолвив ни слова, направился к изгороди, за которой неожиданно забелела дорога.

Выйдя на нее, шестеро скитальцев увидели вереницу карет, подобных тем, что поджидают гостей у лондонского особняка. Вдоль ряда экипажей стояли слуги в серо-голубых ливреях, величавые и свободные, словно они — не лакеи джентльмена, а послы великого короля. Экипажей было шесть, по числу странников, и когда те садились в них, слуги помогли им, а потом салютовали шпагами, сверкнувшими в предвечернем свете.

— Что это такое? — успел спросить Булль у Сайма. — Еще одна шутка Председателя?

— Не знаю, — отвечал Сайм, устало опускаясь на подушки. — Если это и шутка, то в вашем духе. Добрая.

Невольные искатели приключений пережили их немало, но ни одно не поразило их так, как эта неожиданная роскошь. К бедам они притерпелись, когда же все пошло на лад, им стало не по себе. Они и отдаленно не могли представить, что это за кареты; но с них хватало того, что это кареты, да еще и с мягкими сиденьями. Они не могли понять, что за старик их встретил; но с них хватало того, что он привел их к экипажам.

Сайм ехал сквозь плывущую мглу деревьев, расслабившись и забывшись. Как всегда в своей жизни, он шел, воинственно задрав бородку, пока что-то можно было сделать; когда же от него ничего не зависело, он в счастливом изнеможении откинулся на подушки.

Очень медленно, очень смутно обнаружил он, как хороши дороги, по которым его везут. Он увидел, что экипаж миновал каменные ворота, въехал под сень листвы — наверное, то был парк — и неслешно поднялся по склону, поросшему деревьями, но слишком аккуратному, чтобы назвать его лесистым. Тогда, словно пробуждаясь от крепкого, целительного сна, он стал находить радость в каждой мелочи. Он ощутил, что изгородь как раз такая, какою и должна быть; что изгородь — как войско, которое тем живее, чем четче его дисциплина. За изгородью он увидел вязы и подумал о том, как весело лазить на них мальчишкам. Вдруг карета резко свернула, и перед ним, внезапно и спокойно, предстал невысокий длинный дом, подобный узкому длинному облаку в мягких лучах заката. Позже шестеро друзей спорили о том, кто что подумал, но согласились, что почему-то каждому из них дом этот напомнил детство. Причиной была верхушка вяза или кривая тропинка, уголок фруктового сада или узорное окно; однако каждый знал, что место это вошло в его сознание раньше, чем собственная мать.

Когда кареты подкатили к другим воротам, широким и низким, словно вход в пещеру, навстречу путникам вышел еще один слуга в такой же ливрее, но с серебряной звездой на сизой груди.

— Ужин в вашей комнате, сэр, — вежливо и величаво сказал он удивленному Сайму.

Все в том же изумлении, как под гипнозом, Сайм поднялся вслед за учтивым слугой по широкой дубовой лестнице и вступил

в блистательную анфиладу комнат, словно и предназначенных для него. Повинуясь инстинкту сословия, он подошел к высокому зеркалу, чтобы поправить галстук или пригладить волосы, и увидел, каким страшным он стал: кровь текла по исцарапанному лицу, волосы торчали клочьями желтой травы, костюм обратился в длинные лохмотья. Сразу же перед ним встала вся загадка в виде простых вопросов: как он здесь очутился, как он отсюда выйдет? И тут же слуга в голубой ливрее торжественно промолвил:

— Я приготовил вам платье, сэр.

— Платье! — насмешливо воскликнул Сайм. — У меня нет другой одежды, только эта, — и он приподнял два длинных фетончатых лоскута, словно собирался сделать пируэт.

— Мой господин велел передать, — продолжал слугитель, — что сегодня костюмированный бал. Он хочет, чтобы вы надели костюм, который я приготовил. А пока что не откажитесь отведать холодного фазана и бургундского, ибо до пира осталось еще несколько часов.

— Холодный фазан — хорошая штука, — задумчиво сказал Сайм, — а бургундское и того лучше. Но больше всего я хотел бы узнать, что тут творится, какой мне положен костюм и где он?

Загадочный слуга поднял с низкого дивана длинное, сине-зеленое одеяние, сбрызнутое яркими звездами и полумесяцами. На груди красовалось золотое солнце.

— Вы оденетесь Четвергом, сэр, — почтительно сказал слуга.

— Четвергом!.. — повторил Сайм. — Звучит не слишком уютно.

— Напротив, сэр, — заверил его слуга. — Это очень теплый костюм. Он застегивается сверху донизу.

— Ничего не понимаю, — сказал Сайм и вздохнул. — Я так привык к неприятным похождениям, что приятные мне не под силу. Разрешите спросить, почему я больше похож на четверг в зеленом балахоне, испещренном светилami? Насколько мне известно, они видны всю неделю. Помнится, мне довелось видеть луну во вторник.

— Простите, сэр, — сказал слуга, — для вас приготовлена и Библия. — И он почтительно и непреклонно указал на первую главу Книги Бытия.

Речь шла о четвертом дне творения; но, видимо, здесь предполагали, что счет надо начинать с понедельника. Сайм в недоумении прочитал:

«И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большое, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и от-

делять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый».

— Нет, ничего не пойму,— сказал он, опускаясь на стул. — Кто эти люди, поставляющие дичь и вино, зеленые одежды и Библии? Быть может, они поставляют все на свете?

— Да, сэр,— серьезно ответил слуга. — Не помочь ли вам одеться?

— Ладно, напяливайте эту хламиду! — в нетерпении отвечал Сайм. Но как ни прикидывался он небрежным, его охватила небывалая легкость, когда вокруг него, словно так и нужно, заколыхались сине-зеленые с золотом одежды. Когда же он понял, что одежды эти надо препоясать мечом, к нему вернулись полузабытые мальчишеские мечтанья. Выходя, он дерзко, как трубадур, закинул через плечо край плаща; ибо маскарад этот не скрывал, а открывал человека.

Глава XV ОБВИНИТЕЛЬ

Проходя по коридору, Сайм увидел Секретаря, стоявшего на самом верху лестницы. Никогда еще этот человек не казался столь благородным. Черный хитон падал до самых его стоп, а сверху вниз, от ворота, шла чисто белая полоса, подобная лучу света. Все это походило на строгую одежду жреца. Сайму не пришлось рыться ни в памяти, ни в Библии — он вспомнил и так, что в первый день творенья свет отделился от тьмы. Само одеяние напомнило бы об этом; но поэт порядка ощутил к тому же, что простое сочетание белого с черным как нельзя лучше выражает скорбную, строгую душу Секретаря, исполненную пламенной искренности и ледяного гнева, которые подвигли его на борьбу с анархистами и помогли так легко сойти за одного из них. Как ни радостно было все вокруг, глаза Понедельника глядели невесело. Ни запах пива, ни запах сада не отвлекли его; он алкал правды.

Если бы Сайм увидел себя, он понял бы, что и он впервые стал самим собою. Секретарь был философом, возлюбившим первоначальный, лишенный очертаний свет; Сайм — поэтом, вечно стремящимся воплотить этот свет в осязаемые, четкие предметы, в солнце и звезды. Философ может порою любить бесконечность, поэт всегда любит конечное. Величайший миг для него — не сотворение света, а сотворение солнца и луны.

Спускаясь с лестницы, они настигли Рэтклифа в охотничьем камзоле и плаще весенних зеленых тонов, украшенном узором ветвей. Он воплощал тот третий день, когда была создана Земля в ее зеленом наряде; и простое умное лицо, дышащее незлым сомнением, как нельзя лучше сочеталось с его одеждой.

Через низкие широкие ворота их провели в очень большой, очень старый сад, где в трепетном свете костров и факелов плясали ряженые. Костюмы были поистине безумны, и Сайму показалось, будто здесь — все, что только существует на свете. Был тут и человек, одетый мельницей с огромными крыльями, и человек, одетый слонем, и человек, одетый воздушным шаром; эти двое держались вместе, видимо напоминая о недавних нелепых приключениях. Со странным трепетом Сайм подметил, что оден танцор одет кловорогом — странной птицей, чей клюв вдвое больше тела, запечатлевшейся в его памяти, пока он бежал по длинной аллее зоологического сада.

Были здесь и тысячи других странностей — и пляшущий фонарь, и пляшущий корабль, и пляшущая яблоня, словно все обычные вещи, какие только есть в деревне и в городе, пустились в пляс под веселую музыку безумного шарманщика. Через много лет, немолодым человеком, Сайм не мог видеть ни фонаря, ни яблони, ни мельницы, чтобы не ощутить, что это — плясун, сбжавший с карнавала.

С одной стороны лужайки, на которой плясали пары, возвышался зеленый уступчатый склон, обычный в старых садах. На нем стояли полумесяцем семь кресел, престолы семи дней. Гоголь и доктор Булль уже сидели на местах, де Вормс взбирался на свое. Простоту Вторника как нельзя лучше выражала одежда, падавшая серо-серебряными складками, подобными завесе проливного дождя; то было разделение вод. Пятница, в чей день были созданы низшие формы жизни, облачился в мутно-лиловый хитон, на котором распластались лупоглазые рыбы и диковинные птицы, причудливые и нечеткие, как он. Камзол Субботы, последнего дня творенья, украшали геральдические звери, золотые и алые, а на коньке его шлема стоял человек. Доктор удобно расселся в кресле, сияя улыбкой, — присяжный поборник надежды в своей стихии.

Один за другим садились скитальцы на странные свои престолы, и всякий раз парк оглашали крики, словно толпа приветствовала царей. Звенели кубки, трещали факелы, взлетали в воздух украшенные перьями шляпы. Тех, кому предназначались кресла, славили свыше меры. Но среднее кресло оставалось пустым.

Сайм, сидевший по левую руку от него, посмотрел на Секретаря, сидевшего по правую, и тот сказал, едва разжимая губы: — Быть может, он лежит мертвый на поляне.

И в тот же миг море лиц страшно и прекрасно изменилось, словно разверзлось небо за спинками кресел. Безмолвно и просто, как тень, Воскресенье прошел сквозь толпу и уселся между Секретарем и Саймом. На нем был хитон грозной белизны; волосы серебряным пламенем вздымались над челом.

Долго, быть может — часами, плясал многолюдный маскарад под звуки веселой, возносящей душу музыки. Каждая пара казалась неповторимым рассказом; фея, танцующая с почтовым ящиком, или крестьянка с месяцем были нелепы, как Зазеркалье,

и серьезны, как повесть о любви. Наконец толпа стала редеть. Все потянулись кто в аллеи, кто — к поляне у дома, где дымились в котлах диковинные варева, благоухающие элем и вином. Над ними, на возвышении, ревел в тагане огромный костер, освещавший всю округу, озаряя мягким отблеском очага серый и коричневый лес и согревая пустоту поднебесья. Однако и ему пришло время померкнуть. Едва различимые кучки людей теснились у котлов и пропадали, болтая и смеясь, в покоях старого дома. Вскоре в саду осталось десять гостей, потом — четверо, и наконец последний вбежал в дом, окликая приятелей. Огонь погас, неспешно засверкали яркие звезды. Семеро странных людей, как семь изванных, сидели на каменных престолах, ни слова ни говоря.

Долго молчали они, вслушиваясь в жужжанье жуков и пенье птицы вдали. Потом Председатель заговорил, и так задумчиво, словно не начинал, а продолжал беседу.

— Поедим и выпьем мы позже, — сказал он. — Побудем немного вместе, мы, что так долго сражались и так скорбно любили друг друга. Мне кажется, я помню века героических битв, в которых вы бились, как герои, эпос за эпосом, песнь за песнью, и вас, братьев по оружию. Недавно (ведь время — ничто) или в начале мира я посылаю вас на брань. Я сидел во тьме, где нет ни единого творенья, и был лишь голосом для вас, провозвещавшим доблесть и невиданную, немыслимую добродетель. Голос звучал из мрака, больше вы его не слышали. Солнце отрицало его, земля и небо, вся человеческая мудрость. И когда я встречался с вами при свете, я сам его отрицал.

Сайм резко выпрямился в кресле, все молчали, и Непостижимый продолжил:

— Но вы были мужами. Вы не забыли тайну чести, хотя весь мир стал орудием пытки, чтобы выпытать ее. Я знаю, как близки вы были к аду. Я знаю, что ты, Четверг, скрестил меч с Сатаной, а ты, Среда, воззвал ко мне в час отчаянья.

В залитом звездном светом саду наступила тишина, потом чернобровый Секретарь повернулся и резко спросил:

— Кто ты и что ты такое?

— Я отдых воскресный, — отвечал Председатель не двигаясь. — Я — мир, я покой Божий.

Секретарь вскочил, сминая рукой драгоценные одежды.

— Я знаю, что ты хочешь сказать! — воскликнул он. — И не прощаю. Ты — довольство, ты — благодущие, ты — примирение. А я не мирюсь. Если ты человек в темной комнате, почему ты был и главою злодеев, оскорблением для дневного света? Если ты изначально был нам отцом и другом, почему ты был злейшим нашим врагом? Мы плакали, мы бежали в страхе, оружие прошло нам сердце — и ты покой Божий? О, я прошу Богу гнев, даже если он всех уничтожит, но не прощу Ему такого мира!

Воскресенье не ответил ни слова, только обратился недвижимое лицо к Сайму, как бы задавая вопрос.

— Нет,— сказал Сайм, — я не злюсь. Я благодарен тебе не только за вино и радушие, но и за лихую погоню, и за добрый бой. И все-таки мне хотелось бы знать. Душа моя и сердце мое блаженны, как этот сад, но разум неспокоен. Я хотел бы понять.

Воскресенье взглянул на Рэтклифа, и тот звонко сказал:

— Это ведь глупо! Ты был на обеих сторонах и боролся с самим собой.

— Я ничего не понимаю,— сказал Булль, — но счастлив. Мне так хорошо, что я сейчас усну.

— А мне плохо,— сказал профессор, охватив ладонями лоб, — потому что я не понимаю. Ты подпустил меня слишком близко к аду.

Гоголь произнес с простотой ребенка:

— Я хочу знать, почему меня так мучили.

Воскресенье молчал, опершись мощным подбородком на руку и глядя вдаль. Наконец он сказал:

— Я выслушал ваши жалобы. Вот идет еще один. Он тоже будет жаловаться, выслушаем и его.

Догоравший огонь бросил на темную траву последний отблеск, подобный бруску золота. По этой огненной полосе двигались черные ноги. Пришелец был одет как здешний слуга, только не в голубое, а в черное. Как и слуги, он носил шпагу или меч. Лишь когда он вплотную подошел к полумесяцу престолов, Сайм с удивлением увидел обезьянье лицо, рыжие кудри и наглую усмешку своего старого друга.

— Грегори! — вымолвил он приподнимаясь. — Вот он, истинный анархист.

— Да,— сказал Грегори с грозной сдержанностью. — Я — анархист истинный.

Доктор Булль бормотал во сне:

— «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана».

— Ты прав,— сказал Грегори, оглядев поляну. — Я разрушитель. Если бы я мог, я разрушил бы мир.

Жалость, поднявшаяся из глубин земли, охватила Сайма, и он сбивчиво начал:

— Бедный ты, бедный! Попробуй быть счастливым. Волосы у тебя рыжие, как у твоей сестры.

— Мои рыжие волосы сожгут мир, словно пламень! — вскричал Грегори. — Я думал, что ненавижу все на свете больше, чем можно ненавидеть. Но теперь я понял, что еще больше я ненавижу тебя.

— Я никогда не чувствовал к тебе ненависти, — ответил Сайм с глубокой печалью.

— Ты! — крикнул Грегори. — Куда тебе, ведь ты и не жил! Я знаю, кто вы. Вы — власть. Вы — сытые, довольные люди в синих мундирах. Вы — закон, и вас еще никто не сломил. Но есть ли живая душа, которая не жаждет сломить несломленных? Мы, бунтари, болтаем о ваших преступлениях. Нет, преступление

у вас одно: вы правите. Смертный грех властей в том, что они властвуют. Я не кляню вас, когда вы жестоки, я не кляню вас, когда вы милостивы. Я кляню вас за то, что вы в безопасности. Вы не сходили со своих престолов. Вы — семь ангелов небесных, не ведавшие горя. Я простил бы вам все, властители человеков, если бы увидел, что вы хотя бы час страдали, как страдал я...

Сайм вскочил, дрожа от внезапного прозренья.

— Я понял! — воскликнул он. — Теперь я знаю! Почему каждое земное творенье борется со всеми остальными? Почему самая малость борется со всем миром? Почему борются со Вселенной и муха, и одуванчик? По той же причине, по какой я был одинок в Совете Дней. Для того, чтобы каждый, кто покорен порядку, обрел одиночество и славу изгоя. Для того, чтобы каждый, кто бьется за добрый лад, был смелым и милосердным, как мятежник. Для того, чтобы мы смели ответить на кощунство и ложь Сатаны. Мы купили муками и слезами право на слова: «Ты лжешь». Какие страдания чрезмерны, если они позволяют сказать: «И мы страдали»?

Ты говоришь, что нас не сломали. Нас ломали — на колесе. Ты говоришь, мы не сходили с престолов. Мы спускались — в ад. Мы сетовали, мы жаловались, мы не могли забыть своих бед в тот самый миг, когда ты нагло пришел обвинить нас в спокойствии и счастье. Я отвергаю твою клевету, мы не были спокойны. Счастлив не был никто из великих стражей закона, которых ты обвиняешь. Во всяком случае...

Он замолчал и посмотрел в лицо Воскресенья, на котором застыла загадочная улыбка.

— А ты, — страшным голосом крикнул он, — страдал ли ты когда-нибудь?

Пока он глядел, большое лицо разрослось до немислимых размеров. Оно стало больше маски Мемнона, которую Сайм не мог видеть в детстве. Оно становилось огромней, заполняя собою небосвод; потом все поглотила тьма. И прежде чем тьма эта оглушила и ослепила Сайма, из недр ее донесся голос, говоривший простые слова, которые он где-то слышал: «Можете ли пить чашу, которую Я пью?»

Когда люди в книгах просыпаются, они оказываются там, где могли заснуть: зевают в кресле или устало встают с травы. Сейчас у Сайма все было не так просто, если и впрямь он прошел через то, что в обычном, земном смысле зовется нереальным. Хотя он хорошо помнил, что лишился чувств перед лицом Воскресенья, он никогда не смог вспомнить, как пришел в себя. Постепенно и естественно он осознал, что уже довольно долго гуляет по тропинкам с приятным, словоохотливым собеседником. Собеседник этот играл немалую роль в недавно пережитой им драме; то был рыжий поэт, Люциан Грегори.

Они по-приятельски прогуливались, толкуя о пустяках. Но сверхъестественная бодрость и кристальная ясность мысли казались Сайму гораздо важнее того, что он говорил и делал. Он чувствовал, что обрел невысказанно благоуханную вещь, рядом с которой все становится ничтожным и в ничтожности своей — драгоценным.

Занималась заря, окрашивая мир светлыми и робкими красками, словно природа впервые пыталась создать розовый цвет и желтый. Ветерок был так свеж и чист, словно дул сквозь дырку в небе. Сайм удивился, что по сторонам тропинки алеют причудливые дома Шафранного парка — он и не думал, что гуляет совсем близко от Лондона. Повинуясь чутью, он направился к белой дороге, на которой прыгали и пели ранние птицы, и очутился у окруженного решеткою сада. Здесь он увидел рыжую девушку, нарезавшую к завтраку сирень с бессознательным величием юности.



РАССКАЗЫ

Из сборников:

THE CLUB OF QUEER TRADES

1905

THE INNOCENCE OF FATHER BROWN

1911

THE WISDOM OF FATHER BROWN

1914

НЕОБЪЯСНИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССОРА ЧЭДДА

Кроме меня у Бэзила Гранта не так уж много друзей, но вовсе не из-за того, что он малообщителен, напротив, он сама общительность и может завязать беседу с первым встречным, да и не просто завязать, но проявить при этом самый неподдельный интерес и озабоченность делами нового знакомого. Он движется по жизни, вернее, созерцает жизнь, словно с империала омнибуса или с перрона железнодорожной станции. Конечно, большинство всех этих первых встречных, как тени, расплываются во тьме, но кое-кто из них порою успевает ухватиться за него — если так можно выразиться, и подружиться навсегда. И все-таки, подобранные наудачу, они напоминают то ли паданцы, сорвавшиеся с ветки в непогоду, то ли разрозненные образцы какого-то товара, то ли мешки, свалившиеся ненароком с мчащегося поезда, или, пожалуй, фанты, которые срезают ножницами с нитки, завязав глаза. Один из них, по виду вылитый жокей, был, кажется, хирургом-ветеринаром, другой, белобородый, кроткий человек неясных убеждений, был священником, юный уланский капитан напоминал всех остальных уланских капитанов, а малорослый фулемский дантист, могу сказать это с уверенностью, был в точности таким, как прочие его собратья, проживающие в Фулеме. Из их числа был и майор Браун, невысокий, очень сдержанный, щеголеватый человек, с которым Бэзил свел знакомство в гардеробе отеля, где они не сошлись во мнении о том, кому из них принадлежала шляпа, и это расхождение во взглядах едва не довело майора до истерики — мужской истерики, замешанной на эгоизме старого холостяка и педантизме старой девы. Домой они уехали в одном кебе, и с этого дня дважды в неделю обедали вместе. Я и сам так подружился с Бэзилем. Еще в ту пору, когда он был судьей, мы как-то оказались рядом на галерее клуба либералов и, перебросившись двумя-тремя словами о погоде, не менее получаса проговорили о политике и Боге — известно, что

о самом главном мужчины говорят обычно с посторонними. Ведь в постороннем лучше виден образ Божий, не замутненный сходством с вашим дядюшкой или сомнением в уместности отпущенных усов.

Профессор Чэдд был самым ярким человеком в этом разношерстном обществе. Среди этнографов — а это целый мир, необычайно интересный, но крайне удаленный от места обитания прочих смертных, — он слыл одним из двух крупнейших, а может стать, и крупнейшим специалистом по языкам диких племен. Своим соседям в Блумсбери он был известен как лысый бородастый человек в очках и с выражением терпенья на лице, какое свойственно загадочным сектантам, давно утратившим способность гневаться. С охапкой книг и скромным, но заслуженным зонтом он каждый день курсировал между Британским музеем и несколькими чайными наилучшей репутации. Без книг и зонтика его никто не видел, и, как острили более ветреные завсегдатаи зала персидских рукописей, он их не выпускал из рук, даже укладываясь спать в своем кирпичном домике на Шепердс-Буш, где жил с тремя родными сестрами, особами несокрушимой добродетели и столь же устрашающей наружности: и жил довольно счастливо, как все ученые педанты, хотя нельзя сказать, чтоб очень весело или разнообразно. Веселье посещало его дом в те поздние вечерние часы, когда туда являлся Бэзил Грант и втягивал хозяина в стремительный водоворот беседы.

Порой на Бэзила, которому немного оставалось до шестидесяти, накатывала буйная мальчишечья веселость, и, Бог весть почему, это всегда случалось с ним в гостях у скучноватого и погруженного в свою науку Чэдда. В тот вечер, когда с профессором случилось это странное несчастье, Бэзил, помнится, превзошел самого себя — я часто бывал третьим за их трапезами. Как люди его склада и общественного круга — а это круг ученых, принадлежащих к семьям среднего сословия, — профессор Чэдд был радикалом в серьезном, старом духе. Грант тоже был из радикалов, но из другой, довольно частой категории настроенных критически и постоянно нападающих на собственную партию людей. У Чэдда вышла новая журнальная статья — «Интересы зулусов и новая граница в Маконго», где, описав с большой научной точностью обычаи племени т'чака, он резко выступал против вторжения в жизнь зулусов англичан и немцев, разрушавших местные обычаи. Перед профессором лежал журнал, в стеклах его очков играл свет лампы, и, глядя на Бэзила Гранта, который мерил комнату упругими шагами и говорил таким высоким, возбужденным голосом, что все вокруг ходило ходуном, он хмурился, но удивленно, а не гневно.

— Я не возражаю против ваших выводов, почтенный Чэдд, я возражаю против вас, — говорил Грант. — Вы, безусловно, вправе защищать зулусов, но с той лишь оговоркой, что вы им не сочувствуете. Вам, несомненно, лучше всех известно, в сыром

или в вареном виде они употребляют помидоры и заклинают ли богов, желая высморкаться, но понимаю я их лучше вашего, хотя мне ничего не стоит перепутать ассагай и аллигатора. Вы больше знаете, зато я больше чувствую в себе зулуса. Не пойму, как это выходит, но всех веселых, добрых варваров, какие только есть на белом свете, всегда и всюду защищают люди, на них нимало не похоже. К чему бы это? Вы проникательны, хотите им добра и много знаете, но вы нимало не дикарь. Не льстите себе, Чэдд. Взгляните на себя в зеркало или спросите у своих сестер. Спросите, наконец, хранителя Британского музея. А еще лучше полюбуйтесь на свой зонт, — и он взял в руки это унылое, но все еще почтенное орудие. — Всмотритесь-ка в него получше. Если не ошибаюсь, вы с ним не расставались добрых десять лет, да что там десять! Должно быть, вы и восьмимесячным младенцем держали его в колыбели, но вам ни разу не хотелось с громopodobным кличем метнуть его подальше, как копье. Вот так... — И он метнул его над лысой головой профессора. Со свистом рассекая воздух, чуть не задев качнувшуюся вазу, зонт врезался в уложенные стопкой и рухнувшие на пол книги.

Профессор Чэдд не шелохнулся, так и сидел с нахмуренным челом, подставив лицо лампе.

— Ваша мыслительная деятельность, — заговорил он наконец, — порою протекает слишком бурно. Да и словам, в которые вы облакаете ее, недостает системы. Я не усматриваю здесь противоречия, — он говорил невыносимо медленно, казалось, что проходят годы, пока он выговаривает слово до конца, — когда оцениваю право аборигенов задерживаться на той фазе эволюции, какая представляется им близкой и благоприятной. Иначе говоря, я не усматриваю ни малейшего противоречия между означенным признанием их прав и точкой зрения, что свойственное им развитие, если судить о нем в ряду других космических процессов, стоит на более низкой — относительно, конечно, — ступени эволюции.

У Чэдда шевелились только губы, да стекла его очков перебивались, как опаловые луны. Грант, глядя на него, покатывался со смеху.

— Противоречия тут нет, сын алого копья, — ответил он, — но есть огромное несходство темпераментов. Я, например, как бы меня за это ни громили, нимало не уверен, что те же самые зулусы находятся на более низкой стадии развития. По-моему, бояться населенного чертями мрака вовсе не глупость и невежество, а философский взгляд на вещи. Справедливо ли считать неразумным того, кто чувствует таинственность и ужас бытия? Скорее это мы не развиты, дражайший Чэдд, — мы не боимся темноты, в которой обитают черти.

С благоговейной бережностью истого библиофила профессор Чэдд разрезал костяным ножом журнальную страницу.

— Согласен, это здравая гипотеза, и состоит она, если я правильно вас понял, в том, что европейская цивилизация не выше,

а, может статься, даже ниже культурного развития зулусов и других племен. Я вынужден признать, что данное суждение скорей всего является исходным и потому не допускает доказательств и опровержений, равно как, скажем, главный тезис пессимизма или как главный тезис солипсизма о нематериальности мира. Но не хочу вводить вас в заблуждение. Не думайте, что вами высказано нечто большее, чем просто здоровое суждение, и значит оно только то, что вы не погрешили против логики, не более.

Бэзил запустил в него книгой и закурил сигару.

— Вы ничего не поняли,— сказал он. — Спасибо хоть курить не запрещаете. Как это вы не боретесь с таким ужасным варварским обычаем, уму непостижимо? Признаюсь, сам я закурил тогда же, когда стал зулусом, лет эдак десяти от роду. А утверждаю я лишь то, что вы, конечно, лучше знаете зулусов как ученый, но я их понимаю лучше, ибо я сам дикарь. Рассмотрим, например, вашу теорию происхождения языка. Вы говорите, что его истоки лежат в придуманном отдельной особью секретном языке, но как вы ни обезоруживаете меня фактами, как ни подавляете эрудицией, меня это не убеждает. Не убеждает потому, что я интуитивно чувствую: так в жизни не бывает. Если вы спросите, откуда у меня такая твердая уверенность, я вам скажу, что я зулус; а если спросите — кто есть зулус, я вам отвечу: это существо, забравшееся в семилетнем возрасте на сассекскую яблоню и испугавшееся привидений в зарослях английской живой изгороди.

— Ваша умственная деятельность, — начал сидевший так же неподвижно Чэдд, но тут его прервали. Резким, мужским движением ее сестра толкнула дверь — в подобных семьях мужественность отдана на откуп сестрам — и объявила:

— Джеймс, к тебе мистер Бингем из Британского музея.

Смешавшийся философ нетвердым шагом удалился из гостиной; ведь для таких, как он, теория гораздо ближе повседневной жизни, тревожной и таинственной, как призрак.

— Надеюсь, что моя осведомленность вам не будет неприятна,— промолвил Бэзил Грант, — но говорят, мисс Чэдд, будто Британский музей признал заслуги человека, и впрямь достойного его поддержки. Правда ли, что профессор Чэдда собираются сделать главным хранителем отдела восточных рукописей?

Довольная и в то же время горькая улыбка озарила суровое лицо старой девы.

— Кажется, правда. Если он получит это место, нам, его сестрам, это доставит не только радость и почет, к чему мы, женщины, достаточно чувствительны, поверьте, но и большое облегчение, к чему мы еще более чувствительны. Здоровье Джеймса нас давно тревожит, а ведь пока мы так бедны, ему приходится писать в журналы популярные статьи и заниматься репетиторством. И все это помимо его собственных мучительных открытий и теорий, которые ему дороже всякого живого существа — мужчины, женщины или ребенка. Я часто думала, что, если к нам

откуда-нибудь не придет спасение вроде такой вот должности, у нас появятся все основания бояться за его рассудок. Впрочем, сейчас все, кажется, уже уладилось.

— Чудесно, — отозвался Бэзил, хотя лицо у него было озабоченное. — Но все эти бумажные перипетии и долгие переговоры — материя ненадежная, и я советую не слишком полагаться на обещанное, чтобы потом не испытать разочарования. Я знал очень достойных людей, не менее достойных, чем ваш брат, у которых дело было совсем на мази, и все-таки потом срывалось. Но если правда, что...

— Да, если правда, — гневно прервала его собеседница, — то люди, которые не пробовали жить по-человечески, узнают наконец, что это значит.

Ее слова еще висели в воздухе, когда вошел по-прежнему растерянный профессор.

— Ну как, все подтвердилось? — нетерпеливо встретил его Бэзил.

— Нимало, — помедлив, отозвался Чэдд, — вы допустили три ошибки.

— Какие три ошибки? — не понял Грант.

— Вы заявили, что можете постичь сущность зулусов...

— Да Бог с ними, с зулусами, — расхохотался Грант. — Вы получили должность?

— Должность хранителя восточных рукописей? — от удивления Чэдд по-детски широко раскрыл глаза. — Да, разумеется. Но самый сильный аргумент пришел мне в голову, пока я шел сюда, и состоит он в том, что вы не только полагаете возможным понять зулусов, не прибегая к фактам, но факты лишь мешают вам постигнуть истину...

— Все, вы меня разбили наголову, — Бэзил со смехом повалился в кресло, а сестра профессора поспешила к себе, возможно, для того, чтоб скрыть улыбку, а может быть, с иною целью.

От Чэддов мы ушли в тот вечер очень поздно, а путь от Шепердс-Буш до Ламбета и утомителен, и долог, чем я хотел бы оправдать постыдно поздний завтрак, к которому мы с Грантом — я у него остался ночевать — спустились чуть не в полдень. Впрочем, и к этой запоздалой трапезе мы вышли вялые и сонные. Грант был особенно рассеян, казалось, он не видит ворох писем у своей тарелки и, может статься, так бы ни одно не распечатал, если б поверх всей груди не красовалось нечто в самом деле непреложное и победившее своей безотлагательностью даже современную непунктуальность, — поверх всего лежала телеграмма. Он взял ее с тем же отсутствующим видом, с которым ел яйцо и пил чай. Читая, он не шевельнулся, не издал ни звука, но я почувствовал, что он вибрирует от напряжения, словно гитара с натянутыми струнами. Хоть он не двигался и ничего не

говорил, мне было ясно, что он в одно мгновение очнулся и обрел всю остроту ума, словно в лицо ему плеснули холодной водой. И я не удивился, когда он с мрачным видом прошел к креслу, плюхнулся туда, тотчас вскочил на ноги и, резко отшвырнув его с дороги, в два шага одолел разделявшее нас пространство.

— Что вы на это скажете? — Он протянул мне телеграмму, в которой говорилось: «Приезжайте немедленно. Психическое состояние Джеймса неблагоприятно. Чэдд».

— Что этой женщине в голову взбрело? — возмутился я. — По мнению сестер, бедный старый профессор был не в своем уме с минуты своего рождения.

— Вы ошибаетесь, — спокойно возразил мне Грант. — Все рассудительные женщины и впрямь считают всех ученых сумасшедшими, да и вообще все женщины считают всех мужчин безумцами, но в телеграммах это не сообщают, как не сообщают, что Господь всемиловит или что трава зеленая. Это и само собою разумеется, и говорится лишь между своими. Если мисс Чэдд через чужую женщину-телеграфистку передает, что ее брат рехнулся, значит, для нее это вопрос жизни и смерти, и так она и говорит, чтобы заставить нас быстрее приехать.

— Да уж теперь мы не задержимся, — ответил я, смеясь.

— О, несомненно, — согласился Грант. — Здесь рядом есть стоянка кебов.

За все то время, что мы ехали через Вестминстерский мост, Трафальгарскую площадь, по Пикадилли и по Эксбридж-роуд, Бэзил не проронил ни слова и, только подойдя к калитке, вымолвил:

— Попомните мое слово, друг мой, это одна из самых странных, сложных и запутанных историй, когда-либо происходивших в Лондоне, да и во всем цивилизованном мире.

— При всем моем доверии и почтении к вам признаюсь, что ничего подобного не ощущаю. Что тут такого уж невероятного и сложного, если похожий на сомнамбулу старый, хворый профессор, всегда существовавший на опасной грани между здоровьем и болезнью, сошел с ума от бурной радости? Что тут непостижимого, если чудак, чья голова напоминает репу и чья душа сложнее паучьей паутины, не может приспособиться к смутившей его перемене участи? Словом, что удивительного в том, что Джеймс Чэдд лишился разума от сильного волнения?

— Меня б это не удивило, — мирно кивнул Бэзил, — ничуть не удивило. Не это показалось мне невероятным.

— А что? — И я нетерпеливо топнул.

— Невероятно то, что он не помешался от волнения.

Едва открылась дверь, как угловатая, высокая фигура старшей мисс Чэдд выросла на нашем пути, а две другие сестры загородили узкий коридор и вход в небольшую гостиную, будто стараясь что-то скрыть от наших глаз. Три духа в черном из

какой-нибудь туманной пьесы Метерлинка, они, пытаясь скрыть трагедию, происходившую на сцене, вели себя подобно древнегреческому хору.

— Пожалуйста, присаживайтесь, — резко бросила одна из них, и в этой резкости угадывалась мука, — мне нужно объяснить вам, что случилось.

Лицо ее было угрюмо, говорила она ровным, лишенным выражения голосом, только зачем-то все поглядывала в окно.

— Начну по порядку. Сегодня утром, когда я убирала со стола, — сестрам нездоровилось, и к завтраку они не спустились, — брат вышел, как я думала, за книгой, но тотчас возвратился без нее, остановился и стал сосредоточенно смотреть в пустой камин. «Ты что-то потерял, помочь тебе?» — спросила я. Ответа не последовало, но мне это не внове — он часто глубоко задумывается. Я повторила свой вопрос. Порой он так уходит в свои мысли, что нужно тронуть его за плечо, чтобы привлечь внимание. Поэтому я обошла вокруг стола, чтобы стать к нему поближе. Не знаю, как сказать, что я почувствовала, звучит это, наверное, глупо. Мне показалось, что случилось что-то страшное и мне отказывает разум: Джеймс стоял на одной ноге.

Грант медленно улыбнулся и стал тщательно потирать руки.

— Стоял на одной ноге? — переспросил я.

Последовало бесстрастное «да», но по недогнувшему голосу мисс Чэдд нельзя было предположить, что ей понятна фантастичность сказанного.

— Он стоял на левой ноге, а правая с оттянутым носком была слегка приподнята. Я спросила, не больно ли ему. Он лишь тряхнул висящей в воздухе ногой, потом задрал ее перпендикулярно левой, как будто для того, чтоб указать на стену, а сам по-прежнему не отводил глаз от камина. «Что с тобой стряслось, Джеймс?» — в страхе закричала я. В ответ брат трижды вскинул вверх правую ногу, таким же образом взбрыкнул три раза левой и завертелся, как юла. «В своем ли ты уме? Почему ты молчишь?» — настаивала я. Тогда он приостановился, стал против меня и, вскинув брови, поглядел таким знакомым взглядом — глаза за стеклами очков казались, как всегда, огромными, — секунду или две не шевелился, после чего вместо ответа неспешно оторвал от пола левую ногу и стал описывать круги. Я побежала к двери, позвала Кристину. Не буду вам рассказывать, какие страшные часы мы пережили, как мы все три просили его и молили сказать хотя бы слово — наверное, даже мертвый бы расстрогался, но он с таким же каменным лицом только подпрыгивал, приплясывал и вскидывал ногами, которые вертелись словно на шарнирах или как будто в них вселились бесы. С тех пор он не издал ни звука.

— Где он сейчас? — Я вскочил, возбужденный рассказом. — Его нельзя оставлять одного.

— Он не один, с ним доктор Колмен, — ответила спокойно мисс Чэдд. — Они сейчас в саду. Доктор считает, что свежий воздух пойдет ему на пользу.

Мы с Бэзиллом бросились к окну, выходящему в сад. Садик был маленький, типично пригородный, очень аккуратный. Стоявшие головка к головке цветы на клумбе сливались в правильный узор, как на ковре, но в этот щедрый летний день даже они казались буйными, словно росли на воле, — под жарким небом тропиков, чуть не добавил я. В центре зеленой, солнечной, до боли правильной в своей округлости лужайки стояли две фигуры. Коротышка с темными бачками, в начищенном до блеска цилиндре — вне всякого сомнения, доктор Колмен — внимательно вглядывался в своего пациента и что-то говорил спокойным, ясным голосом, но тик все время искажал его черты. Наш старый друг слушал его с привычной снисходительностью, и круглые, как у совы, глаза светились за очками, в которых отражалось солнце, совсем как вчера вечером, когда они сияли светом лампы, а громогласный Бэзил вышучивал его приверженность к академической рутине. Профессор выглядел таким же, как вчера, за исключением одной подробности: хотя лицо его хранило прежнюю невозмутимость, ноги безостановочно подергивались, точно у марионетки. На фоне аккуратных цветников и залитого солнцем сада его фигура выглядела очень четко и совершенно неправдоподобно, соединяя в себе голову отшельника и ноги арлекина. Все чудеса должны были бы совершаться ясным днем — ночью в них легче верится и потому они не так чудесны.

Появившаяся вторая сестра прошла к окну и удрученно поглядела в сад.

— Ты не забыла, Аделаида, что в три часа снова придет мистер Бингем из Британского музея?

— Нет, не забыла. Придется рассказать ему. Я знала, что мы люди невезучие и что хорошее непросто нам дается.

Грант быстро обернулся.

— Что вы хотите рассказать?

— Вы превосходно знаете, что я должна ему сказать. Наверное, можно и не называть эту злосчастную болезнь по имени. Не думаете же вы, что человеку, который так выплясывает, доверят быть хранителем восточных рукописей? — И она быстро показала в сад на Чэдда, чье обращенное к врачу лицо сияло в солнечных лучах, а ноги непрестанно мельтешили в воздухе.

Бэзил поспешно вытащил из жилетного кармана часы.

— Когда, вы говорите, придет чиновник из Британского музея?

— В три, — бросила мисс Чэдд.

— Значит, у меня есть еще целый час, — пробормотал Бэзил и, не вдаваясь в объяснения, перемахнул через подоконник. Но двинулся не напрямик к врачу и пациенту, а осторожно стал к ним приближаться издали, как будто невзначай, прогуливаясь

по дорожкам сада. Остановился он за несколько шагов и, вынув мелочь из кармана, вроде решил ее пересчитать, хотя из-под полей своей огромной шляпы — мне это было ясно видно — следил за каждым жестом Чэдда. Вдруг он решительно шагнул к профессору и, взяв его под локоть, сказал своим обычным, громким голосом:

— Ну как, дружище, вы все еще считаете, будто зулусы уступают нам в развитии?

Нахмурившийся доктор явно взволновался и пробовал заговорить, но Чэдд, посверкивая лысиной, повернул к Гранту свое спокойное и дружелюбное лицо и стал вместо ответа помахивать неторопливо левой ногой.

— А доктора вы обратили в свою веру? — все так же бодро обращался к Чэдду Бэзил. Профессор с тем же добрым, вопрошающим лицом лишь шаркнул левой ногой и постучал ею о правую. Но тут решительно вмешался доктор:

— Пойдемте в дом, профессор. Сад вы мне уже показали. Отличный сад, просто отличный. А сейчас нам нужно в дом, — и, ухватив выделывавшего антраша этнографа за локоть, стал подталкивать его к дому, нашептывая Гранту: — Не нужно волновать его вопросами, это небезопасно. Ему необходимо успокоиться.

Бэзил ответил холодно, не понижая голоса:

— Вашим советам, доктор, нужно следовать неукоснительно, что я и собираюсь делать, но думаю, что их немало не нарушу, если останусь здесь в саду еще на час с моим злосчастным другом. И говорить я буду очень мало, уверяю вас, а то немногое, что все-таки скажу, будет успокоительно, как... как сладкая микстура.

Доктор задумчиво протер очки.

— Ему нельзя стоять на солнцепеке, тем более с непокрытой лысиной.

— Ну, это дело поправимое, — невозмутимо отозвался Бэзил и мигом нахлобучил свой гигантский головной убор на яйцевидный череп Чэдда. Тот даже головы не повернул и продолжал приплясывать, все так же глядя вдаль.

Доктор водворил очки на место, затем, склонив по-птичьи голову к плечу, сурово созерцал обоих несколько секунд и, наконец отрывисто промолвив «Как угодно», важно зашагал к дому, из окон которого выглядывали три сестры профессора. Словно приросши к месту, не отрывая глаз от совершавшегося на лужайке, они так простояли целый час, и зрелище, представшее их взорам, было безумней самого безумия.

Бэзил попробовал задать больному несколько вопросов, но, удостоившись в ответ лишь нескольких очередных прыжков и пируэтов, неторопливо вынул из одного кармана красную записную книжку, а из другого карандаш и стал там быстро что-то пометать. Когда безумец удалился от него прыжками, он устремился

следом, догнал и, став неподалеку, снова что-то чиркал в книжке. И так они кружили и петляли вокруг ничтожного кусочка дерна, и догонявший все строчил, напоминая человека, погруженного в решение арифметической задачи, а убегавший прыгал и резвился, как ребенок.

Эта бессмысленная пантомима не прерывалась сорок пять минут, после чего Грант сунул карандаш в карман, обошел помешанного и стал напротив, держа перед собой раскрытую записную книжку. То, что последовало дальше, было невероятней фантастического сна и превзошло все ожидания зрителей, ко многому привыкших в это чудовищное утро. С бесстрастным добродушием профессор долго вглядывался в выросшего перед ним Бэзила, потом, подняв левую ногу, застыл в той позе, которую его сестра описывала первой в серии его коленец и прыжков. И тотчас Бэзил Грант взмахнул в ответ ногой и замер, обратив подошву в сторону профессора, который быстро выпрямил висевшую в воздухе левую ногу и, опустив на землю, согнул другую так, как будто собирался плавать. Тогда Бэзил скрестил ноги и прыжком раскинул их в стороны. Никто из наблюдавших не успел опомниться, как эта пара уже отплясывала нечто вроде джиги или матросского танца, и солнце освещало двух безумцев вместо одного.

Сраженные своим психозом, они словно оглохли и ослепли и не заметили, что старшая мисс Чэдд в большом волнении идет по саду, с мольбой протягивая руки, и что ее сопровождает посторонний. Профессор Чэдд в эту минуту изогнулся, словно в фигуре падекатра, а Бэзил Грант стоял наизготове, как видно собираясь сделать «колесо», но тут Аделаида Чэдд произнесла с металлом в голосе: «Мистер Бингем из Британского музея», и оба обратились в статуи.

Мистер Бингем, худошавый, тщательно одетый человек в безукоризненных перчатках и с седой бородкой клинышком, лишавшей его облик мужественности, держался церемонно, но приятно. В отличие от Чэдда — ученого педанта, презиравшего условности, он был педантом, поклонявшимся условностям. Но в данном случае корректность и приветливость были весьма уместны. Он прочитал невероятно много книг и побывал во множестве салонов, где были в моде разговоры о науке, но не слышал и не видал, чтоб два седых, почтенных человека, одетых в современные костюмы, вместо послеобеденного отдыха выделяли гимнастические трюки.

Нимало не смутившись, профессор продолжал свои курбеты, но Грант остановился. В сад снова вышел доктор. Из-под своей блестящей черной шляпы он испытующе поглядывал такими же блестящими и черными глазами то на безумца, то на Гранта.

— Вы не побудете немного с профессором, доктор Колмен? — обратился к нему Бэзил. — Мне кажется, он в вас сейчас нуждается. Прошу вас, окажите мне любезность, мистер Бингем, уделите несколько минут наедине. Моя фамилия Грант.

В ответ гонец Британского музея учтиво поклонился, но вид у него был несколько растерянный.

— Вы не осудите меня, мисс Чэдд, если я сам провожу мистера Бингема в дом? — продолжал Бэзил без тени замешательства и через заднюю дверь быстро ввел опешившего библиотекаря в гостиную. Пододвигая ему стул, он продолжал: — Наверное, мисс Чэдд уже сообщила вам печальное известие.

— Да, я уже знаю, мистер Грант, — сочувственно, но с беспокоейством отозвался Бингем, не подымая взгляда от стола. — Я не могу сказать, как я расстроен этим чудовищным несчастьем. И надо ж было ему случиться в тот самый час, когда мы окончательно решили предложить вашему прославленному другу должность. Он, разумеется, достоин большего, но все так повернулось, не знаю, право, как получше выразиться. Профессор Чэдд, возможно, сохранит свои поистине бесценные способности, я очень в это верю, но опасаясь, — в самом деле, опасаясь, — что как-то не пристало хранителю отдела восточных рукописей — э-э — кружиться в танце по библиотеке.

— Хочу к вам обратиться с предложением. — С размаху сев на стул, Бэзил придвинулся к столу.

— Буду рад вас выслушать. — И служащий Британского музея прокашлялся и тоже сел поближе.

В установившейся тиши каминные часы успели отсчитать всего какие-то секунды, потребовавшиеся Бэзилу, чтобы прочистить горло, подобрать слова и вымолвить:

— Так вот что я хотел сказать. Это не компромисс в точном значении слова, но нечто близкое. Я предлагаю, чтоб правительство через посредничество музея платило Чэдду восемьсот фунтов в год, пока он продолжает танцевать.

— Восемьсот фунтов в год? — переспросил мистер Бингем и в первый раз за всю их встречу взглянул на собеседника голубыми, кроткими глазами, светившимися изумлением, таким же голубым и кротким, как и взор. — Боюсь, я недопонял. Я не ошибся, вы считаете, будто профессор Чэдд в его нынешнем состоянии должен получить под свое начало отдел восточных рукописей и восемьсот фунтов в год?

Отрицательно мотнув головой, Грант отрубил:

— никоим образом, хоть Чэдд — мой друг и я готов сказать в его поддержку что угодно. Но я не говорил и не хочу сказать, что можно поручить ему сейчас отдел восточных рукописей. Так далеко я не зашел. Я только предлагаю платить ему восемьсот фунтов в год, пока он танцует. Музей, наверное, располагает средствами для поощрения научных изысканий?

Бингем был совершенно сбит с толку.

— Я что-то не совсем вас понимаю, — сказал он, озадаченно помаргивая. — Вы бы хотели, чтоб мы назначили пожизненное содержание чуть не в тысячу фунтов в год этому явному ма-ньяку?

— Нет, и еще раз нет, — живо отозвался Бэзил, и в голосе его прозвучала нотка торжества. — Я не сказал «пожизненно», вовсе нет.

— А что же вы тогда сказали? — осведомился кроткий Бингем, кротко не позволяя себе вырвать прядь-другую собственных волос. — Как долго следует платить ему такую сумму? И если не пожизненно, то до какого времени? До Страшного суда?

— Зачем же? — засиял улыбкой Бэзил. — Я обозначил срок — только пока он продолжает танцевать. — Удовлетворенный, он откинулся на спинку стула и сунул руки в карманы.

— Полноте, мистер Грант. Неужто вы и вправду предлагаете, чтобы профессору назначили какое-то неслыханное жалованье на том лишь основании — простите за резкость, — что он сошел с ума? Чтобы ему платили больше, чем четверым толковым служащим, лишь потому, что он за домом прыгает, как школьник?

— Вот именно, — невозмутимо согласился Грант.

— И это фантастическое жалованье нужно для того, чтобы продолжить этот несуразный танец? Или, возможно, чтоб его остановить?

— Всегда в конце концов приходится остановиться, — подтвердил Бэзил.

Бингем поднялся, взял свою безукоризненную трость и столь же идеальные перчатки и холодно промолвил:

— Боюсь, нам больше нечего сказать друг другу, мистер Грант. Возможно, ваши разъяснения — шутка, и если так, она, по-моему, немилосердна. Если вы говорили искренне, примите мои извинения за то, что я вас заподозрил в несерьезности. Как бы то ни было, все это вне пределов моей компетенции. Душевная болезнь, душевное расстройство профессора Чэдда — настолько горестная тема, что мне мучительно ее касаться. Однако же всему есть мера. И помешайся сам архангел Гавриил, признаюсь, это отменило бы его сотрудничество с библиотекой Британского музея.

Он сделал шаг к дверям, но Грант остановил его предупреждающим, эффективным жестом.

— Повремените, повремените, пока еще не поздно, — воззвал он к Бингему. — Желаете ли вы помочь великому открытию, мистер Бингем? Желаете ли вы содействовать всеевропейской славе, торжеству науки? Желаете ли, постарев и поседев, или, возможно, полысев — не важно, ходить с высоко поднятою головой, ибо и ваша лепта есть в великом деле? Желаете ли...

— А если желаю, что тогда? — прервал его нетерпеливо Бингем.

— Тогда все просто, — не задумываясь, подхватил Грант. — Назначьте Чэдду восемьсот фунтов в год, пока он продолжает танцевать.

Вместо ответа Бингем гневно хлопнул перчатками и ринулся к дверям, но там столкнулся с направлявшимся в гостиную доктором Колменом.

— Прошу прощения, джентльмены, — взволнованно, с какою-то особой доверительностью начал доктор, — но я хотел сказать вам, мистер Грант, что сделал — э-э — обескураживающее открытие насчет мистера Чэдда.

Бингем угрюмо посмотрел на говорившего.

— Конечно, алкоголь, как я и опасался.

— Какой там алкоголь! — воскликнул доктор. — Если бы!

Как видно, это было бы еще не худшее. Встревожившийся Бингем немного сбивчиво и торопливо продолжал:

— Суицидальные намерения?

— Да нет! — нетерпеливо отмахнулся доктор.

Но Бингем лихорадочно перечислял:

— Наверное, говорит, что он стеклянный? Считает себя Богом?

— Ничуть, — резко оборвал его доктор. — Мое открытие совсем другого рода, мистер Грант. Ужасно то, что он не сумасшедший.

— Не сумасшедший?

— Есть хорошо известные физические признаки безумия. — Доктор был краток. — Ни одного из них у него нет.

— Почему же он танцует? — вскричал отчаявшийся Бингем. — Не отвечает на вопросы — ни нам, ни своим сестрам?

— Не берусь сказать, — холодно ответил доктор. — Я занимаюсь сумасшедшими, а не глупцами, а этот человек не сумасшедший.

— Да что же это значит наконец? Как нам заставить его слушать? — убивался Бингем. — Неужто с ним никак нельзя связаться?

Ясно и резко, словно дверной колокольчик, прозвучали слова Гранта:

— Я буду счастлив передать ему все, что вы захотите.

Его собеседники изумленно воззрились на него.

— А как вы это сделаете?

В ответ Бэзил медленно улыбнулся:

— Ну, если вы и впрямь хотите знать...

— Еще бы! — словно в бреду вырвалось у Бингема.

— Тогда я покажу вам.

И Грант вдруг вскинул ногу вверх, громко притопнул обеими ногами и снова стал как цапля. Лицо его было сурово, но впечатление ослаблялось тем, что он отчаянно вращал ногою в воздухе.

— Вы довели меня до этого. Вы вынуждаете меня предать моего друга, — промолвил он. — И я предаю его ради его спасения.

На лице Бингема, чутко отражавшем обуревавшие его чувства, явственно проступило огорчение человека, который приготовился услышать неприятное.

— Должно быть, что-нибудь еще ужаснее, — только и выговорил он.

Тут Бэзил грохнул об пол башмаками с такой силой, что доктор с Бингемом застыли в самых странных позах.

— Глупцы! — вскричал Грант. — Смотрели ли вы когда-нибудь на этого человека? Неужто вы не замечали, какое выражение глаз у Джеймса Чэдда, когда он с пачкой бесполезных книг и со своим дурацким зонтиком уныло тащится в вашу злосчастную библиотеку или в свой жалкий дом? Неужто вы не видели, что у него глаза фанатика? Неужто вы ни разу не взглянули на его лицо, торчащее над вытертым воротником и скрытое очками? Неужто вы не поняли, что он бы мог сжигать еретиков и умереть за философский камень? В какой-то мере это я повинен в происшедшем, я, подложивший динамит под камень его веры. Я спорил с ним по поводу его прославленной теории происхождения языка — он утверждает, что придуманный отдельными людьми язык усваивается другими через наблюдение. К тому же я поддразнивал его за то, что он не понимает непосредственных уроков жизни. И что же делает в ответ этот неподражаемый маньяк? Придумывает свой язык — не стану сейчас входить в подробности — и сам себе клянется, что не откроет рта, будет объясняться только знаками, пока другие не поймут его. Так он, разумеется, и сделает. Внимательно понаблюдав за ним, я разгадал его язык, как разгадают и другие, видит Бог. Нельзя ему мешать, он должен довершить эксперимент. Нужно назначить ему восемь сотен фунтов в год, пока он сам не остановится. Остановить его сейчас значило бы растоптать великую научную идею. А это все равно, что объявить новейшие религиозные гонения.

Бингем дружески протянул Бэзилу руку:

— Благодарю вас, мистер Грант. Я постараюсь испросить необходимые нам средства и думаю, что преуспею в этом. Не хотите ли сесть в мой кэб?

— Нет, нет, спасибо, мистер Бингем, — бодро отозвался Грант, — я лучше побеседую в саду с профессором.

Беседа, видно, получилась искренней и задушевной. Она была еще в разгаре, когда я уходил от Чэддов, — оба выделывали па.

САПФИРОВЫЙ КРЕСТ

Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них — он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания; разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эспаньолки, которой больше бы пристали брыжжи елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком — заряженный револьвер, под белым жилетом — удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой — умнейшая голова Европы. Это был сам Валантэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи.

Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук ван Холланда, и решила, что он поедет в Лондон, — туда съехались в те дни католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется — мелкой церковной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо.

Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина. Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо был известен не меньше, чем кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. Об его великаньих шутках рассказывали легенды: однажды он

поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему мозги»; другой раз пробежал по Рю де Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал — он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Большой частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он переокрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом; несмотря на свой рост он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника — еще далеко не все.

Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик.

Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Валантэна остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попадался ему на пути, походило на переодетого Фламбо не больше, чем кошка — на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил; в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, направлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на третьей станции; миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог справиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонтик то и дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простоудушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за

зонтиком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал взглядом другого человека — в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма.

Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь — небольшая и чистая — поражала внезапной тишиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет; а в центре — одиноко, словно остров в Тихом океане, — зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо; все привлекало в нем — и деревья в кадках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.

Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона (похоже на сыноубийство!). Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное.

Аристид Валантэн был истый француз, а французский ум — это ум, и ничего больше. Он не был «мыслящей машиной»; ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фатализма: машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облакают прописные истины в плоть и кровь — вспомним их революцию. Валантэн знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилы-оборванца в Уимблдоне до атлета-кутилы в отеле «Метрополь».

Когда Валантэн ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, — не в банки, полицейские участки, значные места, а туда, куда не следует: стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. Если у вас есть ключ, говорил он, этого делать не стоит; но если ключа нет — делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать; почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантэн почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе.

Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался; он заказал яйцо всмятку и рассыяно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к телескопу, чтоб смотреть на мнимую комету. Валантэн считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник — творец, сыщик — критик», — сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый.

Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал; в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики — не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантэн кликнул лакея.

Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик (ценивший простую, незамысловатую шутку) предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся.

— Вы всегда шутите так тонко? — спросил Валантэн. — Вам не приелся этот розыгрыш?

Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее; взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился.

Вдруг лакей захлебнулся словами.

— Я вот что думаю,— затараторил он. — Я думаю, это те священники. Те, двое,— пояснил лакей. — Которые стену супом облили.

— Облили стену супом? — переспросил Валантэн, думая, что это итальянская поговорка.

— Вот, вот, — волновался лакей, указывая на темное пятно. — Взяли и плеснули.

Валантэн взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет.

— Да, сэр,— сказал он. — Так оно и было, только сахар и соль тут, наверно, ни при чем. Совсем рано, мы только шторы подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки, он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю — смотрю: пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал, они свернули на Карстейрс-стрит.

Валантэн уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял: во тьме неведения надо идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице.

К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой; на открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высилась груда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами — синие крупные буквы на картонном поле — гласила: «Лучшие мандарины. Две штуки за пенни»; надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи. Четыре пенса фунт». Валантэн прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прищербной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил:

— Простите за нескромность, сэр, нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?

Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантэн продолжал, весело помахивая тростью:

— Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или — если я выражаюсь недостаточно ясно — почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше ростом и пониже?

Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки; казалось, он вот-вот кинется на нахала. Но он сердито проворчал:

— А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите: попы они там или кто, а рассыпят мне опять яблоки — кости переломая!

— Правда? — посочувствовал сыщик. — Они рассыпали ваши яблоки?

— Это все тот, коротенький, — разволновался зеленщик. — Прямо по улице покатались. Пока я их подбирал, он и ушел.

— Куда? — спросил Валантэн.

— Налево, за второй угол. Там площадь, — быстро сообщил зеленщик.

— Спасибо, — сказал Валантэн и упорхнул, как фея.

За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену:

— Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров?

Полисмен засмеялся басом.

— Видел, — сказал он. — Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и...

— Куда они пошли? — резко спросил сыщик.

— Сели в омнибус, — ответил полицейский. — Из этих, желтых, которые идут в Хемпстед.

Валантэн вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите двоих, пусть идут за мной!» — и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волей-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединился инспектор и человек в штатском.

— Итак, сэр, — важно улыбаясь, начал инспектор, — чем мы можем...

Валантэн выбросил вперед трость.

— Я отвечу вам на империале вон того омнибуса, — сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей.

Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого омнибуса, инспектор сказал:

— В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.

— Конечно, — согласился предводитель. — Если б мы знали, куда едем.

— А куда мы едем? — ошарашенно спросил инспектор.

Валантэн задумчиво курил; потом, вынув изо рта сигару, произнес:

— Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете — идите за ним. Блуждайте там, где он; останавливайтесь, где он; не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно: подмечать все странное.

— В каком именно роде? — спросил инспектор.

— В любом, — ответил Валантэн и надолго замолчал.

Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы; великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод — давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колена какой-то жуткой подзорной трубы. Все мы помним такие поездки — вот-вот покажется край света, но показывается только Тэфнел-парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать городов. Впереди сгушался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмден-таун остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись: Валантэн вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился.

В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Валантэн победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля; здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла; но в середине этого окна, словно звезда во льду, зияла дырка.

— Наконец! — воскликнул Валантэн, потрясая тростью. — Разбитое окно! Вот он, ключ!

— Какое окно? Какой ключ? — рассердился полицейский. — Чем вы докажете, что это связано с ними?

От злости Валантэн чуть не сломал бамбуковую трость.

— Чем докажу! — вскричал он. — О, Господи! Он ищет доказательств! Скорей всего, это никак не связано. Но что ж нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать?

Он ворвался в ресторан; за ним вошли полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла.

— Вижу, у вас окно разбито, — сказал Валантэн лакею, расплачиваясь.

— Да, сэр, — ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился. — Вот именно, сэр, — сказал он. — Ну и дела, сэр!

— А что такое? — небрежно спросил сыщик.

— Пришли к нам тут двое, священники, — поведал лакей. — Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они, один заплатил и пошел. Другой чего-то возится. Смотрю — завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не четверо. Я говорю: «Вы лишнее дали», — а он остановился на пороге и так это спокойно говорит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился.

— Почему? — спросил сыщик.

— Я бы чем хотите поклялся, в счете было четыре шиллинга. А тут смотрю — четырнадцать, хоть ты тресни.

— Так! — вскричал Валантэн, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. — И что же?

— А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал. Ну, это будет за окно». — «Какое такое окно?» — говорю. «Которое я разобью», — и трах зонтиком!

Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил:

— Мы что, гонимся за сумасшедшим?

Лакей продолжал, смакуя смешную историю:

— Я так и сел, ничего не понимаю. А он догнал того, высокого, свернули они за угол — и как побегут по Баллок-стрит! Я за ними со всех ног, да куда там — ушли!

— Баллок-стрит! — крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался.

Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон; казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полицмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хемпстедскому Лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Валантэн остановился за шаг до лавчонки, где торговали сладостями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось.

Костлявая женщина — старообразная, хотя и нестарая — смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца; но, увидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила.

— Вы, наверно, за пакетом? — спросила она. — Я его отослала.

— За пакетом?! — повторил Валантэн; пришел черед и ему удивляться.

— Ну, который тот мужчина оставил, — священник, что ли?

— Ради Бога! — воскликнул Валантэн и подался вперед; его пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу. — Ради Бога, расскажите подробно!

— Ну, — не совсем уверенно начала женщина, — зашли сюда священники, это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то про се и пошли к Лугу. Вдруг один бежит: «Я пакета не оставлял?» Я туда, сюда — нигде нету. А он говорит: «Ладно. Найдете — пошлите вот по такому адресу». И дал мне этот адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарила, а ушел он, — глядь! — пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню

уж куда, где-то в Вестминстере. А сейчас я и подумала: наверное, в этом пакете что-то важное, вот полиция за ним и пришла.

— Так и есть,— быстро сказал Валантэн. — Ближе тут Луг?

— Прямо идти минут пятнадцать,— сказала женщина. — К самым воротам выйдете.

Валантэн выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним.

Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь, под открытое небо, преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, которое зовется Долиной Здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись — на скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на Луг, Валантэн увидел наконец то, что искал.

Вдалеке чернели и расставались пары; одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков; но Валантэн увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести футов. Валантэн сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Валантэн узнал: то был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками.

Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест, — драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, «серебряная вещь с камушками», а Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Валантэн, прекрасно мог узнать и Фламбо — Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его — это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо — блестящему актеру — ничего не стоило затащить его на этот Луг. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного патера и чуть не презирал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни бился — смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоях? Перепутанными ярлычками? Платой

вперед за разбитое окно? Он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Валантэн упускал преступника; но ключ находил всегда. Сейчас он достиг преступника, но ключа у него не было.

Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут; но шли они в самый дикий и тихий угол Луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь: они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам, охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им преградили заросли над обрывом; сыщики потеряли след и плутали минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья; на ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантэн сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал наконец, о чем говорили странные священнослужители.

Он слушал минуту-другую, и бес сомнения обуюл его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, — благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостойн на них взглянуть. Беседа их была невинней невинного; ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе.

Первым донесся конец фразы отца Брауна:

— ...то, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес.

Высокий священник кивнул склоненной головой.

— Да,— сказал он, — безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над нами, могут быть Вселенные, где разум неразумен?

— Нет,— сказал отец Браун, — разум разумен везде.

Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу.

— Кто может знать, есть ли в безграничной Вселенной... — снова начал он.

— У нее нет пространственных границ, — сказал маленький и резко повернулся к нему, — но за границы нравственных законов она не выходит.

Валантэн сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним — ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ высокого и услышал только отца Брауна.

— Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна — синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все ту же заповедь: «Не укради».

Валантэн собрался было встать — у него затекло все тело — и уйти потише; в первый раз за свою жизнь он сморозил такую глупость. Но высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях:

— А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову. — И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил: — Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело.

Оттого что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся; его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха.

— Да, — все так же тихо сказал высокий, — да, я Фламбо. — Помолчал и прибавил: — Ну, отдадите вы крест?

— Нет, — сказал Браун, и односложное это слово странно прозвенело в тишине.

И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо.

— Не отдадите! — сказал он. — Еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк! А знаете почему? Потому что он у меня в кармане.

Маленький сельский священник повернул к нему лицо — даже в сумерках было видно, как он растерян, — и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный:

— Вы... вы уверены?

Фламбо взвыл от восторга.

— Ну, с вами театра не надо! — закричал он. — Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня — камешки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием.

— Да, — сказал отец Браун и все так же странно, несмело пригладил волосы, — я о нем слышал.

Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом.

— Кто? Вы? — спросил он. — От кого ж это вы могли слышать?

— Я не вправе назвать вам его имя, — просто сказал Браун. — Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать — подменял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу.

— Заподозрили? — повторил преступник. — Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?

— Ну да, — виновато сказал Браун. — Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано, это от наручников.

— А, черт! — заорал Фламбо. — Вы-то откуда знаете про наручники?

— От прихожан, — ответил Браун, кротко поднимая брови. — Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова и настоящий отослал.

— Отослали? — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой.

— Да, отослал, — спокойно продолжал священник. — Я вернулся в лавку и спросил, не оставял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер, моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься, — закончил он, виновато почесывая за ухом. — Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают...

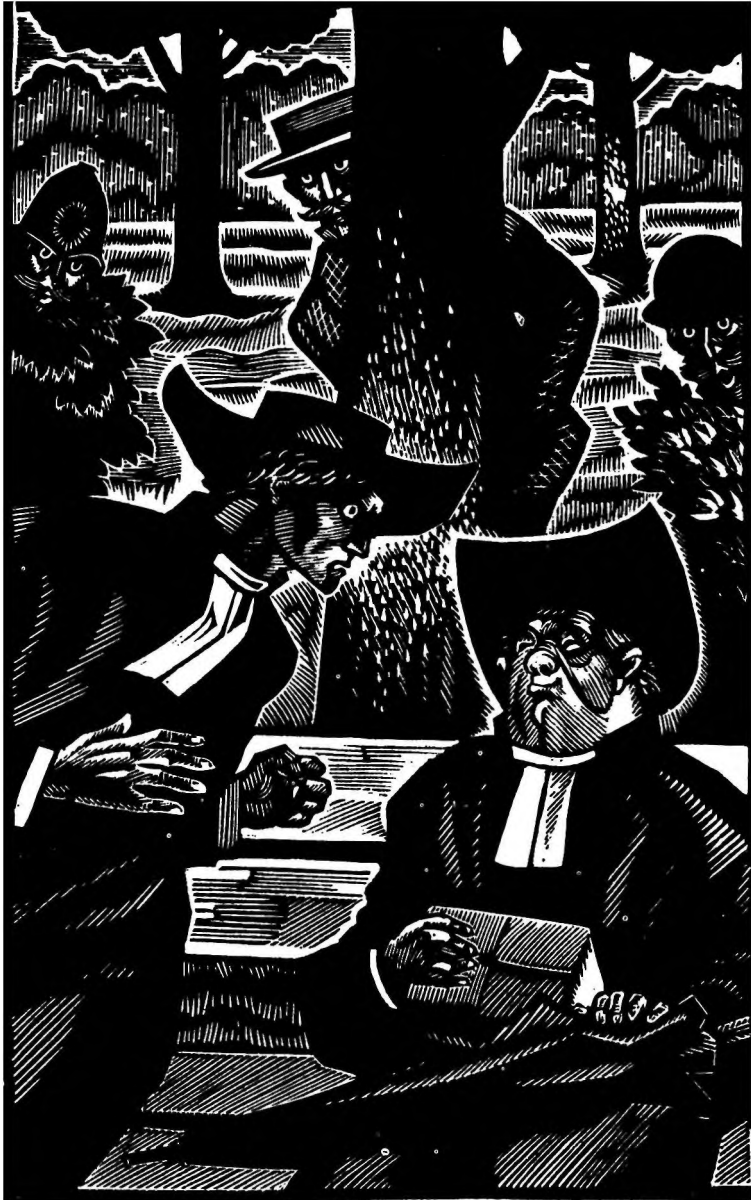
Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал:

— Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстрелять! Крест у вас! Не дадите — отберу. Мы одни.

— Нет, — просто сказал отец Браун и тоже встал. — Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни.

Фламбо замер на месте.

— За этим деревом, — сказал отец Браун, — два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук! Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорбить своего брата священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку — сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение.



Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу, и вы заплатили.

Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял как зачарованный — он хотел понять.

— Ну вот, — с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун. — Вы не оставляли следов — кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда — облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, — но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток.

— Чего я не сделал?

— Как хорошо, что вы о нем не слышали! — просиял священник. — Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна — я слабоват в коленках.

— Что вы несете? — спросил Фламбо.

— Ну уж про пятна-то, я думал, вы знаете! — обрадовался Браун. — Значит, вы еще не очень испорчены.

— А вы-то откуда знаете всю эту гадость? — воскликнул Фламбо.

— Наверное, потому, что я простак-холостяк, — сказал Браун. — Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник.

— Какая еще теория? — спросил изнемогающий Фламбо.

— Вы нападали на разум, — ответил Браун. — Это дурное богословие.

Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры: он отступил назад и низко поклонился Валантэну.

— Не мне кланяйтесь, *mon ami*¹, — сказал Валантэн серебряно-звонким голосом. — Поклонимся оба тому, кто нас превзошел.

И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.

¹ Мой друг (*фр.*).

СТРАННЫЕ ШАГИ

Если вы встретите члена привилегированного клуба «Двенадцать верных рыболовов», входящего в Вернон-отель на свой ежегодный обед, то, когда он снимет пальто, вы заметите, что на нем не черный, а зеленый фрак. Предположим, у вас хватит дерзости обратиться к нему и вы спросите его, чем вызвана эта причуда. Тогда, возможно, он ответит вам, что одевается так, чтобы его не приняли за лакея. Вы отойдете уничтоженный, оставляя неразгаданной тайну, достойную того, чтобы о ней рассказать.

Если (продолжая наши неправдоподобные предположения) вам случится встретить скромного труженика, маленького священника по имени Браун, и вы спросите, что он считает величайшей удачей своей жизни, он, по всей вероятности, ответит вам, что самым удачным был случай в Вернон-отеле, где он предотвратил преступление, а возможно, и спас грешную душу только тем, что прислушался к шагам в коридоре. Может быть, он даже слегка гордится своей удивительной догадливостью и, скорее всего, сошлется именно на нее. Но так как вам, конечно, не удастся достигнуть такого положения в высшем свете, чтобы встретиться с кем-либо из «Двенадцати верных рыболовов» или опуститься до мира трущоб и преступлений, чтобы встретить там отца Брауна, то боюсь, вы никогда не услышите этой истории, если я вам ее не расскажу.

Вернон-отель, в котором «Двенадцать верных рыболовов» обычно устраивали свои ежегодные обеды, принадлежал к тем заведениям, которые могут существовать лишь в олигархическом обществе, где здравый смысл заменен требованиями хорошего тона. Он был — как это ни абсурдно — «единственным в своем роде», то есть давал прибыль, не привлекая, а, скорее, отпугивая публику. В обществе, подпавшем под власть богачей, торгаши проявили должную смекалку и перехитрили свою клиентуру. Они

создали множество препон, чтобы богатые и пресыщенные завсегда могли тратить деньги и время на их преодоление. Если бы существовал в Лондоне такой фешенебельный отель, куда не впускали бы ни одного человека ростом ниже шести футов, высшее общество стало бы покорно устраивать там обеды, собирая на них исключительно великанов. Если бы существовал дорогой ресторан, который, по капризу своего хозяина, был бы открыт только во вторник вечером, каждый вторник он ломился бы от посетителей. Вернон-отель незаметно притулился на углу площади в Бельгравии. Он был не велик и не очень комфортабелен, но самое его неудобство рассматривалось как достоинство, ограждающее избранных посетителей. Из всех неудобств особенно ценилось одно: в отеле одновременно могло обедать не более двадцати четырех человек. Единственный обеденный стол стоял под открытым небом, на веранде, выходящей в один из красивейших старых садов Лондона. Таким образом, даже этими двадцатью четырьмя местами можно было пользоваться только в хорошую погоду, что, еще более затрудняя удовольствие, делало его тем более желанным. Владелец отеля, по имени Леввер, заработал почти миллион именно тем, что сделал доступ в него крайне затруднительным. Понятно, он умело соединил недоступность своего заведения с самой тщательной заботой о его изысканности. Вина и кухня были поистине европейскими, а прислуга была вышколена в точном соответствии с требованиями английского высшего света. Хозяин знал лакеев как свои пять пальцев. Их было всего пятнадцать. Гораздо легче было стать членом парламента, чем лакеем в этом отеле. Каждый из них прошел курс молчания и исполнительности и был вышколен не хуже, чем личный камердинер истого джентльмена. Обычно на каждого обедающего приходилось по одному лакею.

Клуб «Двенадцать верных рыболовов» не согласился бы обедать ни в каком другом месте, так как он требовал полного уединения, и все его члены были бы крайне взволнованы при одной мысли, что другой клуб в тот же день обедает в том же здании. Во время своего ежегодного обеда рыболовы привыкли выставлять все свои сокровища, словно они обедали в частном доме; особенно выделялся знаменитый прибор из рыбных ножей и вилок, своего рода реликвия клуба. Серебряные ножи и вилки были отлиты в форме рыб, и ручки их украшали массивные жемчужины. Прибор этот подавали к рыбной перемене, а рыбное блюдо было самым торжественным моментом торжественного пира. Общество соблюдало целый ряд церемоний и ритуалов, но не имело ни цели, ни истории, в чем и заключалась высшая степень его аристократизма. Для того чтобы стать одним из двенадцати рыболовов, особых заслуг не требовалось; но если человек не принадлежал к определенному кругу, он никогда и не услышал бы об этом клубе. Клуб существовал уже целых двенадцать лет. Президентом его был мистер Одли. Вице-президентом — герцог Честерский.

Если я хоть отчасти сумел передать атмосферу неприступного отеля, читатель, естественно, может поинтересоваться, откуда же я знаю все это и каким образом такая заурядная личность, как мой друг — отец Браун, оказалась в столь избранной компании. Ответ мой будет прост и даже банален. В мире есть очень древний мятежник и демагог, который врывается в самые сокровенные убежища с ужасным сообщением, что все люди братья, и где бы ни проявился этот всадник на коне бледном, дело отца Брауна — следовать за ним. Одного из лакеев, итальянца, хватил паралич в самый день обеда, и хозяин, исполняя волю умирающего, велел послать за католическим священником. Умиравший просил исполнить свою последнюю волю: озаботиться немедленной отправкой письма, которое заключало, должно быть, какое-то признание или заглаживало причиненное кому-то зло. Как бы то ни было, отец Браун — с кроткой настойчивостью, которую, впрочем, он проявил бы и в самом Бекингемском дворце, — попросил, чтобы ему отвели комнату и дали письменные принадлежности. Мистер Левер раздирался надвое. Он был мягок, но обладал и оборотной стороной этого качества — терпеть не мог всяких сцен и затруднений. А в тот вечер присутствие постороннего было подобно грязному пятну на только что отполированном серебре. В Вернон-отеле не было ни смежных, ни запасных помещений, ни ожидающихся в холле посетителей или случайных клиентов. Было пятнадцать лакеев. И двенадцать гостей. Встретить в тот вечер чужого было бы не менее потрясающе, чем познакомиться за семейным завтраком со своим собственным братом. К тому же наружность у священника была слишком заурядна, одежда слишком потрепана; один вид его, просто мимолетный взгляд на него, мог привести отель к полному краху. Наконец мистер Левер нашел выход, который если и не уничтожил, то, по крайней мере, прикрывал позор. Если вы проникнете в Вернон-отель (что, впрочем, вам никогда не удастся), сперва вам придется пройти короткий коридор, увешанный потемневшими, но, надо полагать, ценными картинами, затем — главный вестибюль, откуда один проход ведет направо, в гостиные, а другой — налево, в контору и кухню. Тут же, у левой стены вестибюля, стоит углом большая стеклянная будка, как бы дом в доме; вероятно, раньше в ней находился бар. Теперь тут контора, где сидит помощник Левера (в этом отеле никто никогда не попадается на глаза без особой нужды); а позади, по дороге к помещению прислуги, находится мужская гардеробная, последняя граница господских владений. Но между конторой и гардеробной есть еще одна маленькая комнатка, без выхода в коридор, которой хозяин иногда пользуется для щекотливых и важных дел, — например, дает в долг какому-нибудь герцогу тысячу фунтов или отказывается одолжить ему шесть пенсов. Мистер Левер выказал высшую терпимость, позволив простому священнику осквернить это священное место и написать там письмо. То,

что писал отец Браун, было, вероятно, много интереснее моего рассказа, но никогда не увидит света. Я могу лишь отметить, что тот рассказ был не короче моего и что две-три последние страницы были, очевидно, скучнее прочих.

Дойдя до них, отец Браун позволил своим мыслям отвлечься от работы, а своим чувствам (обычно достаточно острым) пробудиться от оцепенения. Смеркалось. Близилось время обеда. В уединенной комнатке почти стемнело, и, возможно, сгущавшаяся тьма до чрезвычайности обострила его слух. Когда отец Браун дописывал последнюю страницу, он поймал себя на том, что пишет в такт доносившимся из коридора звукам, как иногда в поезде думаешь под стук колес. Когда он понял это и прислушался, он убедился, что шаги — самые обыкновенные, просто кто-то ходит мимо двери, как нередко бывает в гостиницах. Тем не менее он усталился в темнеющий потолок и прислушался снова. Через несколько секунд он поднялся и стал вслушиваться еще внимательней, слегка склонив голову набок. Потом снова сел и, подперев голову, слушал и размышлял.

Шаги в коридоре отеля — дело обычное, но эти шаги казались в высшей степени странными. Больше ничего не было слышно, дом был на редкость тихий — немногочисленные гости немедленно расходились по своим комнатам, а тренированные лакеи были невидимы и неслышимы, пока их не вызывали. В этом отеле меньше всего можно было ожидать чего-нибудь необычного. Однако эти шаги казались настолько странными, что слова «обычный» и «необычный» не подходили к ним. Отец Браун как бы следовал за ними, постукивая пальцами по краю стола, словно пианист, разучивающий фортепьянную пьесу.

Сперва слышались быстрые мелкие шажки, не переходившие, однако, в бег, — так мог бы идти участник состязания по ходьбе. Вдруг они прерывались и становились мерными, степенными, раза в четыре медленнее предыдущих. Едва затихал последний медленный шаг, как снова слышалась частая торопливая дробь и затем опять замедленный шаг грузной походки. Шагал, безусловно, один и тот же человек — и при медленной ходьбе, и при быстрой одинаково поскрипывала обувь. Отец Браун был не из тех, кто постоянно задает себе вопросы, но от этого, казалось бы, простого вопроса у него чуть не лопалась голова. Он видел, как разбегаются, чтобы прыгнуть; он видел, как разбегаются, чтобы прокатиться по льду. Но зачем разбежаться, чтобы перейти на медленный шаг? Для чего идти, чтобы потом разбежаться? И в то же время именно это проделывали невидимые ноги. Их обладатель очень быстро пробегал половину коридора, чтобы медленно проследовать по другой половине; медленно доходил до половины коридора, с тем чтобы доставить себе удовольствие быстро пробежать другую половину. Оба предположения не имели ни малейшего смысла. В голове отца Брауна, как и в комнате, становилось все темнее и темнее.

Однако когда он сосредоточился, сама темнота каморки словно окрылила его мысль. Фантастические ноги, шагавшие по коридору, стали представляться ему в самых неестественных или символических положениях. Может быть, это языческий ритуальный танец? Или новое гимнастическое упражнение? Отец Браун упорно обдумывал, что бы могли означать эти шаги. Медленные шаги, безусловно, не принадлежали хозяину. Люди его склада ходят быстро и деловито или не трогаются с места. Это не мог быть также ни лакей, ни посыльный, ожидающий распоряжений. В олигархическом обществе неимущие ходят иной раз вразвалку — особенно когда выпьют, но много чаще, особенно в таких местах, они стоят или сидят в напряженной позе. Нет, тяжелый и в то же время упругий шаг, не особенно громкий, но и не считающийся с тем, какой шум он производит, мог принадлежать лишь одному обитателю земного шара: так ходит западно-европейский джентльмен, который, по всей вероятности, никогда не зарабатывал себе на жизнь.

Как раз когда отец Браун пришел к этому важному заключению, шаг снова изменился и кто-то торопливо, по-крысиному, пробежал мимо двери. Однако хотя шаги стали гораздо быстрее, шума почти не было, точно человек бежал на цыпочках. Но отцу Брауну не почудилось, что тот хочет скрыть свое присутствие, — для него звуки связывались с чем-то другим, чего он не мог припомнить. Эти воспоминания, от которых можно было сойти с ума, наконец вывели его из равновесия. Он был уверен, что слышал где-то эту странную, быструю походку, — и не мог припомнить, где именно. Вдруг у него мелькнула новая мысль; он вскочил и подошел к двери. Комната его не сообщалась непосредственно с коридором: одна дверь вела в застекленную контору, другая — в гардеробную. Дверь в контору была заперта. Он посмотрел в окно, светлевшее во мраке резко очерченным четырехугольником, полным сине-багровых облаков, озаренных зловещим светом заката, и на мгновение ему показалось, что он чует зло, как собака чует крысу.

Разумное (не знаю, благоразумное ли) начало победило. Он вспомнил, что хозяин запер дверь, обещав прийти попозже и выпустить его. Он убеждал себя, что двадцать разных причин, которые не пришли ему в голову, могут объяснить эти странные шаги в коридоре. Он напомнил себе о недоконченной работе и о том, что едва успеет дописать письмо засветло. Пересев к окну, поближе к угасавшему свету мятежного заката, он снова углубился в работу. Он писал минут двадцать, все ниже склоняясь к бумаге, по мере того как становилось темнее, потом внезапно выпрямился. Снова послышались странные шаги. На этот раз прибавилась третья особенность. Раньше незнакомец ходил, ходил легко и удивительно быстро, но все же ходил. Теперь он бегал. По коридору слышались частые, быстрые, скачущие шаги, словно прыжки мягких лап пантеры. Чувствовалось,

что бегущий — сильный, энергичный человек, взволнованный, однако сдерживающий себя. Но едва лишь, прошелестев, словно смерч, он добежал до конторы, снова послышался медленный, размеренный шаг.

Отец Браун отбросил письмо и, зная, что дверь в контору закрыта, прошел в гардеробную, по другую сторону комнаты. Служитель временно отлучился, должно быть, потому, что все гости уже собрались, давно сидели за столом и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, священник заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно передают пальто и получают номерки. Как раз над аркой этой двери горела лампа. Отец Браун был едва освещен ею и темным силуэтом вырисовывался на фоне озаренного закатом окна. Зато весь свет падал на человека, стоявшего в коридоре.

Это был элегантный мужчина, в изысканно простом вечернем костюме, высокий, но хорошо сложенный и гибкий; казалось, там, где он проскользнул бы как тень, люди меньшего роста были бы заметнее его. Ярко освещенное лицо его было смугло и оживленно, как у иностранца-южанина. Держался он хорошо, непринужденно и уверенно. Строгий критик мог бы отметить разве только, что его фрак не вполне соответствовал стройной фигуре и светским манерам, был несколько мешковат и как-то странно топорщился. Едва увидев на фоне окна черный силуэт отца Брауна, он бросил на прилавок номерок и с дружелюбной снисходительностью сказал:

— Пожалуйста, шляпу и пальто. Я ухожу.

Отец Браун молча взял номерок и пошел отыскивать пальто. Найдя, он принес его и положил на прилавок; незнакомец порылся в карманах и сказал, улыбаясь:

— У меня нет серебра. Возьмите вот это, — и, бросив золотой полусоверен, он взялся за пальто.

Отец Браун неподвижно стоял в темноте, и вдруг он потерял голову. С ним это случалось; правда, глупей от этого он не становился, скорее наоборот. В такие моменты, сложив два и два, он получал четыре миллиона. Католическая церковь (согласная со здравым смыслом) не всегда одобряла это. Он сам не всегда это одобрял. Но порой на него находило истинное вдохновение, необходимое в отчаянные минуты: ведь потерявший голову свою да обретет ее.

— Мне кажется, сэр, — сказал он вежливо, — в кармане у вас все же есть серебро.

Высокий джентльмен уставился на него.

— Что за чушь! — воскликнул он. — Я даю вам золото, чем же вы недовольны?

— Иной раз серебро дороже золота, — скромно сказал священник. — Я хочу сказать — когда его много.

Незнакомец внимательно посмотрел на него. Потом еще внимательней глянул вдоль коридора. Снова перевел глаза на

отца Брауна и с минуту смотрел на светлевшее позади него окно. Наконец решившись, он взялся рукой за барьер, перескочил через него с легкостью акробата и, нагнувшись к крохотному Брауну, огромной рукой сгреб его за воротник.

— Тихо! — сказал он отрывистым шепотом. — Я не хочу вам грозить, но...

— А я буду грозить вам, — перебил его отец Браун внезапно окрепшим голосом. — Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим.

— Чудак! Вам не место здесь, — сказал незнакомец.

— Я священник, мсье Фламбо, — сказал Браун, — и готов выслушать вашу исповедь.

Высокий человек задохнулся, на мгновение замер и тяжело опустился на стул.

Первые две перемены обеда «Двенадцати верных рыболовов» следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет, но если бы она и была, все равно бы вы ничего не поняли. Меню было составлено на ультра-французском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба, закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой—все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный, порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которого вся партия тори, по слухам, ругала за вымогательство, здесь хвалили за слабые стишки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики—люди значительные, но значительно в них все, что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гладстона. Он казался символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал—ни хорошего, ни даже дурного; не был ни расточителем, ни особенно богат. Он просто всегда был «в курсе дела». Ни одна партия не могла обойти его, и если бы он вздумал стать членом кабинета, его, безусловно, туда ввели бы. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек

с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее, и его называли остроумным. Если же шутки не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить, и его называли глубококомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу он был радушен, откровенен и наивен, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой, относился к ней несравненно серьезнее. Иногда он даже смущал общество, намекая на то, что существует некоторая разница между либералом и консерватором. Сам он был консерватором даже в частной жизни. Его длинные седые кудри скрывали на затылке старомодный воротничок, точь-в-точь как у былых государственных мужей, и со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя. А спереди он казался тихим, любящим комфорт холостяком, из тех, что снимают комнаты в Олбени, — таким он и был на самом деле.

Как мы уже упоминали, за столом на веранде было двадцать четыре места, но сидело всего двенадцать членов клуба. Все они весьма удобно разместились по одну сторону стола, и перед ними открывался вид на весь сад, краски которого все еще были яркими, хотя вечер и кончался несколько хмуро для этого времени года. Президент сидел у середины стола, а вице-президент — у правого конца. Когда двенадцать рыболовов подходили к столу, все пятнадцать лакеев должны были (согласно неписаному клубному закону) чинно выстраиваться вдоль стены, как солдаты, встречающие короля. Толстый хозяин должен был стоять тут же, сияя от приятного удивления, и кланяться членам клуба, словно он раньше никогда не слыхивал о них. Но при первом же стуке ножей и вилок вся эта наемная армия исчезала, оставляя одного или двух лакеев, бесшумно скользивших вокруг стола и незаметно убиравших тарелки. Мистер Левер тоже скрывался, весь извиваясь в конвульсиях вежливых поклонов. Было бы преувеличением, даже прямой клеветой сказать, что он может появиться снова. Но когда подавалось главное, рыбное блюдо, тогда, — как бы мне выразить это получше? — тогда казалось, что где-то парит ожившая тень или отражение хозяина. Священное рыбное блюдо было (конечно, для непосвященного взгляда) огромным пудингом, размером и формой напомиавшим свадебный пирог, в котором несметное количество разных видов рыбы вконец потеряло свои естественные свойства. «Двенадцать верных рыболовов» вооружались знаменитыми ножами и вилками и приступали к пудингу с таким благоговением, словно каждый кусочек стоил столько же, сколько серебро, которым его ели. И, судя по тому, что мне известно, так оно и было. С этим блюдом расправлялись молча, жадно и с полным сознанием важности момента. Лишь когда тарелка его опустела, молодой герцог сделал обычное замечание:

— Только здесь умеют как следует готовить это блюдо.

— Только здесь — отозвался мистер Одли, поворачиваясь к нему и покачивая своей почтенной головой. — Только здесь — и нигде больше. Правда, мне говорили, что в кафе «Англэ»... — Тут он был прерван и на мгновение даже озадачен исчезновением своей тарелки, принятой лакеем. Однако он успел вовремя поймать нить своих ценных мыслей. — Мне говорили, — продолжал он, — что это блюдо могли бы приготовить и в кафе «Англэ». Но не верьте этому, сэръ. — Он безжалостно закачал головой, как судья, отказывающий в помиловании осужденному на смерть преступнику. — Нет, не верьте этому, сэръ.

— Преувеличенная репутация, — процедил некий полковник Паунд с таким видом, словно он открыл рот впервые за несколько месяцев.

— Ну что вы! — возразил герцог Честерский, по натуре оптимист. — В некоторых отношениях это премилое местечко. Например, нельзя отказать им...

В комнату быстро вошел лакей и вдруг остановился, словно окаменев. Сделал он это совершенно бесшумно, но вялые и благодушные джентльмены привыкли к тому, что невидимая машина, обслуживавшая их и поддерживавшая их существование, работает безукоризненно, и неожиданно остановившийся лакей испугал их, словно фальшивая нота в оркестре. Они чувствовали то же, что почувствовали бы мы с вами, если бы неодушевленный мир проявил непослушание: если бы, например, стул вдруг бросился убежать от нашей руки.

Несколько секунд лакей простоял неподвижно, и каждого из присутствующих постепенно охватывала странная неловкость, типичная для нашего времени, когда повсюду твердят о гуманности, а пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже. Настоящий родовитый аристократ, наверное, принялся бы швырять в лакея чем попало, начав с пустых бутылок и, весьма вероятно, кончив — деньгами. Настоящий демократ спросил бы, какого черта он стоит тут как истукан. Но эти новейшие плутократы не могли переносить возле себя неимущего — ни как раба, ни как товарища. Тот факт, что с лакеем случилось нечто странное, был для них просто скучной и досадной помехой. Быть грубыми они не хотели, а в то же время страшились проявить хоть какую-то человечность. Они желали одного: чтобы все это поскорее кончилось. Лакей простоял неподвижно несколько секунд, словно в столбняке, вдруг повернулся и опрометью выбежал с веранды.

Вскоре он снова появился на веранде или, вернее, в дверях в сопровождении другого лакея, что-то шепча ему и жестикулируя с чисто итальянской живостью. Затем первый лакей снова ушел, оставив в дверях второго, и опять появился, уже с третьим. Когда и четвертый лакей присоединился к этому сборищу, мистер Одли почувствовал, что во имя такта необходимо нарушить

молчание. За неимением председательского молотка он громко кашлянул и сказал:

— А ведь молодой Мучер прекрасно работает в Бирме. Какая нация в мире могла бы...

Пятый лакей стрелой подлетел к нему и зашептал на ухо:

— Простите, сэр. Важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами?

Президент растерянно повернулся и увидел мистера Левра, приближавшегося к нему своей обычной ныряющей походкой. Но лицо почтенного хозяина никто не назвал бы обычным. Всегда сияющее и медно-красное, оно окрасилось болезненной желтизной.

— Простите меня, мистер Одли, — проговорил он, задышавшись, — случилась страшная неприятность. Скажите, ваши тарелки убрали вместе с вилками и ножами?

— Надеюсь, — несколько раздраженно протянул президент.

— Вы видели его? — продолжал хозяин. — Видели вы лакея, который убрал их? Узнали бы вы его?

— Узнать лакея? — негодуя переспросил мистер Одли. — Конечно, нет.

Мистер Леве́р в отчаянии развел руками.

— Я не посылал его, — простонал он. — Я не знаю, откуда и зачем он явился. А когда я послал своего лакея убрать тарелки, он увидел, что их уже нет.

Решительно, мистер Одли чересчур растерялся для человека, на которого может положиться вся империя. Да и никто другой из присутствующих не нашелся, за исключением грубоватого полковника Паунда, внезапно воспрянувшего к жизни. Он поднялся с места и, вставив в глаз монокль, проговорил сипло, словно отвык пользоваться голосом:

— Вы хотите сказать, что кто-то украл наш серебряный рыбный прибор?

Хозяин снова развел руками, и в ту же секунду все присутствующие вскочили на ноги.

— Где лакеи? — низким глухим голосом спросил полковник. — Они все тут?

— Да, все, я это заметил, — воскликнул молодой герцог, протискиваясь в центр группы. — Всегда считаю их, когда вхожу. Они так забавно выстраиваются вдоль стены.

— Да, но трудно сказать с уверенностью... — в тяжелом сомнении начал было мистер Одли.

— Говорю вам, я прекрасно помню, — возбужденно повторил герцог, — здесь никогда не было больше пятнадцати лакеев, и ровно столько же было и сегодня. Ни больше, ни меньше.

Хозяин повернулся к нему, дрожа всем телом.

— Вы говорите... вы говорите... — заикался он, — что видели пятнадцать лакеев?

— Как всегда, — подтвердил герцог, — что ж в этом особенного?

— Ничего,— сказал Левер, — только всех вы не могли видеть. Один из них умер и лежит наверху.

На секунду в комнате воцарилась тягостная тишина. Быть может (так сверхъестественно слово «смерть»), каждый из этих праздных людей заглянул в это мгновение в свою душу и увидел, что она маленькая, как сморщенная горошина. Кто-то, кажется, герцог, сказал с идиотским состраданием богача:

— Не можем ли мы быть чем-нибудь полезны?

— У него был священник, — ответил расстроенный хозяин.

И — словно прозвучала труба Страшного суда — они подумали о таинственном посещении. Несколько весьма неприятных секунд присутствующим казалось, что пятнадцатым лакеем был призрак мертвеца. Неприятно им стало потому, что призраки были для них такой же помехой, как и нищие. Но мысль о серебре вывела их из оцепенения. Полковник отбросил ногою стул и направился к двери.

— Если здесь был пятнадцатый лакей, друзья мои, — сказал он, — значит, этот пятнадцатый и был вором. Немедленно закрыть парадный и черный ходы. Тогда мы и поговорим. Двадцать четыре жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать.

Мистер Одли снова как будто заколебался, пристойно ли джентльмену проявлять торопливость. Но, видя, как герцог кинулся вниз по лестнице с энтузиазмом молодости, он последовал за ним, хотя и с большей солидностью.

В эту минуту на веранду вбежал шестой лакей и заявил, что он нашел груды тарелок от рыбы без всяких следов серебра. Вся толпа гостей и прислуги гурьбой скатилась по лестнице и разделилась на два отряда. Большинство рыбаков последовало за хозяином в вестибюль. Полковник Паунд с президентом, вице-президентом и двумя-тремя членами клуба кинулись в коридор, который вел к лакейской, — вероятнее всего, вор бежал именно так. Проходя мимо полутемной гардеробной, они увидели в глубине ее низенькую черную фигурку, стоявшую в тени.

— Эй, послушайте,— крикнул герцог, — здесь проходил кто-нибудь?

Низенький человек не ответил прямо, но просто сказал:

— Может быть, у меня есть то, что вы ищете, джентльмены?

Они остановились, колеблясь и удивляясь, а он скрылся во мраке гардеробной и появился снова, держа в обеих руках груды блестящего серебра, которое и выложил на прилавок спокойно, как приказчик, показывающий образцы. Серебро оказалось дюжиной ножей и вилок странной формы.

— Вы... Вы... — начал окончательно сбитый с толку полковник. Потом, освоившись с полумраком, он заметил две вещи: во-первых, низенький человек был в черной сутане и мало походил на слугу и, во-вторых, окно гардеробной было разбито, точно кто-то поспешно из него выскочил.

— Слишком ценная вещь, чтобы хранить ее в гардеробной, — заметил священник.

— Так вы... вы... значит, это вы украли серебро? — запинаясь, спросил мистер Одли, с недоумением глядя на священника.

— Если я и украд, то, как видите, я его возвращаю, — вежливо ответил отец Браун.

— Но украли не вы? — заметил полковник, вглядываясь в разбитое окно.

— По правде сказать, я не крал его, — сказал священник несколько юмористическим тоном и спокойно уселся на стул.

— Но вы знаете, кто это сделал? — спросил полковник.

— Настоящего его имени я не знаю, — невозмутимо ответил священник. — Но я знаю кое-что о его силе и очень много о его душевных сомнениях. Силу его я ощутил на себе, когда он пытался меня задушить, а об его моральных качествах я узнал, когда он раскаялся.

— Скажите пожалуйста, раскаялся! — с надменным смехом воскликнул герцог Честерский.

Отец Браун поднялся и заложил руки за спину.

— Не правда ли, странно, на ваш взгляд, — сказал он, — что вор и бродяга раскаялся, тогда как много богатых людей закоснели в мирской суете и никому от них нет прока? Если вы сомневаетесь в практической пользе раскаяния, вот вам ваши ножи и вилки. Вы «Двенадцать верных рыбаков», и вот ваши серебряные рыбы. Видите, вы все же выловили их. А я — ловец человек.

— Так вы поймали вора? — хмурясь, спросил полковник.

Отец Браун в упор посмотрел на его недовольное, суровое лицо.

— Да, я поймал его, — сказал он, — поймал невидимым крючком на невидимой леске, такой длинной, что он может уйти на край света и все же вернется, как только я потяну.

Они помолчали. Потом джентльмены удалились обратно на веранду, унося серебро и обсуждая с хозяином странное происшествие. Но суровый полковник по-прежнему сидел боком на барьере, болтая длинными ногами и покусывая кончики темных усов. Наконец он спокойно сказал священнику:

— Вор был не глупый малый, но, думается, я знаю человека поумнее.

— Он умный человек, — ответил отец Браун, — но я не знаю, кого вы считаете умнее.

— Вас, — сказал полковник и коротко рассмеялся. — Будьте спокойны, я не собираюсь сажать вора в тюрьму. Но я дал бы гору серебряных вилок за то, чтобы толком узнать, как вы-то замешались во всю эту кашу и как вам удалось отнять у него серебро. Думается мне, что вы большой хитрец и проведете любого.

Священнику, по-видимому, понравилась грубоватая прямота военного.

— Конечно, полковник, — сказал он, улыбаясь, — я ничего не могу сообщить вам об этом человеке и его частных делах. Но я не вижу причин скрывать от вас внешний ход дела, насколько я сам его понял.

С неожиданной для него легкостью он перепрыгнул через барьер, сел рядом с полковником Паундом и, в свою очередь, заболтал короткими ножками, словно мальчишка на заборе. Рассказ свой он начал так непринужденно, как если бы беседовал со старым другом у рождественского камелька.

— Видите ли, полковник, — начал он, — меня заперли в той маленькой каморке, и я писал письмо, когда услышал, что пара ног отплясывает по этому коридору такой танец, какого не сплешь и на виселице. Сперва слышались забавные мелкие шажки, словно кто-то ходил на цыпочках; за ними следовали шаги медленные, уверенные — словом, шаги солидного человека, разгуливающего с сигарой во рту. Но шагали одни и те же ноги, в этом я готов был поклясться: легко, потом тяжело, потом опять легко. Сперва я прислушивался от нечего делать, а потом чуть с ума не сошел, стараясь понять, для чего понадобилось одному человеку ходить двумя походками. Одну походку я знал, она была вроде вашей, полковник. Это была походка плотно пообедавшего человека, джентльмена, который расхаживает не потому, что взволнован, а, скорее, потому, что вообще подвижен. Другая походка казалась мне знакомой, только я никак не мог припомнить, где я ее слышал и где раньше встречал странное существо, носящееся на цыпочках подобным образом. Скоро до меня донесся стук тарелок, и ответ представился до глупости очевидным: это была походка лакея, когда, склонившись вперед, опустив глаза, загребая носками сапог, он несется подавать к столу. Затем я поразмыслил с минуту. И мне показалось, что я понял замысел преступления так же ясно, как если бы сам собирался его совершить.

Полковник внимательно посмотрел на священника, но краткие серые глаза были безмятежно устремлены в потолок.

— Преступление, — продолжал он медленно, — то же произведение искусства. Не удивляйтесь: преступление далеко не единственное произведение искусства, выходящее из мастерских преисподней. Но каждое подлинное произведение искусства, будь оно небесного или дьявольского происхождения, имеет одну неизменную особенность: основа его всегда проста, как бы сложно ни было выполнение. Так, например, в «Гамлете» фигуры могильщиков, цветы сумасшедшей девушки, загробное обаяние Иорика, бледность духа и усмешка черепа — все сплетено венком для мрачного человека в черном. И то, что я вам рассказываю, — добавил он, улыбаясь и медленно слезая с барьера, — тоже незамысловатая трагедия человека в черном. Да, — продолжал он, видя, что полковник смотрит на него с удивлением, — вся эта история сводится к черному костюму. В ней, как и в «Гамлете», немало всевозможных наслоений, вроде вашего клуба, например.

Есть мертвый лакей, который был там, где быть не мог; есть невидимая рука, собравшая с вашего стола серебро и растаявшая в воздухе. Но каждое умно задуманное преступление основано в конце концов на чем-нибудь вполне заурядном, ничуть не загадочном. Таинственность появляется позже, чтобы увести нас в сторону по ложному следу. Сегодняшнее дело — крупное, тонко задуманное и (на взгляд заурядного вора) весьма выгодное. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена как две капли воды похож на костюм лакея, — оба носят черный фрак. Все остальное была игра, и притом удивительно тонкая.

— И все же, — заметил полковник, слезая с барьера и хмуро разглядывая свои ботинки, — все же я не вполне уверен, что понял вас.

— Полковник, — сказал отец Браун, — вы еще больше удивитесь, когда я скажу вам, что демон наглости, укравший ваши вилки, все время разгуливал у вас на глазах. Он прошел по коридору раз двадцать взад и вперед — и это при полном освещении и на виду у всех. Он не прятался по углам, где его могли бы заподозрить. Напротив, он беспрестанно двигался и, где бы он ни был, везде, казалось, находился по праву. Не спрашивайте меня, как он выглядел, потому что вы сами видели его сегодня шесть или семь раз. Вы вместе с другими высокогородными господами дожидались обеда в гостиной, в конце прохода, возле самой веранды. И вот, когда он проходил среди вас, джентльменов, он был лакеем, с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развевающимися фалдами. Он вылетал на веранду, поправлял скатерть, переставлял что-нибудь на столе и мчался обратно по направлению к конторе и лакейской. Но едва он попадал в поле зрения конторского клерка и прислуги, как — и видом и манерами, с головы до ног, — становился другим человеком. Он бродил среди слуг с той рассеянной небрежностью, которую они так привыкли видеть у своих патронов. Их не должно было удивлять, что гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снующий по клетке в зоологическом саду. Они знали: ничто так не выделяет людей высшего круга, как именно привычка прогуливать всюду, где им вздумается. Когда он пресыщался прогулкой по коридору, он поворачивал и снова проходил мимо конторы. В тени гардеробной ниши он, как по мановению жезла, разом менял свой облик и снова услужливым лакеем мчался к «Двенадцати верным рыбакам». Не пристало джентльменам обращать внимание на какого-то лакея. Как может прислуга заподозрить прогуливающегося джентльмена?.. Раз он выкинул фокус еще почище. У конторы он величественно потребовал сифон содовой воды, сказав, что хочет пить. Он добавил непринужденно, что возьмет сифон с собой. Он так и сделал — быстро и ловко пронес его среди всех вас, джентльменов, лакеем, выполняющим обычное поручение. Понятно, это не могло длиться до бесконечности, но ему ведь нужно было дождаться лишь конца рыбной перемены. Самым опасным для него было начало обеда, когда все лакеи выстраива-

лись в ряд, но и тут ему удалось прислониться к стене как раз за углом, так что лакей и тут приняли его за джентльмена, а джентльмены — за лакея. Дальше все шло как по маслу. Лакей принимал его за скучающего аристократа, и наоборот. За две минуты до того, как рыбная перемена была закончена, он снова обратился в проворного слугу и быстро собрал тарелки. Посуду он оставил на полке, серебро засунул в боковой карман, отчего тот оттопырился, и, как заяц, помчался по коридору, покуда не добрался до гардеробной. Тут он снова стал джентльменом, внезапно вызванным по делу. Ему оставалось лишь сдать свой номерок гардеробщику и выйти так же непринужденно, как пришел. Только случилось так, что гардеробщиком был я.

— Что вы сделали с ним? — воскликнул полковник с необычным для него жаром. — И что он вам сказал?

— Простите, — невозмутимо ответил отец Браун, — тут мой рассказ кончается.

— И начинается самое интересное, — пробормотал Паунд. — Его профессиональные приемы я еще понимаю. Но как-то не могу понять ваши.

— Мне пора уходить, — проговорил отец Браун.

Вместе они дошли до передней, где увидели свежее веснушчатое лицо герцога Честерского, с веселым видом бежавшего искать их.

— Скорее, скорее, Паунд! — запыхавшись, кричал он. — Скорее идите к нам! Я всюду искал вас. Обед продолжается как ни в чем не бывало, и старый Одли сейчас скажет спич в честь спасенных вилок. Видите ли, мы предполагаем создать новую церемонию, чтобы увековечить это событие. Серебро снова у нас. Можете вы что-нибудь предложить?

— Ну что ж, — не без сарказма согласился полковник, оглядывая его. — Я предлагаю, чтобы отныне мы носили зеленые фракы вместо черных. Мало ли что может случиться, когда ты одет так же, как лакей.

— Глупости, — сказал герцог, — джентльмен никогда не выглядит лакеем.

— А лакей не может выглядеть джентльменом? — беззвучно смеясь, отозвался полковник Паунд. — В таком случае и ловок же ваш приятель, — сказал он, обращаясь к Брауну, — если он сумел сойти за джентльмена.

Отец Браун наглухо застегнул скромное пальто — ночь была холодная и ветреная — и взял в руки скромный зонт.

— Да, — сказал он, — должно быть, очень трудно быть джентльменом. Но, знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть лакеем.

И, промолвив «доброй вечер», он толкнул тяжелую дверь дворца наслаждений. Золотые врата тотчас же захлопнулись за ним, и он быстро зашагал по мокрым темным улицам в поисках омнибуса.

ЛЕТУЧИЕ ЗВЕЗДЫ

«Мое самое красивое преступление, — любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, — было, по странному стечению обстоятельств, и моим последним преступлением. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист своего дела я всегда старался, чтобы преступление гармонировало с определенным временем года или с пейзажем, и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров уместнее всего надувать в длинных комнатах, где стены обшиты дубовыми панелями, а богатых евреев, наоборот, лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риц». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земного имущества (что гораздо труднее, чем кажется), мне хотелось видеть свою жертву обрамленной, если можно так сказать, зелеными газонами и серыми колокольнями старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина (что почти невозможно), я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых галльских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле.

Так вот, моим последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка — преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном хорошем старинном доме близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией... Впрочем, довольно, — вы уже представляете себе, что это был за дом. Ей-богу, я тогда очень смело и вполне литературно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот самый вечер я раскаялся и решил покончить с прежней жизнью».

И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю изнутри, с точки зрения одного из героев; но даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя история эта представлялась просто непостижимой, а именно с этой точки зрения и должен ознакомиться с нею читатель.

Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот момент, когда двери дома открылись и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза; о фигуре ее судить мы не можем — с ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милое личико, ее можно было бы принять за неуклюжего медвежонка.

Освещение зимнего дня приобретало все более красноватый оттенок по мере того, как близился вечер, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая вела в большой сад за домом. Юная девушка накрошила птицам хлеб (в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака) и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по лавровой аллее в сад, где мерцали листья вечнозеленых деревьев. Здесь она вскрикнула от изумления — искренного или притворного, неизвестно, — ибо, подняв глаза, увидела, что на высоком заборе, словно наездник на коне, в фантастической позиции сидит фантастическая фигура.

— Ой, только не прыгайте, мистер Крук! — воскликнула девушка в тревоге. — Здесь очень высоко.

Человек, оседлавший забор, точно крылатого коня, был дюжим, угловатым юношей с темными волосами, с лицом умным и интеллигентным, но совсем не по-английски бледным, даже бескровным. Бледность эту особенно подчеркивал красный галстук вызывающе яркого оттенка — единственная явно обдуманная деталь его костюма. Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, прыгнул на землю с легкостью кузнечика.

— По-моему, судьбе угодно было, чтобы я стал вором и лазил в чужие дома и сады, — спокойно объявил он, очутившись рядом с нею. — И так бы, без сомнения, и случилось, не родился я в этом милом доме по соседству с вами. Впрочем, ничего дурного я в этом не вижу.

— Как вы можете так говорить? — с укором воскликнула девушка.

— Понимаете ли, если родился не по ту сторону забора, где тебе требуется, по-моему, ты вправе через него перелезть.

— Вот уж никогда не знаешь, что вы сейчас скажете или сделаете.

— Я и сам частенько не знаю, — ответил мистер Крук. — Во всяком случае, сейчас я как раз по ту сторону забора, где мне и следует быть.

— А по какую сторону забора вам следует быть? — с улыбкой спросила юная девица.

— По ту, где вы, — ответил молодой человек.

И они пошли назад по лавровой аллее. Вдруг трижды протрубил, приближаясь, автомобильный гудок: элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и, весь трепеща, остановился.

— Ого, — сказал молодой человек в красном галстуке, — вот уж кто родился с той стороны, где следует. Я не знал, мисс Адамс, что у вашей семьи столь новомодный Дед Мороз.

— Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество.

И после невольной паузы, выдававшей недостаток воодушевления, Руби Адамс добавила:

— Он очень добрый.

Журналист Джон Крук был наслышан о крупном дельце из Сити, сэре Леопольде Фишере, и если крупный делец не был наслышан о Джоне Круке, то уж, во всяком случае, не по вине последнего, ибо тот неоднократно и весьма непримиримо отзывался о сэре Леопольде на страницах «Призыва» и «Нового века». Впрочем, сейчас мистер Крук не говорил ни слова и с мрачным видом наблюдал за разгрузкой автомобиля, — а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий элегантный шофер в зеленом, затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький элегантный слуга в сером, затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив его на крыльцо, стали распаковывать, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, столь многочисленными, что их хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось наконец нечто, напоминающее человеческую фигуру, нечто, оказавшееся довольно приветливым, хотя и смахивающим на иностранца старым джентльменом с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который стал потирать руки в огромных меховых рукавицах.

Но еще задолго до конца этой процедуры двери дома отворились и на крыльцо вышел полковник Адамс (отец молодой леди в шубке), чтобы встретить и ввести в дом почетного гостя. Это был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном колпаке, напоминающем феску и придававшим ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, — крепкий и шумливый мужчина со светлой бородкой, по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна, весьма скромная, личность — католический священник из соседнего при-

хода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилия у него была заурядная — Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал к себе.

В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот, непомерно большой для такого дома, представлял собой огромное помещение, в одном конце которого находилась наружная дверь с крыльцом, а в другом — лестница на второй этаж. Здесь, перед камином с висящей над ним шпагой полковника, процедура раздевания нового гостя была завершена, и все присутствующие, в том числе и мрачный Крук, были представлены сэру Леопольду Фишеру. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, заключавший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С нескрываемым и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, так, чтобы все могли его видеть, затем слегка нажал пружину — крышка откинулась, и все замерли, ослепленные: фонтан кристаллизованного света вдруг забил у них перед глазами. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых сверкающих бриллианта, и казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер стоял, расплывшись в благожелательной улыбке, упиваясь изумлением и восторгом девушки, сдержанным восхищением и немногословной благодарностью полковника, удивленными возгласами остальных.

— Пока что я положу их обратно, милочка, — сказал Фишер, засовывая футляр в задний карман своего фрака. — Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это — три знаменитых африканских бриллианта, которые называются «летучими звездами», потому что их уже неоднократно похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в гостинице, разумеется, рады были бы заполучить их. У меня могли украсть бриллианты по дороге сюда. Это было вполне возможно.

— Я бы сказал, вполне естественно, — сердито заметил молодой человек в красном галстуке. — И я бы никого не стал винить в этом. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять себе этот камень.

— Не смейте так говорить! — с непонятной запальчивостью воскликнула девушка. — Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?

— Святым, — сказал отец Браун.

— Я полагаю, — возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, — что Руби имеет в виду социалистов.

— Радикал — это не тот, кто извлекает корни, — заметил Крук с некоторым раздражением, — а консерватор вовсе не консервирует фрукты. Смею вас уверить, что и социалисты совершенно не жаждут якшаться с трубочистами. Социалист — это человек, который хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу.

— Но который считает, — тихо добавил священник, — что ваша собственная сажа вам не принадлежит.

Крук взглянул на него с интересом и даже с уважением.

— Кому может понадобиться собственная сажа? — спросил он.

— Кое-кому, может, и понадобится, — ответил Браун серьезно. — Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым рябятишкам, которые ожидали Деда Мороза, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство.

— Ах, как интересно! — вскричала Руби. — Вот бы вы повторили это сегодня для нас!

Энергичный канадец мистер Блаунт возвысил свой и без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы; удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение, но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с араукарией и вечнозелеными деревьями, теперь уже темнеющими на фоне великолепного фиолетового заката. Этот вид, как бы вставленный в раму раскрытой двери, был настолько красив и необычен, что казался театральной декорацией. Несколько мгновений никто не обращал внимания на человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.

— Кто из вас мистер Блаунт, джентльмены? — спросил он, протягивая письмо. Мистер Блаунт вздрогнул и осекся, не окончив своего одобрительного возгласа. С недоуменным выражением он надорвал конверт и стал читать письмо; при этом лицо его сначала омрачилось, затем просветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.

— Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник, — начал он с веселой церемонностью Нового света, — но не злоупотребло ли я вашим гостеприимством, если вечером ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Впрочем, вы, наверно, слышали о нем — это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Дальнем Западе (он по рождению канадец). А теперь у него ко мне какое-то дело, хотя убей не знаю, какое.

— Полноте, полноте, дорогой мой, — любезно ответил полковник. — Вы можете приглашать кого угодно. К тому же он, без сомнения, будет как раз кстати.

— Он вымажет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду, — смеясь, воскликнул Блаунт, — и всем наставит фонарей под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой и люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на свой цилиндр.

— Только не на мой, пожалуйста, — с достоинством произнес сэръ Леопольд Фишер.

— Ну, ладно, ладно, — весело вступился Крук, — не будем ссориться. Человек на цилиндре — это еще не самая низкопробная шутка!

Неприязнь к молодому человеку в красном галстуке, вызванная его грабительскими убеждениями и его очевидным ухаживанием за хорошенькой крестницей Фишера, побудила последнего заметить саркастически повелительным тоном:

— Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки. Не приведете ли вы нам в пример хоть одну?

— Извольте: цилиндр на человеке, — отвечал социалист.

— Ну, ну, ну! — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. — Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазать лица сажей и садиться на шляпы, если вам это не по душе, но придумаем что-нибудь в том же роде. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму — с клоуном, Коломбиной и всем прочим? Я видел такое представление перед отъездом из Англии, когда мне было лет двенадцать, и у меня осталось о нем воспоминание яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые волшебные сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделяют на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя Борода — это по мне, да и тот нравится мне больше всего в виде Панталоне.

— Я всей душой поддерживаю предложение разделить полисмена на котлеты, — сказал Джон Крук, — это гораздо более удачное определение социализма, чем то, которое здесь недавно приводилось. Но спектакль — дело, конечно, слишком сложное.

— Да что вы! — с увлечением закричал на него мистер Блаунт. — Устроить арлекинаду? Ничего нет проще! Во-первых, можно нести любую отсебятину, а во-вторых, на реквизит и декорации сгодится всякая домашняя утварь — столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.

— Да, это верно. — Крук оживился и стал расхаживать по комнате. — Только вот боюсь, что мне не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж не убивал я полисмена.

Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ляжке.

— Достанем! — воскликнул он. — Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена.

И он кинулся к телефону.

— Ах, как чудесно, крестный, — Руби была готова заплясать от радости, — я буду Коломбиной, а вы — Панталоне.

Миллионер выпрямился и замер в величественной позе языческого божества.

— Я полагаю, моя милая, — сухо проговорил он, — что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли Панталоне.

— Я могу быть Панталоне, если хочешь, — в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.

— Вам за это нужно памятник поставить, — воскликнул канадец, с сияющим лицом вернувшийся от телефона. — Ну вот, значит, все устроено. Мистер Крук будет клоуном — он журналист и, следовательно, знает все устаревшие шутки. Я могу быть Арлекином — для этого нужны только длинные ноги и умение прыгать. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле, а публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником; если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома, а открыть — освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству.

И, выхватив из кармана кусок мела, унесенного из биллиардной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.

Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление — остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонравности ее происхождения. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и покрасили щеки румянами, тоже позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего (как и подобает истинному благодетелю-христианину) остаться неизвестным. Арлекина, уже нарядившегося в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящиков, с большим трудом удалось остановить в тот момент, когда он собирался разбить старинную хрустальную люстру, чтобы украсить ее сверкающими подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, украшавшие когда-то на маскараде костюм бубновой дамы. Кстати сказать, ее дядюшка Джеймс Блаунт до того разошелся, что с ним никакого сладу не было; он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и к тому же изобрел какой-то способ шевелить ее ушами. Блаунт сделал также попытку прицепить ослиный хвост к фалдам сэра

Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.

— Дядя Джеймс слишком уж развеселился, — сказала Руби, с серьезным видом вешая Круку на шею гирлянду сосисок. — Что это он?

— Он Арлекин, а вы Коломбина, — ответил Крук. — Ну, а я только клоун, который повторяет устарелые шутки.

— Лучше бы вы были Арлекином, — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.

Хотя отцу Брауну, успевшему уже вызвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца, было отлично известно все происходившее за кулисами, он тем не менее присоединился к зрителям и уселся среди них с выражением торжественного оживления на лице, словно ребенок, впервые попавший в театр.

Зрителей было немного — родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его массивная фигура почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него; но много ли при этом потерял священник, театральная критика не знает. Пантомима являла собой нечто совершенно хаотическое, но все-таки она была не лишена известной прелести, — ее оживляла и пронизывала искрометная импровизация клоуна Крука. В обычных условиях Крук был просто умным человеком, но в тот вечер он чувствовал себя всеведущим и всемогущим — неразумное чувство, мудрое чувство, которое приходит к молодому человеку, когда он на какой-то миг уловит на некоем лице некое выражение. Считалось, что он исполняет роль клоуна; на самом деле он был еще автором (насколько тут вообще мог быть автор), суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершение всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил на нем отрывки из популярных песенок, настолько же неуместных, насколько и подходящих к случаю.

Кульминационным пунктом спектакля, а также и всех событий, было мгновение, когда двери на заднем плане сцены вдруг распахнулись и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого отчетливо вырисовывалась фигура знаменитого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензанса», но звуки рояля потонули в оглушительной овации: великий комик удивительно точно и почти совсем естественно воспроизводил жесты и осанку полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске, пианист заиграл «Где ты раздобыл такую шляпу?» — а он только озирался вокруг, с потрясающим мастерством изображая изумление; Арлекин подпрыгнул еще и опять ударил его; а пианист сыграл несколько тактов из песенки «А затем еще разок...». Потом Арлекин бросился прямо в объятия полисмена и под грохот аплодисментов

повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Пулни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал и крутил, как резинового дубинку, — и все это под уморительные звуки дурацких песенок в исполнении Крука. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола тело комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, мне снилася ты», когда он взвалил его себе на спину, послышалось «С котомкой за плечами», а когда, наконец, Арлекин с весьма убедительным стуком опустил свою ношу на пол, пианист, вне себя от восторга, заиграл бойкий мотивчик на такие — как полагают по сей день — слова: «Письмо я милой написал и бросил по дороге».

Приблизительно в то же время — в момент, когда безумство на импровизированной сцене достигло апогея, — отец Браун совсем перестал видеть актеров, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах, потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу на сцену, однако ограничился тем, что бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала.

В течение нескольких последующих минут священник имел полную возможность следить за дикой, но не лишенной известного изящества пляской любителя-Арлекина над артистически бесчувственным телом его врага. С подлинным, хотя и грубоватым искусством Арлекин танцевал теперь в распахнутых дверях, потом стал уходить все дальше и дальше в глубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его наскоро склеенное из бумаги одеяние, слишком уж сверкающее в огнях ramпы, становилось волшебнo-серебристым по мере того, как он удалялся, танцуя в лунном сиянии.

Зрители с громом аплодисментов повскакали с мест и бросились к сцене, но в это время отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника.

Он последовал за слугой со все возрастающим чувством беспокойства, которое отнюдь не уменьшилось при виде торжественно-комической сцены, представившейся ему, когда он вошел в кабинет. Полковник Адамс, все еще наряженный в костюм Панталоне, сидел, понуро кивая рогом китового уса, и в старых его глазах была печаль, которая могла бы отрезвить вакханалию. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэръ Леопольд Фишер; вид у него был перепуганный и важный.

— Произошла очень неприятная история, отец Браун, — сказал Адамс. — Дело в том, что бриллианты, которые мы сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как вы...





— А так как я, — продолжал отец Браун, простодушно улыбувшись, — сидел позади него...

— Ничего подобного, — с нажимом сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что нечто подобное уже было высказано. — Я только прошу вас как джентльмен оказать нам помощь.

— То есть вывернуть свои карманы, — закончил отец Браун и поспешил это сделать, вытащив на свет Божий семь шиллингов шесть пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький трепник и плитку шоколада.

Полковник некоторое время молча глядел на него, а затем сказал:

— Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она... — Он недоговорил.

— В последнее время, — выкрикнул почтенный Фишер, — она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту, и этот малый открыто заявляет, что всегда готов обокрасть богатого человека. Вот к чему это привело. Перед вами богатый человек, которого обокрали!

— Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним познакомить, — бесстрастно сказал отец Браун. — Чего оно стоит, судите сами. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов: люди, намеревающиеся украсть бриллианты, не провозглашают социалистических идей. Скорее уж, — добавил он кротко, — они станут осуждать социализм.

Оба его собеседника быстро переглянулись, а священник продолжал:

— Видите ли, мы знаем этих людей. Социалист, о котором идет речь, так же не способен украсть бриллианты, как и египетскую пирамиду. Нам сейчас следует заняться другим человеком, тем, который нам незнаком. Тем, кто играет полисмена. Хотелось бы мне знать, где именно он находится в данную минуту,

Панталоне вскочил с места и большими шагами вышел из комнаты. Вслед за этим последовала интерлюдия, во время которой миллионер смотрел на священника, а священник смотрел в свой трепник. Панталоне вернулся и отрывисто сказал:

— Полисмен все еще лежит на сцене. Занавес поднимали шесть раз, а он все еще лежит.

Отец Браун выронил книгу, встал и остолбенел, глядя перед собой, словно пораженный внезапным умственным расстройством. Но мало-помалу его серые глаза оживились, и тогда он спросил, казалось бы, без всякой связи с происходящим:

— Простите, полковник, когда умерла ваша жена?

— Жена? — удивленно переспросил старый воин. — Два месяца назад. Ее брат Джеймс опоздал как раз на неделю и уже не застал ее.

Маленький священник подпрыгнул, как подстреленный кролик.

— Живее! — воскликнул он с необычной для себя горячностью. — Живее! Нужно взглянуть на полисмена!

Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна (которые мирно шептались в полутьме), и отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом.

— Хлороформ, — сказал он, выпрямляясь. — И как я раньше не догадался!

Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес:

— Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?

Отец Браун вдруг громко расхохотался, потом сдержался и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха:

— Джентльмены, сейчас не до разговоров. Мне нужно догнать преступника. Но этот великий французский актер, который играл полисмена, этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Арлекин, которого он подбрасывал и швырял во все стороны, — это... — Он недоговорил и заторопился прочь.

— Это — кто? — крикнул ему вдогонку Фишер.

— Настоящий полисмен, — ответил отец Браун и скрылся в темноте.

В дальнем конце сада сверкающие листвою купы лавровых и других вечнозеленых деревьев даже в эту зимнюю ночь создавали на фоне сапфирового неба и серебряной луны впечатление южного пейзажа. Ярко-зеленые колышущиеся лавры, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, луна, как огромный волшебный кристалл, — все было исполнено легкомысленной романтики. А сверху, по веткам деревьев, карабкалась какая-то странная фигура, имеющая вид не столько романтический, сколько неправдоподобный. Человек этот весь искрился, как будто облаченный в костюм из десяти миллионов лун; при каждом его движении свет настоящей луны загорался на нем новыми вспышками голубого пламени. Но, сверкающий и дерзкий, он ловко перебирался с маленького деревца в этом саду на высокое развесистое дерево в соседнем и задержался там только потому, что чья-то тень скользнула в это время под маленькое дерево и чей-то голос окликнул его снизу.

— Ну, что ж, Фламбо, — произнес голос, — вы действительно похожи на летучую звезду, но ведь звезда летучая в конце концов всегда становится звездой падучей.

Наверху, в ветвях лавра, искрящаяся серебром фигура наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека.

— Это — самая виртуозная из всех ваших проделок, Фламбо. Приехать из Канады (с билетом из Парижа, надо полагать) через неделю после смерти миссис Адамс, когда никто не расположен задавать вопросы, — ничего не скажешь, ловко

придумано. Еще того ловчей вы сумели выследить «летучие звезды» и разведать день приезда Фишера. Но в том, что за этим последовало, чувствуется уже не ловкость, а подлинный гений. Выкрасть камни для вас, конечно, не составляло труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не привешивать ослиный хвост к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы затмили самого себя.

Серебристая фигура в зеленой листве медлит, точно загни- нотизированная, хотя путь к бегству открыт; человек на дереве внимательно смотрит на человека внизу.

— Да, да, — говорит человек внизу, — я знаю все. Я знаю, что вы не просто навязали всем эту пантомиму, но сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что вас выследили и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор сказал бы спасибо за предупреждение и скрылся. Но вы — поэт. Вам тотчас же пришла в голову остроумная мысль спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, что если на вас будет настоящий наряд Арлекина, то появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из полицейского участка в Путни, намереваясь поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не придумывал. Когда отворились двери дома, он вошел и попал прямо на сцену, где разыгрывалась рождественская пантомима и где пляшущий Арлекин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых уважаемых жителей Путни. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне эти бриллианты.

Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающая фигура, шелестит, словно от изумления, но голос продолжает:

— Я хочу, чтобы вы их отдали, Фламбо, и я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью. У вас еще есть молодость, и честь, и юмор, но при вашей профессии надолго их неостанет. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору. Добрый человек пьет и становится жестоким; правдивый человек убивает и потом должен лгать. Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых и кончали в мерзости и грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, а кончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны эксплуатировали и презирали. Гарри Бэрк, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей, — теперь он живет на содержании полуголодной сестры и пропивает ее последние гроши. Лорд Эмбер первоначально очутился на дне в роли странствующего рыцаря, теперь же самые подлые

лондонские подонки шантажируют его, и он им платит. А капитан Барийон, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили.

Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близко, и верхушки деревьев будут совсем голыми.

Наверху было по-прежнему тихо; казалось, маленький человек под деревом держит своего собеседника на длинной невидимой привязи. И он продолжал:

— Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко, но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, против которого и без того восстановлены все эти люди. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит и которая любит его. Но вы еще не такие низости совершите, прежде чем умрете.

Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул наверх — зеленая древесная клетка была пуста: серебряная птица упорхнула.

Бурным ликованием было встречено известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благоволения даже сказал священнику, что хотя сам он и придерживался более широких взглядов, но готов уважать тех, кому убеждения предписывают затворничество и неведение дел мирских.

ЧЕСТЬ ИЗРЭЕЛА ГАУ

Оливково-серебристые сумерки сменялись ненастной тьмой, когда отец Браун, укутавшись в серый шотландский плед, дошел до конца серой шотландской долины и увидел причудливый замок. Обиталище графов Гленгайл срезало край лощины или ущелья, образуя тупик, похожий на край света. Как многие замки, воплотившие вкус французов или шотландцев, он был увенчан зелеными крышами и шпилями, напоминавшими англичанину об остроконечных колпаках ведьм; сосновые же леса казались рядом с ним черными, как стаи воронов, летавшие над башнями. Однако не только пейзаж внушал ощущение призрачной, словно сон, чертовщины, — это место и впрямь окутали тучи гордыни, безумия и скорби, которые душат знатных сынов Шотландии чаще, чем прочих людей. Ведь в крови у шотландца двойная доза яда, называемого наследственностью, — он верит в свою родовитость, как аристократ, и в предопределенность посмертной участи, как кальвинист.

Священник с трудом вырвался на сутки из Глазго, где был по делу, чтобы повидать друга своего Фламбо, сыщика-любителя, который вместе с сыщиком-профессионалом расследовал в Гленгайле обстоятельства жизни и смерти последнего из владельцев замка. Тайнственным графом кончался род, сумевший выделиться отвагой, жестокостью и сумасбродством даже среди мрачной шотландской знати XVI века. Никто не забрел дальше, чем Гленгайлы, в тот лабиринт честолюбия, в те анфилады лжи, которые возвели вокруг Марии, королевы шотландцев.

Причину и плод их стараний хорошо выражал стихок, сложенный в округе:

Копит, копит смолоду
Наш помещик золото.

За много веков в замке не было ни одного достойного графа. Когда наступила викторианская эра, казалось, что странности их исчерпаны. Однако последний в роду поддержал семейную традицию, сделав единственное, что ему осталось: он исчез. Не уехал, а именно исчез, ибо, судя по всему, был в замке. Но хотя имя значилось в церковных книгах и в книге пэров, никто на свете не видел его самого.

Если кто его и видел, то лишь угрюмый слуга, соединявший обязанности садовника и кучера. Слуга этот был таким глухим, что деловые люди считали его немым, а люди вдумчивые — слабоумным. Бессловесный рыжий крестьянин с упрямым подбородком и ярко-черными глазами звался Изрэлом Гау, и, казалось, жил один в пустынном поместье. Но рвение, с которым он копал картошку, и точность, с какою он скрывался в кухне, наводили на мысль о том, что он служит хозяину. Если нужны были другие доказательства, всякий мог считать ими то, что спрашивавшим графа слуга отвечал: «Нету дома». Однажды в замок позвали мэра и пастора (Гленгайлы принадлежали к пресвитерианской церкви), и те обнаружили, что садовник, кучер и повар стал еще и душеприказчиком и заколотил в гроб своего высокородного хозяина.

Что было немедленно вслед за этим, никто толком не знал, ибо никто узнать не пытался, пока на север, дня через два-три, не прибыл Фламбо. К этому времени тело графа Гленгайла (если то было его тело) покоилось на маленьком кладбище, у вершины холма.

Когда отец Браун прошел сумрачным садом в самую тень замка, тучи сгустились и в воздухе пахло грозой. На фоне последней полоски золотисто-зеленого неба он увидел черный силуэт — человека в цилиндре, с большой лопатой на плече. Такое нелепое сочетание напоминало о могильщике; но патер припомнил глухого слугу, копающего картошку, и не удивился. Он неплохо знал шотландских крестьян; он знал, что по своей респектабельности они способны надеть сюртук и шляпу для официальных гостей; он знал, что по своей бережливости они не потеряют даром и часа. Даже то, как пристально глядел слуга на проходящего священника, прекрасно увязывалось с их недоверчивостью и обостренным чувством долга.

Парадную дверь открыл сам Фламбо, рядом с которым стоял высокий, седой человек, инспектор Крэвен из Скотланд-Ярда. В зале почти не было мебели, но с темных холстов из-под темных париков насмешливо глядели бледные и коварные Гленгайлы.

Проследовав в комнаты, отец Браун увидел, что официальные лица сидят за дубовым столом. Тот конец, где они сгрудились, был всплошную закрыт бумагами, сигарами и бутылками виски; дальше, во всю длину, на равном расстоянии, красовались исключительно странные предметы: кучка осколков, кучка какой-то темной пыли, деревянная палка и что-то еще.

— У вас тут прямо геологический музей, — сказал отец Браун, усаживаясь на свое место.

— Не столько геологический, сколько психологический, — отвечал Фламбо.

— Ради Бога, — воскликнул сыщик, — не надо этих длинных слов!

— Вы не жалуете психологии? — удивился Фламбо. — Напрасно. Она нам понадобится.

— Не совсем понимаю, — сказал инспектор.

— О лорде Гленгайле, — объяснил француз, — мы знаем только одно: он был маньяк.

Мимо окна, черным силуэтом на лиловых тучах, прошел человек с лопатой и в цилиндре. Отец Браун рассеянно поглядел на него и сказал:

— Конечно, он был со странностями, иначе он не похоронил бы себя заживо и не велел бы похоронить так быстро после смерти. Однако почему вам кажется, что он сумасшедший?

— Послушайте, что нашел в этом доме мистер Крэвен, — ответил Фламбо.

— Надо бы мне свечу, — сказал Крэвен. — Темнеет, трудно читать.

— А свечек вы не нашли? — улыбнулся отец Браун.

Фламбо серьезно посмотрел на своего друга.

— Как ни странно, — сказал он, — здесь двадцать пять свечей и ни одного подсвечника.

Темнело быстро, и быстро поднимался ветер. Священник встал и направился вдоль стола туда, где лежали свечи. Проходя, он наклонился к бурой пыли — и сильно чихнул.

— Да это нюхательный табак! — воскликнул он.

Потом он взял свечу, бережно зажег ее, вернулся и вставил в бутылку из-под виски. Пламя затрепетало на сквозняке, как флажок. На много миль кругом шумели черные сосны, словно море било о скалу замка.

— Читайте опись, — серьезно сказал Крэвен и взял одну из бумаг. — Поясню вначале, что почти все комнаты были заброшены, кто-то жил только в двух. Обитатель этот, несомненно, не слуга по фамилии Гау. В этих комнатах мы нашли странные вещи, а именно:

1. Довольно много драгоценных камней, главным образом — бриллиантов, без какой бы то ни было оправы. Не удивительно, что у Гленгайлов были драгоценности; но камни обычно оправляют в золото или серебро. В этой семье их, по-видимому, носили в карманах, как мелочь.

2. Много нюхательного табака — не в табакерках и даже не в мешочках, а прямо на столе, на рояле и на буфете, словно хозяину было лень сунуть руку в карман или поднять крышку.

3. Маленькие кучки железных пружинков и колесиков, словно здесь разобрали несколько механических игрушек.

4. Восковые свечи, которые приходится вставлять в бутылки, потому что вставлять их не во что.

Прошу вас, господа, обратите внимание на то, что ничего подобного мы не ожидали. Основная загадка была нам известна. Мы знали, что с покойным графом не все ладно, и явились, чтобы установить, жил ли он здесь, и умер ли, и как связано со всем этим рыжее пугало, похоронившее его. Предположим самое дикое и театральное. Быть может, слуга убил его, или он вообще жив, или слуга — это он, а тот, настоящий, в могиле. Вообразим любой наворот событий в духе Уилки Коллинза, и мы все равно не сможем объяснить, почему свечи — без подсвечников и почему старый аристократ брал понюшку прямо с рояля. Словом, суть дела представить себе можно; детали — нельзя. Человеческому уму не под силу связать табак, бриллианты, свечи и разобранный механизм.

— Почему же? — сказал священник. — Извините, я свяжу их. Граф Гленгайл помешался на французской революции. Он был предан монархии и пытался восстановить в своем замке быт последних Бурбонов. В восемнадцатом веке нюхали табак, освещали комнаты свечами. Людовик Шестнадцатый любил мастерить механизмы, бриллианты предназначались для ожерелья королевы.

Крэвен и Фламбо уставились на него круглыми глазами.

— Поразительно! — вскричал француз. — Неужели так оно и есть?

— Конечно, нет, — отвечал отец Браун. — Я просто показал вам, что можно связать воедино табак, бриллианты, свечи и разобранный механизм. На самом деле все сложнее.

Он замолчал и прислушался к громкому шуму сосен; потом произнес:

— Граф Гленгайл жил двойной жизнью, он был вором. Свечи он вставлял в потайной фонарь, табак швырял в глаза тем, кто его застанет, — вы знаете, французские воры швыряют перец. А главная улика — алмазы и колесики. Ведь только ими можно вырезать стекло.

Обломанная ветка сосны тяжело ударилась о стекло за их спинами, словно изображая вора в зловещем фарсе, но никто на нее не глядел. Все глядели на священника.

— Бриллианты и колесики, — медленно проговорил Крэвен. — Из-за них вы и пришли к такому объяснению?

— Я к нему не пришел, — мягко ответил священник, — но вы сказали, что никак нельзя объединить вот эти вещи. На самом деле, конечно, все гораздо проще. Гленгайл нашел клад на своей земле, драгоценные камни. Колесиками он шлифовал их или гранил, не знаю. Ему приходилось работать быстро, и он пригласил себе в подмогу здешних пастухов. Табак — единственная роскошь бедного шотландца, больше его ничем не подкупишь. Подсвечники им были не нужны, они держали свечи в

руке, когда искали в переходах, под замком, нет ли там еще камней.

— И это все? — не сразу спросил Фламбо. — Это и есть простая, скучная истина?

— О, нет! — отвечал отец Браун.

Ветер взвыл на прощанье в дальнем бору, словно насмехаясь над ними, и замолк. Отец Браун продолжал задумчиво и спокойно:

— Я говорю все это лишь потому, что вы считаете невозможным связать табак с бриллиантами или свечи с колесиками. Десять ложных учений подойдут к миру; десять ложных теорий подойдут к тайне замка, но нам нужно одно, истинное объяснение. Нет ли там чего-нибудь еще?

Крэвен засмеялся, Фламбо улыбнулся, встал и пошел вдоль стола.

— Пункты пять, шесть и семь, — сказал он, — совершенно бессмысленны. Вот стержни от карандашей. Вот бамбуковая палка с раздвоенным концом. Может быть, ими и совершили преступление — но какое? Преступления нет. И загадочных предметов больше нет, кроме молитвенника и нескольких миниатюр, которые хранятся здесь со средних веков, — по-видимому, фамильная спесь у графов сильнее пуританства. Мы приобщили эти вещи к делу лишь потому, что они как-то странно попорчены.

Буря за окном пригнала к замку валы темных туч, и в длинной комнате было совсем темно, когда отец Браун взял в руки молитвенник. Тьма еще не ушла, когда он заговорил, но голос его изменился.

— Мистер Крэвен, — сказал он так звонко, словно помолодел на десять лет, — вы ведь имеете право осмотреть могилу? Поспешим, надо скорей разгадать это страшное дело. Я бы сейчас и пошел на вашем месте!

— Почему? — удивленно спросил сыщик.

— Потому что оно серьезней, чем я думал, — ответил священник. — Табак и камни могут быть здесь по сотне причин. Но этому есть только одна причина. Смотрите, молитвенник и миниатюры не портили, как мог бы испортить пуританин. Из них осторожно вынули слово «Бог» и сияние над головой Младенца Христа. Так что берите свою бумагу и идем осмотрим могилу. Вскроем гроб.

— О чем вы говорите? — спросил инспектор.

— Я говорю о том, — отвечал священник, перекрывая голосом рев бури, — что сам Сатана, быть может, сидит сейчас на башне замка и ревет, как сто слонов. Мы столкнулись с черной магией.

— Черная магия, — тихо повторил Фламбо, слишком образованный, чтобы в нее не верить. — А что же тогда означает все остальное?

— Какую-нибудь мерзость, — нетерпеливо отвечал Браун. —

Откуда мне знать? Может быть, табак и бамбук нужны для какой-то пытки. Может быть, безумцы едят воск и стальные колесики. Может быть, из графита делают гнусный наркотик. Проще всего решить загадку там, на кладбище.

Собеседники едва ли поняли его, но послушались и шли, пока вечерний ветер не ударил им в лицо. Однако слушались и шли они, как автоматы. Крэвен держал в правой руке топорик, а левой рукою ощупывал в кармане нужную бумагу. Фламбо схватил по пути заступ. Отец Браун взял маленькую книгу, из которой вынули имя Божье.

На кладбище вела извилистая короткая тропинка; однако в такой ветер она казалась крутой и длинной. Путников встречали все новые сосны, клонившиеся в одну и ту же сторону, и поклон их казался бессмысленным, словно это происходило на необитаемой планете. Серовато-синий лес оглашала пронзительная песня ветра, исполненная языческой печали. В шуме ветвей слышались стоны погибших божеств, которые давно заблудились в этом бессмысленном лесу и никак не найдут пути на небо.

— Понимаете,— тихо, но спокойно сказал отец Браун, — шотландцы до Шотландии были занятыми людьми. Собственно, они и сейчас заняты. Но до начала истории они, наверное, и впрямь поклонялись бесам. Потому, — незлобиво прибавил он, — они приняли так быстро пуританскую теологию.

— Друг мой, — воскликнул Фламбо, гневно обернувшись к нему, — что за чушь вы говорите?

— Друг мой,— все так же серьезно отвечал отец Браун, — у настоящих религий есть одна неперемнная черта: вещественность, весомость. Сами видите, беспоклонство — настоящая религия.

Они взобрались на растрепанную макушку холма, одну из немногих лужаек среди ревущего леса. Проволока на деревянных кольях пела под ветром, оповещая пришельцев о том, где проходит граница кладбища. Инспектор Крэвен быстро подбежал к могиле; Фламбо вонзил в землю заступ и оперся на него, хотя ветер качал и тряс обоих сыщиков, как сотрясал он проволоку и сосны. В ногах могилы рос серебряно-сизый репейник. Когда ветер срывал с него колючий шарик, Крэвен отскакивал, словно то была пуля.

Фламбо вонзил заступ в свистящую траву и дальше, в мокрую землю. Потом остановился, облокотясь на него, как на посох.

— Ну, что же вы? — мягко сказал священник. — Мы хотим узнать истину. Чего вы боитесь?

— Я боюсь ее узнать, — ответил Фламбо.

Лондонский сыщик произнес высоким, надсадным голосом, который ему самому казался бодрым:

— Нет, почему он так прятался? Что за пакость? Может, он прокаженный?

— Думаю, что-нибудь похуже, — сказал Фламбо.

— Что же хуже проказы? — спросил сыщик.

— Представить себе не могу, — ответил Фламбо.

Ветер унес тяжелые серые тучи, обложившие холмы, словно дым, и открыл взору серые долины, освещенные слабым звездным светом, когда Фламбо обнажил наконец крышку грубого гроба и пообчистил ее от земли.

Крэвен шагнул вперед, держа топорик, коснулся репейника и вздрогнул. Но он не отступил и трудился с такой же силой, как Фламбо, пока не сорвал крышку и не сказал:

— Да, это человек, — словно ожидал чего-то иного.

— У него все в порядке? — нервным голосом спросил Фламбо.

— Вроде бы да, — хрипло ответил сыщик. — Нет, постойте...

Тяжкое тело Фламбо грузно содрогнулось.

— Ну, что с ним может быть? — вскричал он. — Что с нами такое? Что творится с людьми на этих холодных холмах? Наверное, это потому, что все тут темное и все как-то глупо повторяется. Леса и древний ужас перед тайной, словно сон атеиста... Сосны, и снова сосны, и миллионы сосен...

— О, Господи! — крикнул Крэвен. — У него нет головы.

Фламбо не двинулся, но священник впервые шагнул к могиле.

— Нет головы! — повторил он. — Нет *головы*? — словно он думал, что нет чего-то другого.

Полубезумные образы пронеслись в сознании собравшихся. У Гленгайлов родился безголовый младенец; безголовый юноша прячется в замке; безголовый старик бродит по древним залам или по пышному парку. Но даже теперь они не принимали разгадки, ибо в ней не было смысла, и стояли, внимая гулу лесов и воплю небес, словно истуканы или загнанные звери. Мыслить они не могли; мысль была для них велика, и они ее упустили.

— У этой могилы, — сказал отец Браун, — стоят три безголовых человека.

Бледный сыщик из Лондона открыл было рот и не закрыл его, словно деревенский дурачок. Воющий ветер терзал небо. Сыщик взглянул на топорик, его не узнавая, и уронил на землю.

— Отец, — сказал Фламбо каким-то детским, горестным голосом, — что нам теперь делать?

Друг его ответил так быстро, словно выстрелил из ружья.

— Спать! — крикнул он. — Спать. Мы пришли к концу всех дорог. Вы знаете, что такое сон? Вы знаете, что спящий доверяется Богу? Сон — таинство, ибо он питает нас и выражает нашу веру. А нам сейчас нужно таинство, хотя бы естественное. На нас свалилось то, что нечасто сваливается на человека; быть может, самое худшее, что может на него свалиться.

Крэвен разжал сомкнувшиеся губы и спросил:

— Что вы имеете в виду?

Священник повернулся к замку и сказал:

— Мы нашли истину, и в истине нет смысла.

А потом пошел по дорожке тем беззаботным шагом, каким ходил очень редко, и, придя в замок, кинулся в сон с простотою пса.

Несмотря на славословие сну встал он раньше всех, кроме бессловесного садовника, и сыщики застали его в огороде, где он курил трубку и смотрел, как трудится над грядками этот загадочный субъект. Под утро гроза сменилась ливнем, и день выдался прохладный. По-видимому, садовник только что беседовал с пастьерем, но, увидев сыщиков, угрюмо воткнул лопату в землю, проворчал что-то про завтрак и скрылся в кухне, прошествовав мимо рядов капусты.

— Почтенный человек,— сказал отец Браун. — Прекрасно растит картошку. Однако,— беспристрастно и милостиво прибавил он, — и у него есть недостатки, у кого их нет? Эта грядка не совсем прямая. Вот, смотрите.— И он тронул землю ногой. — Какая странная картошка!

— А что в ней такого?— спросил Крзвен, которого забавляло новое увлечение низкорослого клирика.

— Я отметил ее потому,— сказал священник, — что ее отметил и Гау. Он копал всюду, только не здесь.

Фламбо схватил лопату и нетерпеливо вонзил в загадочное место. Вместе с пластом земли на свет вылезло то, что напоминало не картофелину, а огромный гриб. Но лопата звякнула; а находка покатилась, словно мяч.

— Граф Гленгайл, — печально сказал Браун и посмотрел на череп.

Он подумал минутку, взял у Фламбо лопату и со словами «Надо его закопать» это и сделал. Потом оперся на большую ручку большой головой и маленьким телом и уставился вдаль пустым взором, скорбно наморщив лоб.

— Ах, если б я мог понять,— пробормотал он, — что значит весь этот ужас!..

И, опираясь о ручку стоящей торчком лопаты, закрыл лицо руками, словно в церкви.

Все уголки неба светлели серебром и лазурью; птицы щебетали в деревцах так громко, словно сами деревца беседовали друг с другом. Но трое людей молчали.

— Ладно,— взорвался наконец Фламбо, — с меня хватит. Мой мозг и этот мир не в ладу, вот и все. Нюхательный табак, испорченные молитвенники, музыкальные шкатулки... да что же это?..

Отец Браун откинул голову и с несвойственным ему нетерпением дернул рукоятку лопаты.

— Стоп, стоп, стоп! — закричал он. — Это все проще простого. Я понял табак и колесики, как только открыл глаза. А потом я поговорил с Гау, он не так глух и не так глуп, как притворяется.

Там все в порядке, все хорошо. Но вот это... Осквернять могилы, таскать головы... вроде бы это плохо? Вроде бы тут не без черной магии? Никак не вяжется с простой историей о табаке и свечах. — И он задумчиво закурил.

— Друг мой,— с мрачной иронией сказал Фламбо, — будьте осторожны со мною. Не забывайте, недавно я был преступником. Преимущество — в том, что всю историю выдумывал я сам и разыгрывал как можно скорее. Для сыщика я нетерпелив. Я француз, и ожидание не по мне. Всю жизнь я, к добру ли, к худу ли, действовал сразу. Я дрался на дуэли на следующее утро, немедленно платил по счету, даже к зубному врачу...

Трубка упала на гравий дорожки и раскололась на куски. Отец Браун вращал глазами, являя точное подобие кретина.

— Господи, какой же я дурак! — повторял он. — Господи, какой дурак! — и начал смеяться немного дребезжащим смехом. — Зубной врач! — сказал он. — Шесть часов я терзался духом, и все потому, что не вспомнил о нем! Какая простая, какая прекрасная, мирная мысль! Друзья мои, мы провели ночь в аду, но сейчас встало солнце, поют птицы, и сияние зубного врача озаряет мир.

— Я разберусь, что тут к чему! — крикнул Фламбо. — Пытать вас буду, а разберусь!

Отец Браун подавил, по всей видимости, желание пройти в танце вокруг светлой лужайки и закричал жалобно, как ребенок:

— Ой, дайте мне побыть глупым! Вы не знаете, как я мучился. А теперь я понял, что истинного греха в этом деле нет. Только невинное сумасбродство, это ведь не страшно.

Он повернулся вокруг оси, потом серьезно посмотрел на спутников.

— Это не преступление,— сказал он. — Это история о странной, искаженной честности. Должно быть, мы повстречали единственного человека на свете, который не взял ничего кроме того, что ему причитается. Он проявил ту дикую житейскую последовательность, которой поклоняется его народ.

Старый стишок о Гленгайлах не только метафора, но и правда. Он говорит не только о тяге к богатству. Графы собирали именно золото, они собрали много золотой утвари и золотых узор. Они были скупцами, свихнувшимися на этом металле. Посмотрим теперь, что мы нашли. Алмазы без колец; свечи без подсвечников; стержни без карандашей; трость без набалдашника; часовой механизм без часов — наверное, маленьких. И как ни дико это звучит, молитвенники без имени Бога, ибо его выкладывали из чистого золота.

Сад стал ярче, трава — зеленее, когда прозвучала немыслимая истина. Фламбо закурил; друг его продолжал.

— Золото взяли,— говорил отец Браун, — взяли, но не украли. Воры ни за что не оставили бы такой тайны. Они взяли бы табак, и стержни, и колесики. Но здесь был человек со странной

совестью — и все же с совестью. Я встретил безумного моралиста в огороде, и он рассказал мне, как было дело.

Покойный лорд Гленгайл был лучше всех, кто родился в замке. Но его скорбная праведность обратилась в мизантропию. Мысль о несправедности предков привела его к мыслям о несправедности всех людей. Особенно ненавидел он благотворительность; и поклялся, что, если встретит человека, который берет только свое, он отдаст ему золото Гленгайлов. Бросив этот вызов человечеству, он заперся, не ожидая ответа. Однажды глухой идиот из дальней деревни принес ему телеграмму, и Гленгайл, мрачно забавляясь, дал ему новый фартинг. Вернее, он думал, что дал фартинг, но, перебирая монеты, увидел, что дал по рассеянности соверен. Он стал прикидывать, исчезнет ли деревенский дурак или продемонстрирует честность; вором окажется он или ханжой, ищущим вознаграждения. Ночью его поднял стук (он жил один), и ему пришлось открыть дверь. Дурак принес не соверен, а девятнадцать шиллингов, одиннадцать пенсов, три фартинга сдачи.

Дикая эта точность поразила разум безумца. Как Диоген, искал он человека — и нашел! Тогда он изменил завешание. Я его видел. Молодого буквалиста он взял к себе, в большой и запущенный дом. Тот стал его слугой и, как ни странно, наследником. Что бы ни понимало это создание, оно прекрасно поняло две навязчивые идеи хозяина: буква закона — всё, а золото принадлежит ему. Вот вам наша история; она проста. Он забрал золото, и больше не взял ничего, даже понюшки табака. Он ободрал золото с миниатюр, радуясь, что они остались, как были. Это я понимал; но я не понял про череп. Голова среди картошки очень огорчила меня — пока Фламбо не сказал слова. Все в порядке. Садовник положит голову в могилу, когда снимет золотую коронку.

И впрямь, когда, немного позже, Фламбо шел по холму, он увидел, как странная тварь, честный скряга, копает оскверненную могилу. Шея его была укутана пледом — в горах дует ветер; на голове красовался черный цилиндр.

ГРЕХИ ГРАФА САРАДИНА

Когда Фламбо уезжал, чтобы отдохнуть от своей конторы в Вестминстере, он проводил обычно этот месяц вакаций в ялике, таком крошечном, что нередко идти на веслах в нем было проще, чем под парусом. К тому же уезжал он обычно в графства Восточной Англии, где текли речушки такие крошечные, что издали ялик казался волшебным корабликом, плывущим на всех парусах посуху, меж полей и заливных лугов. В ялике могли с удобством разместиться лишь два человека, а всего остального места едва хватало для самого необходимого. Фламбо и грузил в него то, что собственная жизненная философия приучила его считать самым необходимым. Он довольствовался четырьмя вещами: консервированная семга — на случай, если ему захочется есть; заряженные пистолеты — на случай, если ему захочется драться; бутылка бренди — скорее всего, на случай обморока; и священник — скорее всего, на случай смерти.

С этим легким грузом он и скользил потихоньку по узеньким норфолкским речушкам, держа путь к побережью и наслаждаясь видом склонившихся над рекой деревьев и зеленых лугов, отраженных в воде поместий и поселков, останавливаясь, чтобы поудить в тихих заводях, и прижимаясь, если можно так выразиться, к берегу.

Как истинный философ Фламбо не ставил себе на время путешествия никакой цели; вместе с тем, как у истинного философа, у него был некий предлог. У него было некое намерение, к которому он относился достаточно серьезно, чтобы при успехе обрадоваться достойному завершению путешествия, но и достаточно легко, чтобы неудача его не испортила. Много лет назад, когда он был королем воров и самой известной персоной в Париже, он часто получал самые неожиданные послания с выражением одобрения, порицания или даже любви; одно из них он не забыл до сих пор. Это была визитная карточка в конверте с ан-

лийским штемпелем. На обороте зелеными чернилами было написано по-французски: «Если когда-нибудь вы уйдете от дел и начнете респектабельную жизнь, навестите меня. Я хотел бы познакомиться с вами, ибо я знаком со всеми другими великими людьми нашего времени. Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого, составляет великолепнейшую страницу истории Франции».

На лицевой стороне карточки было изящно выгравировано: «Граф Сарадин, Камышовый замок, Камышовый остров, графство Норфолк».

В те дни Фламбо не очень-то задумывался об этом приглашении; правда, он навел справки и удостоверился, что в свое время граф принадлежал к самым блестящим кругам светского общества Южной Италии.

Ходили слухи, что в юности он бежал с замужней женщиной знатного рода, — весьма обычная история в его кругу, если бы не одно трагическое обстоятельство, благодаря которому оно запомнилось: как говорили, муж этой женщины покончил с собой, бросившись в пропасть в Сицилии. Какое-то время граф прожил в Вене; последние же годы он провел в беспрестанных и беспокойных странствиях. Но когда Фламбо, подобно самому графу, перестал привлекать внимание европейской публики и поселился в Англии, он как-то подумал, что неплохо было бы нанести, конечно, без предупреждения, визит этому знатному изгнаннику, поселившемуся среди норфолкских долин.

Он не знал, удастся ли ему отыскать поместье графа, настолько оно было мало и прочно забыто. Впрочем, случилось так, что он нашел его гораздо быстрее, чем предполагал.

Однажды вечером они причалили к берегу, поросшему высокими травами и низкими подстриженными деревьями. После тяжелого дня сон рано одолел их, но по странной случайности оба проснулись на рассвете. Строго говоря, день еще не занялся, когда они проснулись; огромная лимонная луна только садилась в чашу высокой травы у них над головами, а небо было глубокого сине-лилового цвета, — ночное, но светлое небо. Обоим вспомнилось детство — неизъяснимая, волшебная пора, когда заросли трав смыкаются над нами, словно дремучий лес. Маргаритки на фоне гигантской заходящей луны казались какими-то огромными фантастическими цветами, а одуванчики — огромными фантастическими шарами. Все это напомнило им почему-то рисунок на обоях в детской. Река подмывала снизу высокий берег, и они смотрели вверх на траву, словно прячась в корнях зарослей и кустарников.

— Ну и ну! — воскликнул Фламбо. — Словно заколдованное царство!

Отец Браун порывисто сел и перекрестился. Движения его были так стремительны, что Фламбо взглянул на него с удивлением и спросил, в чем дело.

— Авторы средневековых баллад,— отвечал священник, — знали о колдовстве гораздо больше, чем мы с вами. В заколдованных царствах случаются не одни только приятные вещи.

— Чепуха! — воскликнул Фламбо. — Под такой невинной лунной могут случаться только приятные вещи. Я предлагаю плыть тотчас же дальше — посмотрим, что будет! Мы можем умереть и пролежать целую вечность в могилах — а такая луна и такое колдовство не повторятся!

— Что ж,— сказал отец Браун. — Я и не думал говорить, что в заколдованное царство вход всегда заказан. Я только говорил, что он всегда опасен.

И они тихо поплыли вверх по светлеющей реке; лиловый багрянец неба и тусклое золото луны все бледнели, пока наконец не растаяли в безграничном бесцветном космосе, предвещающем буйство рассвета. Первые нежные лучи серо-алого золота прорезали из края в край горизонт, как вдруг их закрыли черные очертания какого-то городка или деревни, возникшие впереди на берегу. В светлеющем сумраке рассвета все предметы были явственно видны — подплыв поближе, они разглядели повисшие над водой деревенские крыши и мостики. Казалось, что дома с длинными, низкими, нависшими крышами столпились на берегу, словно стадо огромных серо-красных коров, пришедших напиться из реки, а рассвет все ширился и светлел, пока не превратился в обычный день, — но на пристанях и мостах молчаливого городка не видно было ни души. Спустя какое-то время на берегу появился спокойный человек пруспевающего вида, с лицом таким же круглым, как только что зашедшая луна, с лучиками красно-рыжей бороды вокруг нижнего его полукружия; стоя без пиджака у столба, он следил за ленивой волной. Повинуясь безотчетному порыву, Фламбо поднялся в шатком ялике во весь свой огромный рост и зычным голосом спросил, не знает ли он, где находится Камышовый остров. Тот только шире улыбнулся и молча указал вверх по реке, за следующий поворот. Не говоря ни слова, Фламбо поплыл дальше.

Ялик обогнул крутой травянистый выступ, потом другой, третий и миновал множество поросших осокой укромных уголков; поиски не успели им наскучить, когда, пройдя причудливой излучиной, они оказались в тихой заводи или озере, вид которого заставил их тут же остановиться. В центре этой водной глади, окаймленной по обе стороны камышом, лежал низкий длинный остров, на котором стоял низкий длинный дом из бамбука или какого-то иного прочного тропического тростника. Вертикальные стебли бамбука в стенах были бледно-желтыми, а диагональные стебли крыши — темно-красными или коричневыми, только это и нарушало монотонное однообразие длинного дома. Утренний ветерок шелестел в зарослях камыша вокруг острова, посвистывая о ребра странного дома, словно в огромную свирель бога Пана.

— Д-да! — воскликнул Фламбо. — Вот мы и приехали! Вот он, Камышовый остров! А это, конечно, Камышовый замок — ошибиться тут невозможно. Должно быть, тот толстяк с бородой был просто волшебник.

— Возможно, — спокойно заметил отец Браун. — Но только злой волшебник!

Нетерпеливый Фламбо подвел уже ялик меж шуршащих камышей к берегу, и они ступили на узкий, загадочный остров прямо возле старого притихшего дома.

К единственному на острове причалу и к реке дом стоял глухой стеной; дверь была с противоположной стороны и выходила прямо в сад, вытянутый вдоль всего острова. Двое друзей направились к двери тропкой, огибающей дом с трех сторон прямо под низким карнизом крыши. В три разных окна в трех разных стенах дома им видна была длинная светлая зала, обшитая панелями из светлого дерева, с множеством зеркал и с изящным столом, словно накрытым для завтрака. Подойдя к двери, они увидели, что по обе стороны ее стоят две голубых, словно бирюза, вазы для цветов. Дверь отворил дворецкий унылого вида — сухопарый, седой и апатичный, — пробормотавший, что граф Сарадин в отъезде, что его ждут с часу на час и что дом готов к приезду его самого и его гостей. При виде карточки, исписанной зелеными чернилами, мрачное и бледное, как пергамент, лицо верного слуги на миг оживилось, и с внезапной учтивостью он предложил им остаться.

— Мы ждем его сиятельство с минуты на минуту. Они будут в отчаянии, если узнают, что разминулись с господами, которых они пригласили. У нас всегда наготове холодный завтрак для графа и его гостей, и я не сомневаюсь, что его сиятельство пожелали бы, чтобы вы откушали у нас.

Побуждаемый любопытством, Фламбо с благодарностью принял предложение и последовал за стариком, который торжественно ввел его в длинную светлую залу. В ней не было ничего особо примечательного — разве что несколько необычное чередование длинных узких окон с длинными узкими зеркалами в простенках, что придавало зале на удивление светлый эфемерный вид. Впечатление было такое, будто садишься за стол под открытым небом. По углам висели неяркие портреты: фотография юноши в военном мундире, выполненный красными мелкими эскиз, на котором были изображены два длинноволосых мальчика. На вопрос Фламбо, не граф ли этот юноша в военном мундире, дворецкий отвечал отрицательно. Это младший брат графа, капитан Стефан Сарадин, пояснил он. Тут он внезапно замолк и, казалось, потерял последнее желание продолжать разговор.

Покончив с завтраком, за которым последовал отличный кофе с ликером, гости ознакомились с садом, библиотекой и с домоправительницей — красивой темноволосой женщиной

с величавой осанкой, похожей на Мадонну из подземного царства Плутона. По-видимому, из прежнего ménage¹ графа, вывезенного им из-за границы, остались лишь она да дворецкий, все же остальные слуги были наняты ею в Норфолке. Эту даму все звали миссис Антони, но в речи ее слышался легкий итальянский акцент, и Фламбо ни минуты не сомневался в том, что «Антони» — это норфолкский вариант имени более южного звучания. В манере мистера Поля (так звали дворецкого) также был легкий налет чего-то чужеземного; впрочем, по языку и воспитанию он несомненно был англичанином, как это нередко бывает со старыми слугами знатных космополитов.

Вкруг дома — при всей его необычности и красоте — витала какая-то странная светлая печаль. Часы тянулись в нем, словно дни. Длинные комнаты с высокими окнами были залиты светом, но в свете этом было что-то мертвенное. И, покрывая все случайные звуки — голоса, звон стаканов, шаги слуг, — слышался немолчный и грустный плеск реки.

— Недобрый это был поворот и недоброе это место, — сказал отец Браун, глядя из окна на серовато-зеленые травы и серебристый ток воды. — Впрочем, кто знает? Порой добрый человек в недобром месте может сделать немало добра.

Отец Браун, хоть и был обычно молчалив, обладал странным даром притяжения, и в эти несколько часов, что тянулись целую вечность, он невольно проник в тайны Камышового дворца гораздо глубже, чем его друг-профессионал с его профессиональным чутьем. Он умел дружелюбно молчать, чем невольно вызывал людей на беседу, и, почти не раскрывая рта, узнавал все, что его новые знакомые хотели бы поведать. Правда, дворецкий совсем не склонен был к разговорам. В нем чувствовалась безрадостная и почти собачья преданность графу, с которым, если верить его словам, поступили очень дурно. Основным обидчиком был, судя по всему, брат его сиятельства; произнося его имя, дворецкий презрительно морщил свой выгнутый, словно клюв попугая, нос и кривил насмешкой бледные губы. Капитан Стефан, по словам дворецкого, был бездельником и шалопаем, — он промотал большую часть состояния своего великодушного брата; это из-за него графу пришлось оставить свет и скромно доживать свой век в глуши. Больше дворецкий ничего не захотел им сообщить; несомненно, он был очень предан графу.

Итальянка-домоправительница была несколько более склонна к признаниям, — очевидно, потому, что была, как показалось Брауну, несколько менее довольна своим положением. Когда она говорила о своем господине, в голосе ее звучала легкая язвительность, впрочем, приглушаемая чем-то вроде ужаса. Фламбо и отец Браун стояли в зеркальной зале, разглядывая эскиз, на котором были изображены два мальчика, как вдруг быстрыми

¹ Штат слуг (*фр.*).

шагами в нее вошла домоправительница, словно торопясь по какому-то делу. В этой сверкающей стеклянными поверхностями зале каждый входящий отражался одновременно в четырех или пяти зеркалах, — и отец Браун, не повернув головы, умолк на середине начатой фразы. Однако Фламбо, нагнувшийся к эскизу, в эту минуту громко произнес:

— Это, верно, братья Сарадин. У обоих такой невинный вид. Трудно сказать, кто из них хороший, а кто — дурной.

Тут он осознал, что они в зале не одни и поспешно перевел разговор; после нескольких ничего не значащих фраз он вышел в сад. Отец Браун остался в зале. Он стоял, не отводя глаз от эскиза, а миссис Антони тоже осталась и стояла, не отводя глаз от отца Брауна.

Ее огромные карие глаза приобрели трагическое выражение, а оливковые щеки покрыл густой румянец; казалось, ее охватило какое-то горестное недоумение, как бывает, когда, встретившись с незнакомцем, задумаешься над тем, кто он и что ему надо. То ли облачение и сан отца Брауна пробудили в ней далекие воспоминания об исповеди в родных краях, то ли ей показалось, что он знает больше, чем то было на самом деле, только она вдруг шепнула ему тихо, словно сообщнику:

— В одном ваш друг совершенно прав. Он говорит, что трудно решить, кто из них хороший, а кто дурной. Да, трудно, необычайно трудно было бы решить, кто же из них хороший.

— Я вас не понимаю, — промолвил отец Браун и повернул к дверям.

Она шагнула к нему, грозно хмуря брови и как-то странно, дико пригнувшись, словно бык, опустивший рога.

— Оба дурны, — прошипела она. — Нехорошо, что капитан взял все эти деньги, но то, что граф отдал их, не лучше. Не у одного только капитана совесть нечиста.

Лицо священника на мгновение озарилось, и губы его беззвучно прошептали одно слово — «шантаж».

В ту же минуту домоправительница быстро оглянулась, побелела, как полотно, и чуть не упала. Двери в залу неслышно распахнулись, и на пороге, словно привидение, вырос Поль. Рокковые стены отразили пять бледных Полей, появившихся в пяти дверях замка.

— Его сиятельство прибыли, — молвил он.

В то же мгновение мимо залитого светом окна, словно по ярко освещенной сцене, прошел мужчина. Через секунду он прошел мимо второго окна, и множество зеркал воспроизвели в сменяющихся рамах его орлиный профиль и быстрый шаг. Он был строен и скор в движениях, но волосы у него были седые, а цвет лица напоминал пожелтевшую слоновую кость. У него был короткий римский нос с горбинкой, худое длинное лицо, щеки и подбородок прикрывали усы с эспаньолкой. Усы были гораздо темнее, чем борода, что придавало ему слегка театральный вид;

одет он был также весьма живописно: белый цилиндр, орхидея в петлице, желтый жилет и желтые перчатки, которыми он размахивал на ходу. Собравшиеся в зале слышали, как он подошел к входу, и Поль церемонно распахнул перед ним дверь.

— Что ж,— промолвил граф весело, — как видишь, я вернулся.

Поль церемонно поклонился и что-то тихо ответил. Последовавшего разговора не было слышно. Затем дворецкий сказал:

— Все готово к вашему приему.

Граф Сарадин вошел в залу, весело помахивая желтыми перчатками. И снова им предстало призрачное зрелище — пять графов ступили в комнату сквозь пять дверей.

Граф уронил белый цилиндр и желтые перчатки на стол и протянул руку своему гостю.

— Счастлив видеть вас у себя, мистер Фламбо, — произнес он весело. — Надеюсь, вы позволите мне сказать, что я хорошо знаю вас по слухам.

— С удовольствием позволяю, — ответил со смехом Фламбо. — Ничего не имею против. О людях с безукоризненной репутацией редко услышишь что-нибудь интересное.

Граф бросил на Фламбо пронзительный взгляд, однако, поняв, что в его ответе не было никакого намека, рассмеялся, предложил всем сесть и уселся сам.

— Здесь очень мило, — сказал граф рассеянно. — Боюсь только, делать тут особенно нечего. Впрочем, рыбная ловля хороша.

Какое-то странное, непонятное чувство мучило отца Брауна, не отрывавшего от графа напряженного, как у младенца, взгляда. Он смотрел на седые, тщательно завитые волосы, на желто-белые щеки, на стройную, фатоватую фигуру. Во всем его облике не было явной нарочитости, — разве что известная подчеркнутость, словно в фигуре актера, залитой светом рампы. Безотчетный интерес вызывало что-то другое, возможно, само строение лица; Брауна мучило смутное воспоминание, словно он уже где-то видел этого человека раньше, словно то был старый знакомый, надевший маскарадный костюм. Тут он вспомнил про зеркала, и решил, что странное это чувство вызвано психологическим эффектом бесчисленного умножения человеческих масок.

Граф Сарадин занялся своими гостями с величайшим вниманием и тактом. Узнав, что Фламбо любит рыбную ловлю и мечтает поскорее заняться ею, он проводил его на реку и показал наилучшее место. Оставив там Фламбо вместе с его яликом, он вернулся в собственном челноке; через двадцать минут он уже сидел с отцом Брауном в библиотеке, с той же учтивостью погружаясь в философские интересы священника. Казалось, он был одинаково сведущ и в рыбной ловле, и в книгах, правда, не самого поучительного свойства, и говорил языках на шести, правда, преимущественно в жаргонном варианте. Судя по всему, он жила в самых различных городах и общался с самой раз-

ношерстной публикой, ибо в самых веселых его историях фигурировали игорные притоны и курильщики опиума, беглые австралийские каторжники и итальянские бандиты. Отец Браун знал, что граф Сарадин, бывший когда-то светским львом, провел последние годы в почти беспрестанных путешествиях, но он и не подозревал, что путешествия эти были столь забавны и столь мало почтенны.

Такой чуткий наблюдатель, каким был отец Браун, ясно ощущал, что при всем достоинстве светского человека графу Сарадину был присущ особый дух беспокойства и даже безответственности. Лицо его было благообразным, однако во взгляде таилось что-то необузданное; он то и дело барабанил пальцами или нервно вертел что-нибудь в руках, словно человек, здоровье которого подорвали наркотики или спиртное; к тому же кормила домашней власти были не в его руках, чего, впрочем, он и не скрывал. Всем в доме заправляли домоправительница и дворецкий, особенно последний, на котором, несомненно, и держался весь дом. Мистер Поль был, безусловно, не дворецким, а, скорее, управляющим или даже камергером; обедал он отдельно, но почти с той же торжественностью, что и его господин; слуги перед ним трепетали; и хоть он для приличия и советовался с графом, но делал это строго и церемонно, словно был поверенным в делах, а отнюдь не слугой. Рядом с ним мрачная домоправительница казалась просто тенью; она совсем ступешалась и была всецело им поглощена, так что Брауну не пришлось больше услышать ее страстного шепота, приоткрывшего ему тайну о том, как младший брат шантажировал старшего. Он не знал, верить ли этой истории об отсутствующем капитане, но в графе Сарадине было нечто ускользающее, потаенное, так что история эта не казалась вовсе невероятной.

Когда они вернулись наконец в длинную залу с окнами и зеркалами, желтый вечер уже лег на прибрежные ивы; вдалеке ухала выпь, словно лесной дух бил в крошечный барабан. И снова, словно серая туча, в уме священника всплыла мысль о печальном и злом колдовстве.

— Хоть бы Фламбо вернулся, — пробормотал он.

— Вы верите в судьбу? — внезапно спросил его граф Сарадин.

— Нет, — отвечал его гость. — Я верю в Суд Господень.

Граф отвернулся от окна и как-то странно, в упор взглянул на священника; лицо его на фоне пламенеющего заката покрывала густая тень.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он.

— Только то, что мы стоим по сю сторону завесы, — отвечал отец Браун. — Все, что здесь происходит, казалось бы, не имеет никакого смысла; но оно имеет смысл где-то в другом месте. Там настоящего преступника ждет возмездие. Здесь же оно нередко падает не на того, на кого следует.

Граф издал какой-то странный звук, словно раненое животное, глаза его на затененном лице как-то странно засветились. Новая и острая догадка внезапно, словно бесшумный взрыв, озарила священника. Возможно, блеск и рассеянность, так странно смешавшиеся в манере Сарадина, имели другое объяснение? Неужто граф?... В полном ли он рассудке? Граф все повторял:

— Не того, кого следует... Не того, кого следует...

И это странно противоречило обычной светскости его манер.

Тут отец Браун с опозданием заметил и другое. В зеркалах напротив он увидел, что дверь в залу беззвучно распахнулась, а в ней беззвучно встал мистер Поль, с застывшим, мертвенно-бледным лицом.

— Я подумал, что мне следует немедленно сообщить вам, — сказал он все с тем же церемонным почтением, словно старый семейный адвокат, — что к причалу подошла лодка с шестью гребцами. На корме сидит джентльмен.

— Лодка? — повторил граф. — Джентльмен?

И он поднялся.

Во внезапно наступившей тишине слышался лишь зловещий крик птицы в камышах, и тут же — не успел никто и слова сказать — мимо трех солнечных окон мелькнула новая фигура и новый профиль, подобно тому, как часа два назад мимо них промелькнул сам граф. Но если не считать того совпадения, что у обоих носы были орлиные, во внешности их не было никакого сходства. Вместо нового белого цилиндра Сарадина на голове у незнакомца была черная шляпа устаревшего или, возможно, чужеземного фасона; юным и строгим лицом, гладковыбритыми щеками, чуть синеющим решительным подбородком он отдаленно напоминал молодого Наполеона. Впечатление это усиливалось некой старообразностью и странностью общего облика, словно незнакомец никогда не задумывался о том, чтобы изменить одежду предков. На нем был старый синий фрак, красный жилет, чем-то напоминавший военный, а жесткие белые панталоны, какие носили в начале царствования королевы Виктории, выглядели сейчас весьма неуместно. По сравнению с этим нелепым одеянием, словно взятым напрокат из лавки старьевщика, лицо его казалось удивительно юным и чудовищно искренним.

— Дьявольщина! — вскричал граф.

Быстро надев свой белый цилиндр, он направился к двери и широко распахнул ее в залитый заходящим солнцем сад.

Незнакомец и его спутники выстроились на лужайке, словно небольшая армия на театральной сцене. Шестеро гребцов вытянули лодку на берег и выстроились вокруг, чуть не угрожающе подняв, словно копья, весла. Это были смуглые люди: у некоторых в ушах сверкали серьги. Один из них, держа в руках большой черный футляр необычной формы, вышел вперед и стал возле юноши с оливковым лицом.

— Ваше имя Сарадин? — спросил юноша.

Сарадин небрежно кивнул.

Глаза незнакомца, спокойные и карие, как у породистого пса, были совсем не похожи на бегающие блестящие глаза графа. Но отца Брауна снова охватило болезненное ощущение, будто он уже где-то видел такое же точно лицо; и снова он вспомнил о бесконечном повторе лиц в зеркальной зале и объяснил им это странное совпадение.

— Да пропади он пропадом, этот хрустальный дворец! — пробормотал он. — Все в нем повторяется, словно во сне!

— Если вы граф Сарадин, — сказал юноша, — я могу сообщить вам, что мое имя — Антонелли.

— Антонелли, — проговорил граф медленно. — Это имя мне почему-то знакомо.

— Разрешите представиться, — сказал молодой итальянец.

Левой рукой он учтиво снял шляпу, а правой так сильно ударил Сарадина по лицу, что белый цилиндр скатился вниз по ступеням и одна из синих ваз закачалась на своей подставке.

Кем-кем, но трусом граф не был: он схватил своего противника за горло и чуть не повалил его на траву. Но юноша высвободился с видом торопливой учтивости, казавшейся в данном случае на удивление неуместной.

— Все правильно, — сказал он, тяжело дыша и неуверенно выговаривая английские слова. — Я нанес оскорбление. Я дам вам сатисфакцию. Марко, открой футляр.

Стоявший рядом с ним итальянец с серьгами в ушах и большим черным футляром открыл его и вынул оттуда две длинные итальянские рапиры, с превосходными стальными рукоятками и сверкающими лезвиями, которые он вонзил остриями в землю. Незнакомец со смуглым лицом мстителя, стоящий против дверей, две шпаги, стоящие, словно два могильных креста, вертикально в дерне, и ряд гребцов позади придавали всей этой странной сцене вид какого-то варварского судилища. Но так стремительно было это вторжение, что кругом все оставалось как было. Золотой закат все сиял на лужайке, а выпь кричала, будто пророча хоть и невеликую, но непоправимую утрату.

— Граф Сарадин, — сказал юноша, назвавшийся Антонелли, — когда я был младенцем, вы убили моего отца и похитили мать; из них обоих отцу моему более повезло. Вы убили его не в честном поединке, как собираюсь убить вас я. Вместе с моей матерью-злодейкой вы завезли его на прогулке в пустынное место в горах Сицилии и сбросили там со скалы, а затем отправились дальше своим путем. Я мог бы последовать вашему примеру, если бы это не было столь низко. Я искал вас по всему свету, но вы все время ускользали от меня. Наконец я настиг вас здесь — на краю света, на краю вашей гибели. Теперь вы в моих руках, и я даю вам возможность, в которой вы отказали моему отцу. Выберите, какой из этих шпаг вы будете драться.

Граф Сарадин сдвинул брови и, казалось, мгновение колебался; однако в ушах у него все еще звенело от пощечины; он бросился вперед и схватил рукоять одной из шпаг. Отец Браун также бросился вперед и попытался предотвратить схватку; он скоро, однако, понял, что его присутствие лишь ухудшает положение. Сарадин принадлежал к французским масонам и был ярым атеистом; вмешательство священника лишь подогревало его пыл. Что же до молодого человека — его никто не смог бы остановить. Этот юноша с карими глазами и лицом Буонапарте был тверже любого пуританина — он был язычником. Он был готов убить просто, как убивали на заре веков; он был человеком каменного века — нет, каменным человеком.

Оставалось одно — созвать всех домочадцев; отец Браун бросился в дом. Тут он, однако, узнал, что мистер Поль своей властью отпустил всех слуг на берег; одна лишь мрачная миссис Антони бродила, как призрак, по длинным комнатам. Однако в тот миг, когда она обратила к нему свое мертвенно-бледное лицо, отец Браун разгадал одну из загадок зеркального дворца. Большие карие глаза Антонелли были так похожи на большие карие глаза миссис Антони, что половина тайны открылась ему, словно в озарении.

— Ваш сын здесь, — сказал он без долгих слов. — Либо он, либо граф будут убиты. Где мистер Поль?

— Он у причала, — ответила она тихо. — Он... он... зовет на помощь.

— Миссис Антони, — сказал отец Браун твердо, — сейчас не время для пустяков. Мой друг ушел на ялике вниз по течению. Лодку вашего сына охраняют его гребцы. Остается один челнок. Зачем он мистеру Полю?

— Святая Мария! Откуда мне знать? — проговорила она и упала на покрытый циновками пол.

Отец Браун уложил ее на диван, плеснул ей в лицо воды, крикнул слуг и бросился к пристани. Но челнок был уже на середине реки, и старый Поль гнал его вверх по течению с силой, казавшейся невероятной для его лет.

— Я спасу своего господина, — кричал он, сверкая глазами, словно помешанный. — Я еще спасу его!

Отцу Брауну ничего не оставалось, как только поглядеть вслед челноку, рывками идущему вверх по течению, и понадеяться, что Поль успеет разбудить городок и вовремя вернуться.

— Дуэль — это, конечно, плохо, — пробормотал он, откидывая со лба свои жесткие волосы цвета пыли. — Но что-то в этой дуэли не так. Я сердцем чувствую. Что бы это могло быть?

Так он стоял у реки, глядя на воду, это дрожащее зеркало заката, и тут с другого конца сада до него долетели негромкие звуки — ошибиться было невозможно, то было холодное бряцание стали. Он повернул голову.

На дальнем вытянутом конце длинного островка, на полоске травы за последним рядом роз, дуэлянты скрестили шпаги. Над ними пламенел чистый золотой купол вечернего неба, и несмотря

на расстояние отец Браун отчетливо видел все детали. Дуэлянты сбросили фраки, но желтый жилет и белые волосы Сарадина и красный жилет и белые панталоны Антонелли блестели в ровном свете заката, словно яркие одежды заводных танцующих кукол. Две шпаги сверкали от рукояти до самого острия, словно две бриллиантовые булавки. В двух этих фигурках, казавшихся такими маленькими и такими веселыми, было что-то страшное. Они похожи были на двух бабочек, пытающихся насадить друг друга на булавку.

Отец Браун побежал к месту дуэли с такой быстротой, что ноги его замелькали, будто спицы в колесе. Однако, добежав до лужайки, он увидел, что явился слишком поздно — и в то же время слишком рано: поздно, ибо дуэли, осененной тенью опирающихся на весла сицилийцев, было не остановить; рано, ибо до трагической развязки было еще далеко. Оба дуэлянта были прекрасными фехтовальщиками; граф дрался с циничной самоуверенностью, сицилиец — с убийственным расчетом. Едва ли когда-либо набитый битком амфитеатр видел на сцене поединок, подобный тому, который звенел и сверкал здесь, на затеряншемся островке среди поросшей камышами реки. Блистательная схватка продолжалась так долго, что в груди взволнованного священника начала оживать надежда: с минуты на минуту должен был, по обычным расчетам, появиться мистер Поль с полицией. Отец Браун обрадовался бы и Фламбо; ибо Фламбо один мог с легкостью справиться с четырьмя мужчинами. Но Фламбо не появлялся, и — что было уже совсем странно, — не появлялся и Поль с полицией. На островке не было больше ни лодчки, ни даже доски; они были так же прочно отрезаны от всего мира на этом погибельном клочке земли, затерянном в безвестной заводи, как на коралловом рифе в Тихом океане.

Внезапно звон рапир ускорился, послышался глухой удар, и граф вскинул руки — острие шпаги итальянца показалось у него меж лопаток. Граф качнулся всем телом вправо, словно хотел, как мальчишка, пройтись колесом, но, не закончив фигуры, повалился на траву. Шпага вылетела у него из руки и полетела, словно падающая звезда, в поникшую воду, а сам он с такой силой ударился о землю, что сломал своим телом большой розовый куст, подняв в воздух облако красной пыли, словно дым от курений на языческом алтаре. Сицилиец принес кровавую жертву духу своего отца.

Священник упал на колени у бездыханного тела, однако сомнений не было: граф и вправду был мертв. В то время как Браун пытался, без всякой на то надежды, применить какие-то последние, отчаянные средства, с реки наконец-то послышались голоса, и он увидел, как к причалу подлетел полицейский катер с констеблями и прочими немаловажными лицами, среди которых был и взволнованный Поль. Маленький священник поднялся с гримасой недоумения, которую он и не пытался скрыть.

— Почему,— пробормотал он, — почему он не появился раньше?

Через каких-нибудь семь минут островок заполнили горожане и полицейские; последние взяли под стражу победоносного дуэлянта, с ритуальной торжественностью напоминая ему, что все, что он скажет, может быть использовано против него.

— Я ничего не скажу, — ответил этот одержимый с сияющим, просветленным лицом. — Я больше ничего никогда не скажу. Я очень счастлив, и я хочу только, чтобы меня повесили.

Он замолчал, и его увели, и, как ни странно, он и вправду в этой жизни ничего больше не сказал, за исключением одного слова на суде, и слово это было: «Виновен».

Отец Браун недвижно взирал на то, как внезапно сад наполнился людьми, как арестовали мстителя, как унесли покойного, когда врач удостоверил смерть, — словно в страшном сне, он не мог пошевелить и пальцем. Он сообщил свое имя и адрес полицейским, но отклонил предложение вернуться вместе с ними в город, — и остался один в саду, глядя на сломанный розовый куст и на зеленую площадку, на которой столь быстро разыгралась эта таинственная трагедия. На реке померкли отблески вечерней зари; с лугов поднялся туман; несколько запоздалых птиц поспешно пролетели на тот берег.

В подсознании Брауна (необычайно активном подсознании) крылась уверенность в том, что во всей этой истории что-то осталось невыясненное. Чувство это, которое он не мог выразить словами, но которое преследовало его весь день, невозможно было объяснить одной лишь фантазией о «зеркальном царстве». То, что он видел, не было реальностью, это был спектакль, игра. Но разве люди идут на виселицу или дают проткнуть себя шпагой ради шарады?

Он размышлял о случившемся, сидя на ступеньках причала, как вдруг увидел длинную тень паруса, бесшумно скользившего по сверкающей реке, и вскочил на ноги с таким внезапно затопившим его чувством, что слезы чуть не брызнули у него из глаз.

— Фламбо! — вскричал он, как только Фламбо сошел со своими удочками на берег, и бросился жать ему руки, чем привел того в величайшее удивление. — Фламбо, так, значит, вас не убили?

— Убили? — отвечал тот с нескрываемым удивлением. — А почему меня должны были убить?

— Ах, потому хотя бы, что убили почти всех остальных, — отвечал Браун словно в бреду. — Сарадина закололи, Антонелли хочет, чтобы его повесили, его мать без сознания, а что до меня, так я просто не пойму, где я — на том свете или на этом. Но, слава Богу, где бы я ни был, вы со мной!

И он взял озадаченного Фламбо под руку.

От причала они свернули к дому и, проходя под низко нависшим карнизом крыши, заглянули, как и в первый раз, в одно из окон. Глазам их открылась залитая светом ламп сцена, словно

рассчитанная на то, чтобы привлечь их внимание. Стол в длинной зале был накрыт к обеду, когда убийца Сарадина явился словно гром среди ясного неба на остров. Сейчас здесь спокойно обедали: в конце стола расположилась чем-то недовольная миссис Антони, а напротив, во главе стола восседал мистер Поль, графский *majordomo*¹, — он смаковал изысканные кушанья и вина, его потускневшие голубые глаза как-то странно светились, а длинное лицо было непроницаемым, но не лишено удовлетворения.

Фламбо забарабанил по стеклу, рванул на себя раму и с возмущением заглянул в ярко освещенную залу.

— Это уж слишком! — воскликнул он. — Вполне допускаю, что вам захотелось подкрепиться, но, знаете ли, украсть обед своего господина в то время, как он лежит бездыханный в саду...

— В своей долгой и не лишенной приятности жизни я совершил много краж, — невозмутимо отвечал мистер Поль. — Этот обед — одно из немногих исключений. Он не украден. Так же, как и этот сад, и дом, он по праву принадлежит мне.

В глазах Фламбо мелькнула догадка.

— Вы, верно, хотите сказать, — начал он, — что в завещании графа Сарадина...

— Граф Сарадин — это я, — сказал старик, дожевывая соленую миндальину.

Отец Браун, который в эту минуту разглядывал птиц в саду, подпрыгнул, словно подстреленный, и сунул в окно свое бледное лицо, похожее на репу.

— Кто? — спросил он пронзительно.

— Граф Поль Сарадин, *à votre service*², — отвечал тот учтиво, подымая бокал с вином. — Я живу здесь чрезвычайно уединенно, так как по природе я домосед; называюсь из скромности мистер Поль, в отличие от своего злосчастного брата Стефана. Говорят, он только что умер в саду. Разумеется, это не моя вина, если враги гонятся за ним до самого дома. А все из-за прискорбной рассеянности его жизни. Он никогда не был домоседом.

Он погрузился в молчание, уставившись в противоположную стену прямо над мрачно склоненной головой миссис Антони. Тут им впервые открылось семейное сходство, так поразившее их в умершем. Внезапно плечи старого Сарадина дрогнули и заколыхались, словно он чем-то подавился, хотя лицо и оставалось по-прежнему бесстрастным.

— Боже! — воскликнул Фламбо, помолчав. — Да ведь он смеется!

— Пойдемте, — сказал побледневший, как полотно, отец Браун. — Пойдемте из этого приюта греха. Вернемся в наш честный ялик.

¹ Управляющий (*ит.*).

² В вашем распоряжении (*фр.*).

Мгла окутала камни и реку, когда ялик отошел от острова; в темноте они плыли вниз по течению, согреваясь двумя огромными сигарами, пламеневшими, словно два багровых фонаря на корме. Отец Браун вынул сигару изо рта и произнес:

— Верно, вы уже разгадали всю эту историю? Ведь она достаточно проста. У человека было два врага. Он был человеком умным. И потому он сообразил, что два врага лучше, чем один.

— Я не совсем понимаю, — ответил Фламбо.

— О, это очень просто, — сказал его друг. — Просто, хоть и совсем не невинно. И тот, и другой — мерзавцы, но граф, старший из братьев, принадлежит к тем мерзавцам, что одерживают победу, а младший — к тем, что идут на дно. Этот бесчестный офицер сначала выпрашивал подачки у своего брата, а потом стал шантажировать его, и в один далеко не прекрасный день граф попался ему в руки. Дело, конечно, было не пустячное, ибо Поль Сарадин не скрывал своих походов, — репутации его не могло повредить ни одно из обычных светских прегрешений. Иными словами, за это дело он мог попасть и на виселицу, и Стефан буквально накинул веревку на шею брата. Каким-то образом ему удалось узнать правду о той сицилийской истории, — он, видно, мог доказать, что Поль убил старшего Антонелли, заманив его в горы. Десять лет капитан сорил деньгами, получаемыми за молчание, пока даже огромное состояние графа не стало стремительно таять.

Но помимо графа-кровопийцы, у графа Сарадина было и другое бремя. Он знал, что сына Антонелли, который был ребенком во время убийства, взрастили в свирепых сицилийских традициях и что он жил одной мыслью: отомстить убийце своего отца — не виселицей (у него, в отличие от Стефана, не было доказательств), но испытанным оружием вендетты. Мальчик занимался фехтованием, пока не овладел этим смертельным искусством в совершенстве; когда он достаточно вырос, чтобы применить шпагу на деле, графом Сарадином, как писали светские газеты, овладела страсть к путешествиям. На деле он просто спасал свою жизнь: словно преступник, за которым гонится полиция, он поменял десятки мест; но неутомимый юноша всюду следовал за ним. Таково было положение, в котором находился граф Сарадин, положение, далеко не веселое. Чем больше денег тратил он на то, чтобы скрыться от Антонелли, тем меньше оставалось на то, чтобы платить за молчание Стефану. Чем больше отдавал он Стефану, тем меньше шансов оставалось у него избежать неминуемой встречи с Антонелли. Тут он показал себя великим человеком, — гением, подобным Наполеону.

Вместо того чтобы продолжать борьбу с двумя врагами, он внезапно сдался обоим. Он отступил, словно в японской борьбе, и неприятели пали перед ним. Он объявил о своем намерении прекратить бегство, объявил свой адрес юному Антонелли, — а

затем объявил, что отдает все, чем владеет, брату. Он отправил Стефану сумму, достаточную для проезда и для того, чтобы обзавестись порядочным гардеробом, и письмо, в котором говорилось примерно следующее: «Вот все, что у меня осталось. Ты начисто меня обобрал. Но в Норфолке у меня есть небольшой дом со слугами и винным погребом; если ты на что-нибудь еще претендуешь, возьми этот дом. Если хочешь, приезжай и вступи во владение, а я буду скромно жить при тебе как друг, как управляющий или еще как-то». Он знал, что сицилиец никогда не видел ни одного из них, разве что на фотографиях; знал он также и то, что они с братом похожи, у обоих были седые эспаньолки. Затем он начисто обрил подбородок и принялся ждать. Капкан сработал. Злосчастный капитан в новом, с иголки, наряде торжественно вступил в дом в качестве графа Сарадина — и накололся на шпагу сицилийца.

Во всем этом плане было только одно непродуманное обстоятельство, и оно делает честь человеческой природе. Злые духи, подобно Сарадину, часто ошибаются, ибо они всегда забывают о людских добродетелях. Он и не думал сомневаться в том, что месть итальянца, подобно свершенному им преступлению, будет безжалостной, безымянной и тайной, что жертва падет бессловесно — либо от ночного удара ножом, либо от выстрела из-за угла. Когда же рыцарственный Антонелли предложил дуэль с соблюдением всех правил, что могло повлечь за собой разоблачение, графу Полю стало страшно. Тогда-то я и увидел, как он с расширенными от ужаса глазами отчаливает в своем челноке от берега. Он просто бежал, как был, простоволосый, в жалкой лодчонке, в страхе, что Антонелли узнает, кто он.

Но несмотря на свое волнение он не до конца потерял надежду. На своем веку он знал достаточно авантюристов и достаточно фанатиков. Вполне возможно, думал он, что авантюрист Стефан будет держать язык за зубами — из чисто актерского азарта, из желания сохранить свой новый уютный дом, из веры подлеца в удачу и в свое фехтовальное искусство. Ну, а фанатик Антонелли, конечно, будет держать язык за зубами и так и пойдет на виселицу, не сказав ни слова о семейной тайне. Поль медлил в лодке на реке до тех пор, пока не понял, что дуэль окончена. Тогда он поднял на ноги весь город, вернулся с полицейскими, увидел, как два его поверженных врага навеки исчезли из его жизни и уселся обедать с улыбкой на устах.

— С улыбкой? Да он смеялся! — воскликнул Фламбо, содрогаясь. — Кто ему подал такую идею? Сам дьявол, должно быть!

— Эту идею подали ему вы, — отвечал священник.

— Боже сохрани! — вскричал Фламбо. — Я? Что вы хотите этим сказать?

Священник вынул из кармана визитную карточку и поднес ее к мерцающему огню сигары — она была написана зелеными чернилами.

— Разве вы забыли его необычное приглашение? — спросил он. — И похвалы вашему преступному подвигу? «Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого», — пишет он. Да он просто повторил ваш прием. Когда враги стали наступать на него с двух сторон, он быстро сделал шаг назад, а они столкнулись и уничтожили друг друга.

Фламбо вырвал визитную карточку Сарадина из рук священника и с яростью изорвал ее в мелкие клочки.

— Покончим с этим старым бандитом, — воскликнул он, швыряя клочки бумаги в темные волны реки, которые были еле видны в темноте. — Однако как бы рыбы от этого не сталидохнуть.

Последний клочок белой бумаги, исписанной зелеными чернилами, мелькнул и исчез; слабый, дрожащий свет окрасил, словно напоминая о рассвете, небо, и луна за высокими травами побледнела. Они плыли в молчании.

— Отец, — внезапно спросил Фламбо, — как по-вашему, это был сон?

Священник покачал головой, то ли в знак отрицания, то ли сомнения, но промолчал. Из темноты к ним долетело благоухание боярышника и фруктовых садов, поднимался ветер; он качнул суденышко, наполнил парус и понес их вперед по изгибам реки к местам посчастливее, где живут безобидные люди.

МОЛОТ ГОСПОДЕНЬ

Деревенька Боэн Бикон пристроилась на крутом откосе, и высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. У самой церкви стояла кузница, обычно пышущая огнем, вокруг нее свалка всевозможных молотков и обрезков железа, а напротив — один на всю деревню кабак «Синий боров». На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата: один восстал ото сна, а другой еще не ложился. Преподобный и досточтимый Уилфрид Боэн был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Боэну, было не до набожности: он сидел в смокинге на лавочке возле «Синего борова» и выпивал не то напоследок, не то для начала — это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался.

Боэны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство — удел бедняков. Знати благородные заветы нипочем, их дело — мода. Боэны были элегантными бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они, по примеру других знатных родов, за последние два столетия стали пороселью пропойц и щеголеватых ублюдков, а был такой шепоток, что и вовсе посвихивались. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а скорее по-волчьи: он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого пожилого животного были светло-желтые волосы, не тронутые сединой. Его бы назвать белокурим, с львиной осанкой; только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными шелками. К тому же они были чересчур близко посажены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку: ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое халатообразное пальто, а странную

широкую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более что они всегда ему шли.

Брат его, как и он, желтоволосый и хранивший аристократическую осанку, был в своем черном облачении, застегнут наглухо и свежесбрит; в его тонком лице сквозила нервозность. Он словно бы только и жил что своей религией; но говорили о нем (особенно сектант-кузнец), что не Бог ему нужен, а старинная архитектура, потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему — все равно что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем, одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве, странно было вечно видеть его на коленях — и не то что пред алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда исподлобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, — это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу, и хотя кузнец-пресвитерианин со своей сектантской религией был не из его паствы, все же Уилфрид Бозн слышал про его красавицу жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел, нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся.

— Доброе утро, Уилфрид, — сказал он. — Народ мой спит, а я, видишь, на ногах, как и подобает помещику. Вот кузнеца хочю навестить.

Уилфрид опустил взгляд и сказал:

— Кузнеца нет. Он ушел в Гринфорд.

— Знаю, — беззвучно хохотнул полковник. — Визит ко времени.

— Норман, — сказал священник, упершись взглядом в дорожный гравий, — а ты грома небесного не боишься?

— Грома? — переспросил тот. — Ты что, у нас теперь погоду предсказываешь?

— Да нет, — сказал Уилфрид, не поднимая глаз, — не погоду, а как бы тебя громом не поразило.

— Ах, прошу прощения, — сказал полковник. — Я и забыл, ты ведь у нас сказочник.

— А ты у нас, конечно, богохульник, — отрезал задетый за живое священнослужитель. — Что ж, Бога не боишься, так хоть человека остерегись.

Старший брат вежливо поднял брови.

— Какого то есть человека? — спросил он.

— На сорок миль в округе, — жестко сказал священник, — некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, ты не из трусливых и за себя постоять можешь, только смотри, плохо тебе придется.

Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче. Его вечная ухмылка стала угрюмой. Но

он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие песьи клыки.

— Ты прав, любезный Уилфрид,— беспечно сказал он, — так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кое-какой ратный доспех.

Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглая тулья оказалась легким стальным шлемом в зеленой обшивке, китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной.

— Какая подвернулась,— небрежно пояснил брат. — У меня со шляпами так же, как и с женщинами.

— Сейчас кузнец в Гринфорде,— тихо сказал Уилфрид, — но вернуться может в любую минуту.

Он побрел в церковь, склонив голову и крестясь, словно отгоняя нечистого духа. Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами; но в то утро все шло не по-обычному, всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда была пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскопчил с колен и зашпешил из полутьмы на залитую светом паперть. Священник едва поверил глазам: этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца, и ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо-дурачок; это был дюжий малый, сутулый и чернявый, лицо телянье, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли быть за молитвы? Даже представить себе трудно.

Уилфрид Бээн стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце, потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медяки в разинутый рот Джо и, кажется, в самом деле примерялся попасть.

От этой яркой уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, несущим лилии; этот витраж всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по-рыбьи ртом. Здесь он постепенно отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, снедаемый скотской похотью.

Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гиббс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен: он знал, что Гиббс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в Бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но появление сапожника сбило бы с толку любого богослова.

— В чем дело? — довольно строго спросил Уилфрид Бээн и встревоженно потянулся за шляпой.

Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией.

— Уж не взыщите, сэр, — сказал он хрипловатым полусшепотом, — но мы решили вас потревожить. Тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат...

Уилфрид с хрустом стиснул руки.

— Ну, что он еще натворил? — почти выкрикнул он.

— Да как бы вам сказать, сэр, — кашлянув, сказал сапожник. — Он, в общем-то, ничего такого не сделал... и уж не сделает. Вообще-то, он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр.

Уилфрид спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было видно как на ладони. Человек пять-шесть стояли во дворе кузницы, почти все в черном, и среди них полицейский инспектор. Был там доктор, был пресвитер и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, статная, золотисто-рыжая женщина, заходила от плача на лавочке, а патер ей что-то вполголоса быстро втолковывал. Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах; но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой.

Уилфрид Боэн, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфрид не ответил на его поклон. Он еле выговорил:

— Брата убили. Что здесь было? Как ужасно, как непонятно...

Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямотой:

— Ужасно — это да, сэр, только чего тут непонятного, все понятно.

— Что понятно? — спросил Уилфрид, и лицо его побелело.

— Куда уж яснее, — отвечал Гиббс. — На сорок миль в округе только одному под силу эдак пристукнуть человека. А почему пристукнул — опять же ясно.

— Не будем судить раньше времени, — нервно перебил его высокий, чернобородый доктор. — Впрочем, что касается удара, то мистер Гиббс прав — удар поразительный. Мистер Гиббс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу.

Тщедушный священник вздрогнул от суеверного ужаса.

— Не совсем понимаю, — сказал он.

— Мистер Боэн, — вполголоса сказал доктор, — извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа. И осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар ископина.

Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил:

— Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека — все равно что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну.

— А я что говорю? — поддакнул сапожник. — Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс?

— Но он же в Гринфорде, — выдал священник.

— Если не во Франции, — буркнул сапожник.

— Нет, он и не в Гринфорде, и не во Франции, — раздался нудный голосок, и коротышка патер подошел к ним. — Собственно говоря, вон он идет сюда.

На толстенького патера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и так-то особенно глядеть было незачем, но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть прекрасней Аполлона. Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая вилась через поле по склону и по которой в самом деле вышагивал кузнец Симеон с молотом на плече. Был он широченный, ширококостый, темная борода клином, темный взгляд исподлобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками; веселым его вообще не видели, и сейчас он был не мрачнее обычного.

— Господи! — вырвалось у неверующего сапожника. — И с тем же самым молотом!

— Нет, — вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленного вида, — тот самый — вон там, у церковной стены. Лежит как лежал, мы не трогали ни труп, ни молоток.

Все обернулись к церкви, а низенький патер сделал несколько шагов и, склонившись, молча оглядел орудие убийства. Это был совсем неприметный железный молоточек, только на окровавленной насадке желтел налипший клочок волос.

Потом он заговорил, и тусклый голосок его словно бы немного оживился:

— Мистер Гиббс, пожалуй, зря думает, что здесь все понятно. Вот, например, как же это такой великан схватился за этакий молоточек?

— Было бы о чем говорить, — нетерпеливо отмахнулся Гиббс. — Чего зря стоим, вон Симеон Барнс!

— Вот и подождем, — ответил коротышка. — Он как раз сюда идет. Спутников его я знаю, они из Гринфорда, люди хорошие, пришли по своим пресвитерианским делам.

В это самое время рослый кузнец обогнул собор и оказался у себя на дворе. Тут он встал как вкопанный и обронил молот. Инспектор, сохраняя должную непроницаемость, сразу шагнул к нему.

— Не спрашиваю вас, мистер Барнс, — сказал он, — известно ли вам, что здесь произошло. Вы не обязаны отвечать. Надеюсь, что неизвестно и что вы сможете это доказать. А пока что

я должен, как положено, арестовать вас именем короля по обвинению в убийстве полковника Нормана Бозна.

— Не обязан ты им ничего отвечать! — в восторге от законности подхватил сапожник. — Это они обязаны доказывать. А как они докажут, что это полковник Бозн, когда у него вместо головы невесть что?

— Ну, это уж слишком, — заметил доктор священнику-коротышке. — Это уж для детективного рассказа. Я лечил полковника и знал его тело вдоль и поперек лучше, чем он сам. У него были очень изящные и весьма странные руки. Указательный и средний пальцы одинаковой длины. Да нет, конечно же, это полковник.

Он посмотрел на труп с разможенным черепом; тяжелый взгляд неподвижного кузнеца обратился туда же.

— Полковник Бозн умер, — спокойно сказал он. — Стало быть, он в аду.

— Ты, главное дело, молчи! Пусть они говорят! — выкрикивал сапожник, приплясывая от восхищения перед английской законностью. Никто так не ценит закон, как завзятый безбожник.

Кузнец бросил ему через плечо с высокомерием фанатика:

— Это вам, нечестивцам, надо юлить по-лисьи, ибо ваш закон в мире сем. Господь сам хранит и сберегает верных своих, да узрите нынче воочию. — И, указав на мертвеца, добавил: — Когда этот пес умер во гресех своих?

— Выбирайте выражения, — сказал доктор.

— Я их выбираю из Библии. Когда он умер?

— Сегодня в шесть утра он был еще жив, — запинаясь, выговорил Уилфрид Бозн.

— Велика благодать Господня, — сказал кузнец. — Давайте, инспектор, забирайте меня на свою же голову. Мне-то что, меня по суду наверняка оправдают, а вот вас за такую службу наверняка не похвалят.

Степанный инспектор поглядел на кузнеца слегка озадаченно, как и все прочие, кроме чудака-священника, который все разглядывал смертоносный молоток.

— Вон там стоят двое, — веско продолжал кузнец, — два честных мастеровых из Гринфорда, да вы все их знаете. Они присягнут, что я никуда не отлучался с полуночи: у нас было собрание общины, и мы радели о спасении души всю ночь напролет. В самом Гринфорде найдется еще человек двадцать свидетелей. Был бы я язычник, мистер инспектор, я бы и глазом не моргнул — пусть вам будет хуже. Но я христианин и обязан вас пожалеть, а потому сами решайте, когда хотите слушать моих свидетелей, — сейчас или на суде.

Инспектор, видимо, озадачился всерьез и сказал:

— Разумеется, лучше бы отвести подозрения с самого начала.

Кузнец пошел со двора тем же ровным, широким шагом и привел своих друзей, и вправду всем хорошо знакомых. Много

говорить им не пришлось. Через несколько слов невиновность Симеона была так же очевидна, как и громада храма.

Воцарилось то особое молчание, которое нестерпимей всяких слов. Чтобы сказать хоть что-нибудь, Уилфрид Боэн бесмысленно заметил католическому священнику:

— Вас явно очень занимает этот молоток, отец Браун.

— Да, очень,— сказал отец Браун. — Почему он такой маленький?

Доктор вдруг дернулся к нему.

— А ведь верно! — воскликнул он. — Кто возьмет такой молоток, когда кругом столько больших?

Он понизил голос и сказал на ухо Уилфриду:

— Тот, кому большой не с руки. Мужчины вовсе не тверже и не отважнее женщин. У них всего-навсего сильнее плечи. Отчаянная женщина запросто пришибет таким молотком десять человек, а тяжелым молотом ей и жука не убить.

Уилфрид Боэн в ужасе уставился на него, а отец Браун внимательно прислушивался, склонив голову набок. Врач продолжал еще тише и еще настойчивее:

— Какой идиот выдумал, что любовника ненавидит именно обманутый муж? В девяти случаях из десяти его ненавидит сама обманщица-жена. Почему знать, как он ее предал, как оскорбил? Взгляните!

Он коротким кивком указал на скамью, где сидела пышно-волосая рыжая женщина. Теперь она подняла голову, и слезы высыхали на ее миловидном лице. Она не сводила взгляда с мертвеца, и в ее глазах был какой-то неистовый блеск.

Преподобный Уилфрид Боэн провел рукой перед глазами, словно заслоняясь, а отец Браун стряхнул с рукава хлопья золы, налетевшей из кузни, и занудил на свой лад.

— Вот ведь как оно выходит,— сказал он, — что у вас, что у других врачей: пока про душу — все очень складно, а как до тела дойдет, то ни в какие ворота. Спору нет, преступница всегда хочет убить сообщника, а потерпевший — не всегда. И нет спору, что женщине больше с руки молоток, чем молот. Все так. Только она никак не могла этого сделать. Ни одной женщине на свете не удастся эдак разнести череп молотком. — Он поразмыслил и продолжал: — Кое-что покамест и вообще в расчет не принято. Мертвец-то был в железном шлеме, и шлем разлетелся как стеклышко. И это, по-вашему, сделала вон та женщина, с ее-то ручками?

Они снова погрузились в молчание. Наконец доктор проворчал:

— Может, я и ошибаюсь: возражения в конце концов на все найдутся. Одно, по-моему, бесспорно: только идиот схватит молоточек, когда рядом валяется молот.

Уилфрид Боэн судорожно вскинул тощие руки ко лбу и взъерошил свои жидкие светлые волосы. Потом отдернул ладони от лица и вскрикнул:

— Слово, вы мне как раз подсказали слово! — Он продолжал, кое-как одолевая волнение: — Вы сказали: «Только идиот схватит молоточек».

— Ну да, — сказал доктор. — А что?

— Это и был идиот, — проговорил настоятель собора. Чувствуя, что к нему прикованы все взгляды, он продолжал чуть ли не истерично: — Я священник, — захлебывался он, — а священнику не пристало проливать кровь... То есть я... мы не вправе отправлять людей на виселицу. Слава Богу, я вот теперь понял, кто преступник, и слава Богу, казнь ему не грозит.

— То есть вы поняли и промолчите? — спросил доктор.

— Я не промолчу, нет; но его не повесят, — отвечал Уилфрид с какой-то блуждающей улыбкой. — Нынче утром я вошел в храм, а там молился наш дурачок, бедный Джо, он слабоумный от рождения. Бог знает, о чем он молился: у сумасшедших, у них ведь все навыворот, и молитвы, наверно, тоже. Помолится — и пойдет убивать. Я видел, как мой брат донимал беднягу Джо, издевался над ним.

— Так-так! — заинтересовался доктор. Вот это уже разговор. Да, но как же вы объясните...

Уилфрид Боэн прямо трепетал — наконец-то для него все разъяснилось.

— Понимаете, понимаете, — волновался он, — ведь тогда долой все странности, обе загадки разрешаются! И маленький молоток, и страшный удар. Кузнец мог бы так ударить, но не этим же молотком. Жена взяла бы этот молоток, но где же ей так ударить? А если сумасшедший — то все понятно. Молоток он схватил, какой попался. А насчет силы... известно же, — правда, доктор? — что в припадке безумия силы удесятятся.

— Ах, будь я проклят! — выдохнул доктор. — Да, ваша правда.

А отец Браун смотрел на Боэна долгим, пристальным взглядом, и стало заметно, как выделяются на его невзрачном лице большие круглые серые глаза. Он сказал вслед за доктором как-то особенно почтительно:

— Мистер Боэн, из всех объяснений только ваше сводит концы с концами. Потому-то я и скажу вам напрямик: оно неверное, и я это твердо знаю.

Затем чудной человек отошел в сторонку и снова стал рассматривать молоток.

— Всезнайку из себя корчит, — сердито прошептал доктор Уилфриду. — Уж эти мне католические попы: хитрющий народ!

— Нет, нет, — твердил как заведенный Боэн. — Дурачок его убил. Дурачок его убил.

Два священника и доктор стояли в стороне от служителя закона и арестованного, и когда их разговор прервался, стал слышен зычный голос кузнеца:

— Ну, вроде мы с вами договорились, мистер инспектор. Сила у меня есть, это вы верно, только и мне не под силу

зашвырнуть сюда молот из Гринфорда. Молот у меня без крыльев, как же он полетит за полмили над полями да околицами?

Инспектор дружелюбно рассмеялся и сказал:

— Нет, ваше дело чистое, хотя сходится все, конечно, на редкость. Попрошу вас только оказывать всяческое содействие в отыскании человека вашего роста и вашей силы. Да чего там! Хоть можете его задержать. Сами-то вы ни на кого не подумали?

— Подумать подумал, — сурово сказал кузнец, — только виновника-то зря ищите. — Он заметил, что кое-кто испуганно поглядел на его жену, шагнул к скамейке и положил ручищу ей на плечо. — И виновницы не ищите.

— Кого же тогда искать? — ухмыльнулся инспектор. — Не корову же — где ей с молотком управиться?

— Не из плоти была рука с этим молотком, — глухо сказал кузнец, — по-вашему говоря, он сам умертвился.

Уилфрид подался к нему, и глаза его вспыхнули.

— Это как же, Барнс, — съязвил сапожник, — ты что же, думаешь, молот сам его пристукнул?

— Смейтесь и насмехайтесь, — выкрикнул кузнец, — смейтесь, священнослужители, даром что вы же по воскресеньям повествуете, как Господь сокрушил Сеннахирима. Он во всяком доме, и призрел мой дом, и поразил осквернителя на пороге его. Поразил с той самой силою, с какою Он сотрясает землю.

— Я сегодня грозил Норману громом небесным, — сдавленно проговорил Уилфрид.

— Ну, этот подследственный не в моем ведении, — усмехнулся инспектор.

— Зато вы в Его ведении, — отрезал кузнец, — не забывайте об этом, — и пошел в дом, обратив к собравшимся могучую спину.

Потрясенного Уилфрида заботливо взял под руку отец Браун.

— Уйдемте куда-нибудь с этого страшного места, мистер Бозн, — говорил он. — Покажите мне, пожалуйста, вашу церковь. Я слышал, она чуть ли не самая древняя в Англии. А мы, знаете, — он шутливо подмигнул, — интересуемся древнеангликанскими церквями.

Шуток Уилфрид не ценил и шутить не умел, но показать церковь согласился охотно: он рад был поговорить о красотах готики с человеком, понимающим в ней все-таки побольше, чем сектант-кузнец и сапожник-атеист.

— Да-да, — сказал он, — пойдете, вот здесь.

Он повел отца Брауна к высокому боковому крыльцу, но едва тот поставил ногу на первую ступеньку, как кто-то взял его сзади за плечо. Отец Браун обернулся и оказался лицом к лицу с худым смуглым доктором, который глядел темно и подозрительно.

— Вот что, сэр,— резко сказал врач, — вид у вас такой, будто вы тут кое в чем разобрались. Вы что же, позвольте спросить, решили помалкивать про себя?

— Понимаете, доктор, — дружелюбно улыбнулся отец Браун, — есть ведь такое правило: не все знаешь — так и молчи, тем более что в нашем-то деле положено молчать, именно когда знаешь все. Но если вам кажется, что я обидел вас или не только вас своими недомолвками, то я, пожалуй, сделаю вам два очень прозрачных намека.

— Слушаю вас, — мрачно откликнулся врач.

— Во-первых,— сказал отец Браун, — это дело вполне по вашей части. Никакой мистики, сплошная наука. Кузнец не в том ошибся, что преступника настигла кара свыше, — это-то да, только уж никаким чудом здесь и не пахнет. Нет, доктор, никакого особого чуда здесь нет, разве что чудо — сам человек, его непостижимое, грешное, дерзновенное сердце. А череп-то раздробило самым естественным образом, по закону природы, ученые его на каждом шагу поминают.

Доктор пристально и хмуро глядел на него.

— Второй намек? — спросил он.

— Второй намек такой,— сказал отец Браун. — Помните: кузнец, он в чудеса-то верит, а сказок дурацких не любит — как, дескать, его молот полетит, раз он без крыльев?

— Да, — сказал доктор. — Это я помню.

— Так вот,— широко улыбнулся отец Браун, — эта дурацкая сказка ближе всего к правде.

И он засеменял по ступенькам вслед за настоятелем.

Уилфрид Боэн нетерпеливо поджидал его, бледный до синевы, словно эта маленькая задержка его, доконала; он сразу повел гостя в свою любимую галерею, под самый свод, в сияющую сень витража с ангелом. Маленький патер осматривал все подряд и всем неумолчно, хоть и негромко восхищался. Он обнаружил боковой выход на винтовую лестницу, по которой Уилфрид спустил вниз к телу брата; отец Браун, однако, с обезьяньей прытью кинулся не вниз, а вверх, и вскоре его голос донесся с верхней наружной площадки.

— Идите сюда, мистер Боэн,— позвал он. — Вам хорошо подышать воздухом!

Боэн поднялся и вышел на каменную галерейку, балкончик, лепившийся у стены храма. Вокруг одинокого холма расстилась бескрайняя равнина, усеянная деревьями и фермами; лиловый лес густел на горизонте. Далеко-далеко внизу рисовался четкий квадратик двора кузни, где все еще что-то записывал инспектор и, как прибитая муха, валялся неубранный труп.

— Вроде карты мира, правда? — сказал отец Браун.

— Да, — очень серьезно согласился Боэн и кивнул.

Под ними и вокруг них готические стены рушились в пусто-ту, словно призывали к самоубийству. В средневековых зданиях

есть такая исполинская ярость — на них отовсюду смотришь, как на круп бешено мчащейся лошади. Собор составляли древние, суровые камни, поросшие лишайниками и облепленные птичьими гнездами. И все же внизу казалось, что стены фонтаном взмывают к небесам, а оттуда, сверху, — что они водопадом низвергаются в звенящую бездну. Два человека на башне были пленниками неимоверной готической жути: все смещено и сплющено, перспектива сдвинута, большое уменьшено, маленькое увеличено — окаменелый мир наизнанку, повисший в воздухе. Громадные каменные завитки — и мелкий рисунок крохотных ферм и лугов. Изваяния птиц и зверей, словно драконы, парящие или ползущие над полями и селами. Все было страшно и невероятно, будто они стояли между гигантских крыл парящего над землей чудища. Старая соборная церковь надвинулась на солнечную долину, как грозовая туча.

— По-моему, на такой высоте и молиться-то опасно, — сказал отец Браун. — Глядеть надо снизу вверх, а не сверху вниз.

— Вы думаете, здесь так уж опасно? — спросил Уилфрид.

Я думаю, отсюда опасно падать — упасть ведь может не тело, а душа, — ответил маленький патер.

— Я что-то вас не очень понимаю, — пробормотал Уилфрид.

— Взять хоть того же кузнеца, — невозмутимо сказал отец Браун. — Хороший человек, жаль не христианин. Вера у него шотландская — так веровали те, кто молился на холмах и скалах и смотрел вниз, на землю, чаще, чем на небеса. А величие — дитя смирения. Большое видно с равнины, а с высоты все кажется пустяками.

— Но ведь он, он не убийца, — выговорил Бозн.

— Нет, — странным голосом сказал отец Браун, — мы знаем, что убийца не он.

Он помолчал и продолжил, светло-серые глаза его были устремлены вдаль.

— Я знал человека, — сказал он, — который сперва молился со всеми у алтаря, а потом стал подниматься все выше и молиться в одиночку — в уголках, галереях, на колокольне или у шпиля. Мир вращался, как колесо, а он стоял над миром: у него закружилась голова, и он возомнил себя Богом. Хороший он был человек, но впал в большой грех.

Уилфрид глядел в сторону, но его худые руки, вцепившиеся в парапет, стали иссиня-белыми.

— Он решил, что ему дано судить мир и карать грешников. Если б он стоял внизу, на коленях, рядом с другими — ему бы это и в голову не пришло. Но он глядел сверху — и люди казались ему насекомыми. Ползало там одно ярко-зеленое, особенно мерзкое и назойливое, да к тому же и ядовитое.

Стояла тишина, только грачи кричали у колокольни; и снова послышался голос отца Брауна:

— К вящему искушению во власти его оказался самый страшный механизм природы — сила, с бешеной быстротой

притягивающая все земное к земному лону. Смотрите, вон прямо под нами расхаживает инспектор. Если я кину отсюда камушек, камушек ударит в него пулей. Если я оброню молоток... или молоточек...

Уилфрид Бозн перекинул ногу через парапет, но отец Браун оттянул его назад за воротник.

— Нет, — сказал он. — Это выход в ад.

Бозн попятился и припал к стене, в ужасе глядя на него.

— Откуда вы все это знаете? — крикнул он. — Ты дьявол?

— Я человек, — строго ответил отец Браун, — и значит, вместилище всех дьяволов. — Он помолчал. — Я знаю, что вы сделали — вернее догадываюсь почти обо всем. Поговорив с братом, вы разгорелись гневом — не скажу, что неправедным, — и схватили молоток, почти готовые убить его за его гнусные слова. Но вы отпрянули перед убийством, сунули молоток за пазуху и бросились в церковь. Вы отчаянно молились — у окна с ангелом, потом еще выше, еще и потом здесь — и отсюда увидели, как внизу шляпа полковника ползает зеленой тлей. В душе вашей что-то надломилось, и вы обрушили на него гром небесный.

Уилфрид прижал ко лбу дрожащую руку и тихо спросил:

— Откуда вы знаете про зеленую тлю?

По лицу отца Брауна мелькнула тень улыбки.

— Да это как-то само собой понятно, — сказал он. — Слушайте дальше. Мне все известно, но никто другой не узнает ничего, вам самому решать, я отступаю и сохраню эту тайну, как тайну исповеди. Тому много причин, и лишь одна вас касается. Решайте, ибо вы еще не стали настоящим убийцей, не закоснели во зле. Вы боялись, что обвинят кузнеца, боялись, что обвинят его жену. Вы попробовали свалить все на слабоумного, зная, что ему ничто не грозит. Мое дело замечать такие проблески света в душе убийцы. Спускайтесь в деревню и поступайте, как знаете; я сказал вам свое последнее слово.

Они в молчании спустились по винтовой лестнице и вышли на солнце к кузнице. Уилфрид Бозн аккуратно отодвинул засов деревянной калитки, подошел к инспектору и сказал:

— Прошу вас арестовать меня. Брата убил я.

ОКО АПОЛЛОНА

Таинственная спутница Темзы, искрящаяся дымка, и плотная, и прозрачная сразу, светлела и сверкала все больше по мере того, как солнце поднималось над Вестминстером, а два человека шли по Вестминстерскому мосту. Один был высокий, другой — низенький, и мы, повинувшись причуде фантазии, могли бы сравнить их с гордой башней парламента и со смиренным, сутулым аббатством, тем более что низкорослый был в сутане. На языке же документов высокий звался Эркюлем Фламбо, занимался частным сыском и направлялся в свою новую контору, расположенную в новом многоквартирном доме напротив аббатства; а маленький звался отцом Дж. Брауном, служил в церкви св. Франциска Ксаверия и, причастив умирающего, прибыл из Камберуэла, чтобы посмотреть контору своего друга.

Дом, где она помещалась, был высок, словно американский небоскреб, и по-американски оснащен безотказными лифтами и телефонами. Его только что достроили, заняты были три квартиры — над Фламбо, под Фламбо и его собственная; два верхних и три нижних этажа еще пустовали. Но тот, кто смотрел впервые на свежестроенную башню, удивлялся не этому. Леса почти совсем убрали, и на голой стене, прямо над окнами Фламбо, сверкал огромный, окна в три, золоченый глаз, окруженный золотыми лучами.

— Господи, что это? — спросил отец Браун и остановился.

— А, это новая вера! — засмеялся Фламбо. — Из тех, что отпускают нам грехи, потому что мы вообще безгрешны. Что-то вроде «Христианской науки». Надо мной живет некий Калон (это он себя так называет, фамилий таких нет!). Внизу, подо мной, — две машинистки, а наверху — этот бойкий краснобай. Он, видите ли, новый жрец Аполлона, солнцу поклоняется.

— Посмотрим на него, посмотрим... — сказал отец Браун. — Солнце было самым жестоким божеством. А что это за страшный глаз?

— Насколько я понял,— отвечал Фламбо, — у них такая теория. Крепкий духом вынесет что угодно. Символы их — солнце и огромный глаз. Они говорят, что истинно здоровый человек может прямо смотреть на солнце.

— Здоровому человеку,— заметил отец Браун, — это и в голову не придет.

— Ну, я что знал, то сказал, — беспечно откликнулся Фламбо. — Конечно, они считают, что их вера лечит все болезни тела.

— А лечит она единственную болезнь духа? — серьезно и взволнованно спросил отец Браун.

— Что же это за болезнь? — улыбнулся Фламбо.

— Уверенность в собственном здоровье, — ответил священник.

Тихая, маленькая контора больше привлекала Фламбо, чем сверкающее святилище. Как все южане, он отличался здравомыслием, вообразить себя мог лишь католиком или атеистом и к новым религиям — победным ли, призрачным ли — склонности не питал. Зато он питал склонность к людям, особенно — к красивым, а дамы, поселившиеся внизу, были еще и своеобразны. Там жили две сестры, обе — худые и темноволосые, одна к тому же — высокая ростом и прекрасная лицом. Профиль у нее был четкий, орлиный; таких, как она, всегда вспоминаешь в профиль, словно они отточенным клинком прорезают путь сквозь жизнь. Глаза ее сверкали скорее стальным, чем алмазным блеском, и держалась она прямо, так прямо, что несмотря на худобу изящной не была. Младшая сестра, ее укороченная тень, казалась тусклее, бледнее и незаметней. Обе носили строгие черные платья с мужскими манжетами и воротничками. В лондонских конторах — тысячи таких резковатых, энергичных женщин; но этих отличало не внешнее, известное всем, а истинное их положение.

Полина Стэси, старшая сестра, унаследовала герб, земли и очень много денег. Она росла в садах и замках, но, по холодной пылкости чувств, присущей современным женщинам, избрала иную, высшую, нелегкую жизнь. От денег она, однако, не отказалась — этот жест, достойный монахов и романтиков, претил ее трезвой деловитости. Деньги были ей нужны, чтобы служить обществу. Она открыла контору — как бы зародыш образцового машинного бюро, а остальное раздала лигам и комитетам, борющимся за то, чтобы женщины занимались именно такой работой. Никто не знал, в какой мере младшая, Джоан, разделяет этот несколько деловитый идеализм. Во всяком случае, за своей сестрой и начальницей она шла с собачьей преданностью, более приятной все же, чем твердость и бодрость старшей, и даже немного трагичной. Полина Стэси трагедий не знала; по-видимому, ей казалось, что их и не бывает.

Когда Фламбо встретил свою соседку впервые, сухая ее стремительность и холодный пыл сильно его позабавили. Он ждал внизу лифтера, который развозил жильцов по этажам. Но девуш-

ка с соколиными глазами ждать не пожелала. Она резко сообщила, что сама разбирается в лифтах и не зависит от мальчишек, а кстати — и от мужчин. Жила она невысоко, но за считанные секунды довольно полно ознакомила сыщика со своими воззрениями, сводившимися к тому, что она — современная деловая женщина и любит современную, дельную технику. Ее черные глаза сверкали холодным гневом, когда она помянула тех, кто науку не ценит и вздыхает по ушедшей романтике. Каждый, говорила она, должен управлять любой машиной, как она управляет лифтом. Она чуть не вспыхнула, когда Фламбо открыл перед ней дверцу; а он поднялся к себе, вспоминая с улыбкой о такой взрывчатой самостоятельности.

Действительно, нрав у нее был пылкий, властный, раздражительный, и худые тонкие руки двигались так резко, словно она собиралась все разрушить. Как-то Фламбо зашел к ней, хотел что-то напечатать и увидел, что она швырнула на пол сестрины очки и давит их ногой. При этом она обличала «дурацкую медицину» и слабых, жалких людей, которые ей поддаются. Она кричала, чтобы сестра и не думала больше таскать домой всякую дрянь. Она вопрошала, не завести ли ей парик, или деревянную ногу, или стеклянный глаз; и собственные ее глаза сверкали стеклянным блеском.

Пораженный такой нетерпимостью, Фламбо не удержался и, рассудительный, как все французы, спросил ее, почему очки — признак слабости, а лифт — признак силы. Если наука вправе помогать нам, почему ей не помочь и на сей раз?

— Что тут общего! — надменно ответила Полина. — Да, мсье Фламбо, машины и моторы — признак силы. Техника пожирает пространство и презирает время. Все люди — и мы, женщины, — овладевают ею. Это возвышенно, это прекрасно, это — истинная наука. А всякие подпорки и припарки — отличительный знак малодушных! Доктора подсовывают нам костыли, словно мы родились калеками или рабами. Я не рабыня, мсье Фламбо. Люди думают, что все это нужно, потому что их учат страху, а не смелости и силе. Глупые няньки не дают детям смотреть на солнце, а потом никто и не может прямо на него смотреть. Я гляжу на звезды, буду глядеть и на эту. Солнце мне не хозяин, хочу — и смотрю!

— Ваши глаза ослепят солнце, — сказал Фламбо, кланяясь с иностранной учтивостью. Ему нравилось говорить комплименты этой странной, колючей красавице, отчасти потому, что она немного терялась. Но, поднимаясь на свой этаж, он глубоко вздохнул, присвистнул и проговорил про себя: «Значит, и она попала в лапы к этому знахарю с золотым глазом...» Как бы мало он ни знал о новой религии, как бы мало ею ни интересовался, о том, что адепты ее глядят на солнце, он все же слышал.

Вскоре он заметил, что духовные узы между верхней и нижней конторой становятся все крепче. Тот, кто именовал себя

Калонем, был поистине великолепен, как и подобает жрецу солнечного бога. Он был ненамного ниже Фламбо, но гораздо красивее. Золотой бородой, синими глазами, откинутой назад львиной гривой он походил как нельзя больше на белокурую бестию, воспетую Ницше, но животную его красоту смягчали, возвышали, просветляли мощный разум и сила духа. Он походил на саксонского короля, но такого, который прославился святостью. Этому не мешала деловая, будничная обстановка — контора в многоэтажном доме на Виктория-стрит, аккуратный и скучный клерк в приемной, медная табличка, золоченый глаз вроде рекламы окулиста. И тело его и душа сияли сквозь пошлость властной, вдохновенной силой. Всякий чувствовал при нем, что это — не мошенник, а мудрец. Даже в просторном полотняном костюме, который он носил в рабочие часы, он был необычен и величав. Когда же он славословил солнце в белых одеждах, с золотым обручем на голове, он был так прекрасен, что толпа, собравшаяся поглазеть на него, внезапно умолкала. Каждый день, три раза, новый солнцепоклонник выходил на небольшой балкон и перед всем Вестминстером молился своему сверкающему господину — на рассвете, в полдень и на закате. Часы еще не пробили двенадцать раз на башне парламента, колокола еще не отзвонили, когда отец Браун, друг Фламбо, впервые увидел белого жреца, поклонявшегося Аполлону.

Фламбо его видел не впервые и скрылся в высоком доме, не поглядев, идет ли за ним священник; а тот — из профессионального интереса к обрядам или из личного, очень сильного интереса к шутовству — загляделся на жреца, как загляделся бы на кукольный театр. Пророк, именуемый Калонем, в серебристо-белых одеждах стоял, воздев кверху руки, и его на удивление властный голос, читающий литанию, заполнял суетливую, деловитую улицу. Вряд ли солнечный жрец что-нибудь видел; во всяком случае, он не видел маленького, круглолицего священника, который, помаргивая, глядел на него из толпы. Наверное, это и отличало друг от друга таких непохожих людей: отец Браун мигал всегда, на что бы ни смотрел; служитель Аполлона смотрел, не мигая, на полуденное солнце.

— О, солнце! — возглашал пророк. — Звезда, величайшая из всех звезд! Источник, безбурно струящийся в таинственное пространство! Ты, породившее всякую белизну — белое пламя, белый цветок, белый гребень волны! Отец, невиннейший невинных и безмятежных детей, первозданная чистота, в чьем покое...

Что-то страшно затрещало, словно взорвалась ракета, и сразу же раздалась пронзительные крики. Пять человек кинулись в дом, трое выбежало, и, столкнувшись, они оглушили друг друга громкой, сбивчивой речью. Над улицей повисла несказанная жуть, страшная весть, особенно страшная от того, что никто не знал, в чем дело. Все бегали и кричали, только двое стояли тихо:

наверху — прекрасный жрец Аполлона, внизу — неприметный служитель Христа.

Наконец в дверях появился Фламбо, могучий великан, и небольшая толпа присмирела. Громко, как сирена в тумане, он приказал кому-то (или кому угодно) бежать за врачом и снова исчез в темном, забитом людьми проходе, а друг его, отец Браун, незаметно скользнул за ним. Нырять сквозь толпу, он слышал глубокий, напевный голос, взывавший к радостному богу, другу цветов и ручейков.

Добравшись до места, священник увидел, что Фламбо и еще человек пять стоят у клетки, в которую обычно спускался лифт. Но его там не было. Там была та, которая обычно спускалась в лифте.

Фламбо уже четыре минуты глядел на разможенную голову и окровавленное тело красавицы, не признававшей трагедий. Он не сомневался, что это Полина Стэси, и хотя послал за доктором, не сомневался, что она мертва.

Ему никак не удавалось вспомнить, нравилась она ему или нет; скорее всего, она и привлекала его, и раздражала. Но он о ней думал; и невыносимо трогательный образ ее привычек и повадок пронзил его сердце крохотными кинжалами утраты. Он вспомнил ее нежное лицо и уверенные речи с той поразительной четкостью, в которой — вся горечь смерти. Мгновенно, как гром с ясного неба, как молния с высоты, прекрасная, гордая женщина низринулась в колодезь лифта и разбилась о дно. Что это, самоубийство? Нет, она слишком дерзко любила жизнь. Убийство? Кому же убить в полупустом доме? Хрипло и сбивчиво стал он спрашивать, где же этот Калон, и вдруг понял, что слова его не грозны, а жалобны. Тихий, ровный, глубокий голос ответил ему, что Калон уже четверть часа славит солнце у себя на балконе. Когда Фламбо услышал этот голос и ощутил руку на плече, он обратил к другу потемневшее лицо и резко спросил:

— Если его нет, кто же это сделал?

— Пойдем наверх, — сказал отец Браун. — Может, там узнаем. Полиция придет только через полчаса.

Препоручив врачам тело убитой, Фламбо кинулся в ее контору, никого не увидел и побежал к себе. Теперь он был очень бледен.

— Ее сестра, — сказал он другу с недоброй значительностью, — пошла погулять.

Отец Браун кивнул.

— Или поднялась к этому солнечному мужу, — предположил он. — Я бы на вашем месте это проверил, а уж потом мы все обсудим тут, у вас. Нет! — спохватился он. — Когда же я поумнею? Конечно, там, у них.

Фламбо ничего не понял, взглянул на него, но покорно проводил его в пустую контору. Загадочный пастырь сел в красное кожаное кресло у самого входа, откуда были видны и лестница,

и все три площадки, и стал ждать. Вскоре по лестнице спустились трое, все — разные, все — одинаково важные. Первой шла Джоан, сестра покойной; значит, она и впрямь была наверху, во временном святилище солнца. Вторым шел солнечный жрец, завершивший славословия и спускавшийся по пустынным ступеням во всей своей славе; белым одеянием, бородой и расчесанной на две стороны гривой он напоминал Христа, выходящего из претории, с картины Доре. Третьим шел мрачный, озадаченный Фламбо.

Джоан Стэси — хмурая и смуглая, сидящая раньше времени, направилась к своему столу и деловито шлепнула на него бумаги. Все очнулись. Если мисс Джоан и была убийцей, хладнокровие ей не изменило. Отец Браун взглянул на нее и, не отводя от нее глаз, обратился не к ней.

— Пророк, — сказал он, по-видимому, Калону, — я бы хотел, чтобы вы поподробнее рассказали мне о своей вере.

— С превеликой гордостью, — отвечал Калон, склоняя увенчанную голову. — Но я не совсем вас понимаю...

— Дело вот в чем, — простодушно и застенчиво начал священник. — Нас учат, что, если у кого-нибудь плохие, совсем плохие принципы, он в этом и сам виноват. Но все же мы меньше спросим с того, кто замутил совесть софизмами. Считаете ли вы, что убивать нельзя?

— Это обвинение? — очень спокойно спросил Калон.

— Нет, — мягко ответил Браун, — это защита.

Все удивленно молчали. Жрец Аполлона поднялся медленно, как само солнце. Он заполнил комнату светом и силой, и казалось, что точно так же он заполнил бы Солсбери-Плейн. Всю комнату украсили белые складки его одежд, рука величаво простерлась вдаль, и маленький священник в старой сутане стал нелепым и неуместным, словно черная, круглая клякса на белом мраморе Эллады.

— Мы встретились, Кайафа! — сказал пророк. — Кроме вашей церкви и моей, нет ничего на свете. Я поклоняюсь солнцу, вы — мраку. Вы служите умирающему, я — живому богу. Вы подзреваете меня, выслеживаете, как и велит вам ваша вера. Все вы — ищйки и сыщики, злые соглядатаи, стремящиеся пыткой или подлостью вырвать у нас покаяние. Вы обвините человека в преступности, я обвиню его в невинности. Вы обвините его в грехе, я — в добродетели. Еще одно я скажу вам, читатель черных книг, прежде чем опровергнуть пустые, мерзкие домыслы. И в малой мере не понять вам, как безразличен мне ваш приговор. То, что вы зовете бедой и казнью, для меня — как чудовище из детской сказки для взрослого человека. Мне так безразлично маревое этой жизни, что я сам себя обвиню. Против меня есть одно свидетельство, и я назову его. Женщина, умершая сейчас, была мне подругой и возлюбленной — не по закону ваших игрушечных молелен, а по закону, который так чист и строг, что вам его не понять. Мы пребывали с ней в ином, не вашем мире, в сияющих чертогах, пока вы шныряли по тесным, запутанным

проулкам. Я знаю, стражи порядка — и обычные, и церковные — считают, что нет любви без ненависти. Вот вам первый повод для обвинения. Но есть и второй, посерьезнее, и я не скрою его от вас. Полина не только любила меня, — сегодня утром, перед смертью, она за этим самым столом завещала моей церкви полмиллиона. Ну, где же же оковы? Вам не понять, что мне безразличны ваши нелепые кары. В тюрьме я буду ждать, как на станции, скорого поезда к ней. Виселица доставит меня еще скорее.

Он говорил с ораторской властью, Фламбо и Джоан в немом восхищении глядели на него. Лицо отца Брауна выражало только глубокую печаль; он смотрел в пол, и лоб его прорезала морщина. Пророк, легко опершись о доску стола, завершал свою речь:

— Я изложил свое дело коротко, больше сказать нечего. Еще меньше слов понадобится мне, чтобы опровергнуть обвинение. Правда проста: убить я не мог. Полина Стэси упала с этого этажа в пять минут первого. Человек сто подтвердят под присягой, что я стоял на своем балконе с двенадцати, ровно четверть часа. Я всегда совершаю в это время молитву на глазах у всего света. Мой клерк, простой и честный человек, никак со мной не связанный, скажет, что сидел в приемной все утро, и никто от меня не выходил. Он скажет, что я пришел без четверти двенадцать, когда о несчастье никто еще не думал, и не уходил с тех пор из конторы. Такого полного алиби ни у кого не было: показания в мою пользу даст весь Вестминстер. Как видите, оков не нужно. Дело закончено.

Но под конец я скажу вам все, что вы хотите выведать, и разгоню последние клочья нелепейшего подозрения. Мне кажется, я знаю, как умерла моя несчастная подруга. Воля ваша, вините в том меня, или мое учение, или мою веру. Но обвинить меня в суде нельзя. Все, прикоснувшиеся к высшим истинам, знают, что люди, достигшие высоких степеней посвящения, обретали иногда дар левитации, умели держаться в воздухе. Это лишь часть той победы над материей, на которой зиждется наша сокровенная мудрость. Несчастливая Полина была порывиста и горда. По правде говоря, она постигла тайны не так глубоко, как думала. Когда мы спускались в лифте, она часто мне говорила, что, если воля твоя сильна, ты слетишь вниз, как перышко. Я искренне верю, что, воспаривши духом, она дерзновенно понадеялась на чудо. Но воля или вера изменили ей, и низший закон, страшный закон материи, взял свое. Вот и все, господа. Это печально, а по-вашему — и самонадеянно, и дурно, но преступления здесь нет, и я тут ни при чем. В отчете для полиции лучше назвать это самоубийством. Я же всегда назову это ошибкой подвижницы, стремившейся к большему знанию и к высшей, небесной жизни.

Фламбо впервые видел, что друг его побежден. Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, страдальчески хмурясь, словно

стыдился чего-то. Трудно было бороться с ощущением, которое так властно поддерживали крылатые слова пророка: тот, кому положено подозревать людей, побежден гордым, чистым духом свободы и здоровья. Наконец священник сказал, моргая часто, как от боли:

— Ну что ж, если так, берите это завещание. Где же она, бедняжка, его оставила?

— На столе, у двери, — сказал Калон с той весомой простотой, которая сама по себе оправдывала его. — Она мне говорила, что напишет сегодня утром, да я и сам видел ее, когда поднимался на лифте к себе.

— Дверь была открыта? — спросил священник, глядя на уголок ковра.

— Да, — спокойно ответил Калон.

— Так ее и не закрыли... — сказал отец Браун, прилежно изучая ковер.

— Вот какая-то бумажка, — проговорила непонятым тоном мрачная Джоан Стэси. Она прошла к столу сестры и взяла листок голубой бумаги. Брезгливая ее улыбка совсем не подходила к случаю, и Фламбо нахмурился, взглянув на нее.

Пророк стоял в стороне с тем царственным безразличием, которое его всегда выручало. Бумагу взял Фламбо и стал ее читать, все больше удивляясь. Поначалу было написано, как надо, но после слов «отдаю и завещаю все, чем владею в день смерти» буквы внезапно сменялись царапинами, а подписи вообще не было. Фламбо в полном изумлении протянул это другу, тот посмотрел и молча передал служителю солнца.

Секунды не прошло, как жрец, взвихрив белые одежды, двумя прыжками подскочил к Джоан Стэси. Синие его глаза вылезли из орбит.

— Что это за шутки? — орал он. — Полина больше написала!

Страшно было слышать его новый, по-американски резкий говор. И величие, и велеречивость упали с него, как плащ.

— На столе ничего другого нет, — сказала Джоан и все с той же благосклонно-язвительной улыбкой прямо посмотрела на него.

Он разразился мерзкой, немислимой бранью. Страшно и стыдно было видеть, как упала с него маска, словно отвалилось лицо.

— Эй, вы! — заорал он, отбранившись. — Может, я и мошенник, а вы — убийца! Вот вам и разгадка, без всяких этих левитаций! Девочка писала завещание... оставляла все мне... эта мерзавка вошла... вырвала перо... потащила ее к колодцу и столкнула! Да, без наручников не обойдемся!

— Как вы справедливо заметили, — с недобрим спокойствием произнесла мисс Джоан, — ваш клерк — человек честный и верит в присягу. Он скажет в любом суде, что я приводила в порядок бумаги за пять минут до смерти сестры и через пять минут

после ее смерти. Мистер Фламбо тоже скажет, что застал меня там, у вас.

Все помолчали.

— Значит, Полина была одна! — воскликнул Фламбо. — Она покончила с собой!

— Она была одна, — сказал отец Браун, — но с собой не покончила.

— Как же она умерла? — нетерпеливо спросил Фламбо.

— Ее убили.

— Так она же была одна! — возразил сыщик.

— Ее убили, когда она была одна, — ответил священник.

Все глядели на него, но он сидел так же тихо, отрешенно, и круглое лицо его хмурилось, словно он горевал о ком-то или за кого-то стыдился. Голос его был ровен и печален.

Калон снова выругался.

— Нет, вы скажите, — крикнул он, — когда придут за этой кровожадной гадиной? Убила родную сестру, украла у меня пол-миллиона...

— Ладно, ладно, пророк, — усмехнулся Фламбо, — чего там, этот мир — только марево...

Служитель солнечного бога попытался снова влезть на пьедестал.

— Не в деньгах дело! — возгласил он. — Конечно, на них я распространил бы учение по всему свету. Но главное — воля моей возлюбленной. Для нее это было святыней. Полина видела...

Отец Браун вскочил, кресло зашаталось. Он был страшно бледен, но весь светился надеждой, и глаза его сияли.

— Вот! — звонко воскликнул он. — С этого и начнем! Полина видела...

Высокий жрец суетливо, как сумасшедший, попятился перед маленьким священником.

— Что такое? — визгливо повторял он. — Да как вы смеете?

— Полина видела... — снова сказал священник, и глаза его засияли еще ярче. — Говорите... ради Бога скажите все! Самому гнусному преступнику, совращенному бесом, становится легче после исповеди. Покайтесь, я очень вас прошу! Как видела Полина?

— Пустите меня, черт вас дерит! — орал Калон, словно связанный гигант. — Какое вам дело? Ищейка! Паук! Что вы меня путаете?

— Схватить его? — спросил Фламбо, кидаясь к выходу, ибо Калон широко распахнул дверь.

— Нет, пусть идет, — сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины Вселенной. — Пусть Каин идет, он — Божий.

Когда он ушел, все молчали, и быстрый разум Фламбо томился в недоумении. Мисс Джоан с превеликим спокойствием прибирала бумаги на своем столе.

— Отец,— сказал наконец Фламбо, — это долг мой, не только любопытство... Я должен узнать, если можно, кто совершил преступление.

— Какое? — спросил священник.

— То, которое сегодня случилось, — отвечал его порывистый друг.

— Сегодня случилось два преступления, — сказал отец Браун. — Они очень разные, и совершили их разные люди.

Мисс Джоан сложила бумаги, отодвинула их и стала запирать шкаф. Отец Браун продолжал, обращая на нее не больше внимания, чем она обращала на него.

— Оба преступника,— говорил он, — воспользовались одним и тем же свойством одного и того же человека, и боролись они за одни и те же деньги. Преступник покрупнее споткнулся о преступника помельче, и деньги получил тот.

— Не тяните вы, как на лекции,— взмолился Фламбо. — Скажите попросту.

— Я скажу совсем просто, — согласился его друг.

Мисс Джоан, деловито и невесело хмурясь, надела перед зеркальцем невеселую, деловитую шляпку, неторопливо взяла сумку и зонтик и вышла из комнаты.

— Правда очень проста,— сказал отец Браун. — Полина Стэсси слепа.

— Слепла... — повторил Фламбо, медленно встал и распрямылся во весь свой огромный рост.

— Это у них в роду, — продолжал отец Браун. — Сестра носила бы очки, но она ей не давала. У нее ведь такая философия, или такое суеверие... она считала, что слабость нужно преодолеть. Она не признавала, что туман сгущается, хотела разогнать его волей. От напряжения она слепа еще больше, но самое трудное было впереди. Этот несчастный пророк, или как его там, заставил ее глядеть на огненное солнце. Они это называли «вкушать Аполлона». О, Господи, если бы эти новые язычники просто подражали старым! Те хоть знали, что в чистом, беспримесном поклонении природе немало жестокого. Они знали, что око Аполлона может погубить и ослепить.

Священник помолчал, потом начал снова, тихо и даже с трудом:

— Не пойму, сознательно ли ослепил ее этот дьявол, но слепотой он воспользовался сознательно. Убил он ее так просто, что невозможно об этом подумать. Вы знаете, оба они спускались и поднимались на лифте сами; знаете вы и то, как тихо эти лифты скользят. Калон поднялся до ее этажа и увидел в открытую дверь, что она медленно, выводя буквы по памяти, пишет завешание. Он весело крикнул, что лифт ее ждет, и позвал, когда она допишет, к себе. А сам нажал кнопку, беззвучно поднялся выше и молился в полной безопасности, когда она, бедная, кончила писать, побежала в лифт, чтобы скорей попасть к возлюбленному, и ступила...

— Не надо! — крикнул Фламбо.

— За то, что он нажал кнопку, он получил бы полмиллиона, — продолжал низкорослый священник тем ровным голосом, которым он всегда говорил о страшных вещах. — Но ничего не вышло. Не вышло ничего потому, что еще один человек хотел этих денег и знал о Полининой болезни. Вот вы не заметили в завещании такой странности: оно не дописано и не подписано, а подписи свидетелей — Джоан и служанки — там стоят. Джоан подписалась первой и с женским пренебрежением к формальностям сказала, что сестра подпишется потом. Значит, она хотела, чтобы сестра подписалась без настоящих, чужих свидетелей. С чего бы это? Я вспомнил, что Полина слепла, и понял: Джоан хотела, чтобы ее подписи вообще не было.

Такие женщины всегда пишут вечным пером, а Полина и не могла писать иначе. Привычка, и воля, и память помогали ей писать совсем хорошо; но она не знала, есть ли в ручке чернила. Наполняла ручку сестра — а на сей раз не наполнила. Чернил хватило на несколько строк, потом они кончились. Пророк потерял пятьсот тысяч фунтов и совершил зря самое страшное и гениальное преступление на свете.

Фламбо подошел к открытым дверям и услышал, что по лестнице идет полиция. Он обернулся и сказал:

— Как же вы ко всему присматривались, если так быстро его разоблачили!

Отец Браун удивился.

— Его? — переспросил он. — Да нет! Мне было трудно с этой ручкой и с мисс Джоан. Что Калон преступник, я знал еще там, на улице.

— Вы шутите? — спросил Фламбо.

— Нет, не шучу, — отвечал священник. — Я знал, что он преступник раньше, чем узнал, каково его преступление.

— Как это? — спросил Фламбо.

— Языческих стойков, — задумчиво сказал отец Браун, — всегда подводит их сила. Раздался грохот, поднялся крик, а жрец Аполлона не замолчал и не обернулся. Я не знал, что случилось; но я понял, что он этого ждал.

СЛОМАННАЯ ШПАГА

Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев — серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев зияли бездонными черными пещерами холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища. И все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть.

Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого серым при звездном свете дерном. Большинство могил расположено было по склону; тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма, в самом заметном месте, стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы; однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал.

Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата; сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинства лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном, тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одино-



кого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, вышивавшихся над чащами.

В эту темную морозную ночь, казалось, каждый бы мог ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка: по тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах и что один из них непомерно велик, а другой (возможно, по контрасту) удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа; человек с болезненно-мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертен ли он сам. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому:

— Где умный человек прячет камешек?

И большой тихо ответил:

— На морском берегу.

Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил:

— А где умный человек прячет лист?

И большой ответил:

— В лесу.

Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова:

— А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных, — вы намекаете на это, не правда ли?

— Нет, нет, — смеясь, возразил маленький, — не будем помнить старое.

Он потопал замерзшими ногами и продолжал:

— Я думаю не об этом, о другом, — о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку.

Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами были высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:

В священную память

ГЕНЕРАЛА СЭРА АРТУРА СЕНТ-КЛЭРА,
героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов
и всегда шадившего их, но предательски сраженного
ими. Да вознаградит его Господь, на которого он
уповал, и да отомстит за его гибель

Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его:

— Не надо, Фламбо: я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти

полторы мили до ближайшей гостиницы; там я расскажу вам обо всем. Видит Бог: только за кружкой эля у камелька осмелишься рассказать такую историю.

Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше четверти мили, прежде чем маленький заговорил снова.

— Умный человек прячет камешек на морском берегу, — сказал он. — Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клэра?

— Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун, — рассмеявшись, ответил большой, — только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в шести разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клэру. На набережной Темзы — статую генерала Сент-Клэра на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клэра я видел на улице, где он жил, другой — на улице, где он родился, а теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой... Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?

— Я ищу одно слово, — сказал отец Браун, — слово, которого здесь нет.

— Может быть, вы что-нибудь расскажете? — спросил Фламбо.

— Свой рассказ мне придется разделить на две части, — заметил священник, — первая часть — это то, что знают все; вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно. Но она далека от истины.

— Прекрасно, — весело сказал большой человек, которого звали Фламбо. — Давайте начнем с того, что знают все, — с неправды.

— Если это и не совсем ложно, то, во всяком случае, мало соответствует истине, — продолжал отец Браун. — В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему... Ей известно, что Артур Сент-Клэр был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных кампаний в Индии и в Африке он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клэр незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на

ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага.

— И эта версия неверна? — поинтересовался Фламбо.

— Нет,— спокойно сказал его приятель, — все, что я успел рассказать, верно.

— Мне кажется, вы успели рассказать довольно много, — сказал Фламбо. — Если это верно, то в чем же тайна?

Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал:

— Тайна тут — в психологии, вернее сказать, в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сент-Клэр, были героями — в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор предателем?

— Продолжайте, — нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец.

— Сэр Артур Сент-Клэр был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время Большого бунта,— продолжал Браун. — Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна: что случилось с разумом английского генерала? Вторая загадка: что случилось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему беспспорное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.

— Э, нет,— ответил его спутник, фыркнув. — Я предоставляю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.

— Тогда слушайте,— начал отец Браун. — Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних

события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значения. Но если так можно выразиться, они еще более затемнили его; обнаружались новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клэрв рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком; впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь чрезмерную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клэрв был излишне строг в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания: в злосчастном, лишенном поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Черной реки, служил некий капитан Кейт; в то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье; надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около двадцати лет спустя Кейт — теперь уже полковник — выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клэрва, он находит следующие слова: «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прикрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клэрва обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении: могу засвидетельствовать, что его действия — если только их правильно понимать — едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же источникам президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клэрв вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова».

Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку — жест, свойственный экспансивным французам.

— Минутку, обождите минутку! — закричал он возбужденно. — Мне кажется, я догадываюсь.

Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях по ходьбе. Священник — повеселевший и заинтересованный — семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья расступились. Дорога сбегала вниз по залитой лунным светом поляне и, точно кролик, ныряла в стоявший сплошной стеной лес. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного туннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, отверстие было всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияло, как пещера.

— Понял! — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. — Четыре минуты размышлений — и теперь я сам могу изложить все происшедшее.

— Отлично, — согласился его друг, — рассказывайте.

Фламбо поднял голову, но понизил голос.

— Генерал Артур Сент-Клэр, — сказал он, — происходил из семьи, страдавшей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился.

Фламбо уставился на серую стену леса с единственным черным отверстием, похожим на могильную яму, — туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое; он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул.

— Страшная история, — проговорил он.

— Страшная история, — склонив голову, подтвердил священник. — Но на самом деле произошло совсем другое. — В отчаянии откинув голову, он воскликнул: — О, если бы все было так, как вы описали!

Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением.

— В том, что вы рассказали, нет ничего дурного, — глубоко взволнованный, заметил отец Браун. — Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, — светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже.

Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении, — ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола.

— Как! — с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперед. — Еще хуже?

— Еще хуже, — как эхо, мрачно откликнулся священник.

И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов, — такие темные проходы могут привидеться разве что в кошмаре.

Вскоре они достигли самых потаенных недр леса; здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника:

— Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?

— Да, да, — отозвался Фламбо раздраженно, — что ему делать?

— Он сажает лес, чтобы спрятать лист, — сказал священник приглушенным голосом. — Страшный грех!

— Послушайте! — воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как темный лес и темные недомолвки стали действовать ему на нервы. — Расскажите вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?

— У меня имеются три свидетельских показания, — начал его собеседник, — которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с двумя-тремя полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу, на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку — частично по мосту, частично вброд — и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска.

То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твердую почву: они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов; англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули; краткий рапорт Оливье

заканчивается горячим восхищением загадочной отвагой этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем,— пишет Оливье,— и загнали их в реку; мы взяли в плен самого генерала Сент-Клэра и нескольких других офицеров. Полковник и майор—оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела немного таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка; раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат, сам генерал сражался на коне, с непокрытой головой, шпага его была сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.

— А теперь,— проворчал Фламбо,— расскажите мне о следующем показании.

— Чтобы разыскать его,— сказал отец Браун,— мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из линкольнширских богаделен мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кланси, здоровеннейший ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то, во всяком случае, не несет ответственности за нелепую вылазку,— вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника: «Вон едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову». Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию...

Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ.

Затем он продолжал тем же деловым тоном:

— Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте,— испанец по фамилии Эспадо, желтолицый крючконосый щеголь; я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения просмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сент-клэровского дела, за исключением пяти-шести школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки.

Но описание последнего дня в жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне, но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат,

по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он, сказать трудно, по-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, это был худощавый темноволосый человек по фамилии Мёррей, пуританин, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого ольстерца противопоставляется общительности полковника Кланси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника.

Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекая ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии; даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он между тем не тратил времени на церемонии: соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мёрреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания: оба они, как говорится, «читали свои библии», оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что, когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с Мёрреем, а когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий ольстерец все еще шел у поводка коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кланси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты, автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище.

Прямо по направлению к лагерю неся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал — превосходный наездник — гнал его во весь опор. Конь и всадник вихрем подлетели к солдатам;

круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звукам трубы в день Страшного суда, потребовал к себе полковника.

Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно гряда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая, в строй и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают: генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно: незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается...

Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху.

— Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага!

Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве:

— Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?

— В современной войне о них не часто упоминают, — бесстрастно произнес рассказчик, — но в этом деле повсюду натykаешься на проклятую шпагу.

— Ну и что же из этого? — пробурчал Фламбо. — Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра?

— Нет! — Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. — Но кто видел шпагу целой?

— Что вы хотите сказать? — воскликнул его спутник и остался как вкопанный.

Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место.

— Я спрашиваю: кто видел его шпагу целой? — настойчиво повторил отец Браун. — Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал ее в ножны.

Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом — так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, — а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал:

— Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения!

— О, — заметил его товарищ с напускной веселостью. — А где же отломанный кусок?

— Могу вам ответить, — быстро сказал священник, — в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте.

— В самом деле? — переспросил его собеседник. — Вы уже искали его там?

— Это невозможно, — с искренним сожалением ответил Браун. — Над ним находится большой мраморный памятник — памятник майору Мёррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке.

Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.

— Вы хотите сказать, — сильным голосом воскликнул он, — что генерал Сент-Клэр ненавидел Мёррея и убил его на поле сражения, потому что...

— Вы все еще полны чистых, благородных предположений, — сказал священник. — Все было гораздо хуже.

— В таком случае, — сказал большой человек, — запас моего дурного воображения истощился.

Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал:

— Где умный человек прячет лист? В лесу.

Фламбо молчал.

— Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес.

Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише:

— А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел.

Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль:

— Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоминал, был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано все. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки; мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и ради всего святого отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения Восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом завете все, что хотел найти: похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности?

В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте.

— Что вы хотите сказать? — спросил его друг.

— А вот что, — решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. — Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?

— Предателей, — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом — Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов.

Голос продолжал:

— Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он пророчивал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единст-

венного продажного человека. И, о Боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги — целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены; носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом с Парк-Лейн, — преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери; слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам — и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Ольстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Мёррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян.

Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, — я отчетливо вижу это, — генерал выхватил шпагу и заколол майора...

Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька.

— Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда — я готов в этом поклясться! — не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Мёррея лежало у его ног. Никогда ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осматрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Мёррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно — так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, — Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения; оставался еще один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов! Через двадцать минут восемьсот английских солдат двинулись навстречу гибели...

Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, он целиком поглощен своим рассказом.

— Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом — величественная заключительная сцена: седовласый солдат, непорочный, как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю — не могу этого доказать, — я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду... — Он замолчал, а потом добавил: — Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.

— Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? — спросил Фламбо.

— Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, — объяснил рассказчик. — В большинстве случаев он всех отпускал. И в этот раз он отпустил всех.

— Всех, кроме генерала, — поправил высокий человек.

— Всех, — повторил священник.

Фламбо нахмурил черные брови.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал он.

— А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо, — таинственным полусшепотом начал Браун. — Я ничего не могу доказать, но — и это важнее! — я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу — простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навытяжку позади генерала, рядом — запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны — бразильцы трогаются в путь, англичане стоят как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй; к генералу обращаются пятьдесят лиц — лиц, которые нельзя забыть.

Фламбо подскочил от возбуждения.

— О! — воскликнул он. — Неужели?..

— Да, — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. — Это рука англичанина накинута петлю на шею Сент-Клэра, — думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан — да простит и укрепит нас Господь — смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице-пальме! И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад.

Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь.

— Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, — сказал отец Браун. — Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть — помоги им в этом небо! — они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.

— Забыть? С удовольствием! — сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. — Посмотрите-ка, что за чертовщина! — закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием и псевдоархаичными буквами было начертано: «Сломанная шпага».

— Что ж тут такого? — пожал плечами отец Браун. — Он — кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.

— А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным! — вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу.

— В Англии с ним никогда не кончат, — ответил священник, — до тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут, как родного отца, любить этого человека, с которым поступили, как с дерьмом, те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правды — так я решил. В разглашении тайны много и плохих и хороших сторон, — правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово: если хоть где-нибудь появится надпись — на металле

или на мраморе, долговечном, как пирамиды, — несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу свое слово!

Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра — серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями: одни изображали все ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла.

— Ну и холод! — воскликнул отец Браун. — Выпьем вина или пива?

— Лучше бренди, — сказал Фламбо.

ТРИ ОРУДИЯ СМЕРТИ

По роду своей деятельности, а также и по убеждениям отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека удостаивают почестей и всяческого внимания, когда человек этот мертв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Арон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершенном над столь обворожительной и прославленной личностью. Ведь сэр Арон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что Солнечный Джим повесился или мистер Пиквик умер в Хэнуолле. Дело в том, что, хотя сэр Арон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с темными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и «громового смеха»; его здоровье было поистине цветущим; его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме; соприкасаясь с проблемой пьянства (это была излюбленная тема его рассуждений), он выказывал неувыдаемую и даже несколько однообразную веселость, столь часто присущую человеку, который в рот не берет спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить.

Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он еще в раннем детстве был отвлечен от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознесся выше того и другого и стал (по собственному его скромному выражению) тем, что он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, блестящие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он

неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть собою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьезный весельчак из всех представителей рода человеческого.

Жил он в тихом предместье Хемпстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дерном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишенным нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро все было наоборот, — дом причинил потрясение поезду.

Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мертвых машин удастся далеко не сразу; но живая душа, бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все черное, вплоть до (это запомнилось очевидцам) такой мелочи, как леденящие душу черные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал черными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва внятны, даже если они слышны вполне отчетливо. В данном случае было выкрикнуто слово: «Убийство!»

Однако машинист клянется, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий, неповторимый голос, который его выкрикнул.

Едва поезд затормозил, сразу же обнаружились многие подробности недавней трагедии. Мужчина в черном, появившийся на краю зеленого откоса, был лакей сэра Арона Армстронга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над черными перчатками своего мрачного слуги; но теперь никто не склонен был над ними смеяться.

Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почернелую от сажи изгородь, они увидели скатившееся почти до самого низу откоса тело старика в желтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута веревочной петлей, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма многочисленные; но труп был изогнут или, вернее, скорчен и лежал в позе, какую немислимо принять живому существу. Это и был сэр Арон Армстронг. Через несколько минут подоспел

рослый светлорослый человек, в котором кое-кто из ошеломленных пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределенным, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитаниям лакея. А когда из дома появилась еще и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что далее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пыхтя, тронулся к ближайшей станции за помощью.

Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец; он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своем вероисповедании, куда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо: ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему, когда молодой сыщик (чья фамилия была Мертон) вел маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительней, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей.

— Насколько я понимаю, — заявил Мертон без обиняков, — разобраться в этом деле просто невозможно. Тут решительно некого заподозрить. Магнус — напыщенный старый дурак; он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот уже много лет был самым близким другом баронета, ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своем отце. И помимо прочего, все это — сплошная нелепость. Кто стал бы убивать старого весельчака? У кого поднялась бы рука пролить кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это все равно что убить рождественского деда.

— Да, в доме у него действительно царил веселье, — согласился отец Браун. — Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти?

Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством.

— После его смерти? — переспросил он.

— Да, — бесстрастно продолжал священник, — хозяин-то был веселым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме еще хоть один веселый человек, кроме него?

В мозгу у Мертона словно приоткрылось оконце, и через него проник тот странный проблеск удивления, который вдруг

проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вел с полицией; и теперь он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод; обстановка отличалась дурным вкусом и дешевой провинциальностью; в коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия старика, обрамленная серебристо-седой бородой, озаряла ярким костром каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самою жизнерадостностью и кипучестью владельца дома; ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей, ему пришлось признать, что они были лишь тенью хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными черными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре; Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко подстриженную бородку, но в этой соломенно-желтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избороздили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие его было какое-то печальное, почти скорбное, — у него был такой вид, словно в жизни его постигла жестокая неудача. Ну, а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью; лицо у нее такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всем ее облике ощущается затаенный трепет, который делает ее похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота поездов.

— Видите ли, — сказал отец Браун, едва заметно подмигивая, — я отнюдь не уверен, что веселость Армстронга доставляла большое удовольствие... м-м... его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика, а я в этом далеко не убежден: *ne nos inducas in temptatione*¹. Я лично если бы и убил человека, — добавил он с подкупающей простотой, — то уж непременно какого-нибудь оптимиста, смею заверить.

— Почему? — вскричал изумленный Мертон. — Неужели вы считаете, что людям не по душе веселый нрав?

— Людям по душе, когда вокруг них часто смеются, — ответил отец Браун, — но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо.

На этом разговор оборвался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи, а когда добрались до длинной тени от дома Армстронга, отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а не высказать ее всерьез:

¹ Не введи нас во искушение (*лат.*).

— Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковому нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальней.

Начальник Мертон по службе, седовласый сыщик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородака возвышались над его головою. Это было тем заметней еще и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину и, когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, запряженный в прогулочную коляску.

При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвел его на несколько шагов в сторону. А Мертон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо:

— Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в раскрытии этой тайны?

— Никакой тайны здесь нет, — отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости.

— Ну, мне, по крайней мере, кажется, что тайна все же есть, — возразил Мертон с улыбкой.

— Дело совсем простое, мой мальчик, — обронил старший сыщик, поглаживая седую остроконечную бородку. — Через три минуты после того как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна как день. Вы знаете одутловатого лакея в черных перчатках, того самого, который остановил поезд?

— Как не знать. При виде его у меня мурашки поползли по коже.

— Итак, — промолвил Гилдер, — когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник! Удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию, ведь ловко?

— Стало быть, вы совершенно уверены, — заметил младший сыщик, — что он действительно убил своего хозяина?

— Да, сынок, совершенно уверен, — ответил Гилдер сухо, — уже хотя бы по той пустяковой причине, что он прихватил двадцать тысяч фунтов наличными из письменного стола. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжелым предметом, но поблизости тяжелых предметов не обнаружено, а унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно очень маленькое и потому не привлекло внимания.

— Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания, — произнес маленький священник со странным, отрывистым смешком.

Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово спросил отца Брауна, как понимать его слова.

— Я сам знаю, что выразился глупо, — сказал отец Браун со смущением. — Получается как в волшебной сказке. Но бедняга Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зеленой дубиной, очень большой и потому незаметной, ее обычно называют землей. Он расшибся насмерть вот об эту зеленую насыпь, на которой мы сейчас стоим.

— Куда это вы клоните? — с живостью спросил сыщик.

Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощутив глаза. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома, в мезонине, распахнутое настежь окно.

— Разве вы не видите, — сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, — что он упал вон оттуда?

Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнес:

— Да, это вполне вероятно. Но я все-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность.

Отец Браун широко открыл серые глаза.

— Ну как же, — сказал он, — ведь на ноге у трупа обрывок веревки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок?

На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но пронизательный старый сыщик остался доволен объяснением.

— Вы правы, сэр, — сказал он отцу Брауну. — Очко в вашу пользу.

Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея.

— Вот это ловко, черт возьми! Его уже арестовали! — вскричал Гилдер и устремился вперед с неожиданной живостью.

— А деньги были при нем? — крикнул он первому полисмену.

Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил:

— Нет. — Помолчав, он добавил: — По крайней мере, здесь их нету.

— Кто будет инспектор, осмелюсь спросить? — сказал меж тем Магнус.

Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными черными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Арон «спас» его от работы официанта в лондонском рестора-

не, а также (как утверждали некоторые) заодно и от других, куда более неблагоприятных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий, сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину (который был глуховат) речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью, и когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте.

— Я так и знал, что это случится, — произнес он во всеулышание, вызываяще и невозмутимо. — Мой покойный хозяин потешался надо мной, потому что я ношу черную одежду, но я всегда говорил, что зато мне не надо будет надевать траур, когда наступит время идти на его похороны.

Он сделал быстрое, выразительное движение руками в черных перчатках.

— Сержант, — сказал инспектор Гилдер, с бешенством уставившись на черные перчатки. — Почему этот негодяй до сих пор гуляет без наручников? Ведь сразу видно, что перед нами опасный преступник.

— Позвольте, сэр, — сказал сержант, на лице которого застыло бессмысленное удивление. — Я не уверен, что мы имеем на это право.

— Как прикажете вас понимать? — резко спросил инспектор. — Разве вы его не арестовали?

Тонкогубый рот тронула едва уловимая презрительная усмешка, и тут, словно вторя этой издевке, раздался свисток подходящего поезда.

— Мы арестовали его, — сказал сержант серьезно, — в тот самый миг, когда он выходил из полицейского участка в Хайгейте, где передал все деньги своего хозяина в руки инспектора Робинсона.

Гилдер поглядел на лакея с глубочайшим изумлением.

— Чего ради вы это сделали? — спросил он у Магнуса.

— Ну, само собой, чтоб деньги не попали в руки преступника, а были в целости и сохранности, — ответил тот с невозмутимым спокойствием.

— Без сомнения, — сказал Гилдер, — деньги сэра Арона были бы в целости и сохранности, если б вы передали их его семейству.

Последние слова потонули в грохоте колес, и поезд, лязгая и подрагивая, промчался мимо; но этот адский шум, то и дело раздававшийся подле злополучного дома, был перекрыт голосом Магнуса, чьи слова прозвучали явственно и гулко, как удары колокола:

— У меня нет оснований доверять семейству сэра Арона.

Все присутствующие замерли на месте, ощутив, что некто, бесшумно, как призрак, появился рядом; и Мертон ничуть не удивился, когда поднял голову и увидел поверх плеча отца Брауна бледное лицо дочери Армстронга. Она была еще молода

и хороша собою, вся светилась чистотой, но каштановые ее волосы заметно поблекли и потускнели, а кое-где в них даже просвечивала седина.

— Будьте поосторожней в выражениях, — сердито сказал Ройс, — вы напугали мисс Армстронг.

— Смею надеяться, что мне это удалось, — отозвался Магнус своим зычным голосом.

Пока девушка непонимающе глядела на него, а все остальные предавались удивлению каждый на свой лад, он продолжал:

— Я как-то привык к тому, что мисс Армстронг частенько трясется. Вот уже много лет у меня на глазах ее время от времени бьет дрожь. Одни говорили, будто она дрожит от холода, другие утверждали, что это со страху, но я-то знаю, что дрожала она от ненависти и низменной злобы — этих демонов, которые сегодня утром наконец восторжествовали. Если бы не я, ее след бы уже простыл, сбежала бы со своим любовником и со всеми денежками. С тех самых пор как мой покойный хозяин не позволил ей выйти за этого гнусного пьянчугу...

— Замолчите, — сказал Гилдер сурово. — Все эти ваши выдумки или подозрения о семейных делах нас не интересуют. И если у вас нет каких-либо вещественных доказательств, то голословные утверждения...

— Ха! Я представлю вам вещественные доказательства, — прервал его Магнус резким голосом. — Извольте, инспектор, вызвать меня в суд, и я не премину сказать правду. А правда вот она: через секунду после того, как окровавленного старика вышвырнули в окно, я бросился в мезонин и увидел там его дочку. Она валялась в обмороке на полу, и в руке у нее был кинжал, красный от крови. Позвольте мне заодно передать властям вот эту штуку.

Тут он вынул из заднего кармана длинный нож с роговой рукояткой и красным пятном на лезвии и вручил его сержанту. Потом он снова отступил в сторону, и щелки его глаз почти совсем заплыли на пухлой китайской физиономии, сиявшей торжествующей улыбкой.

При виде этого Мертона едва не стошнило; он сказал Гилдеру вполголоса:

— Надеюсь, вы поверите на слово не ему, а мисс Армстронг?

Отец Браун вдруг поднял лицо, необычайно свежее и розовое, словно он только что умылся холодной водой.

— Да, — сказал он, источая неотразимое простодушие. — Но разве слово мисс Армстронг непременно должно противоречить слову свидетеля?

Девушка испустила испуганный, отрывистый крик; все взгляды обратились на нее. Она окаменела, словно разбитая параличом; только лицо, обрамленное тонкими каштановыми волоса-

ми, оставалось живым, потрясенное и недоумевающее. Она стояла с таким видом, как будто на шее у нее затягивалась петля.

— Этот человек,— веско промолвил мистер Гилдер, — недвусмысленно заявляет, что застал вас с ножом в руке, без чувств, сразу же после убийства.

— Он говорит правду, — отвечала Элис.

Когда присутствующие опомнились, они увидели, что Патрик Ройс, пригнув массивную голову, вступил в середину круга, после чего произнес поразительные слова:

— Ну что ж, если мне все равно пропадать, я сперва хоть отведу душу.

Его широкие плечи всколыхнулись, и железный кулак нанес сокрушительный удар по благодушной восточной физиономии мистера Магнуса, который тотчас же распростерся на лужайке, словно морская звезда. Несколько полисменов немедленно схватили Ройса; остальным же от растерянности почудилось, будто все разумное летит в тартарары и мир превращается в сцену, на которой разыгрывается нелепое шутовское зрелище.

— Бросьте эти штучки, мистер Ройс, — властно сказал Гилдер. — Я арестую вас за оскорбление действием.

— Ничего подобного, — возразил ему Ройс голосом гулким, как железный гонг. — Вы арестуете меня за убийство.

Гилдер с тревогой взглянул на поверженного; но тот уже сел, вытирая редкие капли крови с почти не поврежденного лица, и потому инспектор только спросил отрывисто:

— Что это значит?

— Этот малый сказал истинную правду, — объяснил Ройс. — Мисс Армстронг лишилась чувств и упала с ножом в руке. Но она схватила нож не для того, чтобы убить своего отца, а для того, чтобы его защитить.

— Защитить? — повторил Гилдер серьезно. — От кого же?

— От меня, — отвечал Ройс.

Элис взглянула на него ошеломленно и испуганно; потом проговорила тихим голосом:

— Ну что ж, в конце концов я рада, что вы не утратили мужества.

Мезонин, где была комната секретаря (довольно тесная келья для такого исполинского отшельника), хранил все следы недавней драмы. Посреди комнаты, на полу, валялся тяжелый револьвер, по-видимому, кем-то отброшенный в сторону; чуть левее откатилась к стене бутылка из-под виски, откупоренная, но недопитая. Тут же лежала скатерть, сорванная с маленького столика и растоптанная, а обрывок веревки, такой же самой, какую обнаружили на трупе, был переброшен через подоконник и нелепо болтался в воздухе. Осколки двух разбитых вдребезги ваз усеивали каминную полку и ковер.

— Я был пьян, — сказал Ройс; простота, с которой держался этот преждевременно состарившийся человек, выглядела трогательно, как первое раскаяние нашалившего ребенка.

— Вы все слышали про меня, — продолжал он хриплым голосом. — Всякий слышал, как началась моя история, и теперь она, видимо, кончится столь же печально. Некогда я слыл умным человеком и мог бы быть счастлив: Армстронг спас остатки моей души и тела, вытащил меня из кабаков и всегда по-своему был ко мне добр, бедняга! Только он ни в коем случае не позволил бы мне жениться на Элис, и надо прямо признать, что он был прав. Ну, а теперь сами делайте выводы, не принуждайте меня касаться подробностей. Вон там, в углу, моя бутылка с виски, выпитая наполовину, а вот мой револьвер на ковре, уже разряженный. Веревка, которую нашли на трупе, лежала у меня в ящике, и труп был выброшен из моего окна. Вам незачем пускаться по моему следу сыщиков, чтобы проследить мою трагедию: она не нова в этом проклятом мире. Я сам обрекаю себя на виселицу, и, видит Бог, этого вполне достаточно!

Инспектор сделал едва уловимый жест, и полисмены окружили дюжего человека, готовясь увести его незаметно; но им это не вполне удалось ввиду поразительного появления отца Брауна, который внезапно переступил порог, двигаясь по коврам на четвереньках, словно он совершал некий кощунственный обряд. Совершенно равнодушный к тому впечатлению, которое его поступок произвел на окружающих, он остался в этой позе, но повернул к ним умное круглое лицо, похожий на забавное четвероногое существо с человеческой головою.

— Послушайте, — сказал он добродушно, — право же, это ни в какие ворота не лезет, согласитесь сами. Сначала вы заявили, что не нашли оружия. Теперь же мы находим его в избытке: вот нож, которым можно зарезать, вот веревка, которой можно удавить, и вот револьвер, а в конечном итоге старик разбился, выпав из окна. Нет, я вам говорю, это ни в какие ворота не лезет. Это уж слишком.

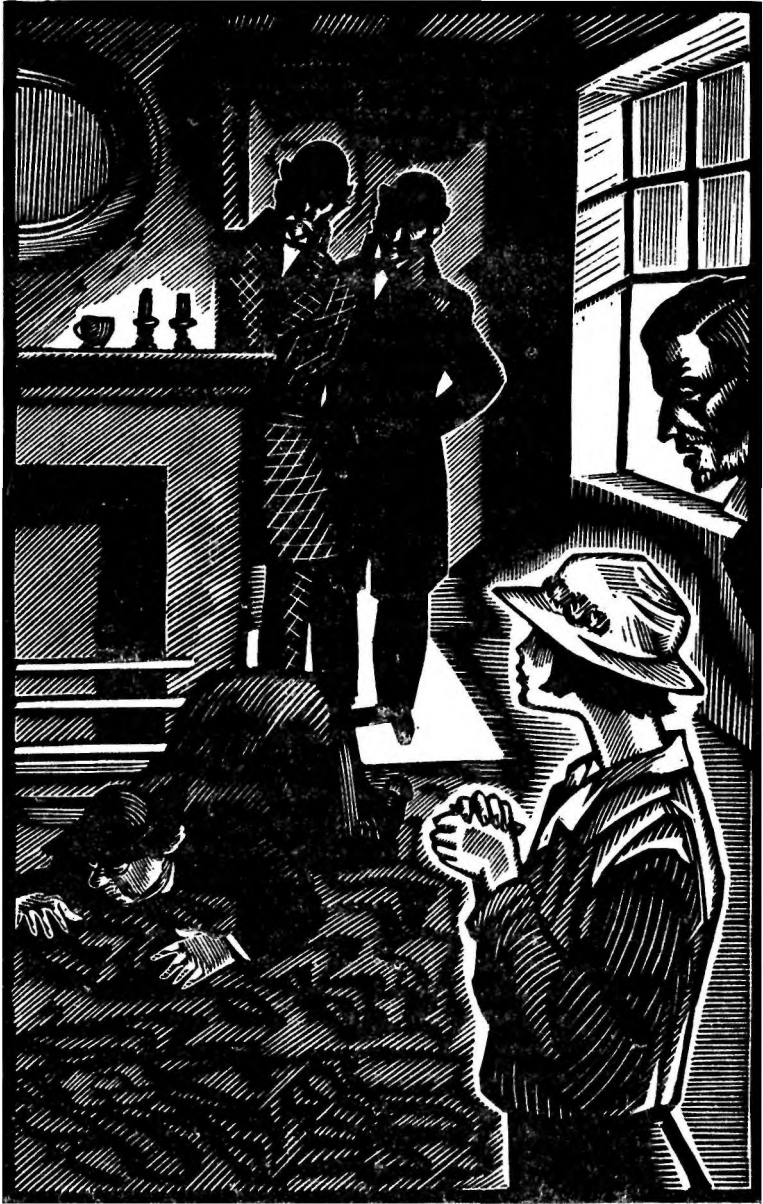
И он тряхнул опущенной головой, словно конь на пастбище.

Инспектор Гилдер, преисполненный решимости, открыл рот, но не успел слова вымолвить, потому что забавный человек, стоявший на четвереньках, продолжал свои пространственные рассуждения:

— И вот перед нами три немыслимых обстоятельства. Первое — это дыры в ковре, куда угодили шесть пуль. С какой стати кому-то понадобилось стрелять в ковер? Пьяный дырявит голову врагу, который скалит над ним зубы. Он не ищет повода ухватить его за ноги или взять приступом его домашние туфли. А тут еще эта веревка...

Оторвавшись от ковра, отец Браун поднял руки, сунул их в карманы, но продолжал стоять на коленях.

— В каком умопостижимом опьянении может человек захлестывать петлю на чьей-то шее, а в результате захлестнуть ее на



ноге? И в любом случае Ройс не был так уж сильно пьян, иначе он сейчас спал бы беспробудным сном. Но самое явное свидетельство — это бутылка с виски. По-вашему, выходит, что алкоголик дрался за бутылку, одержал верх, потом швырнул ее в угол, причем половину пролил, а ко второй половине даже не притронулся. Смеем заверить, никакой алкоголик так не поступит.

Он неуклюже встал на ноги и с явным сожалением сказал мнимому убийце, который оговорил сам себя:

— Мне очень жаль, любезнейший, но ваша версия, право же, неудачна.

— Сэр,— тихонько сказала Элис Армстронг священнику, — вы позволите поговорить с вами наедине?

Услышав эту просьбу, словоохотливый пастырь прошел через лестничную площадку в другую комнату, но прежде чем он успел открыть рот, девушка заговорила сама, и в голосе ее звучала неожиданная горечь.

— Вы умный человек,— сказала она, — и вы хотите выручить Патрика, я знаю. Но это бесполезно. Подоплека у этого дела прескверная, и чем больше вам удастся выяснить, тем больше будет улик против несчастного человека, которого я люблю.

— Почему же? — спросил Браун, твердо глядя ей в лицо.

— Да потому,— ответила она с такой же твердостью, — что я своими глазами видела, как он совершил преступление.

— Так! — невозмутимо сказал Браун. — И что же именно он сделал?

— Я была здесь, в этой самой комнате,— объяснила она. — Обе двери были закрыты, но вдруг раздался голос, какого я не слыхала в жизни, голос, похожий на рев. «Ад! Ад! Ад!» — выкрикнул он несколько раз кряду, а потом обе двери содрогнулись от первого револьверного выстрела. Прежде чем я успела распахнуть эту и ту двери, грянули три выстрела, а потом я увидела, что комната полна дыма и револьвер в руке моего бедного Патрика тоже дымится, и я видела, как он выпустил последнюю страшную пулю. Потом он прыгнул на отца, который в ужасе прижался к оконному косяку, сцепился с ним и попытался задушить его веревкой, которую накиннул ему на шею, но в борьбе веревка соскользнула с плеч и упала к ногам. Потом она захлестнула одну ногу, а Патрик, как безумный, поволок отца. Я схватила с пола нож, кинулась между ними и успела перерезать веревку, а затем лишилась чувств.

— Понятно, — сказал отец Браун все с той же бесстрастной любезностью. — Благодарю вас.

Девушка поникла под бременем тяжелых воспоминаний, а священник спокойно ушел в соседнюю комнату, где оставались только Гилдер и Мертон с Патриком Ройсом, который в наручниках сидел на стуле. Отец Браун сказал инспектору:

— Вы позволите мне поговорить с арестованным в вашем присутствии? И нельзя ли на минутку освободить его от этих никчемных наручников?

— Он очень силен,— сказал Мертон вполголоса. — Зачем вы хотите снять наручники?

— Я хотел бы,— смиренно произнес священник, — удостоиться чести пожать ему руку.

Оба сыщика устались на отца Брауна в недоумении, а тот продолжал:

— Сэр, вы не расскажете им, как было дело?

Сидевший на стуле покачал взъерошенной головой, а священник нетерпеливо обернулся.

— Тогда я расскажу сам,— проговорил он. — Человеческая жизнь дороже посмертной репутации. Я намерен спасти живого, и пускай мертвые хоронят своих мертвецов.

Он подошел к роковому окну и, помаргивая, продолжал:

— Я уже говорил вам, что в данном случае перед нами слишком много оружия и всего лишь одна смерть. А теперь я говорю, что все это не служило оружием и не было использовано, дабы причинить смерть. Эти ужасные орудия — петля, окровавленный нож, разряженный револьвер — служили своеобразному милосердию. Их употребили отнюдь не для того, чтобы убить сэра Арона, а для того, чтобы его спасти.

— Спасти! — повторил Гилдер. — Но от чего?

— От него самого,— сказал отец Браун, — он был сумасшедший и пытался наложить на себя руки.

— Как? — вскричал Мертон, полный недоверия. — А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?

— Это жестокое вероисповедание, — сказал священник, взглядывая из окна. — Почему бы ему не поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществиться, душа стала холодной как лед: под веселой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того чтобы поддержать свою репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живет в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого предостерегал других. Ужас этот безвременно погубил беднягу Армстронга. Сегодня утром он был в невыносимом состоянии, сидел здесь и кричал, что он в аду, таким безумным голосом, что собственная дочь его не узнала. Он безумно жаждал смерти и с редкостной изобретательностью, свойственной одержимым людям, разбросал вокруг себя смерть в разных обликах: петлю-удавку, револьвер своего друга и нож. Ройс случайно вошел сюда и действовал немедленно. Он швырнул нож на ковер, схватил револьвер и, не имея времени его разрядить, выпустил все пули одна за другой прямо в пол. Но тут самоубийца увидел четвертое обличье смерти и метнулся к окну. Спаситель сделал единственное, что оставалось, — кинулся за ним с веревкой и попытался связать его по рукам и по ногам. Тут-то и вбежала несчастная девушка и, не понимая, из-за чего происходит борьба,

попыталась освободить отца. Сперва она только полоснула ножом по пальцам бедняги Ройса, отсюда и следы крови на лезвии. Вы, разумеется, заметили, что, когда он ударил лакея, кровь на лице была, хотя никакой раны не было? Перед тем как упасть без чувств, бедняжка успела перерезать веревку и освободить отца, а он выпрыгнул вот в это окно и низвергся в вечность.

Наступило долгое молчание, которое наконец нарушило звяканье металла, — это Гилдер разомкнул наручники, сковывавшие Патрика Ройса, и заметил:

— Думается мне, сэр, вам следовало сразу сказать правду. Вы и эта юная особа стоите больше, чем некролог Армстронга.

— Плевать мне на этот некролог! — грубо крикнул Ройс. — Разве вы не понимаете — я молчал, чтобы скрыть от нее!

— Что скрыть? — спросил Мертон.

— Да то, что она убила своего отца, болван вы этакий! — рявкнул Ройс. — Ведь когда бы не она, он был бы сейчас жив. Если она узнает, то сойдет с ума от горя.

— Право, не думаю, — заметил отец Браун, берясь за шляпу. — Пожалуй, я лучше скажу ей сам. Даже роковые ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. И во всяком случае, мне кажется, впредь вы будете гораздо счастливее. А я сейчас должен вернуться в школу для глухих.

Когда он вышел на лужайку, где трава колыхалась от ветра, его окликнул какой-то знакомый из Хайгейта:

— Только что приехал следователь. Сейчас начнется дознание.

— Я должен вернуться в школу, — сказал отец Браун. — К сожалению, мне недосуг, и я не могу присутствовать при дознании.

ОТСУТСТВИЕ МИСТЕРА КАНА

Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройством, находился в Скарборо, и за окнами его — как и за другими огромными и светлыми окнами — сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент; а здесь и в комнатах царил невыносимый, поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке, — и роскошь и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут — на столике стояло коробок десять самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые — поближе. Был здесь и набор превосходных напитков, но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия — в левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали — читали, наверно; и все же казалось, что они прикреплены цепью, как Библия в старых церквях. Доктор Гуд читал свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам.

Доктор Орион Гуд мерил шагами пространство, ограниченное (как говорят в учебниках) Северным морем с востока, а с запада — рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. Волосы его сильно поседели, но не поредели; лицо было худое, но бодрое. И он и его жилище казались и тревожными, и строгими как море, у которого он (ради здоровья, конечно) построил себе дом.

Судьба, по-видимому, шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления непохожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое, краткое «прошу» дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно борющийся с зонтиком и шляпой. Зонт был черный, старый, давно не ведавший починки; шляпа — широкополая, редкая в этих краях; владелец же их казался воплощением беззащитности.

Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое, безвредное чудище, выползшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся в омнибус; как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала, упал и зонтик; он наклонился, чтоб их поднять, но круглое, радостное лицо было обращено к хозяйину.

— Моя фамилия Браун,— проговорил он. — Простите меня, пожалуйста. Я из-за Макнэбов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так.

Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке.

— Я не совсем понимаю, — сказал ученый сдержанно и холодно. — Боюсь, вы ошиблись адресом. Я — доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам...

— Это как раз очень важно! — прервал его гость-коротышка. — Вы подумайте, ее мать не даст им пожениться! — И он откинулся в кресле, явно торжествуя.

Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может, и смех.

— Понимаете, они хотят пожениться, — говорил человечек в странной шляпе. — Мэгги Макнэб и Тодхантер хотят пожениться. Что на свете важнее?

Профессорские триумфы отняли у Гуда многое — быть может, здоровье, быть может, веру; однако он еще умел дивиться нелепости. При последнем доводе что-то щелкнуло у него внутри, и он опустился в кресло, улыбаясь немного насмешливо, как врач на приеме.

— Мистер Браун,— серьезно сказал он, — прошло четырнадцать с половиной лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра. Сейчас, как я понимаю, дело идет о том, годится ли в невесты некоему Тодхантеру ваша знакомая по имени Мэгги. Что ж, мистер Браун, я люблю риск. Берусь вам помочь. Семейство Макнэбов получит совет, такой же ценный, как тот, что получили французский президент и английский король. Нет, лучший — на четырнадцать лет. Сегодня я свободен. Итак, что же у вас случилось?

Гость-коротышка поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно (так благодарят соседа, передавшего спички, а не прославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку), и сразу, без перерыва, перешел к рассказу.

— Я уже говорил, моя фамилия — Браун. Служу я в католической церковке, вы ее видели, наверное, — там, за мрачными улицами, в северном конце. На самой последней и самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Макнэб, женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнаты, и у нее есть дочь, и эта дочь, и она, и постояльцы... ну, каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец, зовут его Тодхантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери.

— А дочь? — спросил Гуд, сильно забавляясь. — Чего же хочет она?

— Как — чего? — воскликнул священник и выпрямился в кресле. — Выйти за него, конечно! В том-то и сложность.

— Да, загадка страшная, — сказал доктор Гуд.

— Джеймс Тодхантер, — продолжал священник, — человек хороший, насколько мне известно, а известно о нем немного. Он невысокий, смуглый, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер, и вежливый, как чичероне. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Макнэб, женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным, скорее всего — делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смиренные — он, бедняга, просто сидит часами заперти. Он говорит, что это временно, так надо, до свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету, но миссис Макнэб твердо знает еще много вещей. Вам ли объяснять, как быстро порастают легендой пути неведения! Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса, а когда дверь открыта — жилец всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре вышел из тумана, чуть ли не из моря, тихо пересек пляж и садик и говорил с Тодхантером у заднего окна. Кажется, беседа обернулась ссорой — хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане. Семья в это верит, но у миссис Макнэб есть и своя версия: тот, «другой» (кем бы он ни был), выходит по ночам из сундука, который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные «Тысячи и одной ночи». А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден, как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца, а главное, он пленил старшую, и она готова хоть сейчас за него замуж.

Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам. Знаменитый ученый не без гордости снизошел к просто-душию священника. Усевшись поудобнее, он начал рассеянным тоном лектора:

— В любом, даже ничтожном, случае следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть,

но цветы вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибой — есть. Для ученого история — цепь сменяющих друг друга миграций. Людские потоки приходят, затем — исчезают, как исчезают осенью мухи или птицы. Основа истории — раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому — дикая, исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши Макнэбы. Кельты малорослы, смуглы, ленивы и мечтательны; они легко принимают любое суеверие — скажем (простите, конечно), то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом моря и звуками органа (простите!), объясняют фантастическим образом самые обычные вещи? Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух голосах и выходе из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной стаи. Он видит, как тысячи старух в тысячах домов вливают ложку кельтской горечи в чайную чашку соседки. Он видит...

Тут за дверью снова раздался голос, на сей раз — нетерпеливый. По коридору, свистя юбкой, кто-то пробежал, и в кабинет ворвалась девушка. Одета она была хорошо, но не совсем аккуратно. Ее светлые волосы развевались, а лицо ее назвали бы прелестным, если бы скулы, как у многих шотландцев, не были шире и ярче, чем следует.

— Простите, что помешала! — воскликнула она так резко, словно приказывала, а не просила прощения. — Я за отцом Брауном. Дело страшное.

— Что случилось, Мэгги? — спросил священник, неуклюже поднимаясь.

— Кажется, Джеймса убили, — ответила она, переводя дух. — Этот Кан опять приходил. Я слышала через дверь два голоса. У Джеймса голос низкий, а у этого — тонкий, злой...

— Кан? — повторил священник в некотором замешательстве.

— Его так зовут! — нетерпеливо крикнула Мэгги. — Я слышала, они ругались. Из-за денег, наверное. Джеймс говорил все время: «Так... так... мистер Кан... нет, мистер Кан... два, три, мистер Кан». Ах, что мы болтаем! Идите скорее, еще можно успеть!

— Куда именно? — спросил ученый, с интересом глядевший на гостью. — Почему денежные дела мистера Кана требуют такой срочности?

— Я хотела выломать дверь, — сказала девушка, — и не смогла. Тогда я побежала во двор и влезла на подоконник. В комнате было совершенно темно, вроде бы пусто, но, честное слово, в углу лежал Джеймс. Его отравили, задушили...

— Это очень серьезно, — сказал священник и встал, не без труда собрав непокорные вещи. — Я сейчас говорил о вашем деле доктору, и его точка зрения...

— Сильно изменилась,— перебил ученый. — Кажется, в нашей гостье не так уж много кельтского. Сейчас я свободен. Надену-ка я шляпу и пойду с вами в город.

Несколько минут спустя они достигли мрачного устья нужной им улицы. Девушка ступала твердо и неутомимо, как горцы; ученый двигался мягко, но ловко, как леопард; священник семенил бодрой рысцой, не претендуя на изящество. Эта часть города в какой-то мере оправдывала рассуждения о навевающей печаль среде. Дома тянулись вдоль берега прерывистым, неровным рядом; сгущались ранние, мрачные сумерки; море, лиловое, как чернила, шумело довольно грозно. В жалком садике, спускавшемся к берегу, стояли черные, голые деревья, словно черти вскинули лапы от удивления. Навстречу бежала хозяйка, взметнув к небу худые руки; ее суровое лицо было темным в тени, и сама она чем-то походила на черта. Доктор и священник слушали, кивая, как она сообщает уже известные им вещи, прибавляя жуткие детали и требуя отмщения незнакомцу за то, что он убил, и жильцу — за то, что он убит, и за то, что он сватался к дочери, и за то, что так и не дожил до свадьбы. Потом по узким коридорам они дошли до запертой двери, и доктор ловко, как старый сыщик, выломал ее плечом.

В комнате было тихо и страшно. Первый же взгляд неоспоримо доказывал, что тут отчаянно боролись по меньшей мере два человека. На столике и на полу валялись карты, словно кто-то внезапно прервал игру. Два стакана стояли на столике — вино налить не успели, — а третий звездой осколков сверкал на ковре. Неподалеку от него лежал длинный нож, верней — короткая шпага с причудливой, узорной рукоятью; на матовое лезвие падал серый свет из окна, за которым чернели деревья на свинцовом фоне моря. В другом углу поблескивал цилиндр, должно быть, сбитый с головы; и казалось, что он еще катится. В третий же угол небрежно, как куль картошки, кинули Джеймса Тодхантера, обвязав его, однако, словно багаж, и заткнув шарфом рот, и скрутив руки и ноги. Темные его глаза бегали по сторонам.

Доктор Орион Гуд постоял у порога, глядя туда, где все беззвучно говорило о насилии. Потом, быстро ступая по коврику, он пересек комнату, поднял цилиндр и, глядя очень серьезно, примерил его связанному Тодхантеру. Цилиндр был так велик, что закрыл едва не все лицо.

— Шляпа мистера Кана, — сказал ученый, разглядывая подкладку в лупу. — Почему же шляпа здесь, а владельца нет? Кан не грешит небрежностью в одежде, цилиндр — очень модный, хотя и не новый, его часто чистят. По-видимому, Кан — старый денди.

— О Господи! — выкрикнула Мэгги. — Вы б лучше его развязали.

— Я намеренно говорю «старый», — продолжал Гуд, — хотя, быть может, доводы мои немного натянуты. Волосы выпадают у людей по-разному, но все же выпадают, и я бы различил через

лупу мелкие волоски. Их нет. Потому я и считаю, что мистер Кан — лысый. Сопоставим это с высоким, резким голосом, который так живо описала мисс Макнэб (потерпите, мой друг, потерпите!), сопоставим лысый череп с истинно старческой сварливостью — и мы посмеем, мне кажется, сделать свои выводы. Кроме того, мистер Кан подвижен и почти несомненно — высок. Я мог бы сослаться на рассказ о высоком человеке в цилиндре, но есть и более точные указания. Стакан разбит, и один из осколков лежит на консоле над камином. Он бы туда не попал, если б разбился в руке такого невысокого человека, как Тодхантер.

— Кстати, — вмешался священник, — не развязать ли его?

— Стаканы говорят не только об этом, — продолжал эксперт. — Я сказал бы сразу, что мистер Кан лыс или раздражителен не столько от лет, сколько от разгульной жизни. Как известно, Тодхантер тих, скромн, бережлив, он не пьет и не играет. Следовательно, карты и стаканы он припас для данного гостя. Но этого мало. Пьет он или не пьет, вина у него нету. Что же было в стаканах? Осмелюсь предположить, что там было бренди или виски, по-видимому, дорогого сорта, а наливал его мистер Кан из своей фляжки. Мы узнаем определенный тип: человек высокий, немолодой, элегантный, немного потрепанный, игрок и пьяница. Такие люди часто встречаются на обочине общества.

— Вот что, — закричала девушка, — если вы меня к нему не пустите, я побегу звать полицию!

— Не советовал бы вам, мисс Макнэб, — серьезно сказал Гуд, — спешить за полицией. Мистер Браун, прошу вас, успокойте своих подопечных — ради них, не ради меня. И так, мы знаем главное о мистере Кане. Что же мы знаем о Тодхантере? Три вещи: он скуповат, он довольно состоятелен, у него есть тайна. Всякому ясно, что именно это — характеристика жертвы шантажа. Не менее ясно, что поблекший лоск, дурные привычки и озлобленность — неоспоримые черты шантажиста. Перед вами типичные персонажи трагедии этого типа: с одной стороны, приличный человек, скрывающий что-то, с другой — стареющий стервятник, чующий добычу. Сегодня они встретились, столкнулись, и дело дошло до драки, верней, до кровопролития.

— Вы развяжете веревки? — упрямо спросила девушка.

Доктор Гуд бережно поставил цилиндр на столик и направился к пленнику. Он осмотрел его, даже подвинул и повернул немного, но ответил только:

— Нет. Я не развяжу их, пока полицейские не принесут наручников.

Священник, тупо глядевший на ковер, обратил к нему круглое лицо.

— Что вы хотите сказать? — спросил он.

Ученый поднял с ковра странную шпагу и, отвечая, внимательно разглядывал ее.

— Ваш друг связан,— начал он, — и вы решаете, что его связал Кан. Связал и сбегал. У меня же — четыре возражения. Во-первых, с чего бы такому щеголю оставлять по своей воле цилиндр? Во-вторых,— он подошел к окну, — это единственный выход, а он заперт изнутри. В-третьих, на клинке капля крови, а на Тодхантере нет ран. Противник, живой или мертвый, унес эту рану на себе. И наконец, вспомним то, с чего мы начали. Скорей жертва шантажа прикончит своего мучителя, чем шантажист зарежет курицу, несущую золотые яйца. Кажется, довольно логично.

— А веревки? — спросил священник, восхищенно и растерянно глазевший на него.

— Ах, веревки... — протянул ученый. — Мисс Макнэб очень хотела узнать, почему я не развязываю ее друга. Что ж, отвечу. Потому что он и сам может высвободиться когда угодно.

— Что? — воскликнули все, удивляясь каждый по-своему.

— Я осмотрел узлы,— спокойно пояснил эксперт. — К счастью, я в них немного разбираюсь, криминологам это нужно. Каждый узел завязал он сам, ни одного не мог сделать посторонний. Уловка умная. Тодхантер притворился, что жертва — он, а не злосчастный Кан, чье тело зарыто в саду или скрыто в камине.

Все уныло молчали; становилось темнее; искривленные морем ветви казались чернее, суше и ближе, словно морские чудовища выползли из пучины к последнему акту трагедии, как некогда выполз оттуда загадочный Кан, злодей или жертва, чудовище в цилиндре. Смеркалось, словно сумерки — темное зло шантажа, гнуснейшего из преступлений, где подлость покрывает подлость черным пластырем на черной ране.

Приветливое и даже смешное лицо коротышки-священника вдруг изменилось. Его искривила гримаса любопытства — не прежнего, детского, а того, с какого начинаются открытия.

— Повторите, пожалуйста,— смущенно сказал он. — Вы считаете, что мистер Тодхантер сам себя связал и сам развяжет?

— Вот именно,— ответил ученый.

— О Господи! — воскликнул священник. — Неужели правда?

Он засеменил по комнате как кролик и с новым пристальным вниманием воззрелся на полужакрытое цилиндрическое лицо. Затем обернулся к собравшимся свое лицо, довольно простоватое.

— Ну конечно! — взволнованно вскричал он. — Разве вы не видите? Да посмотрите на его глаза!

И ученый и девушка посмотрели и увидели, что верхняя часть лица, не закрытая шарфом, как-то странно кривится.

— Да, глаза странные,— заволновалась Мэгги. — Звери! Ему больно!

— Нет, не то,— возразил ученый. — Выражение действительно особенное... Я бы сказал, что эти поперечные морщины свидетельствуют о небольшом психологическом сдвиге...

— Боже милостивый! — закричал Браун. — Вы что, не видите? Он смеется!

— Смеется? — повторил доктор. — С чего бы ему смеяться?

— Как вам сказать...— виновато начал Браун. — Не хочется вас обидеть, но смеется он над вами. Я бы и сам посмеялся, раз уж все знаю.

— Что вы знаете? — не выдержал Гуд.

— Чем он занимается, — ответил священник.

Он семенил по комнате, как-то бессмысленно глядя на вещи и бессмысленно хихикая над каждой, что, естественно, всех раздражало. Сильно смеялся он над черным цилиндром, еще сильнее — над осколками, а капля крови чуть не довела его до судорог. Наконец он обернулся к угрюмому Гуду.

— Доктор! — восторженно вскричал он. — Вы — великий поэт! Вы, словно Бог, вызвали тварь из небытия. Насколько это чудесней, чем верность фактам! Да факты просто смешны, просто глупы перед этим!

— Не понимаю, — высокомерно сказал Гуд. — Факты мои неоспоримы, хотя и недостаточны. Я отдаю должное интуиции (или, если вам угодно, поэзии) только потому, что собраны еще не все детали. Мистера Кана нет...

— Вот-вот! — весело закивал священник. — В том-то и дело — его нет. Его совсем нет, — прибавил он задумчиво, — совсем; совершенно.

— Вы хотите сказать, его нет в городе? — спросил Гуд.

— Его нигде нет, — ответил Браун. — Он отсутствует по сути своей, как говорится.

— Вы действительно полагаете, — улыбнулся ученый, — что такого человека нет вообще?

Священник кивнул.

Орион Гуд презрительно хмыкнул.

— Что ж, — сказал он, — прежде чем перейти к сотне с лишним других доказательств, возьмем первое — то, с чем мы сразу столкнулись. Если его нет, кому тогда принадлежит эта шляпа?

— Тодхантеру, — ответил Браун.

— Она ему велика! — нетерпеливо крикнул Гуд. — Он не мог бы носить ее.

Священник с бесконечной кротостью покачал головой.

— Я не говорю, что он ее носит, — ответил он. — Я сказал, что это его шляпа. Небольшая, но все же разница.

— Что такое? — переспросил криминолог.

— Нет, подумайте сами! — воскликнул кроткий священник, впервые поддавшись нетерпению. — Зайдите в ближайшую лавку — и вы увидите, что шляпник вовсе не носит своих шляп.

— Он извлекает из них выгоду, — возразил Гуд. — А что извлекает из шляпы Тодхантер?

— Кроликов, — ответил Браун.

— Что? — закричал Гуд.

— Кроликов, ленты, сласти, рыбок, серпантин, — быстро перечислил священник. — Как же вы не поняли, когда догадались

про узлы? И со шпагой то же самое. Вы сказали, что на нем нет раны. И правда — рана в нем.

— Под рубашкой? — серьезно спросила хозяйка.

— Нет, в нем самом, внутри, — ответил священник.

— А, черт, что вы хотите сказать?

— Мистер Тодхантер учится, — мягко пояснил Браун. — Он хочет стать фокусником, жонглером и чревовещателем. Шляпа — для фокусов. На ней нет волос не потому, что ее носил лысый Кан, а потому, что ее никто не носил. Стаканы — для жонглирования. Тодхантер бросал их и ловил, но еще не наловчился как следует и разбил один об потолок. И шпагой он жонглировал, а кроме того, учился ее глотать. Глотанье шпаг — почетное и трудное дело, но тут он тоже еще не наловчился и поцарапал горло. Там — ранка, довольно легкая, а то бы он был печальней. Еще он учился освобождаться от пут и как раз собирался высвободиться, когда мы ворвались. Карты, конечно, для фокусов, а на пол они упали, когда он упражнялся в их метании. Понимаете, он хранил тайну, фокусникам нельзя иначе. Когда прохожий в цилиндре заглянул в окно, он его прогнал, а люди наговорили таинственного вздора, и мы поверили, что его мучает щеголеватый призрак.

— А как же два голоса? — удивленно спросила Мэгги.

— Разве вы никогда не видели чревовещателя? — спросил Браун. — Разве вы не знаете, что он говорит нормально, а отвечает тем тонким, скрипучим, странным голосом, который вы слышали?

Все долго молчали. Доктор Гуд внимательно смотрел на священника, странно улыбаясь.

— Да, вы умны, — сказал он. — Лучше и в книге не напишешь. Только одного вы не объяснили: имени. Мисс Макнэб ясно слышала: «Мистер Кан».

Священник по-детски захихикал.

— А, — сказал он, — это глупее всего. Наш друг бросал стаканы и считал, сколько словил, а сколько упало. Он говорил: «Раз-два-три — мимо стакан, раз-два-три — мимо стакан...»

Секунду стояла тишина, потом все засмеялись. Тогда лежащий в углу с удовольствием сбросил веревки, встал, поклонился и вынул из кармана красно-синюю афишу, сообщавшую, что Саладин, первый в мире фокусник, жонглер, чревовещатель и прыгун, выступит с новой программой в городе Скарборо в понедельник, в восемь часов.

РАЗБОЙНИЧИЙ РАЙ

Прославленный Мускари, самобытнейший из молодых итальянских поэтов, быстро вошел в свой любимый ресторан, расположенный над морем, под тентом, среди лимонных и апельсиновых деревьев. Лакеи в белых фартуках расставляли на белых столиках все, что полагается к изысканному завтраку, и это обрадовало поэта, уже и так взволнованного свыше всякой меры. У него был орлиный нос, как у Данте, темные волосы и темный шарф легко отлетали в сторону, он носил черный плащ и мог бы носить черную маску, ибо все в нем дышало венецианской мелодрамой. Держался он так, словно у трубадура и сейчас была четкая общественная роль, как, скажем, у епископа. Насколько позволял век, он шел по миру, словно Дон-Жуан, с рапирой и гитарой. Он возил с собой целый ящик шпаг и часто дрался, а на мандолине, которая тоже передвигалась в ящике, играл, воспевая мисс Этель Харрогит, чрезвычайно благовоспитанную дочь йоркширского банкира. Однако он не был ни шарлатаном, ни младенцем; он был логичным латинянином, который стремится к тому, что считает хорошим. Стихи его были четкими, как проза. Он хотел славы, вина, красоты с буйной простотой, которой и быть не может среди туманных северных идеалов и северных компромиссов; и северным людям его напор казался опасным, а может — преступным. Как море или огонь, он был слишком прост, чтобы ему довериться.

Банкир с дочерью остановились в том самом отеле, чей ресторан Мускари так любил; собственно, потому он и любил этот ресторан. Но сейчас, окинув взглядом зал, поэт увидел, что англичан еще нет. Ресторан сверкал, народу в нем было мало. В углу, за столиком, беседовали два священника, но Мускари, при всей его пламенной вере, обратил на них не больше внимания, чем на двух ворон. От другого столика, наполовину скрытого увешанным золотыми плодами деревцем, к нему направился

человек, чья одежда во всем противоречила его собственной. На нем был пегий клетчатый пиджак, яркий галстук и тяжелые рыжие ботинки. По канонам спортивно-мещанской моды, он выглядел и до грубости кричаще, и до пошлости обыденно. Но чем ближе подходил вульгарный англичанин, тем яснее видел удивленный тосканец, как не соответствует костюму его голова. Темное лицо, увенчанное черными кудрями, торчало, как чужое, из картонного воротничка и смешного розового галстука; и несмотря на жуткие несгибаемые одежды поэт понял, что перед ним — старый, забытый приятель по имени Эцца. В школе он был вундеркиндом, в пятнадцать лет ему пророчили славу, но, выйдя в мир, он не имел успеха ни в театре, ни в политике, и стал путешественником, коммивояжером или журналистом. Мускари не видел его с тех пор, как он был актером, но слышал, что превратности этой профессии совсем сломили и раздали его.

— Эцца! — воскликнул поэт, радостно пожимая ему руку. — В разных костюмах я тебя видел на сцене, но такого не ждал. Ты — и англичанин.

— Почему же англичанин? — серьезно переспросил Эцца. — Так будут одеваться итальянцы.

— Мне больше нравится их прежний костюм, — сказал поэт. Эцца покачал головой.

— Это старая твоя ошибка, — сказал он, — и старая ошибка Италии. В шестнадцатом, веке погоду делали мы, тосканцы: мы создавали новый стиль, новую скульптуру, новую науку. Почему бы сейчас нам не поучиться у тех, кто создал новые заводы, новые машины, новые банки и новые моды?

— Потому что нам все это ни к чему, — отвечал Мускари. — Итальянца не сделаешь прогрессивным, он слишком умен. Тот, кто знает короткий путь к счастью, не поедет в объезд по шоссе.

— Для меня итальянец — Маркони, — сказал Эцца. — Вот я и стал футуристом и гидом.

— Гидом! — засмеялся Мускари. — Кто же твои туристы?

— Некий Харрогит с семьей, — ответил Эцца.

— Неужели банкир? — заволновался Мускари.

— Он самый, — сказал гид.

— Что ж, это выгодно? — спросил Мускари.

— Выгода будет, — странно улыбнулся Эцца и перевел разговор. — У него дочь и сын.

— Дочь богиня, — твердо сказал Мускари. — Отец и сын, наверное, люди. Но ты пойми, это все доказывает мою, а не твою правоту. У Харрогита миллионы, у меня — дыра в кармане. Однако даже ты не считаешь, что он умнее меня, или храбрее, или энергичней. Он не умен; у него глаза, как голубые пуговицы. Он не энергичен; он переваливается из кресла в кресло. Он нудный старый дурак, а деньги у него есть, потому что он их собирает, как школьник собирает марки. Для дела у тебя слишком много

мозгов. Ты не преуспеешь, Эцца. Пусть даже для делового успеха и нужен ум, но только глупый захочет делового успеха.

— Ничего, я достаточно глуп,— сказал Эцца. — А банкира доругаешь потом, вот он идет.

Прославленный финансист действительно входил в зал, но никто на него не смотрел. Грузный, немолодой, с тускло-голубыми глазами и серо-бурыми усами, он походил бы на полковника в отставке, если бы не тяжелая поступь. Сын его Фрэнк был красив, кудряв, он сильно загорел и двигался легко; но никто и на него не смотрел. Все, как всегда, смотрели на золотую греческую головку и розовое, как заря, лицо, возникшее, казалось, прямо из сапфирового камня. Поэт Мускари глубоко вздохнул, словно сделал глубокий глоток. Так оно и было; он упивался античной красотой, созданной его предками. Эцца глядел на Этель так же пристально, но куда наглее.

Мисс Харрогит лучилась в то утро радостью, ей хотелось поболтать, и семья ее, подчинившись европейскому обычаю, разрешила чужаку Мускари и даже слуге Эцце разделить их беседу и трапезу. Сама же она была не только благовоспитанной, но и поистине сердечной. Она гордилась успехами отца, любила развлечения, легко кокетничала, но доброта и радость смягчали и облагораживали даже гордость ее и светский блеск.

Беседа шла о том, опасно ли ехать в горы, причем опасностью грозили не обвалы и не бездны, а нечто еще более романтическое. Этель серьезно верила, что там водятся настоящие разбойники, истинные герои современного мифа.

— Говорят, — радовалась она, как склонная к ужасам школьница, — здесь правит не король Италии, а король разбойников. Кто же он такой?

— Он великий человек, синьорина,— отвечал Мускари, — равный вашему Робин Гуду. Зовут его Монтано, и мы услышали о нем лет десять тому назад, когда никто уже и не думал о разбойниках. Власть его распространилась быстро, как бесшумная революция. В каждой деревне появились его воззвания, на каждом перевале — его вооруженные часовые. Шесть раз пытались власти его одолеть и потерпели шесть поражений.

— В Англии,— уверенно сказал банкир, — таких вещей не потерпели бы. Быть может, нам надо было выбрать другую дорогу, но гид считает, что и здесь опасности нет.

— Никакой,— презрительно подтвердил гид. — Я там проезжал раз двадцать. Во времена наших бабушек, кажется, был какой-то бандит по кличке Король, но теперь это — история, если не легенда. Разбойников больше не бывает.

— Уничтожить их нельзя,— сказал Мускари. — Вооруженный протест — естественное занятие южан. Наши крестьяне — как наши горы: они добры и приветливы, но внутри у них огонь. На той ступени отчаяния, когда северный бедняк начинает спиваться, наш берет кинжал.

— Хорошо вам, поэтам,— сказал Эцца и криво усмехнулся. — Будь сеньор Мускари англичанином, он искал бы разбойников под Лондоном. Поверьте, в Италии столько же шансов попасть к разбойникам, как в Бостоне — к индейцам, снимающим скальпы.

— Значит, не обращать на них внимания? — хмурясь, спросил мистер Харрогит.

— Ох, как страшно! — ликовала его дочь, глядя на Мускари сияющими глазами. — Вы думаете, там и вправду опасно ехать?

Мускари встряхнул черной гривой.

— Я не думаю,— сказал он, — я знаю. Я сам туда завтра еду.

Харрогит-сын задержался у столика, чтобы допить вино и раскурить сигару, а красавица ушла с банкиром, гидом и поэтом.

Примерно в то же время священники, сидевшие в углу, встали, и тот, что повыше — седой итальянец, — тоже ушел. Тот, что пониже, направился к сыну банкира, который удивился, что католический священник — англичанин, и смутно припомнил, что видел его у каких-то своих друзей.

— Мистер Фрэнк Харрогит, если не ошибаюсь, — сказал он. — Мы знакомы, но я подошел не потому. Такие странные вещи лучше слышать от незнакомых. Пожалуйста, берегите сестру в ее великой печали.

Даже по-братски равнодушный Фрэнк замечал сверканье и радость сестры; смех ее и сейчас доносился из сада, и он в удивлении поглядел на странного советчика.

— Вы о чем, о разбойниках? — спросил он и прибавил, вспоминая свои смутные опасения: — Или о поэте?

— Никогда не знаешь, откуда придет горе, — сказал удивительный священник. — Нам дано одно: быть добрыми, когда оно приходит.

Он быстро вышел из зала, а его собеседник ошалело глядел ему вслед.

На следующий день лошади с трудом тащили наших путников по кручам опасного горного хребта. Эцца презрительно отрицал опасность, Мускари бросал ей вызов, семейство банкира упорно хотело ехать, и все поехали вместе. Как ни странно, на станции они встретили низенького священника, и он сказал, что и ему надо ехать туда же по делу. Харрогит-младший поневоле связал это со вчерашним разговором.

Сидели все в каком-то особом открытом вагончике, который изобрел и приспособил склонный к технике гид, руководивший поездкой деловито, учено и умно. О разбойниках больше не говорили, но меры предосторожности приняли: у гида и у сына были револьверы, у Мускари — шпага.

Поместился он чуть поодаль от прекрасной англичанки; по другую сторону сидел священник, представившийся как Браун

и больше не сказавший ни слова. Банкир с сыном и гидом сидели напротив. Мускари был очень счастлив, и Этель вполне могло показаться, что он — в маниакальном экстазе. Но здесь, на кручах, поросших деревьями, как клумба — цветами, она и сама воспаряла с ним в алые небеса, к золотому солнцу. Белая дорога карабкалась вверх белой кошкой, огибала петлей темные бездны и острые выступы, взбиралась все выше, а горы по-прежнему цвели, как розовый куст. Залитая солнцем трава была зеленой, как зимородок, как попугай, как колибри; цветы пестрели всеми красками мира. Самые красивые дуга и леса — в Англии, самые красивые скалы и пропасти — на Слоудоне и Гленкоу; но Этель никогда не видела южных лесов, растущих на круче, и ей казалось, что фруктовый сад вырос на приморских утесах. Здесь не было и в помине тоски и холода, которые у нас, англичан, связаны с высотой. Горы походили на мозаичный дворец после землетрясения или на тюльпановый сад после взрыва. Этель сказала об этом романтику Мускари.

— Наша тайна, — отвечал он, — тайна вулкана, тайна мятежа: и ярость приносит плоды.

— В вас немало ярости, — сказала она.

— Но плодов я не принес, — сказал он. — Если я сегодня умру, я умру холостым и глупым.

Она помолчала, потом неловко произнесла:

— Я не виновата, что вы поехали.

— Да, — кивнул поэт. — Вы не виноваты, что пала Троя.

Пока они беседовали, лошади вошли под сень скал, нависших, словно туча, над особенно опасным поворотом, и остановились, испугавшись внезапной тьмы. Кучер спрыгнул на землю, чтобы перерезать постромки, и потерял власть над ними. Одна из них встала на дыбы, во всю высоту коня, когда он становится двуногим. Вагонетка заскользила куда-то, как корабль, проломала кусты и упала с откоса. Мускари обнял Этель, она прижалась к нему и закричала. Ради таких минут он и жил на свете.

Горные стены багровой мельницей закружились вокруг него, но тут случилось нечто более странное. Сонный старый банкир встал во весь рост и прыгнул из вагонетки в пропасть прежде, чем она сама туда упала. На первый взгляд то было самоубийство; на второй оказалось, что это так же разумно, как внести деньги в банк. По-видимому, богач был энергичней и умнее, чем думал поэт: он приземлился на мягкой, зеленой, поросшей клевером лужайке, словно созданной для таких прыжков. Правда, и остальные упали туда же, хотя и не в такой достойной позе. Прямо под опасным поворотом находился кусочек земли, прекрасный, как подводный дуг, — зеленый бархатный карман долгополого одеяния горы. Туда они и упали без особого для себя ущерба, только мелкие вещи рассыпались по траве. Вагонетка зацепилась за кусты, лошади с трудом сползли по склону. Первым поднялся на ноги священник и глупо и удивленно потер

голову. Фрэнк Харрогит услышал, что он бормочет: «Господи, почему мы именно здесь упали?»

Моргая, священник огляделся и нашел свой нелепый зонтик. Рядом с ним лежала широкополая шляпа Мускари, подальше — запечатанное письмо, которое он, взглянув на адрес, отдал банкиру. В другой стороне, в траве виднелся отнюдь не нелепый зонтик мисс Этель и тут же рядом — маленький флакончик. Священник взял его, быстро открыл, понюхал, и его простодушное лицо стало серым, как земля.

— Господи, помилуй! — тихо сказал он. — Неужели беда уже пришла? — Он спрятал флакончик в карман и прибавил: — Наверное, я имею на это право, пока не узнаю побольше.

Горестно глядя на девушку, он увидел, как она встает из цветов и Мускари говорит ей:

— Мы упали в небо. Это неспроста. Смертные карабкаются вверх, падают вниз. Вверх падают только боги.

Она встала из цветочного моря таким блаженным видением, что священник совсем успокоился. «В конце концов, — подумал он, — Мускари может носить с собой яд, он любит мелодраму».

Когда дама встала, держась за руку поэта, он низко ей поклонился, вынул кинжал и перерезал постромки. Лошади поднялись на ноги, сильно дрожа; и тут случилась еще одна удивительная вещь. Спокойный темнолицый человек в лохмотьях вышел из кустов. На поясе у него был странный нож, изогнутый и широкий; поэт спросил его, кто он, и он не ответил.

Поэт огляделся и увидел, что откуда-то снизу, опираясь локтями о край лужайки, на него смотрит еще один оборванец с дубленным лицом и коротким ружьем. Сверху, с дороги, в них целились четыре карабина, а над ними темнели четыре лица и сверкали восемь неподвижных глаз.

— Разбойники! — кричал Мускари. — Ловушка! Эцца, застрели-ка кучера, а я займусь этими. Их всего шесть штук.

— Кучера,— сказал Эцца, не вынимая рук из карманов, — нанял мистер Харрогит.

— Тем более! — нетерпеливо сказал поэт. — Значит, его подкупили. Застрели, потом вы окружите даму, и мы пробьемся.

Он бесстрашно пошел по траве и цветам прямо на карабины, но никто не последовал за ним, кроме Фрэнка. Гид стоял посреди лужайки, держа руки в карманах, и его длинное лицо становилось все длиннее в предвечернем свете.

— Ты думал, Мускари, что из меня ничего не вышло, — сказал он, — а из тебя вышло. Но я тебя обогнал, слава моя больше твоей. Я творил поэмы, пока ты их писал.

— Да что ты встал! — закричал Мускари. — Что ты порешь чужь? Надо спасти женщину! Кто же ты такой, честное слово?

— Я Монтано,— громко сказал странный гид. — Король разбойников. Рад видеть вас в моем летнем дворце.

Пока он говорил, еще пять человек вышли из кустов и встали, ожидая его приказаний. Один держал в руке какую-то бумагу.

— Гнездышко это,— продолжал царственный гид, — и пещеры там, пониже, называются разбойничьим раем. Его не видно ни снизу, ни сверху. Здесь я живу, здесь умру, если жандармы найдут меня. Смертью своей я распоряжусь сам.

Все глядели на него, не дыша, только отец Браун облегченно вздохнул.

— Слава тебе, Господи! — пробормотал он. — Это его яд. Он не хочет попасть в руки врага, как Катон.

Король разбойников тем временем говорил все с той же грозной вежливостью:

— Остается объяснить, на каких условиях я буду развлекать моих гостей. Достопочтенного отца Брауна и прославленного Мускари я отпускаю завтра утром, и мой эскорт проводит их до безопасного места. У священников и поэтов денег нет. Поэтому я позволю себе выразить свое благоговение перед высокой поэзией и апостольской церковью.

Он неприятно улыбнулся, а отец Браун заморгал и стал слушать внимательней. Монтано взял у разбойников бумагу и говорил, заглядывая в нее:

— Все прочее ясно выражено в этом документе, который я дам вам прочитать, после чего его вывесят во всех деревнях долины и на всех развилках в горах. Суть его вот в чем: я сообщаю, что взял в плен английского миллионера, мистера Сэмюела Харрогита и обнаружил у него две тысячи фунтов, которые он мне вручил. Безнравственно говорить неправду доверчивым людям, так что придется это осуществить. Надеюсь, мистер Харрогит-старший сам вручит мне эти две тысячи.

По-видимому, беда возродила в банкире угасшее было мужество: он сунул красную, дрожащую руку в жилетный карман и вручил разбойнику пачку бумаг и писем.

— Прекрасно! — воскликнул тот. — Теперь — о выкупе. Друзья Харрогитов должны передать мне еще три тысячи, что до оскорбления мало, принимая во внимание ценность этой семьи. Не скрою, если денег не будет, могут произойти неприятные для всех вещи; но сейчас, господа и дамы, я обеспечу вам все удобства, включая вино и сигары. Рад вас приветствовать в разбойничьем раю.

Пока он говорил, сомнительные люди в грязных шляпах вылезали буквально отовсюду, так что даже Мускари понял, что пробиться сквозь них нельзя. Он огляделся. Этель утешала отца, ибо ее любовь к нему была сильнее, чем не лишённая снобизма гордость за него. Поэта, нелогичного, как все влюбленные, это и умилило, и раздосадовало. Он сунул шапку в ножны и бросился на траву. Священник присел рядом с ним.

— Ну как? — сердито спросил поэт. — Романтик я? Есть в горах разбойники?

— Может, и есть, — отвечал склонный к сомнению священник.

— Что вы хотите сказать? — резко спросил Мускари.

— Я хочу сказать, что Эцца или Монтано очень меня удивляет, — ответил Браун.

— Санта Мария! — воскликнул поэт. — Чем же именно?

— Тремя вещами, — тихо сказал священник. — Я рад вам о них рассказать и узнать ваше мнение. Во-первых, там, в ресторане, когда вы выходили, мисс Харрогит шла с вами впереди, отец с гидом — сзади, и я услышал, как Эцца говорит: «Пускай повеселится. Беда может прийти каждую минуту». Мистер Харрогит не ответил, так что слова эти что-нибудь да значили. Я предупредил ее брата, что ей угрожает беда, но я и сам не знал, какая. Если он имел в виду происшествие в горах, это просто чепуха — не станет же сам разбойник предупреждать жертву! Какая же беда должна случиться с мисс Харрогит?

— Беда с мисс Харрогит? — с яростью повторил поэт.

— Все мои загадки упираются в нашего гида, — продолжал священник. — Вот вторая. Почему он так подчеркивает в этой бумаге, что взял у банкира две тысячи? Выкуп от этого скорее не явится. Наоборот, друзья Харрогита больше испугались бы за него, если бы разбойники были бедны, то есть дошли бы до крайности.

— Да, это странно, — сказал Мускари и впервые совсем не театрально почесал за ухом. — Вы мне не объясняете, вы меня совсем запутали. Какая же у вас третья загадка?

— Эта лужайка, — раздумчиво сказал отец Браун. — На нее очень удобно падать и приятно смотреть, она не видна ни сверху, ни снизу, это хороший тайник, но никак не крепость. Какая там крепость! Хуже не придумаешь. Проще простого взять ее оттуда, с дороги, а полиция по дороге и придет. Да нас самих тут удержало четыре карабина. Несколько солдат легко сбросили бы нас в пропасть. Что бы ни значил этот зеленый закуток, он совершенно незащищен. Это не крепость, тут что-то другое, он ценен чем-то другим, а чем — не пойму. Скорее это похоже на артистическую уборную, или на подмости для какой-то комедии, или...

Низенький священник вел свою нудную, искреннюю речь, а Мускари, наделенный звериной остротой чувств, услышал далеко в горах цокот копыт и приглушенные далью крики. Задолго до того, как эти звуки достигли слуха англичан, Монтано вспрыгнул на дорогу и встал у дерева. Обратившись в разбойничьего короля, он надел причудливую шляпу и перевязь со шпагой, которые никак не сочетались с грубошерстным костюмом.

Он повернул к разбойникам длинное зеленоватое лицо, взмахнул рукой, и оборванцы с карабинами, повинуясь каким-то военным соображениям, попрятались в кусты. Цокот становился все громче, дорога тряслась, чей-то голос выкликал команды.

В кустах трещало и позвякивало, словно разбойники взводили курки или точили ножи о камень. Наконец звуки эти встретились: кроме того, затрещали ветви, заржали кони, закричали люди.

— Мы спасены! — воскликнул Мускари, вскакивая на ноги и размахивая шляпой. — Неужели мы все предоставим полиции? Нападем на мерзавцев с тыла! Жандармы спасают нас, спасем же и мы жандармов!

Он закинул шляпу на дерево, снова выхватил шпагу и полез на дорогу, наверх. Фрэнк побежал за ним, но отец властно окликнул его:

— Стой! Не вмешивайся.

— Ну, что ты! — мягко возразил Фрэнк. — Разве ты хочешь, чтобы англичанин отстал от итальянца?

— Не вмешивайся, — повторил старик, сильно дрожа. — Покоримся судьбе.

Отец Браун посмотрел на него и схватился как будто бы за сердце; но, ощутив под пальцами стекло флакона, облегченно вздохнул, словно спасся от гибели.

Мускари, не дожидаясь помощи, вылез на дорогу и ударил кулаком короля разбойников. Тот пошатнулся, сверкнули клинки, но, не успели они скреститься, бывший гид засмеялся и опустил руки.

— Да ладно! — сказал он по-итальянски. — Скоро этому балагану конец.

— Ты о чем, негодяй? — закричал огнедышащий поэт. — Твоя храбрость — такой же обман, как твоя честь?

— У меня нет ничего настоящего, — благодушно отвечал Эцца. — Я актер, и если были у меня свои качества, я о них забыл. Я не разбойник и не гид. Я — маска на маске, а с личинами не сражаются.

Стемнело, но все же было видно, что разбойники скорее пугают коней, чем убивают людей, словно городская толпа, мешающая полиции проехать. Поэт в удивлении глядел на них, когда кто-то коснулся его локтя. Рядом стоял низенький священник, похожий на игрушечного Ноя в широкополой шляпе.

— Синьор Мускари, — сказал он, — простите мне мою нескромность. Не обижайтесь на меня и не помогайте жандармам. Любите ли вы эту девушку? То есть достаточно ли вы ее любите, чтобы жениться на ней и быть ей хорошим мужем?

— Да, — сказал Мускари.

— А она вас любит? — продолжал отец Браун.

— Наверное, да, — серьезно ответил Мускари.

— Тогда идите к ней, — сказал священник, — предложите ей все, что у вас есть. Время не терпит.

— Почему? — удивился поэт.

— Потому, — сказал священник, — что беда скачет к ней по дороге.

— По дороге скачет спасение, — возразил Мускари.

— Вы идите,— повторил священник, — и спасите ее от спасения.

Тем временем разбойники, ломая кусты, кинулись врассыпную и нырнули в густую зелень, а над кустами возникли треуголки жандармов. Снова раздалась команда, люди спешились, и высокий офицер с седой эспаньолкой появился там, где все недавно падали в разбойничий рай. И вдруг банкир закричал:

— Меня обокрали!

— Тебя давно обокрали,— удивился его сын. — Прошло часа два, как они забрали деньги.

— У меня забрали не деньги, а маленький флакон, — в спокойном отчаянии сказал банкир. Офицер с эспаньолкой шел к ним. Проходя мимо бывшего короля, он не то ударил, не то похлопал его по плечу и сказал:

— За такие шутки может и не поздоровиться.

Поэту показалось, что великих разбойников ловят не совсем так. Офицер подошел к Харрогитам и четко произнес:

— Сэмюел Харрогит, именем закона я арестую вас за растрату банковских фондов.

Банкир деловито кивнул, подумал, повернулся, ступил на край лужайки и прыгнул точно так же, как несколько часов тому назад. Но теперь внизу не было зеленого рая.

Итальянский жандарм выразил священнику и возмущение свое и восхищение.

— Великий был разбойник,— сказал он. — Какую штуку выдумал! Сбежал с деньгами в Италию и нанял этих типов. В полиции многие поверили, что речь идет о выкупе. Он и раньше творил Бог знает что. Большая потеря!..

Мускари уводил несчастную дочь, и она держалась за него так же крепко, как и много лет спустя. Но даже в таком горе он улыбнулся, проходя мимо Эццы, и спросил:

— Куда же ты теперь отправишься?

— В Бирмингем,— отвечал актер, раскуривая сигарету. — Я тебе сказал, я — человек будущего. Если я во что-то верю, я верю в перемены, и хватку, и новизну. Поеду в Манчестер, в Ливерпуль, в Халл, в Хадерсфилд, в Глазго, в Чикаго — в современный, деловой, цивилизованный мир.

— Словом, — сказал Мускари, — в разбойничий рай.

ЛИЛОВЫЙ ПАРИК

Мистер Натт, усердный редактор газеты «Дейли реформер», сидел у себя за столом и под веселый треск пишущей машинки, на которой стучала энергичная барышня, вскрывал письма и правил гранки.

Мистер Натт работал без пиджака. Это был светловолосый мужчина, склонный к полноте, с решительными движениями, твердо очерченным ртом и не допускающим возражений тоном. Но в глазах его, круглых и синих, как у младенца, таилось выражение замешательства и даже тоски, что никак не вязалось с его деловым обликом. Выражение это, впрочем, было не вовсе обманчивым. Подобно большинству журналистов, облеченных властью, он и вправду жил под непрерывным гнетом одного чувства — страха. Он страшился обвинений в клевете, страшился потерять клиентов, публикующих объявления в его газете, страшился пропустить опечатку, страшился получить расчет.

Жизнь его являла собой непрерывную цепь самых отчаянных компромиссов между выжившим из ума стариком мыловаром, которому принадлежала газета (а значит, и сам редактор), и теми талантливыми сотрудниками, которых он подобрал в свою редакцию; среди них были блестящие журналисты с большим опытом, которые к тому же (что было совсем неплохо) относились к политической линии газеты серьезно и искренне.

Письмо от одного из них лежало сейчас перед мистером Наттом, и он несмотря на всю свою твердость и натиск, казалось, не решался вскрыть его. Вместо того он взял полосу гранок, пробежал ее своими синими глазами, синим карандашом заменил «прелюбодеяние» на «недостойное поведение», а слово «еврей» на «инородца», позвонил и спешно отправил гранки наверх.

Затем, с видом серьезным и сосредоточенным, он разорвал конверт с девонширской печатью и стал читать письмо одного из наиболее видных своих сотрудников.

«Дорогой Натт,— говорилось в письме. — Вы, как я вижу, равно интересуетесь привидениями и герцогами. Может, поместим статью об этой темной истории с Эрами из Эксмур, которую местные сплетницы называют «Чертовое Ухо Эров»? Глава семейства, как вам известно, — герцог Эксмур, один из тех настоящих старых аристократов и чопорных тори, которых уже немного осталось в наши дни. «Дейли реформер» всегда старалась не давать спуску этим несгибаемым старым тиранам, и, кажется, я попал на след одной истории, которая хорошо нам послужит.

Разумеется, я не верю в старую легенду про Якова I; а что до Вас, то Вы вообще ни во что не верите, даже в газетное дело. Эта легенда, как Вы, вероятно, помните, связана с самым черным событием в английской истории—я имею в виду отравление Оуэрбери этой колдуньей Фрэнсис Говард и тот таинственный ужас, который заставил короля помиловать убийц. В свое время считали, что тут не обошлось без колдовства; рассказывают, что один из слуг узнал правду, подслушав сквозь замочную скважину разговор между королем и Карром, и ухо его, приложенное к двери, вдруг чудом разросло, приняв чудовищную форму, — столь ужасна была подслушанная им тайна. Пришлось щедро наградить его землями и золотом, сделав родоначальником целой герцогской фамилии, однако Чертовое Ухо нет-нет да и появится в этой семье. В черную магию Вы, конечно, не верите, да если б и верили, все равно не поместили бы ничего такого в Вашей газете. Свершись у Вас в редакции чудо, Вы бы и его постарались замолчать, ведь в наши дни и среди епископов немало агностиков. Впрочем, не в этом суть. Суть в том, что в семье Эксмуров и вправду дело нечисто; что-то, надо полагать, вполне естественное, хоть и из ряда вон выходящее. И думается мне, что какую-то роль во всем этом играет Ухо, — может быть, это символ или заблуждение, а может быть, заболевание или еще что-нибудь. Одно из преданий гласит, что после Якова I кавалеры из этого рода стали носить длинные волосы только для того, чтобы спрятать ухо первого лорда Эксмур. Впрочем, это тоже, конечно, всего лишь вымысел.

Все это я сообщаю Вам вот почему: мне кажется, что мы совершаем ошибку, нападая на аристократов только за то, что они носят бриллианты и пьют шампанское. Людям они потому нередко и нравятся, что умеют наслаждаться жизнью. Я же считаю, что мы слишком многим поступаемся, соглашаясь, что принадлежность к аристократии делает хотя бы самих аристократов счастливыми. Я предлагаю Вам цикл статей, в которых будет показано, какой мрачный, бесчеловечный и прямо-таки дьявольский дух царит в некоторых из этих великих дворцов. За примерами дело не станет; для начала же лучшего, чем «Ухо Эксмуров», не придумаешь. К концу недели я Вам раскопаю всю правду про него.

Всегда Ваш *Фрэнсис Финн*».

Мистер Натт подумал с минуту, уставившись на свой левый ботинок, а затем произнес громко, звучно и совершенно безжизненно, делая ударение на каждом слоге:

— Мисс Барлоу, отпечатайте письмо мистеру Финну, пожалуйста.

«Дорогой Финн, думаю, это пойдет. Рукопись должна быть у нас в субботу днем. Ваш Э. *Натт*».

Это изысканное послание он произнес одним духом, точно одно слово, а мисс Барлоу одним духом отстучала его на машинке, точно это и впрямь было одно слово. Затем он взял другую полосу гранок и синий карандаш и заменил слово «сверхъестественный» на «чудесный», а «расстреляны на месте» на «подавлены».

Такой приятной и полезной деятельностью мистер Натт занимался до самой субботы, которая застала его за тем же самым столом, диктующим той же самой машинистке и орудующим тем же самым карандашом над первой статьей из цикла задуманных Финном разоблачений. Вначале Финн обрушивался на аристократов и вельмож с их гнусными тайнами и духом безнадежности и отчаяния. Написано это было прекрасным стилем, хотя и в весьма сильных выражениях; однако редактор, как водится, поручил кому-то разбить текст на короткие отрывки с броскими подзаголовками — «Яд и герцогиня», «Ужасное Ухо», «Стервятники в своем гнезде», и прочее, и прочее, в том же духе на тысячу ладов. Затем следовала легенда об «Ухе», изложенная гораздо подробнее, чем в первом письме Финна, а затем уже содержание его последних открытий. Вот что он писал:

«Я знаю, что среди журналистов принято ставить конец рассказа в начало и превращать его в заголовок. Журналистика нередко в том-то и состоит, что сообщает «лорд Джонс скончался» людям, которые до того и не подозревали, что лорд Джонс когда-либо существовал. Ваш покорный слуга полагает, что этот, равно как и многие другие приемы журналистов не имеют ничего общего с настоящей журналистикой и что «Дейли реформер» должна показать в данном случае достойный пример. Автор намерен излагать события так, как они в действительности происходили. Он назовет подлинные имена действующих лиц, многие из которых готовы подтвердить достоверность рассказа. Что же до громких выводов и эффектных обобщений, то о них Вы услышите в конце.

Я шел по проложенной для пешеходов дорожке через чей-то фруктовый сад в Девоншире, всем своим видом наводящий на мысли о девонширском сидре, и, как нарочно, дорожка привела меня к длинной одноэтажной таверне, — зданий, собственно, там было три: небольшой низкий коттедж с прилегающими к нему

двумя амбарами под одной соломенной кровлей, похожей на темные пряди волос с сединой. Бог весть как попавшие сюда еще в доисторические времена. У дверей была укреплена вывеска с надписью: «Голубой дракон», а под вывеской стоял длинный деревенский стол, какие некогда можно было видеть у дверей каждой вольной английской таверны, до того как трезвенники в купе с пивоварами погубили нашу свободу. За столом сидели три человека, которые бы жить добрую сотню лет назад.

Теперь, когда я познакомился с ними поближе, разобраться в моих впечатлениях не составляет труда, но в ту минуту эти люди показались мне тремя внезапно материализовавшимися призраками. Центральной фигурой в группе — как по величине, так и по месту, ибо он сидел в центре, лицом ко мне, — был высокий тучный мужчина, весь в черном, с румяным, пожалуй, даже апоплексическим лицом, высоким с залысинами лбом и озабоченно нахмуренными бровями. Вглядевшись в него попристальнее, я уж и сам не мог понять, что натолкнуло меня на мысль о старине, — разве только старинный крой его белого пасторского воротника да глубокие морщины на лбу.

Ничуть не легче передать впечатление, которое производил человек, сидевший у правого края стола. По правде говоря, вид у него был самый заурядный, таких встречаешь повсюду, — круглая голова, темные волосы и круглый короткий нос; однако одет он был также в черное платье священника, правда, более строгого покроя. Только увидев его шляпу с широкими загнутыми полями, лежавшую на столе возле него, я понял, почему его вид вызвал у меня в сознании представление о чем-то давнем: это был католический священник.

Пожалуй, главной причиной странного впечатления был третий человек, сидевший на противоположном конце стола, хотя он не выделялся ни ростом, ни обдуманностью костюма. Узкие серые брюки и рукава прикрывали (я бы мог даже сказать: стягивали) его тощие конечности. Лицо, продолговатое и бледное, с орлиным носом, казалось особенно мрачным оттого, что его впалые щеки подпирал старомодный воротник, повязанный шейным платком. А волосы, которым следовало быть темно-каштановыми, в действительности имели чрезвычайно странный тусклый багряный цвет, так что в сочетании с желтым лицом они выглядели даже не рыжими, а скорее лиловыми. Этот неяркий, но совершенно необычный оттенок тем более бросался в глаза, что волосы вились и отличались почти неестественной густотой и длиной. Однако, поразмыслив, я склонен предположить, что впечатление старины создавали высокие бокалы, да пара лимонов, лежащих на столе, и две длинные глиняные трубки. Впрочем, возможно, виной всему было то уходящее в прошлое дело, по которому я туда прибыл.

Таверна, насколько я мог судить, была открыта для посетителей, и я, как бывалый репортер, недолго думая уселся за

длинный стол и потребовал сидра. Тучный мужчина в черном оказался человеком весьма сведущим, особенно когда речь зашла о местных достопримечательностях, а маленький человек в черном, хотя и говорил значительно меньше, поразил меня еще большей образованностью. Мы разговорились; однако третий из них, старый джентльмен в узких брюках, держался надменно и отчужденно и не принимал участия в нашей беседе до тех пор, пока я не завел речь о герцоге Эксмуре и его предках.

Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой, зато третьего она сразу же заставила разговариваться. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высшее образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна другой ужаснее, — как некогда один из Эксмуров повесил собственного отца, второй привязал свою жену к телеге и протаскил через всю деревню, приказав стегать ее плетью, третий поджег церковь, где было много детей, и так далее, и так далее.

Некоторые из его рассказов — вроде происшествия с Алыми монахинями, или омерзительной истории с Пятнистой собакой, или истории о том, что произошло в каменоломне, — ни в коем случае не могут быть напечатаны. Однако он спокойно сидел, потягивая вино из высокого тонкого бокала, перечислял все эти кровавые и кощунственные дела, и лицо его с тонкими аристократическими губами не выражало ничего, кроме чопорности.

Я заметил, что тучный мужчина, сидевший напротив меня, делал робкие попытки остановить старого джентльмена; но, видимо, питая к нему глубокое почтение, не решался прервать его. Маленький же священник на другом конце, хотя и не выказывал никакого смущения, сидел, глядя упорно в стол, и слушал все это, по-видимому, с болью, — что, надо признать, было вполне естественно.

— Вам как будто не слишком нравится родословная Эксмуров, — заметил я, обращаясь к рассказчику.

С минуту он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы, затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост — настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером.

— Эти господа вам скажут, — проговорил он, — есть ли у меня основания восхищаться их родословной. С давних времен проклятие Эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я.

С этими словами он раздавил каблуком осколок стекла, упавший на землю, и зашагал прочь. Вскоре он исчез в зеленых сумерках среди мерцающих яблоневых стволов.

— Чрезвычайно странный джентльмен, — обратился я к оставшимся. — Не знаете ли вы случайно, чем ему досадило семейство Эксмуров? Кто он такой?

Тучный человек в черном дико уставился на меня, словно бык, загнанный на бойню; видимо, он не сразу понял мой вопрос. Наконец он вымолвил:

— Неужто вы не знаете, кто он?

Я заверил его в своем неведении, и за столом снова воцарилось молчание; спустя какое-то время маленький священник, все еще не поднимая глаз от стола, сказал:

— Это герцог Эксмур.

И прежде чем я успел собраться с мыслями, он прибавил с прежним спокойствием, словно ставя все на свои места:

— А это доктор Малл, библиотекарь герцога. Мое имя — Браун.

— Но, — проговорил я, заикаясь, — если это герцог, зачем он так поносит своих предков?

— Он, по-видимому, верит, что над ним тяготеет наследственное проклятие, — ответил священник по имени Браун. И затем добавил, казалось, без всякой связи: — Вот потому-то он и носит парик.

Только через несколько секунд смысл его слов дошел до моего сознания.

— Неужто вы имеете в виду эту старую сказку про диковинное ухо? — удивился я. — Конечно, я слышал о ней, но не сомневаюсь, что это все суеверие и вымысел, не более, хотя, возможно, она и возникла на какой-то достоверной основе. Иногда мне приходит в голову, что это, возможно, фантазия на тему о наказаниях, которым подвергали в старину преступников; в шестнадцатом веке, например, им отрубали уши.

— Мне кажется, дело не в этом, — в раздумье произнес маленький священник. — Как известно, наука и самые законы природы не отрицают возможности неоднократного повторения в семье одного и того же уродства, когда, например, одно ухо значительно больше другого.

Библиотекарь, стиснув большую лысую голову большими красными руками, сидел в позе человека, размышляющего о том, в чем состоит его долг.

— Нет, — проговорил он со стоном, — вы все-таки несправедливы к этому человеку. Поймите, у меня нет никаких оснований защищать его или хотя бы хранить верность его интересам. По отношению ко мне он был таким же тираном, как и ко всем другим. Не думайте, что если он сидел здесь запросто с нами, то он уже перестал быть настоящим лордом в самом худшем смысле этого слова. Он позовет слугу, находящегося от него за милую, и велит ему позвонить в звонок, висящий в двух шагах от него самого, для того только, чтобы другой слуга, находящийся за три мили, принес ему спички,

до которых ему надо сделать три шага. Ему необходим один ливрейный лакей, чтобы нести его трость, и другой, чтобы подавать ему в опере бинокль...

— Зато ему не нужен камердинер, чтобы чистить его платье, — вставил священник на удивление сухо. — Потому что камердинер вздумал бы почистить и парик.

Библиотекарь взглянул на него, очевидно, совсем забыв о моем существовании; он был глубоко взволнован и, как мне показалось, несколько разгорячен вином.

— Не знаю, откуда вам это известно, отец Браун, — сказал он, — но это правда. Он заставляет других все делать за себя, но одевается он сам. И всегда в полном одиночестве; за этим он следит неукоснительно. Стоит кому-нибудь оказаться неподалеку от дверей его туалетной комнаты, как его тотчас изгоняют из дома и даже рекомендации не дают.

— Приятный старичок, — заметил я.

— О, нет, отнюдь не приятный, — отвечал доктор Малл просто. — И все же именно это я и имел в виду, когда сказал, что со всем тем вы к нему несправедливы. Джентльмены, герцога действительно мучает горечь проклятия, о котором он говорил. С искренним стыдом и ужасом прячет он под лиловым париком нечто ужасное, созерцание чего, как он думает, не под силу сынам человеческим. Я знаю, что это так; я также знаю, что это не просто клеймо преступника или наследственное уродство, а что-то совсем другое. Я знаю, что это гораздо страшнее. Я слышал об этом из уст очевидца, присутствовавшего при сцене, которую выдумать невозможно, когда человек, гораздо мужественнее любого из нас, пытался проникнуть в ужасную тайну и в страхе бежал прочь.

Я открыл было рот, но Малл продолжал, по-прежнему сжимая ладонями лицо и совершенно забыв о моем присутствии:

— Я могу рассказать вам об этом, отец мой, потому что это будет скорее защитой, чем изменой бедному герцогу. Вам никогда не приходилось слышать о тех временах, когда он едва не лишился всех своих владений?

Священник отрицательно покачал головой; и библиотекарь рассказал нам длинную историю, — он слышал ее от своего предшественника, который был ему покровителем и наставником и к которому он питал, как было ясно из его рассказа, безграничное доверие. Вначале это была обычная история о разорении древнего рода и о семейном адвокате. У адвоката, надо отдать ему должное, хватило ума обманывать честно — надеюсь, читатель понимает, что я хочу сказать. Вместо того чтобы просто воспользоваться доверенными ему суммами, он воспользовался неосмотрительностью герцога и вовлек всю семью в финансовую ловушку, так что герцог был поставлен перед необходимостью отдать ему эти суммы уже не на хранение, а в собственность.

Адвокат носил имя Исаак Грин, но герцог всегда звал его Елисеем, — очевидно, потому что человек этот был совершенно лыс, хотя ему и не исполнилось еще тридцати. Поднялся он стремительно, начав, однако, с весьма темных делишек: некогда он был доносчиком, или осведомителем, а потом занимался ростовщицеством; однако, став поверенным Эксмуров, он обнаружил, как я уже сказал, достаточно здравого смысла и строго держался формальностей, покуда не подготовил решительный удар. Он нанес его во время обеда: старый библиотекарь говорил, что до сих пор помнит, как блстели хрустальные люстры и графины, когда безродный адвокат с неизменной улыбкой на устах предложил старому герцогу, чтобы тот отдал ему половину своих владений. Того, что последовало за этим, забыть невозможно: в гробовой тишине герцог схватил графин и запустил его в лысую голову адвоката так же стремительно, как сегодня он разбил свой бокал о стол в саду. На черепе адвоката появилась треугольная рана, выражение его глаз изменилось, однако улыбка осталась прежней. Покачиваясь, он встал во весь рост и нанес ответный удар, что и следовало ожидать от подобного человека.

— Это меня радует, — сказал он, — ибо теперь я смогу получить ваши владения целиком. Их отдаст мне закон.

Говорят, что лицо Эксмуров стало серым, как пепел, но глаза его еще горели.

— Закон их вам отдаст, — отвечал он, — но вы их не получите... Почему? Да потому, что для меня это было бы концом. И если вы вздумаете их взять, я сниму парик... Да, жалкий общипанный гусь, твою лысину каждый может видеть. Но всякий, кто увидит мою, погибнет.

Можете говорить все, что угодно, и делать из этого какие угодно выводы, но Малл клянется, что мгновение адвокат стоял, потрясая в воздухе сжатыми кулаками, а затем попросту выбежал из залы и никогда больше не возвращался в эти края; с тех пор Эксмур внушает людям еще больший ужас как колдун, чем как судья и помещик.

Доктор Малл сопровождал свой рассказ весьма театральными жестами, вкладывая в повествование пыл, который мне показался по меньшей мере излишним. Я же думал о том, что вся эта история скорее всего была плодом фантазии старого сплетника и хвастуна. Однако прежде чем закончить первую половину отчета о моих открытиях, я должен по справедливости сознаться, что, решив навести справки, я тут же получил подтверждение его рассказа. Старый деревенский аптекарь поведал мне однажды, что ночью к нему явился какой-то лысый человек во фраке, который назвался Грином, и попросил залепить пластырем треугольную рану у себя на лбу. А из судебных отчетов и старых газет я узнал, что некто Грин угрожал герцогу Эксмуров судебным процессом, который в конце концов и был возбужден».

Мистер Натт, редактор газеты «Дейли реформер», начертил несколько в высшей степени непонятных слов на первой странице рукописи, наставил на полях несколько в высшей степени загадочных знаков и ровным, громким голосом обратился к мисс Барлоу:

— Отпечатайте письмо мистеру Финну.

«Дорогой Финн, Ваша рукопись пойдет, только пришлось разбить ее на абзацы с подзаголовками. И потом, наша публика не потерпит в рассказе католического священника — надо учитывать настроения предместий. Я исправил его на мистера Брауна, спиритуалиста.

Ваш Э. Натт».

Вторник застал этого энергичного и предусмотрительного редактора за изучением второй половины рассказа мистера Финна о тайнах высшего света. Чем дальше он читал, тем шире раскрывались его синие глаза. Рукопись начиналась словами:

«Я сделал поразительное открытие. Смело признаюсь, что оно превзошло все мои ожидания и будет потрясающей сенсацией. Без тщеславия позволю себе сказать, что то, о чем я сейчас пишу, будет читаться во всей Европе и, уж конечно, во всей Америке и колониях. А узнал я это за тем же скромным деревенским столом, в том же скромном яблоневоm саду.

Своим открытием я обязан маленькому священнику Брауну; он необыкновенный человек. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдившись своей болтливости, а возможно, обеспокоившись тем приступом ярости, в котором удалился его таинственный хозяин; как бы то ни было, он последовал, тяжело ступая, за герцогом и вскоре исчез среди деревьев. Отец Браун взял со стола лимон и принялся рассматривать его с непонятным удовольствием.

— Какой прекрасный цвет у лимона! — сказал он. — Что мне не нравится в парике герцога, так это его цвет.

— Я, кажется, не совсем понимаю, — ответил я.

— Надо полагать, у него есть свои основания прятать уши, как были они и у царя Мидаса, — продолжал священник с веселой простотой, звучавшей, однако, в данных обстоятельствах весьма легкомысленно. — И я вполне понимаю, что гораздо приятнее прятать их под волосами, чем под железными пластинами или кожаными наушниками. Но если он выбрал волосы, почему бы не сделать, чтобы они походили на волосы? Ни у кого на свете никогда не было волос такого цвета. Этот парик больше похож на озаренную закатным солнцем тучку, спрятавшуюся за деревьями, чем на парик. Почему он не скрывает свое родовое проклятие получше, если он действительно его стыдится? Сказать вам, почему? Да потому, что он вовсе его не стыдится. Он им гордится.

— Трудно гордиться таким ужасным париком и такой ужасной историей, — сказал я.

— Это зависит от того, — сказал странный маленький человек, — как к этому относиться. У вас, полагаю, снобизма и тщеславия не больше, чем у других; так вот, скажите сами, нет ли у вас смутного чувства, что древнее родовое проклятие — совсем не такая уж плохая вещь? Не будет ли вам скорее лестно, чем стыдно, если наследник ужасных Гламисов назовет вас своим другом? Или если семейство Байронов доверит вам, и одному только вам, греховные тайны своего рода? Не судите же так сурово и аристократов за их слабости и за снобизм в отношении к собственным несчастьям, ведь и мы страдали бы на их месте тем же.

— Честное слово, — воскликнул я, — все это истинная правда! В семье моей матери была собственная фея смерти; и признаюсь, что в трудные минуты это обстоятельство часто служило мне утешением.

— Вы только вспомните, — продолжал он, — какой поток крови и яда излился из тонких губ герцога, стоило вам лишь упомянуть его предков. Зачем бы ему рассказывать обо всех этих ужасах первому встречному, если он не гордится ими? Он не скрывает того, что носит парик, он не скрывает своего происхождения, он не скрывает своего родового проклятия, он не скрывает своих предков, *но...*

Голос маленького человечка изменился так внезапно, он так резко сжал кулак, и глаза его так неожиданно стали блестящими и круглыми, как у проснувшейся совы, что впечатление было такое, будто перед глазами у меня вдруг разорвалась небольшая бомба.

— Но, — закончил он, — *герцог блюдет тайну своего туалета!*

Напряжение моих нервов достигло в эту минуту предела, потому что внезапно из-за угла дома показался в сопровождении библиотекаря герцог с волосами цвета заката; неслышными шагами он молча прошел меж мерцающих стволов яблонь. Прежде чем он приблизился настолько, чтобы разобрать наши слова, отец Браун спокойно добавил:

— Почему же он так оберегает тайну своего лилового парика? Да потому, что эта тайна совсем не та, что мы предполагаем.

Меж тем герцог приблизился и с присущим ему достоинством снова занял свое место у стола. Библиотекарь в замешательстве топтался на месте, как большой медведь на задних лапах, не решаясь сесть.

С превеликой церемонностью герцог обратился к маленькому священнику.

— Отец Браун, — сказал он, — доктор Малл сообщил мне, что вы приехали сюда, чтобы обратиться ко мне с просьбой. Не стану утверждать, что все еще исповедую религию своих предков; но, в память о них и в память о давних днях нашего первого

знакомства, я готов выслушать вас. Однако вы, вероятно, предпочли бы говорить без свидетелей...

То, что осталось во мне от джентльмена, побудило меня встать. А то, что есть во мне от журналиста, побудило меня застыть на месте. Но прежде чем я успел выйти из своего оцепенения, маленький священник быстрым жестом остановил меня.

— Если ваша светлость соблаговолит выслушать мою просьбу,— сказал он, — и если я сохранил еще право давать вам советы, я бы настоятельно просил, чтобы при нашем разговоре присутствовало как можно больше народу. Повсеместно я то и дело встречаю сотни людей, среди которых немало даже моих единоверцев, чье воображение поражено суеверием, которое я заклинаю вас разрушить. Я хотел бы, чтобы весь Девоншир видел, как вы это сделаете!

— Сделаю что? — спросил герцог, с удивлением поднимая брови.

— Снимите ваш парик, — ответил отец Браун.

Лицо герцога по-прежнему оставалось неподвижным; он только устремил на просителя остекленевший взор — страшнее выражения я не видел на человеческом лице. Я заметил, что массивные ноги библиотекаря заколебались, подобно отражению стеблей в пруду, и мне почудилось, — как ни гнал я эту нелепую фантазию из головы, — будто в тишине вокруг нас на деревьях неслышно рассаживаются не птицы, а духи ада.

— Я пощажу вас, — произнес герцог голосом, в котором звучало сверхчеловеческое снисхождение. — Я отклоняю вашу просьбу. Дай я вам хоть малейшим намеком понять, какое бремя ужаса я должен нести один, вы бы упали мне в ноги, с воплями умоляя меня не открывать остального. Я вас избавлю от этого. Вы не прочтете и первой буквы из той надписи, что начертана на алтаре Неведомого Бога.

— Я знаю этого Неведомого Бога, — сказал маленький священник со спокойным величием уверенности, твердой, как гранитная скала. — Мне известно его имя: это Сатана. Истинный Бог был рожден во плоти и жил среди нас. И я говорю вам: где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно для глаза, — взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха, — выслушайте. И если вам померещится, что некая истина невыносима, — вынесите ее. Я заклинаю вашу светлость покончить с этим кошмаром немедленно, раз и навсегда.

— Если я сделаю это,— тихо проговорил герцог, — вы содрогнетесь и погибнете вместе со всем тем, во что вы верите и чем вы живете. В один мимолетный миг вы познаете великое Ничто и умрете.

— Христово распятие да пребудет с нами, — сказал отец Браун. — Снимите парик!

В сильнейшем волнении слушал я эту словесную дуэль, опираясь о стол руками; внезапно в голову мне пришла почти неосознанная мысль.

— Ваша светлость! — вскричал я. — Вы блефуете! Снимите парик, или я собью его у вас с головы!

Вероятно, меня можно привлечь к суду за угрозу насилием, но я очень доволен, что поступил именно так. Все тем же каменным голосом он повторил: «Я отказываюсь это сделать», — и тогда я кинулся на него.

Не менее трех долгих минут он сопротивлялся с таким упорством, как будто все силы ада помогали ему; я запрокидывал его голову назад, покуда наконец шапка волос не свалилась с нее. Должен признаться, что в эту минуту я зажмурил глаза.

Пришел я в себя, услышав громкое восклицание Малла, подбежавшего к нам. Мы оба склонились над обнажившейся лысиной герцога. Молчание было прервано возгласом библиотекаря:

— Что это значит? Этому человеку нечего было прятать. У него точно такие же уши, как и у всех.

— Да,— сказал отец Браун, — вот это ему и приходилось прятать.

Священник подошел вплотную к герцогу, но, как ни странно, даже не взглянул на его уши. С почти комической серьезностью он уставился на его лысый лоб, а затем указал на треугольный рубец, давно заживший, но все еще различимый.

— Мистер Грин, насколько я понимаю, — учтиво произнес он. — В конце концов он все же получил герцогские владения целиком.

А теперь позвольте мне сообщить читателям нашей газеты то, что представляется мне наиболее удивительным во всей этой истории. Эти превращения, в которых вы, наверно, склонны будете увидеть безудержную фантазию на манер персидских сказок, на деле с самого начала (не считая нанесенного мною оскорбления действием) были вполне законны и формально безупречны. Человек с необычным шрамом и обычными ушами — не самозванец. Хотя он и носит (в известном смысле) чужой парик и претендует на чужие уши, он не присвоил себе чужого титула. Он действительно и неоспоримо является герцогом Эксмуром. Вот как это произошло. У старого герцога Эксмюра и вправду была небольшая деформация уха, которая и вправду была в какой-то мере наследственной. Он и вправду относился к ней весьма болезненно и вполне мог назвать ее проклятием во время той бурной сцены (вне всякого сомнения, имевшей место), когда он запустил в адвоката графином. Но завершилось это сражение совсем не так, как говорят. Грин вчинил иск и получил владения герцога; обнищавший герцог застрелился, не оставив потомства. Через приличествующий промежуток времени прекрасное британское правительство воскресило «угасший» герцогский род Эксмуров и,

как водится, присвоило их древнее имя и титул наиболее значительному лицу — тому, к кому перешла собственность Эксмуров.

Этот человек воспользовался средневековыми баснями, — возможно, что, привыкнув склоняться перед знатью, в глубине души он и впрямь восхищался ею и завидовал Эксмурам. И вот тысячи бедных англичан трепещут перед одним из представителей старинного рода и древним проклятием, что тяготеез над его головой, увенчанной герцогской короной из зловещих звезд. На деле же они трепещут перед тем, чьим домом некогда была сточная канава и кто был кляузником и ростовщиком каких-нибудь двенадцать лет назад.

Думается мне, что вся эта история весьма типична для нашей аристократии, как она есть сейчас и каковой пребудет до той поры, пока Господь не пошлет нам людей решительных и храбрых».

Мистер Натт положил на стол рукопись и с необычной резкостью обратился к мисс Барлоу:

— Мисс Барлоу, письмо мистеру Финну, пожалуйста.

«Дорогой Финн, Вы, должно быть, сошли с ума, мы не можем этого касаться. Мне нужны были вампиры, недобрые старые времена и аристократия вместе с суевериями. Такие вещи нравятся. Но Вы должны понять, что этого Эксмуры нам никогда не простят. А что скажут наши, хотел бы я знать? Ведь сэра Саймона и Эксмур — давнишние приятели. А потом, такая история погубит родственника Эксмуров, который стоит за нас горой в Брэдфорде. Кроме того, старик Мыльная Водца и так был зол, что не получил титула в прошлом году. Он уволил бы меня по телеграфу, если бы снова лишился его из-за нашего сумасбродства. А о Даффи Вы подумали? Он пишет для нас цикл сенсационных статей «Пята норманна». Как же он будет писать о норманнах, если это всего лишь стряпчий? Будьте же благо-разумны.

Ваш Э. *Натт*».

И пока мисс Барлоу весело отстукивала послание на машинке, он смял рукопись в комок и швырнул ее в корзину для бумаг; но прежде он успел, автоматически, просто в силу привычки, заменить слово «Господь» на «обстоятельства».

КОММЕНТАРИИ

Поначалу судьба русского Честертонa складывалась удачно. Отдельные переводы его рассказов и эссе стали появляться уже в середине 10-х годов (в альманахе «Мир приключений», 1914—1916 гг.), а в 1914 году вышел роман «Человек, который был Четвергом». В 20-е годы кооперативные и государственные издательства («Огонек», «Всемирная литература», «Товарищество», «Начатки знаний» и др.) выпускают в свет новые и новые переводы. Появляются романы «Жив человек» (в двух разных переводах — В. И. Сметанича и К. И. Чуковского), «Наполеон из пригорода» (пер. В. И. Сметанича), «Новый Дон-Кихот» (пер. Л. Л. Слонимской), «Перелетный кабак» (пер. Н. Чуковского), а также многочисленные сборники рассказов. Среди них примечательны переводы Б. С. Болеславской, И. Р. Гербач, К. Жихаревой, Б. И. Искова. В одном только 1924 году выходят пять книг Честертонa, не считая многочисленных публикаций, рассыпанных по периодике. После 1929 года, отмеченного появлением книги «Чарльз Диккенс» (пер. А. П. Зельдович), в русской честертониане наступает почти сорокалетняя пауза, прерываемая случайными публикациями отдельных рассказов и стихотворений.

С конца 50-х годов Честертон снова возвращается к отечественному читателю. Однако из литературного обихода исчезли романы, почти все эссе и литературная критика. Зато многократно переиздаются рассказы, сформировавшие в читательской среде прочное мнение о Честертоне как об авторе популярных детективов.

Однако подлинное открытие Честертонa происходит в середине и второй половине 80-х годов, когда в издательстве «Прогресс» выходит сборник эссе «Писатель в газете», в приложении к журналу «Иностранная литература» — роман «Человек, который был Четвергом» (1989), а в журнале «Вопросы философии» — трактат «Франциск Ассизский» (1989, № 1).

Мы наконец узнаем Честертонa в его целостности — рассказчика, поэта, романиста, эссеиста и теолога.

Настоящее издание впервые представляет отечественному читателю собрание художественных произведений Честертонa. Поэтому ком-

ментарий ограничивается лишь самым необходимым: пояснением географических реалий, имен исторических деятелей и представителей культуры, истолкованием религиозно-терминологии, раскрытием персонажей литературных произведений, источников цитат.

Последнее представляет особую трудность: даже в своих литературно-критических исследованиях Честертон приводит цитаты по памяти (в чем его упрекала и английская критика), не говоря уже о рассказах и романах. Следует учитывать еще один курьезный факт: Честертон временами пародирует некий подразумеваемый текст, а то и вовсе стилизует его, но при этом пародию либо стилизацию выдает за подлинную цитату. В определенном смысле его можно считать родоначальником литературных мистификаций XX века: именно он впервые стал придумывать выдающихся писателей, ученых, политиков, наделяя их полноценной жизнью реальных лиц. Наконец, порой Честертон рассуждает о культурных реалиях, актуальных для английского «рубежа веков» и ушедших вместе с эпохой, а порой намекает на них. В этих и других случаях комментатор указывал только на то, что необходимо для верного понимания мысли писателя.

НАПОЛЕОН НОТТИНГХИЛЬСКИЙ

1904

В каждом из своих романов Честертон защищает символы старой доброй Англии. Роман «Шар и крест» он строит как воображаемый храм во славу доброго и несколько ироничного Бога, взирающего из заоблачных высот на туманный Альбион; «Человек, который был Четвергом» отстаивает веселое жизнелюбие; с «Возвращением Дон Кихота» писатель связывает возрождение средневекового рыцарства и цехового ремесла; а «Перелетным кабаком» напоминает об уютной традиции английских «inns» — подобия постоялых дворов с винным погребом и харчевней. Но в самом первом своем романе Честертон расчищает *место*, где позже он разместит цех, кабак, церковь и веселого йомена. Место это он называет Ноттинг-Хилл.

Наполеон — император Франции; Ноттинг-Хилл — район Лондона. Зачем понадобилось Честертону ссорить в романе гигантскую империю с тихим кварталом, сталкивать их армии да еще поручать оборону персонажу со столь неприлично громким прозвищем? Английский читатель 1904 года, беря в руки этот «батальный» роман, думал не об обороне Ноттинг-Хилла, а о растущей в колониальных войнах британской империи: ведь война с бурами на юге Африки, где отличился коварством и жестокостью упоминаемый в самом начале романа расист Сесил Родс, едва отгремела. И в национальных героях по-прежнему числился киплингский колониальный солдат Томми Аткинс, преисполненный послушания и долга и готовый беззаветно служить короне. Но если порабощение малых народов будет продолжаться дальше, считал писатель, то Англия сама превратится

в громадное рабовладельческое государство, о котором предупреждал еще Х. Беллок в книге «Сервилистское государство». Чтобы защитить свободу, спасать нужно малый дом и защищать не империю и даже не столицу империи, а квартал. И на защиту его следует поставить не безликого и послушного Томми, а великого полководца из народных умельцев, под стать наполеоновским маршалам. Поэтому — Наполеон, поэтому — Ноттингхильский.

Когда-то в детстве Честертон увлекался картами и на карте Лондона вычерчивал план обороны лондонских кварталов. В 1904 году эта оборона наполнилась глубоким смыслом: в Ноттинг-Хилле войско ремесленников защищало от будущих тоталитарных империй последний приют демократии.

Стр. 23. *Беллок Джозеф Хилэр* (1870—1953) английский поэт, писатель, историк, ближайший друг Честертона.

Стр. 26. *Уэллс Герберт Джордж* (1866—1946) — английский писатель-фантаст; его технократические утопии и языческую веру в «Человека Технического» Честертон высмеивал в эссе «Герберт Уэллс и великаны» («Еретики», 1905), а также в главе «Человек из пещеры» («Вечный человек», 1925).

Эдвард Карпентер (1844—1929) — английский писатель, проповедник и мыслитель, сторонник социал-реформистской программы У. Морриса; предвосхищая трагические последствия технического прогресса, ратовал за возврат к природе и крестьянскому труду.

Толстой и я же с ним... — Льву Толстому (1828—1910) Честертон посвятил эссе «Толстой и культ опрощения» и некоторые другие.

Сесил Родс (1853—1902) — британский путешественник, финансист и государственный деятель; возглавлял военные действия против буров, коренного населения Британской Южной Африки.

Стр. 27. *Бенджамин Кидд* (1858—1917) — английский экономист и социолог, в своем труде «Социальная эволюция» (1894) рассматривал вопросы социальной прогностики.

Сидней Уэбб (1859—1947) — английский экономист, социал-реформатор и историк, член лейбористской партии.

Стр. 30. *Макс Бирбом* (1872—1956) — английский карикатурист, писатель, сатирик, литературный критик. Близкий друг Честертона и Б. Шоу.

Стр. 32. *...звали Оберон Квин.* — По мнению многих исследователей, прототипом этого героя послужил Макс Бирбом.

Стр. 34. *...бронзовый Данте.* — Речь идет о бронзовом бюсте итальянского поэта Данте Алигьери, отлитого с его посмертной маски и хранящегося в Национальном музее (Неаполь).

Стр. 36. *Желтая бумага и красная тряпка... Символика Никарагуа.* — Желтый и красный цвета — на флагах таких латиноамериканских государств, как Гайана и Боливия; цветовая символика Никарагуа — синее с белым.

Никарагуа покорили, как были покорены Афины... как уничтожили Иерусалим. — Здесь писатель оказывается провидцем, предрекая высадку

американского морского десанта в Никарагуа через четыре года после выхода романа в свет.

Стр. 37. *Флаг и герб Никарагуа*. — На гербе Никарагуа изображен колпак свободы, надетый на шест, и символическая горная цепь, уходящая в море.

Стр. 40. *...различие между Стюартами и Ганноверцами*. — Речь идет о двух королевских династиях Великобритании: Стюарты правили с 1603 по 1714 г.; Ганноверы — с 1714 по 1837 г.

Стр. 41. *Сохо* — район в центре Лондона.

Стр. 42. *Мейдстоун* — район в графстве Кент в шести километрах к юго-востоку от Лондона; старинная резиденция норманских архиепископов.

Кенсингтон-Гарденз — большой парк в Лондоне, заложен в 1728—1731 гг., примыкает к Гайд-Парку.

Чешир — графство на северо-западе Англии, граничит с Уэльсом.

«Кто потерпит Гракхов, сетующих на мятеж?» — Ювенал, «Сатиры», II, 24. Букв.: кто бы стал терпеть человека, нетерпимого к тем ошибкам других, которыми страдает он сам.

Стр. 43. *...завиральными идейками насчет городских парков*. — Речь идет о проектах Джонатана Каминс Кэрра, ландшафтного архитектора, впервые применившего красный кирпич для отделочных работ в Бедфорд-Парке, любимом лондонском уголке Честертона.

Стр. 47. *...к древнему Кенсингтонскому дворцу, королевской резиденции*. — Речь идет об одном из королевских дворцов в Лондоне, где и по сей день живут некоторые члены королевской семьи.

Стр. 50. *Заратустра* (Зороастр) (предположительно VII—VI вв. до н. э.) — пророк древнего Ирана, основатель дуалистического учения. Герой книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

...я — тот же принц-консорт, двойник супруга незабвенной королевы? — Имеется в виду принц Альберт (1819—1861), супруг королевы Виктории (1819—1901).

...убедил ли вас Герберт Спенсер... — Английский философ-позитивист Герберт Спенсер (1820—1903) применил эволюционную теорию к биологии, психологии, социологии.

...десяток книг о природе человеческого сообщества. — Речь идет о многоотомной монографии Г. Спенсера «Синтез философии» (1896), включающей его основные труды.

Стр. 51. *Клэтам* — железнодорожный вокзал в южной части Лондона.

Уимблдон — предместье Лондона, где и во времена Честертона располагался крокетный и теннисный клуб.

Стр. 53. *...Уондз-уртское Улюлюканье*. — Уондзуорт — самая большая в Англии тюрьма, предназначенная преимущественно для рецидивистов.

Челси — район в западной части Лондона.

Баттерси — район в Лондоне, где жил Честертон в 1901—1909 гг.

...ни с Юстинианом, ниже с Альфредом. — Флавий Юстиниан (483—565) — византийский император; Альфред Великий (871—899) — король

Уэссекса, саксонского королевства на юго-западе Англии. Честертон пишет о нем в поэме «Белая лошадь», в книге «Краткая история Англии», в эссе «Альберт Великий» и в некоторых других эссе.

Фулем — район на юго-западе Лондона.

Кенсингтон — западный район Лондона между Холланд-Парком и Кенсингтон-Гарденз.

Стр. 59. *От Шепердс-Буша до Марбл-Арч.* — То есть от западной окраины до центра города. Шепердс-Буш — улица на западе Лондона; Марбл-Арч — триумфальная арка (1828 г.), некогда украшавшая вход в Букингемский дворец.

Стр. 62. *...не ведаешь, ни откуда явишиися, ни зачем.* — Ср. слова Иисуса Христа «Я знаю, откуда пришел и куда иду». Иоанн, 8, 14.

Стр. 71. *Леонид* — царь Спарты (491—480 до н. э.), защищавший ущелье Фермопилы от персидского царя Ксеркса.

Стр. 78. *Может привирать, подобно Мандевиллю.* — Мандевиль Бернارد (1670—1733), английский мыслитель и сатирик, автор басни о пчелах, в которой утверждает, что эгоизм и жадность создают экономический прогресс.

Стр. 85. *При Франциске или Елизавете.* — То есть либо в первой, либо во второй половине XVI в. при французском короле Франциске I (1494—1547), правившем с 1515 г., или при английской королеве Елизавете I (1537—1603), правившей с 1558 г.

В Пикардии или в Нортумберленде. — Пикардия — округ на севере Франции; Нортумберленд — графство на севере Англии.

Стр. 87. *Росло ужасное древо.* — Речь идет о древе познания, с которым связаны многочисленные бедствия обитателей райского сада. Быт., 2, 17.

Стр. 89. *...макет нашего района... и план его обороны.* — В персонаже по имени Тернбулл нашли воплощение некоторые черты самого Честертона — любовь к игрушечным солдатикам и картам.

Стр. 98. *Солнце, луна, по образу и подобию.* — Быт., I, 16.

Стр. 103. *Портобелло-роуд* — улица в Лондоне, пересекающая Ноттинг-Хилл с северо-запада на юго-восток.

...как говорит Уолт Уитмен, «пересмотреть заново философии и религии». — Честертон неточно цитирует предисловие У. Уитмена к «Листьям травы» (1855).

Стр. 107. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — лорд-протектор Англии с 1653 по 1658 г.

Стр. 111. *Затмились светила на тверди фонарной.* — Ироническая парафраза библейской цитаты: Быт., 1, 14—15; Дан., 12, 3 и Отк., 8, 12.

Стр. 112. *...выхожу специальным военным корреспондентом.* — Намек на К.-Ф.-Г. Мастермена, издателя газеты «Дейли Ньюс», друга и коллегу Честертона, военного корреспондента во время англо-бурской войны.

Стр. 113. *...любые два врача немедля отправили бы в лечебницу.* — В Англии времен Честертона достаточно было подписи двух врачей, чтобы человека признали сумасшедшим.

Стр. 115. *...меня зовут... Пинкер.* — Возможно, намек на Аллана Пинкертона (1819—1884), американского сыщика и героя детективных рассказов, положивших начало «массовому чтиву» XX столетия.

Стр. 117. *Черная Свинья в ирландской мифологии.* — Точнее: вепрь; почитался у кельтов как священное животное.

Стр. 119. *...во время осады Парижа в 1870-м.* — Речь идет о кульминационном эпизоде франко-прусской войны, когда войска фельдмаршала Мольтке осадили Париж и взяли в плен Наполеона III.

Стр. 123. *...мудрил, как Мольтке.* — Имеется в виду прусский фельдмаршал Хельмут фон Мольтке (1800—1891), начальник генштаба прусской армии; его боевые операции отличались тщательной и продуманной тактикой.

Стр. 124. *...точно смотришь этукую пьесу старика Метерлинка.* — Пьесы бельгийца Мориса Метерлинка (1862—1949) пользовались неслыханной популярностью в Англии девятисотых годов. О Метерлинке Честертон писал в эссе «Споры о Диккенсе» (сб. «Вкус к жизни»), «Могильщик» (сб. «Безумие и ученость») и некоторых других.

Стр. 127. *Боже, храни короля Оберона!* — Ироническая парафраза первой строки британского гимна («Боже, храни короля!»).

Ты победил, Галилеянин! — Слова, приписываемые императору Юлиану (332—363), прозванному Отступником.

Стр. 134. *...частица души Афин была в тех, кто твердой рукой подносил к губам чашу цикуты.* — Речь идет о гибели Сократа (470—399 гг. до н. э.), описанной в платоновском диалоге «Федон»: обвиненный афинскими властями в том, что он обирает и развращает молодежь, Сократ был приговорен к смертной казни; по легенде, он умер, выпив отвар цикуты.

Стр. 139. *Если упадет дерево, то там оно и останется.* — См.: Еккл., II, 3.

Стр. 140. *...и корни дерева нисходят в ад, а ветви протягиваются к звездам.* — Имеется в виду мировое древо скандинавской мифологии ясень Иггдрасиль.

...темнейшая из богодухновенных книг. — Речь, вероятно, идет об Откровении Иоанна Богослова, наиболее эзотерической из книг Нового завета.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ ЧЕТВЕРГОМ

(1908)

Гилберт Кийт Честертон застал мир дряхлеющим от духовной немощи. Мир был разочарован, как пессимист Шопенгауэр. Он упивался эстетством Уайльда и хватался за анархистские идеи как за спасение.

Анархисты, угрожающие миру в романе «Человек, который был Четвергом», обступили со всех сторон и самого Честертон, преследуя его до конца жизни. Стоило открыть газету, к примеру, «Нью Эйдж» за

9 мая 1908 года, и можно было прочесть сочувственную статью о Кропоткине, а в салонах снова стала популярной полузабытая книга М. Арнольда «Культура и анархия» (1869). Даже у О. Уайльда в «Преступлении лорда Артура Сэвилла» появлялся вдруг некто Рувалов, русский радикал, работавший на нигилистов. Честертон, знающий, что «мир дышит распадом», прекрасно понимал и другое: анархистские идеи помогут умереть, но не выжить. Об этом он еще расскажет в главе «Анархия сверху» своей книги «Евгеника и прочее зло».

На мир можно было махнуть рукой — кому на рубеже веков не наскучило его разочарованное брезжание? Но Честертон решил напомнить людям о его очаровании и стал рассказывать им обнадеживающую сказку, веселую сказку об анархистах со всеми сказочными превращениями: те, кто будто бы хотел взорвать мир, спасают его. Анархисты и полиция у Честертона — герои сказки для взрослых, причем для пресыщенных взрослых. Не случайно в подзаголовке стоит «страшный сон»; и уж тем более не случайно писатель поведал нам в «Ортодоксии» (гл. «Этика страны эльфов»), что его творческое сознание выросло из сказок.

Стр. 147. *Эдмонд Клерихью Бенгли* (1875—1956), школьный друг и коллега Честертон по работе в редакции журнала «Спикер». Бенгли был последним из друзей Честертон, пришедших навестить его перед кончиной.

Лишь мы смеялись, как могли. — Речь идет о товарищах Честертон по школе Сент-Полз, выпускавших юмористическую газету «Спорщик».

Уистлер Джеймс Мак Кейн (1834—1903) — американский живописец и график, в конце XIX в. жил в Англии; был близок к прерафаэлитам. Цветовые композиции его живописных работ оказали значительное влияние на формирование образности Честертон.

Черный Ваал — здесь: родовое название языческих богов. В действительности Ваал (Валу) — бог плодородия у египтян.

Стр. 148. *Поманок* — остров у восточного побережья США, упоминаемый в стихотворении Уолта Уитмена «Как меня уносил Океан Жизни» (1855).

«Зеленая гвоздика» (1893) — популярный роман английского писателя Р. Хиченса.

...пронесся ураган над листьями травы. — Имеется в виду поэтическая книга Уолта Уитмена «Листья травы» (1855), которой зачитывался Честертон в школе Сент-Полз.

Тузитала — прозвище, которым наделили аборигены острова Самоа Р. Стивенсона, решившего собственными силами построить дом на Самоа.

Блаженны те, что в темноте. — Парафраза евангельских слов «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин., 20, 23).

Стр. 150. *Елизаветинский стиль* — стиль дворцовой архитектуры

с элементами неоклассики, назван по имени королевы Елизаветы I (1533—1603); *стиль королевы Анны* — характеризуется помпезной вычурностью, украшательством, назван по имени королевы Анны (1665—1714).

Стр. 152. *Анархия и творчество едины*. — Вероятно, речь идет о книге М. Арнольда «Культура и анархия».

Слоун-сквер — лондонская площадь в районе Челси.

Виктория — железнодорожный вокзал в Лондоне.

Брэдшоу — автор одного из популярных путеводителей по Лондону и расписания движений поездов от лондонских вокзалов.

Стр. 156. *...все мы теперь католики*. — Иронический намек на увлечение католицизмом под влиянием идей кардинала Ньюмена в кругах, близких Честертону.

...на чизуикском берегу реки — т. е. на левом берегу Темзы.

Стр. 158. *Джозеф Чемберлен* — английский государственный деятель (1836—1914), министр колоний в консервативных кабинетах, идеолог экспансионистской политики Великобритании по отношению к Ирландии и Южной Африке; наименее подходящий символ для движения анархистов.

Стр. 159. *...понятны последователи Ницше*. — Фридрих Ницше (1844—1900) — немецкий философ, стал особо популярен в Англии после выхода книги А.-Р. Орейджа «Ф. Ницше, дионисийский дух века» (1906). Честертон спорит с ницшеанством в романе «Перелетный кабак», в сборнике «Ортодоксия», во многих статьях.

Стр. 170. *...сходство со злодеями Бульвер-Литтона или молодого Диккенса*. — Речь идет о преступниках из романов английского писателя Эдуарда Джорджа Бульвер-Литтона (1803—1873) «Пелэм» (1828), «Пол Клиффорд» (1830) и романа Чарльза Диккенса «Николас Никклби» (1839).

Стр. 171. *Харроу* — одна из девяти старейших привилегированных мужских школ в Англии.

Стр. 174. *...не бился при Армагеддоне*. — В христианской мифологии Армагеддон — священная гора, место битвы на исходе времен (Отк., 16, 14—16).

Стр. 176. *...в том недобром сумраке, который Мильтон назвал обителью солнечного затмения*. — «На пол Земли зловещий полусвет бросает». (Мильтон. Потерянный рай, песнь I.)

Стр. 177. *Лейстер-сквер* — площадь в Вест-Энде, известная своими ресторанами и театрами.

Стр. 178. *...восточный облик Альгамбры*. — Имеется в виду здание в восточном стиле на Лейстер-сквер, названное по аналогии с дворцом-резиденцией последних арабских правителей Гранады.

Стр. 179. *Мемнон* — в греческой мифологии, царь Эфиопии, сын богини Эос, союзник троянцев в их войне с ахейцами, пал от руки Ахилла.

Стр. 182. *...увидишь башню, самые очертания которой исполнены зла*. — В кельтской мифологии на островах, где обитают злые духи, стоит стеклянная башня.

Стр. 185. *Язычники не правы, а христиане правы.* — «За нас Господь, — мы правы, враг не прав» («Песнь о Роланде», XXIX, ст. 1015, пер. Ю. Корнеева).

Стр. 192. *Ледгейт-Серкус* — площадь в центре Лондона между улицами Ледгейт и Флит, район пеших прогулок Честертона.

Стр. 193. *...как дождался дракона святой Георгий.* — Св. Георгий (покровитель Англии), согласно легенде, победил в единоборстве дракона.

Стр. 201. *Монтень* Мишель де (1533—1592) — французский философ, автор «Опытов» (1580—1588).

Стр. 205. *Марат* Жан Поль (1743—1793) — медик, физик, деятель Великой французской революции, убит Шарлоттой Корде.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — один из руководителей Великой французской революции, казнен участниками термидорианского переворота. Марат и Робеспьер — герои книги друга Честертона Х. Беллока «Робеспьер» и «Идеалы Французской революции». Честертон пишет о Робеспьере в эссе «Преступный череп» («При всем при том»), о Французской революции — в эссе «Великан» («Непустяшные пустяки»).

Стр. 210. *...сражался при Беннокберне, рядом с Брюсом.* — Имеется в виду один из эпизодов войны за независимость Шотландии, когда шотландские войска под командованием Роберта Брюса разгромили английскую армию короля Эдуарда I (1314).

Стр. 223. *...вспомните мятежных баронов.* — Имеются в виду крупные феодалы, вынудившие короля Иоанна Безземельного подписать в 1215 г. Великую Хартию вольностей, существенно ограничившую королевскую власть.

Стр. 228. *Аттила* (?—453) — царь гуннов, возглавил походы против Римской империи (443, 447—448 гг.).

Стр. 234. *...как Горацій на мосту.* — По преданию, римлянин Горацій Коклес защищал от этрусков мост через Тибр.

Стр. 235. *...в конце «Тутициады».* — Речь идет об ирони-комическом пародийном эпосе Александра Поупа (1688—1744), крупнейшего представителя английского классицизма. Честертон цитирует фрагмент «Смерть Культуры».

Стр. 244. *Альберт-Холл* — музей и концертный зал, находится на Кенсингтон-роуд; построен королевой Викторией в память о покойном муже Альберте, принце-консорте Англии, с целью поддержать молодых художников и музыкантов.

Паддингтон — лондонский район, прилегает к городскому зоопарку.

Эрлс-Корт — одна из самых больших площадей Лондона.

Стр. 247. *Что вы прыгаете, горы.* — Пс., 113, 6.

Стр. 249. *Пан был и богом, и зверем.* — В древнегреческой мифологии Пан — божество стад, лесов и полей, сын лесной нимфы и Гермеса. Изображается с рогами, шерстью и копытами козла.

Стр. 252. *И сказал Бог, да будут светила...* — Быт., 1, 14—19.

Стр. 254. *...нелепы, как Зазеркалье.* — Речь идет о сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Стр. 255. *Мир ...покой Божий.* — Быт., 2, 3.

Оружие прошло нам сердце. — Лк, 2, 35.

Стр. 256. *...пришел и Сатана.* — Иов, 1, 6.

Стр. 257. *Можете ли пить чашу, которую Я пью?* — Мф, 20, 22.

РАССКАЗЫ

В литературном мире существует множество легенд о появлении на свет сыщика по имени отец Браун. Одну из самых правдоподобных приводит католический писатель, автор нового английского перевода Библии, священник Р. Нокс. Однажды Честертон зашел в контору к своему литературному агенту и спросил, нет ли для него каких новостей. «Боюсь, для вас ничего,— ответил тот. — Вот, правда, газета «Сатердей ивнинг пост» просит детективный рассказ. Но это не ваш жанр». (До той поры Честертон писал только эссе, литературно-критические статьи, стихи и романы.) Честертон вернулся домой и написал первый рассказ об отце Брауне.

Героя честертоновских рассказов называют одним из самых известных сыщиков мира. Прототипом ему послужил священник Дж. О'Коннор, обративший Честертон в католицизм. Кроме того, в отце Брауне, рационалистически мыслящем католике, есть черты св. Фомы Аквинского: в определенной степени — манера рассуждения и поведения, отрицание обывательских суеверий, в чем убеждает сравнение детективных новелл с образом, воплощенным в книге «Фома Аквинский» (1933).

Рассказы об отце Брауне написаны в жанре «теологического детектива». Честертон сталкивает католический «здоровый смысл» с нездоровыми парадоксами модернистской культуры. В сущности, занимательной проповедью здравого смысла Г.-К. Честертон пытается наставить на путь истинный ту самую страну, которой посвящена его книга «Преступления Англии».

Всего за свою жизнь Честертон выпустил пять книг о сыщике-священнике, насчитывающих сорок девять рассказов: «Неведение отца Брауна» (1910), «Мудрость отца Брауна» (1913), «Недоверчивость отца Брауна» (1923), «Тайна отца Брауна» (1927), «Скандалное происшествие с отцом Брауном» (1935).

Стр. 262. *Британский музей* — крупнейший музей мира, основан специальным парламентским актом 1753 г., включает богатейшую библиотеку, рукописный отдел, произведения искусства народов мира с древнейших времен до наших дней.

...обычай племени т'чака. — Имеются в виду зулусы; Чака

(ок. 1787—1828) — правитель зулусов, возглавил объединение родственных племен на территории провинции Наталь.

Стр. 267. *Три духа в черном из... пьесы Метерлинка*. — Имеются в виду «Три слепые старухи, погруженные в молитву» из пьесы «Слепые» (1890).

Стр. 275. *Хук ван Холланд* — порт в Голландии; соединяется каналом с Роттердамом.

После смерти Роланда на земле воцарилась тишина. — В старофранцузском эпосе «Песнь о Роланде» после гибели славного графа король Карл зовет своих подданных, но ему никто не отвечает: «ни звука королю в ответ». «Песнь о Роланде», с. XXVI, ст. 2411.

Стр. 277. *Шесть футов четыре дюйма* — 1 м 93 см.

Мудрость должна полагаться на непредвиденное. — Вероятно, речь идет о наблюдении Э. По из новеллы «Убийство на улице Морг»: «Искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не пренебрежено».

Стр. 280. *Хемпстед* — расположенное на холмистой местности аристократическое предместье на севере Лондона.

Стр. 281. *Тэфнел-парк, Кэмден-таун* — улицы и соответствующие автобусные остановки по пути в Хемпстед.

Стр. 286. *Вестминстер* — центральный район Лондона, где находятся правительственные учреждения.

Стр. 288. *Это дурное богословие...* — Речь идет только о католической трактовке разума. В 1876 г. энцикликой «Aeterni patris» папы Льва XIII католикам предписывалось исповедовать и проповедовать рационалистическую теологию св. Фомы.

Стр. 289. *«Двенадцать верных рыболовов»*. — Иронический намек на то, что многие из апостолов были рыболовами. См. далее с. 300: «Я — ловец человеков» (Лк., 5, 10).

Стр. 290. *Бельгравия* — аристократический район Лондона.

...вилки были отлиты в форме рыб. — Символ «рыбы» играл очень большую роль в образной системе первых христиан.

Стр. 295. *Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим* — т. е. адскими муками. Мк. 9, 44; восходит к Исая, 66, 24.

...времен Гладстона. — Т. е. в эпоху поздневикторианской Англии, когда у власти с 1868 по 1894 г. с перерывами находился премьер-министр Уильям Юарт Гладстон (1809—1898).

Стр. 296. *Олбени* — фешенебельный многоквартирный дом на улице Пикадилли; построен в XVIII в.; назван по имени одного из бывших владельцев, герцога Олбени.

Стр. 300. *...когда он раскаялся*. — Ср. евангельский текст о раскаявшемся разбойнике (Лк. 15, 1—7). Тот же мотив в рассказах «Человек о двух бородах» и «Алая луна Меру».

Стр. 301. *Преступление — то же произведение искусства*. — Парафраза названия книги английского писателя-романтика Т. Де Куинси (1785—1859) «Преступление как вид изящных искусств».

Стр. 303. *...тут мой рассказ кончается*. — Отец Браун как священник обязан хранить тайну исповеди.

...мы... интересуемся древнеангликанскими церквями. — Древнеангликанских церквей быть не может — в Англии до конца 30-х гг. XVI в. существовало только католичество.

Стр. 304. *Милле Жан Франсуа* (1814—1875) — французский живописец, член «Братства прерафаэлитов».

Путни — южный пригород Лондона.

...в духе *Чарльза Диккенса*. — Речь идет о «Рождественских рассказах» Ч. Диккенса (1812—1871).

Стр. 306. *Сардар*. — В Индии и в странах Ближнего и Среднего Востока — военачальник или влиятельный сановник.

Стр. 311. *«Пираты из Пензанса»*. — Поставленная в 1879 г. по либретто У. С. Гилберта (1836—1911) популярная оперетта английского композитора Артура Сеймора Салливана (1842—1900).

Стр. 317. ...когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной... — Нравственная проповедь отца Брауна — полемика Честертона с циничной проповедью героя «Портрета Дориана Грея» (1891) лорда Генри: «Но когда вы станете безобразным стариком...»

Стр. 330. *Бог Пан*. — По легенде, Пан преследовал нимфу Сирингу и, когда она превратилась в тростник, вырезал из нее свирель, с которой часто изображается в живописи и графике.

Стр. 332. *Подземное царство Плутона*. — В античной мифологии — царство мертвых.

Стр. 353. *Господь сокрушил Сеннахирима*. — 4 Кн. Царств, 19, 35—39.

Стр. 355. ...вера у него шотландская. — Речь идет о пресвитерIANстве.

Стр. 356. *Это выход в ад*. — Самоубийство считается одним из тяжчайших грехов для христианина.

Брата убил я. — Ср. библейский текст о братоубийстве Каина (Быт., 5, 4, 9), а также слова Исава: «И я убью Иакова, брата моего» (Быт., 27, 41).

Стр. 357. ...звался... *Дж. Брауном*. — Единственный намек на имя отца Брауна. Предполагается, что имя это «Джон», по аналогии с прототипом Брауна, отцом Джоном О'Коннором.

Св. Франциск Ксаверий (1506—1552) — крупнейший миссионер иезуитского ордена; Честертон посвятил ему стихотворение, отмеченное в школе Сент-Полз Милтоновской премией.

«Христианская наука». — Религиозное движение в англиканстве, основано Мэри Бейкер Эдди (1821—1910). Ее доктрина изложена в книге «Наука и здоровье, или Ключ к Писанию» (1886). В 1875 г. последователи М. Б. Эдди организовались в секту. Это учение признает Бога как «бесконечный разум» и считает нереальным существование физических болезней. Ср. критику «Христианской науки» в рассказе Честертона «Сломанная шпага» и в некоторых рассказах из сборника «Недоверчивость отца Брауна».

Стр. 360. *Белокурой бестия*. — Романтический образ нищенской языческой культурологии; воплощение арийского духа и воинствующего пафоса древнегерманской мифологии.

Стр. 362. ...*напоминал Христа, выходящего из претории, с картины Доре*. — Гюстав Доре (1832—1883), французский живописец-график, автор многочисленных иллюстраций к изданиям классики (Данте, Рабле, Сервантес, Свифт), а также к Библии. Сюжет упомянутой картины восходит к евангельскому тексту: допрос Иисуса Христа Понтием Пилатом. Ин., 18, 28 и далее.

Кайафа — иерусалимский первосвященник; дал совет иудеям «лучше одному человеку умереть за народ», подстрекая народ к казни Христа. Ин., 18, 14.

Стр. 366. *Око Аполлона может погубить*. — Речь идет о солнечных стрелах бога Аполлона, которыми он сразил великана Тития и циклопов.

Стр. 370. ...*прячет камешек... на морском берегу*. — Этот парадокс использован в новелле аргентинского писателя Х. Л. Борхеса (1899—1985) «Книга бегущих песчинок».

Стр. 372. ...*поодинок между Ахиллом и Гектором*. — Описан у Гомера в «Илиаде». Песнь XXI.

Большой бунт. — Речь идет об индийском национальном восстании 1857—1859 гг.

Стр. 380. *Мормон*. — Член религиозной секты мормонов, основанной в 1830 г. в США Дж. Смитом, проповедующей многоженство и воздержание от спиртного.

...*был старым англо-индийским солдатом*. — Речь идет об английской колониальной армии в Индии (вторая половина XIX в.).

...*в последнем кругу Данте*. — В девятом, последнем кругу Данте томятся предатели Иуда, Брут и Кассий. «Божественная комедия», «Ад», Песнь XXIV.

Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.), древнеримский поэт; проводник Данте по всем кругам Ада.

Стр. 381. *Парк-Лейн* — фешенебельная лондонская улица.

Стр. 385. *Солнечный Джим* — могучий весельчак, изображенный на рекламе овсянки, символ радости и силы.

Мистер Пиквик умер в Хэнуолле. — Хэнуолл — лечебница для душевнобольных недалеко от Лондона.

Стр. 397. *Пускай мертвые хоронят своих мертвецов*. — Мф., 8, 22; Лк., 9, 60.

Стр. 399. *Библия в старых церквах*. — Чтобы уберечь дорогой оклад от церковных воров, Библию прикрепляли цепью к кафедре.

Стр. 409. *Маркони* Гильермо (1874—1937) — итальянский инженер, первым осуществивший применение беспроводного телеграфа. О «Деле Маркони» — см. «Даты жизни и творчества Честертона».

Стр. 412. *Слоудон* — самая высокая гора Англии.

Гленкоу — дорога в Шотландии, проходящая у горы Байен, где в 1692 г. был уничтожен клан Макдональдов, отказавшийся присягнуть королю Вильгельму III.

Стр. 414. ...*попасть в руки врага, как Катон*. — Катон Марк Порций (95—46 до н. э.) — римский политический деятель, покончил с собой, узнав о победе Цезаря.

Стр. 419. *Оуэрбери* Томас (1581—1613) — английский поэт, отравлен в тюрьме Тауэр.

Фрэнсис Говард — замешанная в убийстве Т. Оуэрбери жена Сомерсета Роберта Карра (1590—1645), секретаря короля Якова I; Карр был отставлен от дел за соучастие в убийстве Т. Оуэрбери.

Стр. 425. *Елисей* — ветхозаветный пророк, ученик Илии, над его плешивостью смеялись дети. 4 Кн. Царств, 2, 23.

Стр. 426. *Царь Мидас*. — По легенде, будучи арбитром в поэтическом споре между Аполлоном и Дионисом, отдал пальму первенства второму, за что Аполлон наделил его ослиными ушами. Мидас прятал уши под париком, о чем не знал никто, кроме его цирюльника.

Стр. 427. *Гламис* (Гламисский тан) — первый из титулов Макбета в одноименной трагедии Шекспира.

И. Петровский

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Трауберг. Проповеди и притчи Гилберта Кийта Честертона</i>	5
НАПОЛЕОН НОТТИНГХИЛЛЬСКИЙ. Роман. <i>Перевод В. Муравьева</i>	23
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ ЧЕТВЕРГОМ (Страшный сон). Роман. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	145

РАССКАЗЫ

Из сборника «Клуб странных профессий»	
Необъяснимое поведение профессора Чэдда. <i>Перевод Т. Казавчинской</i>	261
Из сборника «Неведение отца Брауна»	
* Сапфировый крест. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	275
* Странные шаги. <i>Перевод И. Стрешнева</i>	289
* Летучие звезды. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	304
Честь Изрэела Гау. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	318
Грехи графа Сарадина. <i>Перевод Н. Демуровой</i>	328
Молот Господень. <i>Перевод В. Муравьева</i>	345
* Око Аполлона. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	357
* Сломанная шпага. <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	368
* Три орудия смерти. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	385
Из сборника «Мудрость отца Брауна»	
Отсутствие мистера Кана. <i>Перевод П. Трауберг</i>	399
Разбойничий рай. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	408
* Лиловый парик. <i>Перевод Н. Демуровой</i>	418
Комментарии <i>И. Петровского</i>	432

© Переводы. Муравьев В. С. 1990 г.

© Переводы. Трауберг Н. Л. 1990 г.

© Перевод. Казавчинская Т. Я. 1990 г.

© Перевод. Демурова Н. М. 1990 г.

© Переводы, отмеченные *. Издательство «Художественная литература». 1975 г., 1980 г.

Честертон Г.-К.

Ч-51 Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. Наполеон Ноттингхильский: Роман; Человек, который был Четвергом: Роман; Рассказы: Пер. с англ. / Редкол.: С. Аверинцев, В. Скороденко, Н. Трауберг; Сост. и вступ. статья Н. Трауберг; Коммент. И. Петровского; Ил. худож. В. Носкова. — М.: Худож. лит., 1990. — 446 с., ил.

ISBN 5-280-01201-7 (Т. 1)

В первый том «Избранных произведений» Гилберта Кнйта Честертон (1874—1936) входят два ранних романа: «Наполеон Ноттингхильский» и «Человек, который был Четвергом», а также рассказы из сборников, вышедших в этот период творчества писателя.

Ч 470310100-251 126-90
028(01)-90

ББК 84.4В.1

ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ I

Редактор Э. Шахова
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор Л. Витушкина
Корректоры
Л. Лобанова, Т. Калинина

ИБ № 5881

Сдано в набор 21.11.89. Подписано к печати 26.04.90. Формат 60х90¹/₁₆. Бумага кн. журн. № 2. Гарнитура «Т. таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0. Уч.-изд. л. 29,72. Усл. кр.-отг. 28,75. Тираж 200 000 экз. Изд. № VI—3260.

Заказ № 3407. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валуевая, 28